

# Русская литература

№ 3

Историко-литературный журнал

1995

*Издается с января 1958 года*

*Выходит 4 раза в год*

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Пограничные культуры между Востоком и Западом (Россия, Испания) . . . . .	3
Д. С. Лихачев. Два типа границ между культурами . . . . .	4
В. Е. Багно. Граница как категория культуры . . . . .	6
Й. ван Баак. О границах русской культуры . . . . .	12
Е. А. Костюхин. Русские в Средней Азии: мифы и реальность . . . . .	20
Г. С. Лебедев. «Скандовизантия» и «Славотюркика» как культурно-географические факторы становления Руси . . . . .	30
П. Баденас де ля Пенья. От аргонавтов к Третьему Риму (греческий мир и Россия) . . . . .	41
Г. М. Прохоров. Христианская книжная культура в Древней Руси . . . . .	47
В. Б. Земсков. Хроники конквисты Америки и летописи взятия Сибири в типологическом сопоставлении (к постановке вопроса) . . . . .	55
М. Т. Ортега-Монастерио. Ашкенази: остров культуры в Восточной Европе (XIV - XVIII века) . . . . .	64
О. В. Журавлев. О понятии пограничной этнической идеологии . . . . .	73
О. И. Варьяш, И. И. Варьяш. Праздники в средневековой Hispania . . . . .	80
И. М. Стеблин-Каменский. Кому молился и что пил Афанасий Никитин в Индии . . . . .	86
А. Г. Погоняйло. Переход границ: ситуация или сущность сознания? (об одном примере коммуникативного парадокса) . . . . .	93
—	
В. В. Бузник. Память войны (из писем читателей к Юрию Васильевичу Бондареву) . . . . .	96
Т. М. Вахитова. Народ на войне (взгляд В. Астафьева из середины 90-х. Роман «Прокляты и убиты») . . . . .	114
К. М. Симонов. Письмо к родителям (публикация Н. А. Прозоровой) . . . . .	129
В. А. Шошин. Поэты в борьбе за Ленинград . . . . .	133

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«НАУКА»

## ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

<b>В. С. Киселев-Сергенин.</b> По старому следу (о балладе Е. Ростопчиной «Насильный брак») . . . . .	137
<b>Э. Г. Гайнцева.</b> К уточнению датировки статьи И. А. Гончарова «„Христос в пустыне”. Картина г. Крамского» . . . . .	152
<b>Письма М. М. Пришвина к А. М. Ремизову</b> (вступительная статья, подготовка текста и примечания Е. Р. Обатниной) . . . . .	157
<b>А. Л. Дмитренко.</b> К истории содружества поэтов «Островитяне» (машинописный альма- нах) . . . . .	209
<b>В. П. Крючков.</b> «Мастер и Маргарита» и «Божественная комедия»: к интерпретации Эпи- лога романа М. Булгакова . . . . .	225
<hr/>	
<b>Б. Н. Путилов.</b> Живое наследие ученого (к столетию Владимира Яковлевича Проппа) . . . . .	230
<b>Из дневника В. Я. Проппа</b> (публикация А. Н. Мартыновой) . . . . .	235
<b>Ю. И. Юдин.</b> Пропп и поэтика Аристотеля. К определению метафоры . . . . .	239

## ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

<b>С. И. Николаев.</b> Польская параллель к «Рифме» А. С. Пушкина . . . . .	248
<b>Я. С. Билинкис.</b> Об одной сцене в «Горе от ума» . . . . .	249

## ХРОНИКА

<b>А. А. Харитонов.</b> Пятый и Шестой Платоновские семинары . . . . .	251
<b>В. Ю. Вьюгин.</b> Юбилейная конференция, посвященная 95-летию Леонида Максимовича Леонова . . . . .	261
<b>Т. Р. Руди.</b> XIX Малышевские чтения в Пушкинском Доме . . . . .	266
<hr/>	
<b>С. А. Фомичев.</b> Владимир Николаевич Баскаков . . . . .	270

## Редакционная коллегия

**Н. Н. СКАТОВ** (и. о. главного редактора),  
**Г. Я. ГАЛАГАН** (зам. главного редактора), **А. А. ГОРЕЛОВ**, **Г. А. ГОРЫШИН**,  
**В. Я. ГРЕЧНЕВ**, **Н. А. ГРОЗНОВА**, **Б. Ф. ЕГОРОВ**, **А. И. ПАВЛОВСКИЙ**,  
**А. М. ПАНЧЕНКО**, **В. А. ТУНИМАНОВ**, **С. А. ФОМИЧЕВ**, **Г. М. ФРИДЛЕНДЕР**

Отв. секретарь редакции М. Д. Кондратьев

Адрес редакции: 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4. Тел. 218-16-01

## ПОГРАНИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ МЕЖДУ ВОСТОКОМ И ЗАПАДОМ

(РОССИЯ, ИСПАНИЯ)

Россия и Испания, две «пограничные», «периферийные» культуры Европы, в течение трех дней — 12—14 сентября 1994 года — были объектом внимания ученых России, Испании и Голландии именно в качестве культур великих, но «маргинальных» и в этом смысле особенно привлекательных для науки. В Пушкинском Доме был проведен Международный colloquium «Пограничные культуры между Востоком и Западом: Россия, Испания». Он был организован комиссией «Россия, Испания, Латинская Америка: связи и отношения культур», созданной при Отделении литературы и языка РАН, Комиссией РФ по делам ЮНЕСКО и обществом «Пушкинский проект» при содействии ЮНЕСКО и поддержке мэрии С.-Петербурга, посольства Испании в Москве, фонда Спасения С.-Петербурга и издательства «Логос». В работе colloquium принял участие посол Испании г-н Эухенио Бреголат-и-Обьольс. На имя председателя оргкомитета colloquium В. Е. Багно было получено приветствие:

«От имени Генерального секретаря ЮНЕСКО г-на Федерико Майора благодарю вас за ваши письма, связанные с подготовкой Международного colloquium „Пограничные культуры между Востоком и Западом: Россия, Испания“, который предполагается провести 12—14 сентября 1994 г. в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН.

Приветствую вашу инициативу, призванную расширить наши представления о той роли, которую Россия и Испания сыграли во взаимоотношениях культурными ценностями между Востоком и Западом.

Меня обрадовал тот факт, что Российская Комиссия по делам ЮНЕСКО оказала весьма значительную, как моральную, так и материальную, поддержку в организации colloquium. В связи с этим советую вам также связаться с Испанской Комиссией по делам ЮНЕСКО, с тем чтобы получить также моральную, а быть может, и финансовую помощь с ее стороны.

Что касается возможности провести ваш colloquium под эгидой ЮНЕСКО, то Генеральный секретарь с удовольствием дает на это свое согласие, поскольку об этом ходатайствует Российская Комиссия по делам ЮНЕСКО.

Желаю участникам colloquium огромных успехов в его проведении.  
С уважением

Лурдес Ариспа  
Зам. Генерального секретаря ЮНЕСКО  
по вопросам культуры».

В работе colloquium приняли участие литературоведы, философы, историки, фольклористы, русисты, испанисты, византилисты, латиноамериканисты, гебраисты, арабисты, иранисты. Как и предполагалось, в ходе дискуссий затрагивались не только вопросы «пограничных» куль-

тур, но и самый широкий спектр вопросов, имеющих отношение к феномену «пограничного» сознания. Вполне естественно, что поставленные вопросы подчас рождали не столько ответы, сколько новые вопросы, требующие новых разысканий и новых встреч. Поэтому при закрытии коллоквиума было принято решение, инициированное испанскими коллегами, организовать в 1995 году в Мадриде Международный коллоквиум на тему «Литература и религия в пограничных культурах», а в 1996 году провести очередной Международный коллоквиум в Пушкинском Доме на тему «Греческое наследие в православном и католическом мирах». Одновременно при Секторе взаимосвязей русской и зарубежных литератур ИРЛИ был создан Семинар по пограничным культурам и пограничному сознанию, который открыт для сотрудничества и обмена мнениями.

Организаторы коллоквиума благодарны редколлегии журнала «Русская литература» за предоставленную возможность опубликовать на его страницах материалы коллоквиума, несмотря на то что не во всех докладах шла речь о русской литературе. Характерно при этом, что русский акцент присутствовал почти во всех выступлениях не только отечественных ученых, но и наших зарубежных коллег.

Д. С. ЛИХАЧЕВ

## ДВА ТИПА ГРАНИЦ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ

Понятие границы в культуре несет в себе нечто таинственное. Что это — полоса общения или, напротив, стена разобщенности?

Очевидно — и то, и другое. Как область наиболее интенсивного общения культур, она знаменует собой наиболее творческую сферу, где культуры не только обмениваются опытом, но и ведут диалог, по большей части обогащая друг друга, но иногда и стремящийся к сохранению собственной обособленности.

Как область ожесточенного неприятия «другого», граница может в редких случаях служить оформлению собственной самобытности, собственной оригинальности, но под опасностью существенных потерь в «живой силе» культуры. Противопоставляя себя «другому», культура по большей части упрощает сама себя, выдвигает вперед знамена с символами и знаками своей индивидуальности, капсулируется в мифах о «национальном характере», «национальных идеях», «национальной предназначенности» и т. д. Потери велики, ибо все это бывает связано, особенно на зкате культур, с повышенными самооценками, с развитием агрессивности в отношении «других» и в конечном счете внутри себя и против себя.

На границах культур воспитывается их самосознание. Если граница сохраняется как зона общения — она обычно и зона творчества, зона формирования культур. Если граница — зона разобщения, она консервирует культуру, омертвляет ее, придает ей жесткие и упрощенные формы. Упрощенные потому, что такие формы культуры позволяют ей легче обороняться. Жесткие потому, что в культуре растет стремление к сохранению за счет стремления к развитию. В начале развития культуры ее границы — по большей части границы общения и обмена опытом. К концу границы культуры становятся границами охраны себя от соседних культур. Но бывают и смешанные формы пограничных отношений. Отношения

Руси к Византии в X—XIV веках не были равноправны и равнозначимы для каждой из сторон. Русь жадно воспринимала непосредственно и через посредничество южного славянства культурные явления Византии и южного славянства, трансплантируя христианскую культуру из Болгарии, даже частично не меняя ее языковых форм. Это было не влияние, а трансплантация.

Совсем иным стало русское пограничье после татаро-монгольского завоевания и Флорентийской унии. Русь отгородилась и от Востока, и от Запада. Идеологическая стена выросла между христианской церковью России и католической церковью Запада. Общение прекратилось на высших уровнях культуры. С Востока эта замкнутость определилась также на уровне искусства, литературы, идеологии и была размыта только на уровне элементарной государственности, торговли и низших понятий в языке (известные всем заимствования «кнут», «караул», «ярлык» и т. д.).

Попытки прорвать русскую замкнутость начались с центра — из Москвы, куда были приглашены итальянские архитекторы. Иван Грозный пытался перенести русское пограничье с Западом на Белое море и одно время думал даже перенести столицу в Вологду — ближе к Архангельску. Русским пограничьем с Востоком стала при Грозном Волга. «Великая русская река» Волга — в сущности пограничная река наподобие тех, которыми были русские реки по Великому пути из Варяг в Греки в домонгольский период. Эта река, ставшая почти что символом России, проходит через земли более десятка различных народов, исповедующих основные религии человечества — христианство, магометанство, буддизм и местные языческие.

До XVII века общение с другими религиями не требовало враждебности к старому, если не считать только борьбы с язычеством, протекавшей в целом более мирно, чем процессы христианизации на Западе. В XVII веке появились признаки, еще до Петра, принятия западноевропейской культуры с отрицательным отношением к своей собственной, традиционной. Петр придал русскому пограничью чрезвычайно большое значение, перенеся столицу государства на самый край своей державы, не дождавшись даже полного установления мира на этой границе. Он строил столицу-крепость, но основное значение придал пристаням этой столицы, протянувшимся по протокам устья Невы более чем на сто верст. Таких длинных и вскоре ставших весьма благоустроенными пристаней не знала ни одна столица Европы.

Причалы Петербурга, однако, знаменовали собой не только приятие «другой» культуры, но и отрицательное отношение к своей, традиционной. Важно, впрочем, что это привело не к полной гибели традиционной древненародной культуры, а только к раздвоению русской культуры на два русла. Одно русло повело культуру по самой границе с Западной Европой, а другое враждебно отделилось от Запада — это сохранившаяся до двадцатого века культура старообрядчества и крестьянства, в которой продолжалась жизнь культуры народной и старообрядческой. Соединение двух культур началось в XX веке, пока вся русская культура в двух ее руслах не оказалась в запрете и граница, разделяющая культуру, железным занавесом не охватила всю страну — железным, сковывающим всякое движение вперед и ведущим к отмиранию культуры в целом.

К счастью, процесс отмирания культуры был отчасти приостановлен, и приходится надеяться на то, что движение культуры, без которого невозможно существование культуры и страны как нравственно оправдан-

ного в своем существовании организма, будет продолжаться. Роль в этом развитии культуры добролюбивого отношения к «другому» будет несомненно первенствующей.

В. Е. БАГНО

## ГРАНИЦА КАК КАТЕГОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Пограничным культурам между Востоком и Западом, особенно таким ключевым в этом смысле моделям, как Ближний Восток, Балканы, Пиренейский полуостров, Кавказ, Россия, уделялось до сих пор неизмеримо больше внимания, чем любым иным аспектам феномена пограничного сознания. Не раз отмечалась условность, относительность, неоднозначность самих понятий «Восток» и «Запад». Немало тонких замечаний можно обнаружить в давней замечательной статье П. М. Бицилли «Восток и Запад в истории Старого Света». Речь в ней идет не только о том, что у самого Запада имеются «свой Восток» и «свой Запад» (романо-германская Европа и Византия, потом Русь), но что «намечающейся в западной половине Старого Света противоположности средиземноморской области и степного мира соответствует на Дальнем Востоке соотношение Китая и того же степного мира в центре Евразийского материка. Только в последнем случае Восток и Запад меняются ролями: Китай, являющийся в отношении Монголии географическим „Востоком“, в культурном отношении является для нее „Западом“».<sup>1</sup> Не забудем также, что Марокко расположено «западнее» большей части Европы, однако относится к «Востоку». Еще один подход предлагает доктрина евразийцев, а также теория Л. Н. Гумилева, согласно которому «исторические закономерности развития середины континента, его западной и восточной окраин, лесной и степной зон имеют общие черты, точнее, свою специфику культуры, которая резко отличает этот регион и от *Запада*, и от *Востока*».<sup>2</sup> С другой стороны, есть «западный», «христианский Восток» (сирийско-коптское культурное единство) и «восточный», «мусульманский Запад» (андалусская культура).

Разговор о «Востоке» и «Западе» усложняется еще и неоднократным переносом их границ. Решающее значение в этом смысле имело завоевание арабами севера Африки, исконно «западной», эллинистическо-римско-христианской средиземноморской зоны, родины Августина Блаженного. Завоевание Африки арабами, согласно Рамону Менендесу Пидалью, «серьезнейшим образом нарушило равновесие средиземноморского Запада, в частности Испании. Блистательно латинская, глубоко христианская Африка, вызывавшая восторг Исидора Севильского, превратилась в Африку исламскую, отторгнутую от западного мира и связавшую свою судьбу с азиатским Востоком».<sup>3</sup> Через тысячу лет своеобразной духовно-географической компенсацией и восстановлением равновесия между Востоком и Западом явилось завоевание русскими исконно «восточной» зоны — Сибири, вовлечение ее в «Запад», завоевание, которое тоже осуществлялось по горизонтали, в данном случае по северу Азии. Кстати говоря, христианизация Сибири русскими не просто во многом повторяла опыт

<sup>1</sup> Россия между Европой и Азией: евразийский соблазн. М., 1993. С. 24—25.

<sup>2</sup> Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии. Эпохи и цивилизации. М., 1993. С. 71.

<sup>3</sup> Pidal R. Menéndez. Los españoles en la historia. Madrid, 1982. P. 193.

испанцев в Америке, но и образовала в результате, при встрече тех и других в Калифорнии, своеобразный крест, поскольку испанцы двигались с юга на север, а русские — как бы им навстречу, с запада на восток.

«Европа и мы» — вряд ли таким, типичным для русских и испанцев вопросом могут задаться француз, немец или чех. При всей разработанности, с одной стороны, и неоднозначности — с другой — понятий и явлений имеет смысл остановиться на двух моделях пограничной культуры — России и Испании. При всем их различии они позволяют, на мой взгляд, выявить некоторые общие закономерности.

Пространство русской и испанской культур на всем протяжении их многовековой истории с неизбежностью заставляет ставить вопрос о той роли (двери, моста или перекрестка), которую они играли и играют между Востоком и Западом, равно как и об отражении и преломлении в них тяготевших к ним или пытавшихся их подавить цивилизаций, религий или литератур. Общие корни стимулировали заимствование опыта, в том числе и негативного. Например, не случайно и испанцы, и русские оказались столь удачливы в конкисте, ибо следовала она и в том и в другом случае сразу за реконкистой, за отвоеванием собственной территории, и явилась тем самым непосредственным продолжением предшествовавшего опыта. Не стоит при этом забывать, что испанский опыт предшествовал русскому и был известен в Московии. И наоборот, опыт русской империи волновал умы испанцев уже в XIX столетии. В одном из «Писем из России» Хуана Валеры, написанном 11 января 1857 года, есть любопытный пассаж, в котором будущий крупнейший испанский писатель, составивший себе славу именно этими письмами, приводил Россию как великую империю со своей особой миссией на Востоке в пример своей родине.<sup>4</sup> С другой стороны, русские умы волновал опыт испанской инквизиции. Более того, он был применен в связи с процессом по делу ереси *жидовствующих*, т. е. в связи с той же «пограничной» ситуацией, причем с прямой отсылкой к испанскому образцу. Архиепископ Геннадий в письме 1490 года в данном случае действительно однозначно популяризировал инквизиционный опыт испанцев, которые «по своей вере какову крепость держат!». Он с явным сочувствием рассказывает о том, что, поскольку в землях «шпанского короля» «ереси начали прозябати», инквизиция в свою очередь начала искать «лихо» и, как следствие, «все новых казнили многими казнями и многими ранами, да и сожгли». В результате как в Новгороде, так и в Москве были устроены, в подражание инквизиционной обрядности, процессии осужденных *жидовствующих*, посаженных на лошадей задом наперед и на головах которых сжигали берестяные шлемы. В Москве же и самих осужденных отправили на костер.<sup>5</sup>

Нет никакого сомнения, что главной причиной взаимного тяготения послужила несомненная близость. Лучшие умы России и Испании обращали внимание на сходство русского и испанского национальных характеров, мировидения обоих народов. «В Испании, — писал Толстой, — много интересного, и боюсь, я уже не успею поговорить подробно об этой стране, столь похожей на ту, в которой мне довелось родиться».<sup>6</sup> В письме от 1898 года, адресованном Анхелю Ганивету, находившемуся в ту пору

<sup>4</sup> *Valefa J. Obras completas. Madrid, 1947. Т. 3. P. 103.*

<sup>5</sup> См.: *Алексеев М. П. Русская культура и романский мир. Л., 1985. С. 7—9.*

<sup>6</sup> Письмо в редакцию журнала «La Revista Blanca». Цит. по: *Azorin. Obras completas. Madrid, 1947. Т. 1. P. 851.* Это письмо было напечатано в «Almanaque de la Revista Blanca para 1902» (Madrid, 1901). Письмо редакторов этого журнала от 3 октября 1901 года с просьбой

в Риге в качестве сотрудника испанского консульства, Унамуно признавался: «Меня бесконечно интересует в России все самое русское, самое подлинное, самое исконное, наименее космополитическое. Я всегда был убежден в существовании несомненных аналогий между русским и испанским национальными характерами. Смирение, отношение к жизни, бесстрастная религиозность масс и мистические порывы избранных, те же основы экономической жизни, вплоть до явственных элементов *мира* у нас (...) И даже толстовство значительно ближе нам, чем во Франции или в Италии, странах слишком латинизированных и слишком языческих».<sup>7</sup> О глубинном смысле русских и испанских колыбельных песен, резко отличающем их от колыбельных песен остальной Европы, писал Ф. Гарсиа Лорка.<sup>8</sup>

Общие корни обуславливали и сходные тенденции развития, в том числе в литературе. *Плач о погибели родной земли* — жанр, по вполне понятным трагическим причинам общий для всех пограничных культур, ярчайшие проявления которого находим как в испанской, так и в русской литературе. Речь идет о двух знаменитых фрагментах «Первой Всеобщей хроники» Альфонса Мудрого, известных под заглавием «Хвала Испании, исполненной всяких благ» и «О скорби готов Испании», и о шедевре русской литературы, отрывке «Слово о погибели Русской земли». Сила эмоционального воздействия и в том и в другом случае достигается контрастом между лирико-описательной частью, восхищением красотами и богатством родного края, и финальной фразой, обрывающейся на горестномestone. В. В. Данилов, впервые сопоставивший оба отрывка, писал: «На самом деле в других литературах находим композиции, в некоторых моментах очень близко напоминающие „Слово о погибели“ по содержанию, стилю, патетическому пафосу и по историческим условиям возникновения. Генетически они никак не связаны между собою, ни тем более со „Словом о погибели“, но сравнение их с последним представляет несомненный интерес».<sup>9</sup> Вполне естественно, что одним из этих текстов оказывается также описание разрушения Иерусалима в «Иудейской войне» Иосифа Флавия.

Пограничные культуры порождали любопытнейшие симбиозы в архитектуре, музыке, живописи, литературе, на которых я, естественно, не имею возможности останавливаться. Скажу лишь несколько слов о *харджях* — ярчайшем проявлении «смешанной поэтической системы», возникшей в арабской Испании, первых образцах поэзии на новоевропейском языке, самые ранние из которых датируются XI веком. Важнейшей особенностью *мувашиша* — небольшой поэмы (предназначенной для пения под аккомпанемент какого-либо музыкального инструмента), составной частью которой являлись *харджи*, — был резкий переход с одного языка на другой. Тем самым *мувашиш* был поэтической системой гетерогенного типа, в которой переключение с одного языка на другой означало переключение с одной поэтической традиции на другую. При зарождении жанра в какой-то мере свою лепту внесли три народа: испанцы, арабы и евреи, при этом харджи на романском языке, скорее всего, были наиболее древними.

прислать для них какую-нибудь работу сохранилось в архиве Л. Н. Толстого (напечатано в кн.: Толстой и зарубежный мир. М., 1965. Кн. 1. С. 470 (Лит. насл., Т. 75)).

<sup>7</sup> Morell A. Gallego. Estudios y textos ganivetianos. Madrid, 1971. P. 100.

<sup>8</sup> Лорка Ф. Гарсиа. Самая печальная радость... М., 1987. С. 69.

<sup>9</sup> Данилов В. В. «Слово о погибели Русской земли» как произведение художественное // ТОДРЛ. М.; Л., 1960. Т. XVI. С. 142.



С известной долей осторожности можно попытаться определить хотя бы некоторые из тех особенностей, которые присущи всем пограничным культурам. Важнейшей из них, по всей вероятности, является одновременная большая, по сравнению с культурами непограничными, *открытость* и *закрытость*. По одной и той же причине — сосуществование на протяжении многих веков с чуждыми, хотя и не обязательно враждебными культурами, — культуры пограничные неизменно являются особенно восприимчивыми к идущим извне влияниям и в то же время ревниво оберегающими свою самобытность. Этой особенностью объясняется столь характерное для русской и испанской культур постоянное напряжение между двумя полярными тенденциями — *охранительной* и *космополитической*, «всемирной отзывчивостью» и сохранением традиций, сочетание которых и является не только естественным, но и единственно возможным для подобного типа культур динамичным фактором их развития.

Соблазны *своего* (исключительно) или *чужого* (исключительно) пути явственны в истории и культуре не только Испании и России, но, по-видимому, любой пограничной культуры. Сопоставление «пограничного» опыта разных моделей показывает, что ничего исключительного в истовом западничестве и столь же истовом славянофильстве или испанофильстве нет, ибо оба уклона являются проявлениями общей для всех пограничных культур тенденции, полярной реакцией на сходную культурно-историческую ситуацию. Энергичные попытки сохранить *свой* путь, понося европейскую технократическую, атеистическую цивилизацию, либо привить *чужой*, понося дремучую, провинциальную ограниченность, удивительным образом совпадавшие вплоть до деталей, были свойственны мыслителям и публицистам как Испании, так и России. Любопытна при этом и, видимо, закономерна безоговорочная взаимная симпатия русских и испанских западников и настороженное тяготение друг к другу славянофилов и испанофилов. Характерным, например, является отношение Рамиро де Маэсту к Достоевскому. В нашедшей книге «Защита духа» Маэсту приветствует стремление Достоевского и русских мыслителей восстановить духовные приоритеты, утраченные современной технократической цивилизацией, духовное горение и страсть, с которыми те утверждают в новое время истины христианства, и в то же время очень болезненно воспринимает критику католицизма, а косвенно и Испании.<sup>10</sup> В испанской публицистике рубежа веков мы обнаруживаем широкий спектр рецептов, различных вариантов дальнейшего пути страны, подчас чрезвычайно напоминающих споры о судьбах России той же поры. Авторитетными и противоборствующими были такие программы, как идея А. Ганивета замкнуть Испанию, закрыв двери в Европу, «западнический» проект европеизации Испании, предложенный Х. Костой и молодым М. де Унамуно, мессианские идеи духовной экспансии Испании, «испанизации» Европы, выдвинутые впоследствии тем же Унамуно, любителем резких поворотов.

Согласно формуле Рамона Менендеса Пидалья, относящейся к Испании, но вполне применимой и к России, речь всегда шла о постоянном колебании маятника между этапами изоляции и интеграции.<sup>11</sup> Противоборство между этими двумя тенденциями с неизбежностью порождало мессианские идеи, ощутимые в истории и культуре обоих народов. Мессианство

<sup>10</sup> *Maestu R. de. Defensa del espíritu. Madrid, 1958. P. 139.*

<sup>11</sup> *Pidal R. Menéndez. Op. cit. P. 182—198.*

пограничной культуры, неотторжимой от Востока в силу географического положения и от Запада в силу христианской религии, — сквозная тема книги «Европа и душа Востока» (1938) Вальтера Шубарта, профессора социологии и философии Рижского университета. Шубарт многим обязан был русской религиозной философии, главным образом Владимиру Соловьеву, и книга его посвящена прежде всего особой духовной миссии России, однако в одной из глав — «Испанцы и русские. Миссия Испании» — речь идет об испанской культуре, находящейся в другой крайней точке «великой европейской диагонали»<sup>12</sup> и выполнявшей в течение веков во многом сходную роль. Одной из отличительных черт русского и испанского пограничного комплекса рижский славист считает их стремление нести по свету свою веру, отстаивать ее чистоту с истовостью и максимализмом. Он же отмечает и обратную сторону того же идейного и духовного комплекса — мессианской душа русского и испанского народов является до тех пор, пока она не теряет надежды в своем алкании Небесного Царства, в своих попытках приблизиться к земному раю. Утратив эту надежду, оба народа легко проникаются нигилизмом: «На пороге протеевой эпохи испанец, неизлечимый в своем стремлении к универсализму, в своей борьбе за христианскую общность готов совершить преступление против человечества. Чем бессмысленнее оказывается борьба, тем больше им овладевает атеизм. Но стоит лишь человеку культуры исхода стать атеистом, как он превращается в нигилиста, восстает против Бога и мира. Ему уже недостаточно проходить безразлично мимо церквей, он их сжигает. Только в России и в Испании мир увидит массовое осквернение церквей».<sup>13</sup>

В целом в построениях Вальтера Шубарта есть известный элемент утопизма, равно как и в самом русском и испанском сознании, предрасположенном к утопиям. Искушение максимализмом, соблазны «чужого» или «своего» пути, предрасположенность к крайностям явственны в русском и испанском национальных характерах. Любопытным свидетельством тому является наизидание Ортеги-и-Гассета, высказанное им в одном из писем к Мигелю де Унамуну: «Я глубоко убежден, что вам следует сосредоточиться на объективном изучении явлений культуры {...} Я бы приветствовал, если бы вы, для соблюдения духовной диеты, посвятили себя какой-нибудь сугубо научной проблематике. Да послужит вам „Моя вера“ Толстого предостережением: *я обратился к наукам и не нашел...* в этом есть что-то семитское и антиевропейское».<sup>14</sup> С точки зрения Ортеги-и-Гассета, самого *европейского* из мыслителей Испании, Толстой и Унамуну, ярчайшие представители национального типа мировидения и мироощущения, в своих исканиях удалялись от общеевропейского стандарта.

Другой ключевой для пограничных культур особенностью является особая роль религии в жизни нации. Самым, по-видимому, знаменитым (благодаря роману Толстого «Война и мир») высказыванием, сводящим Россию и Испанию воедино в связи со сходными историческими ситуациями — наполеоновскими войнами, является ответ генерал-адъютанта Балашова Наполеону. «Прошу прощения у вашего величества, — сказал Балашов, — кроме России, есть еще Испания, где также много церквей

<sup>12</sup> *Ortega y Gasset J.* España invertebrada. Ed. Calpe. 1921. P. 146.

<sup>13</sup> *Schubart W.* Europa y el alma del Oriente. Madrid, 1946. P. 265.

<sup>14</sup> *Epistolario completo Ortega—Unamuno.* Madrid, 1987. P. 60.

и монастырей» — ответ, намекавший на недавнее поражение французов в Испании.<sup>15</sup>

Религиозный подбой философствования в обеих странах, особенно примечательный в сравнении с философией Германии, Франции и Англии нового времени, по преимуществу секуляризованной, является еще одной их отличительной и общей особенностью. Неотторжимость философской мысли Испании и России от художественной литературы — еще одна характернейшая ее черта, неоднократно отмечавшаяся в связи с каждой из них в отдельности. Как Сенека, Маймонид, Люллий, Вивес, Святая Тереса, Грасиан, Унамуно, Ортега-и-Гассет, так и Толстой, Достоевский, Владимир Соловьев, Василий Розанов, Николай Бердяев, Павел Флоренский — великие мыслители в той же степени, что и великие художники. В сравнении с Германией и Францией, которые дали миру великих философов, Россия и Испания подарили миру великих мыслителей.

Феномен пограничного сознания, понятие *границы* как категории философии культуры допускает множество подходов. Речь идет не только о пограничных странах, народах и культурах, пограничных между различными религиями и цивилизациями. Огромную роль в культуре играет пограничье между эпохами. Бесспорно, что оно в равной степени и одновременно обостряет предчувствие конца и предощущение начала. Все мы, например, начинаем сознавать, что входим в пограничную зону между веками. Видимо, в том случае, когда встреча веков сопровождается встречей тысячелетий, эта пограничная зона оказывается куда более протяженной и все мы давно уже в нее вступили. Рождение новых талантов, новых тенденций в культуре следует ожидать прежде всего именно в пограничные эпохи. С другой стороны, в высшей степени продуктивным оказывается пограничье между различными стилями, различными науками, литературой и наукой.

Феномен пограничья неизменно волновал Л. Н. Гумилева. Особенно плодотворны его рассуждения о границе как широкой зоне, нейтральной полосе в сотни километров, как это было в Московии XVI века, США прошлого столетия и, я бы также добавил, в Испании периода реконкисты: «В современном понимании граница — это некий природный или искусственный рубеж (река, горный хребет, полоса укреплений), отделяющий „своих“ от „чужих“. Но в условиях сибирских или южнорусских степей определить границы подобным образом часто было просто невозможно. Рубежами, пограничьем растущей России в XVI веке служили огромные пространства Дикого поля и Сибири».<sup>16</sup> Описанная ситуация не только повторяет модель взаимоотношений христианской и мусульманской Испании на протяжении восьми веков или предвещает ситуацию с понятием границы в Северной Америке, где оно охватывало огромную территорию от Миссисипи до Кордильер, но вполне применима к культуре, к любому типу пограничья между эпохами, стилями, искусствами, науками. Как в реальной пограничной ситуации замки, казачьи заставы и засеки строились и устанавливались либо на ничьей земле, либо даже на чужой территории, так и в культуре мы вправе выявлять подобные «казачьи заставы» на чужой территории. Тем самым Бердяев или Ортега-и-Гассет — из стана философов — будут «казачьими заставами» на территории литературы, а Борхес или Андрей Белый, наоборот, — «казачьими заставами» литературы в стане философии. Примером иного рода

<sup>15</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М.; Л., 1932. Т. 11. С. 30.

<sup>16</sup> Гумилев Л. Н. От Руси до России. СПб., 1992. С. 175.

могут служить такие писатели и мыслители, как Гельдерлин, Блейк, Рембо, Ницше, намного опережавшие свое время, забежавшие вперед. Опять-таки, как в реальной пограничной ситуации замки и заставы с переменным успехом ставились с той и с другой стороны, в культуре великие художники, творящие на границе между эпохами, подчас удивительным образом сохраняют в себе ушедшую эпоху. Так было с Пушкиным, продлевающим жизнь веку XVIII, так было с Булгаковым, сохранившим в себе век XIX.

Не забудем еще об одной особенности или даже, скорее, миссии пограничного сознания и пограничных культур — связующей. Подтверждением тому является и наш коллоквиум.

**Й. ВАН БААК**

## **О ГРАНИЦАХ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ**

Само название этой конференции — «Пограничные культуры между Востоком и Западом» — уже указывает путь к возможной методике культурного анализа и описания, т. е. к метаязыку пространственных отношений. Конкретное расположение определенной культуры в географическом пространстве вполне может служить исходным пунктом для описания этой культуры и для сравнений между культурами.

Семиотические исследования последних десятилетий показали плодотворность подхода, основанного на представлении о том, что язык пространственных отношений, помимо его прямого значения в культуре, является универсальным моделирующим средством для выражения всевозможных непространственных, а именно модальных, ценностных и идеологических значений. И поскольку культура есть феномен динамический и исторический, то тут необходимо учесть и категорию времени. Само собой разумеется, что первыми носителями этих семиотических процессов являются язык и литература.

Идеальным результатом такого анализа, я полагаю, была бы не только какая-нибудь парадигматика изучаемых культур. Такое исследование также внесло бы важный вклад в определение коллективного самосознания и менталитета, т. е. в структурное описание мнений, оценок и представлений определенного народа или населения о себе и об остальном мире, включая как факты, так и мифы, клише, составляющие в целом энциклопедии и образы мира изучаемых культур.

В этой статье я хочу привести некоторые подобные «модально-пространственные» соображения из области русской культуры. Это значит, что я исхожу из пространственных данных, географических координат определенного культурного мира, которые так или иначе служат для самоописания, и для самооправдания, любой культуры. Мой типологический анализ географического пространства как комплекса общекультурных параметров примыкает к синтетической идее «гео-этнической панорамы» В. Н. Топорова, установившего подобные связи между пространством, культурой и историей.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Топоров В. Н. К происхождению и функциям «гео-этнических панорам» в аспекте связей истории и культуры // История и культура. Тезисы. М., 1991. С. 86—108. (Ин-т славяноведения и балканистики АН СССР).

На этой основе должно конструироваться пространство культуры в смысле концептуального пространства, т. е. в смысле распределения и иерархии представлений о нем и связанных с ним ценностей. Например, американский тип культуры имеет географически идентифицируемое место происхождения, но в то же время по некоторым доминантным своим признакам проявляется и распространяется независимо от этой территории (всемирное явление «американизации» культур). Или же феномен такой стилистической формации, как классицизм в Европе, когда следует учитывать национальное, т. е. исторически и территориально обусловленное его развитие (к примеру, классицизм в России и классицизм в Голландии отличаются друг от друга по своим конкретным культурным контекстам и смыслам).

В качестве простых пространственных категорий для подобного анализа мы берем прежде всего качественные, модальные признаки понятия границы (или ее отсутствие), с одной стороны, и направления (розы) ветров — с другой.

Можно сказать, что без определенного понятия границы немислимы ни самосознание, или идентитет, ни сама культура. В ряде работ о семиотических функциях границ в культуре как механизмов порождения значений (информации) писал Ю. М. Лотман. Например, в одной из своих последних книг, в синоптическом «Universe of the Mind», он различает два основных типа границ: внешние, т. е. границы между «своей» и «чужой» культурами, и внутрисистемные (культурные) границы. При этом надо учесть, что как присутствие, так и отсутствие маркированной границы может быть значимым элементом в характеристике определенной культуры, в том числе и русской.

Дискуссия о положении русской культуры между Востоком и Западом и между Севером и Югом мне кажется важной, и не только потому, что это всеобщий и принципиальный культуроведческий вопрос, который неизбежно возникает в связи с любым культурным контекстом.

Как раз в настоящий момент русская культура переживает кризис самосознания, кризис в своих культурных ориентирах. Это само по себе, конечно, не новое явление. Однако мне кажется, что теперешний кризис России отличается, во всяком случае, от катастрофы 17-го года не только тем, что на этот раз исчезли без революционного (пока) переворота официальная (советская) ценностная система и идеология, которые давно были мертвыми, но и тем, что одновременно потерялось также привычное сочетание пространственных ориентиров в привычной, многовековой имперской «обширности». В связи с этим как бы напрашивается пространственно-физическая метафора вакуума, или, может быть, процесса «имплодирования». Не осмелюсь здесь дальше развивать эту весьма спекулятивную метафору; окончательно установить ее справедливость, конечно, дело будущего. В то же время можно заметить в современной русской культурной критике оживленную историко-философскую и идеологическую дискуссию о сущности русской культуры и ее судьбе. Ее участники, по-видимому, неизбежно употребляют именно пространственные и географические параметры в качестве модальных, моральных и культурных индексов.

В этой связи я хочу особенно отметить две культурологические и «культурософские» статьи академика Д. С. Лихачева, напечатанные в «Новом мире».<sup>2</sup> В этих статьях Лихачев, между прочим, производит боль-

<sup>2</sup> Лихачев Д. С. 1). Нельзя уйти от самих себя... Историческое самосознание и культура России // Новый мир. 1994. № 6; 2) Культура как целостная среда // Там же. № 8.

шую и, на мой взгляд, очень важную коррекцию в некоторых закоренелых и слишком упрощенных или прямо извращенных представлениях о месте истории русской культуры между Севером и Югом и между Востоком и Западом. Одну из таких упрощенных или просто необоснованных, идеологически предвзятых идей он видит в евразийстве. В сущности евразийство ставит русскую культуру в уникальное положение — не только в пространственном, но и в идеологическом и даже эсхатологическом смысле — между Востоком и Западом или, лучше сказать, вне контекста Запада и Востока (ср. работы Л. Н. Гумилева как продолжателя евразийства; на оживший в 90-е годы в России интерес к идеям и мыслителям евразийства указывает, например, W. Weststeijn).<sup>3</sup> Лихачев опровергает евразийство на основе своей интерпретации исторических данных. При этом интересно еще указать на более раннюю критику евразийства Д. С. Мирским.<sup>4</sup> У него мы находим мнение, что идеи евразийства основаны на искусственных границах и разграничениях.

Коррекция Лихачева состоит в том, что он придает оси Север—Юг большее историческое и культурно-моделирующее значение, чем оси Запад—Восток. Для этого он также вводит новый термин «Скандовизантия». Он подчеркивает, что Восток в культурных мотивах русской культуры играет относительно незначительную роль, и то больше через западное влияние. Здесь также важно учесть, что Лихачев исходит из внутрикультурной точки зрения, как уже видно из семантики заглавий упомянутых его статей.

Однако Д. С. Лихачев большей частью ограничивается обсуждением ранних этапов русской культуры, в развитии которых преобладала ось Север—Юг. Свою статью о культуре как целостной среде он заканчивает тезисом, что русские, если они хотят принадлежать к общечеловеческой культуре и если они хотят «понять духовные и культурные ценности и Азии и античности», должны быть, вследствие русской культурной традиции, как раз «русскими европейцами».

Перед тем как сузить тематику и обратиться к вопросу о Севере (скорее, Северо-Западе) в русской культуре, необходимо сначала привести некоторые соображения о понятии границ в русском культурном контексте. Я думаю, что отношения русской культуры к Западу и Востоку стоит противопоставить друг другу по типу границ, с которыми связаны эти концепции. Иными словами, нужно задаться вопросом: чем пограничное положение русской культуры к Востоку отличается от ее пограничного положения к Западу?

Пограничное положение русской культуры в этом смысле неоднозначно, поскольку можно различить два главных типа пограничных положений: 1) пограничность как смежность без границ или без четких установленных границ к Востоку, открытая смежность с «безбрежным» пространством Сибири; 2) пограничность с четкими границами к Западу.

Было бы интересной, но огромной исследовательской задачей выяснить, как и насколько эта двойная пространственно-качественная характеристика влияла на доминантную модель мира русской культуры. Ограничусь некоторыми соображениями-гипотезами.

<sup>3</sup> *Weststeijn Willem G. Aspects of Eurasianism. Structure and Tradition in Russian Society // Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yuriy Mikhailovich Lotman «Russian Culture: Structure and Tradition» / Ed. Robert Reid, Joe Andrew and Valentina Polukhina. Helsinki, 1994. P. 171—186. (Slavica Helsingiensia; Vol. 14).*

<sup>4</sup> *Mirskij D. S. The Eurasian Movement // The Slavonic Review. 1927. VI. N 17. P. 311—319.*

Пограничное положение России по отношению к Востоку имеет типологический характер открытой смежности в пространстве, в котором можно потеряться. Это принципиально асимметричное положение (как с точки зрения русской культуры, так и с точки зрения Востока).

Сначала имело место проникновение с Востока на Русь, потом наоборот. Исторически политическое влияние со стороны Востока ограничивается позднесредневековым периодом, маркированным падением Киева. Позже, с возникновением Московского государства, наступает обратная фаза, т. е. завоевательское, колонизаторское, а потом и имперское отношение со стороны России (начиная с экспедиций Ермака). Особенное место занимает, как мне кажется, Аввакум, давший в сущности духовное понимание Сибири.<sup>5</sup> Отношение России к сибирскому Востоку характеризуется проникновением, завоеванием и освоением как территориально, так и в смысле идеологического и культурного присвоения (интересный текст в этом смысле — «Детские годы Багрова внука» С. Т. Аксакова). Колонизация Сибири сопровождалась тенденцией русификации восточного пространства. В то же время, с одной стороны, существует менталитет неприятия (иногда игнорирования, запрещения) местных культур наравне с собственной, а с другой — со временем развивается и несомненный академический и художественный интерес к культурам Востока в качестве «объектов» (ср. процветание ориенталистики в России).

Это значит, что Россия проявляет признаки поведения колониальной державы, и поэтому, при всех исторических и фактических различиях, в этом отношении она сравнима с такими странами, как, например, Англия и Голландия. Однако в течение многовекового контакта неизбежно происходит внедрение элементов и влияние на культуру колонизатора со стороны колонизированной культуры (аналогично Голландии в ее отношениях с Ост-Индией и Англии с Индией).

Особенно интересно, в чем и как сказывается такое инокультурное внедрение или заимствование. Это происходит в сфере языка, главным образом в развитии лексики, связанной с материальной культурой и с контактами между людьми. Языки обеих культур перенимают друг у друга слова и концепции. Они с течением времени могут стать общим достоянием всех носителей культуры и их потомков.

Кроме того, в определенные периоды истории появляется усиленный интерес к Востоку в широком культурном и экономическом смысле (например, явление «chinoiserie» и т. п.). Он становится особенно заметным с наступлением модернизма в конце прошлого века в западных культурах, включая Россию. Это обращение культурного интереса к Востоку, особенно к Японии и Китаю, связано с тогдашним культурным, политическим и духовным положением стран Запада и составляло часть общей культурной динамики того периода. Востоком интересовались тогда и политики, и художники. Напомним, что около 1900 года разворачивалась борьба между колониальными державами за торговые концессии в Китае.

В России Дальний Восток, конечно, всегда имел политическое значение. Война с Японией была национальной травмой для русских. Небезынтересно, что, например, Николай II был даже убежден, что будущее России лежит исключительно на Востоке.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> *Diment Galya, Slezkine Yuri* (eds.). *Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture*. New York, 1993.

<sup>6</sup> *Lieven Dominic*. *Nicholas II. Emperor of All the Russias*. London, 1993.

Для художников Восток служил источником новой эстетизации (появление японского стиливого образца в определенный период творческого развития Ван Гога или Азия, и экзотика вообще, в творчестве разных поэтов как в России, так и в других странах Европы). Но кроме потребности в экзотике Восток, видимо, отвечал и более глубоким поискам духовных, чисто мистических альтернатив материализму и реализму (манизму), которые тогда еще в значительной мере доминировали в европейском, западном мировоззрении. В России, вследствие ее собственных отношений с Востоком, эти поиски облекались в противоречивую литературную форму и выражались, например, в «ориентализме—монголизме» символистов: это и Соловьев («Панмонголизм», «Ex oriente lux»), и Белый («Петербург», «Крещеный китаец»), и Брюсов («Грядущие гунны»), и Блок («Скифы»), и Волошин и т. д.

Заметно возрождение образа Востока как орудия судьбы, как катастрофы и одновременно как очищающей силы, как проекции того, что принималось тогда многими за историческое назначение и превосходство России в мире, а некоторыми — за национализм и за исключительную претензию России создать по-настоящему универсальную культуру.<sup>7</sup> Позже, в незаконченном своем «Биче Божьем» (1928—1935), Замятин представит в лице Аттилы разрушительный кочевой динамизм Востока, угрожавший Римской империи незадолго до ее раздробления. Это, видимо, перекликается с тогдашним мировоззрением, выраженным особенно ярко в «Untergang des Abendlandes» Шпенглера (1918—1922).

Однако положение России существенно отличалось от положения западноевропейских стран тем, что Россия всегда непосредственно примыкала к пространству Востока. Вследствие этой пространственной смежности в ее культурной памяти всегда существовал образ, или Gestalt, Востока как соседа. Причем в этот образ-гештальт входили разные противоречивые модальности.

С одной стороны, в нем присутствовали, конечно, негативные представления о конкретной Сибири ссыльных (например, декабристов) и каторжников, но и, может быть, своего рода боязнь перед просторами Сибири, которая именно своей безбрежностью, бесконечностью и своей неупорядоченностью представляет угрозу хаоса (что, вероятно, и объясняет очарование этого восточного пространства для разных модернистских художников).

Но, с другой стороны, Сибирь издавна таила в себе обещание воли и спасения от императорской власти. Она представляла собой образ испорченной природы (см., например, очерки Чехова «Из Сибири», а в наше время произведения таких авторов, как Распутин, Астафьев и др.). Конечно, также важен образ Сибири как крестьянской утопии (ср. мотив Беловодья) и как морального «чистилища».<sup>8</sup> С этим еще связан и образ Сибири как настоящей, «чистой» Руси или России, где все больше, крепче и т. п., чем в самой России, т. е. Сибирь — это место «максималистских» проекций, которые считаются характерными для русского менталитета вообще. Интересным следующим шагом в рамках этого исследования было бы определение «максимализма» как менталитета, пользуясь семиотикой вышеописанных пространственных категорий.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> *Mirskij D. S. Uncollected Writings on Russian Literature / Ed. by G. S. Smith. Berkeley, 1989. P. 76, 79.*

<sup>8</sup> *Лотман Ю. М. О сюжетном пространстве русского романа XIX столетия // Труды по новым системам. Тарту, 1987. Вып. 20. С. 102—115.*

<sup>9</sup> См. также: *Diment Galya, Slezkine Yuri. Op. cit.*



Во время гражданской войны сразу и неизбежно проявилась исконная безграничность и открытость этой территории Востока в пространственном, военно-политическом, а также в культурном и даже антропологическом смысле. В литературе это ярче всего выражено в творчестве таких авторов, как Вс. Иванов («Голубые пески», «Цветные ветра», «Хабу») и Николай Никитин, которые переносят свои сюжеты на периферию России.

С точки зрения литературной и культурной семиотики, эту специфику пространства можно сформулировать на трех уровнях. Революционно-катастрофические сюжеты исторического авангарда своеобразно выражают архетипическое противопоставление природы и культуры тем, что между этими рядами устанавливается символическое и иконическое отношение по признаку безграничности. *Пространственно*: безграничность пространства Сибири—Востока и культурной периферии вообще; *модально*: неупорядоченность этого пространства, т. е. отсутствие или потеря надежных, привычных культурных, политических и т. п. связей или, другими словами, потеря порядка вещей, порядка мира. Эта черта характерна для любого фронтового положения, мира войны, и сопровождается характерным признаком (*морально*): необузданность, безудержность человеческого поведения, «озверение».

Пограничность с четкими границами к Западу (Северо-Западу) — это такое положение, когда с обеих сторон границы находится однородное культурное пространство и когда существует в принципе симметрия. В отличие от предыдущей ситуации (пограничности как смежности без границ к Востоку), четкость границ предполагает симметрию в том смысле, что соседи более или менее эквивалентны. Это не пространство, где можно потеряться, как в сибирской безбрежности, — все пространство «занято» в принципе эквивалентными культурами. Это значит, что с обеих сторон мы имеем дело с симметрическими конфронтациями, например: моряк — моряк, торговец — торговец, рыбак — рыбак, солдат — солдат, полководец — полководец, а не с разнородными конфронтациями, как, например, с одной стороны горожанин, военный, купец, священник и т. п., а с другой — кочевник, охотник, оленевод, шаман.

Типологически смежность с четкими границами не исключала, однако, исторических конфликтов между Россией и западными (и южными) странами, например Московское государство — Новгород, Московское государство — Литва, Московское государство — Польша, Россия — Швеция, Россия — Пруссия или Германия.

Исследование русской культуры по семиотике, так сказать, компасных категорий показывает, что направления ветров не равноправны в их значимости как культурных индексов и что отношения между ними меняются с течением времени.

Север как культурный ориентир, без сомнения, приобрел особое значение для русских. Характер Севера как границы русской культуры, на мой взгляд, неоднозначен. В смысле географической границы (смежности) и культурной конфронтации с Севером в течение русской истории можно обнаружить черты обоих вышеуказанных типов пограничных положений. И действительно, с точки зрения русской культуры, Север иногда как будто «сливается» с Востоком, иногда представляет модель мира западных культур.

Мы встречаем эксплицитное полярное противопоставление Севера Югу в литературных картинах мира, например в противопоставлении скромной, будничной или даже серой шири России экспрессивному Кавказу.

Оно в то же время является типичным разделением мира по признаку «свой — чужой» и другим комплексам ценностных категорий. Мы также встречаем случаи, в которых фигурирует только Север или какой-нибудь его условный метоним.<sup>10</sup>

Оказывается, что в некоторые периоды Север становится богатым источником поэтических образов, символов и мифологических представлений, а в другие — лишь географическим фактом. Эта оппозиция по литературной значимости или незначимости Севера поразительным образом совпадает с чередованием стилистических формаций первичного и вторичного типов.<sup>11</sup> Конкретно это значит, что в истории русской литературы романтизм и символизм (или модернизм) являются периодами, когда Север мифологизируется и развивает своеобразную символику в рамках одушевленного восприятия природы. Укажу лишь на главные тенденции этого процесса.

В истории русского культурного осмысления Севера влияние западных культурных моделей играет существенную роль.

Начнем с XVIII века. Среди французских мыслителей Просвещения родился миф о просвещенном Севере, ставшем таковым под руководством Екатерины II. Вольтер сказал, что солнце просвещения стало сиять с Севера. Этим он, конечно, пародировал модный миф XVIII века о прогрессе человечества при просвещенной монархии. Положительная культурно-философская оценка Севера в этом веке основана в значительной степени еще и на авторитете таких авторов, как Монтескье («L'esprit des Lois») и Поль Анри Маллет («Monuments de la mythologie et de la poésie des Celtes et particulièrement des anciens Scandinaves»). И с самого основания Петром I северной столицы Север стал приобретать обширное комплексное и высокое символическое значение.

История и мифология города Петра неразрывно связаны с образом Севера, и особенно с демонической стороной Севера. Одновременно, с перемещением центра политического и общественного тяготения на Север, Юг в широком смысле (т. е. включая, например, Москву) в большей или меньшей степени отодвигается на периферию. Ломоносов воспекает северное сияние и употребляет слова «Север» или «Полночь» для обозначения русской державы. Авторитет Севера как положительный культурный индекс очевиден, например, из названий разных журналов и организаций: «Северное общество», «Полярная звезда», «Северная пчела», «Северные цветы» и т. д.

В тот же период имеет место русская рецепция западной нордической мифологии вместе с ее мистификациями: скандинавские и германские мифы, Оссиан, Калевала. В то время как многие поэты-офицеры создают южный литературный мир романтического Кавказа, на севере, в Финляндии, Батюшков, Боратынский и Ф. Глинка защищают скромные, но очаровательные поэтические качества «серого» Севера.

<sup>10</sup> Baak Joost van. Visions of the North: Remarks on Russian Literary World-pictures // Dutch Contributions to the X International Congress of Slavists. Sofia-1988 / Ed. by A. G. F. van Holk. SSLP. Vol. XIII. Rodopi; Amsterdam, 1988. P. 19—43; Boele O. F. «Нам бури, вихрь и хлад знакомы». Осмысление зимы 1812 как союзницы или Deus ex machina в русской литературе начала XIX века // Dutch Contributions to the XIth International Congress of Slavists. Bratislava-1993. Rodopi; Amsterdam, 1994.

<sup>11</sup> См.: Лихачев Д. С. Развитие русской литературы X—XIII веков. Л., 1973; Döring R. J., Smirnov I. P. 1) Реализм. Диахронический подход // Russian Literature. 1980. VIII-I. P. 1—41; 2) «Исторический авангард» с точки зрения эволюции художественных систем // Ibid. VIII-V. P. 403—469; Hansen-Löve Aage A. Ein Forschungsbericht zu I. P. Smirnovs Modell einer diachronen Semiotik // Wiener Slawistischer Almanach. 1980. N 6. S. 131—190.

Конкретные мотивы северной природы и северного климата для поколения Пушкина впервые приобретают значение как средства поэтического выражения культурного идентитета и национального самопознания: русская зима, снег, русские морозы, вьюга, радости зимнего утра и т. п.

Особый случай в этой связи представляет собой идеологическое осмысление зимы 1812 года как своего рода союзника закаленного русского племени в его победе над французами, которые не переносят холода. В это время происходит то, что О. Буле называет «приручением зимы» в русской литературе.<sup>12</sup>

В период реализма литература преимущественно сосредоточивается на центре, на руральной России в особенности. Тема Севера уходит в очерковые жанры, приобретает конкретный описательный характер (ср.: «Год на Севере» и «Сибирь и каторга» С. В. Максимова или «Северные очерки» Случевского). Как редкий пример присутствия периферийного локуса в «большой» литературе вспомним «Казак» Л. Толстого.

С наступлением модернизма в форме символизма, и серебряного века вообще, видим потрясающее возрождение северной темы.<sup>13</sup> Около 1900 года скандинавская культура (как мифологическая, поэтическая традиция ее, так и современные ее проявления) пользовалась огромной популярностью (Ибсен, Стриндберг, Григ). Бальмонт и Брюсов восхищались скандинавской природой и скандинавской культурной историей. В этом отношении скандинавская культура, вернее, скандинавские культуры в своих проявлениях и своеобразии «северного модернизма» представляют западный тип культуры, включая, между прочим, установку на индивидуализм западного человека.

Бальмонт даже претендовал на Скандинавию викингов как на свое отечество и подчеркивал, что Россия — тоже северная страна; с этой ностальгией связаны идеалистические представления о мужественности, храбрости и т. д. как типичных северных качествах. В изобразительных искусствах прошедшее России возрождается, реконструируется с явными северными признаками (ср., например, иллюстрации Билибина, а также, хотя совсем в другом стиле и позже, северную стилизацию России в творчестве Кустодиева). Белый назвал свою первую «симфонию» нордической, написав ее, как он сам говорил, под влиянием Грига.

В этой статье я попытался определить в главных чертах образ России как культурного пространства, ее положение как пограничной культуры между разнородными соседними пространствами и культурно-типологический характер ее границ. Анализ привлеченного материала, на мой взгляд, приводит к нескольким общим выводам.

С диахронной, внутренней точки зрения русской культуры можно заключить, что в Древней Руси и (по меньшей мере) в начале культуры Московского государства доминирует ось (ориентир) Юг—Север. Начиная с XVII века, и особенно со времени Петра I, ось Запад—Восток становится доминантным ориентиром и моделью ценностной шкалы. Это значит, что внутрикультурные, религиозные, идеологические конфликты и напряжения также располагаются как оппозиции по этой оси (ср. раскол, западничество—славянофильство и т. п.; само собой разумеется, что такая формулировка никак не определяет сложных социологических процессов, лежащих в основе этих различий). Одновременно, и что существенно, на

<sup>12</sup> Boele O. F. Op. cit.

<sup>13</sup> Nilsson N. A. Russia and the Myth of the North: the Modern Response // Russian Literature. 1987. XXI-II. P. 125—141.

мой взгляд, вследствие того же исторического перемещения в ориентирах русская культура начинает «идентифицировать себя» с Севером, т. е. Север становится внутренним концептом русской культуры<sup>14</sup> и поэтому носителем непространственных модальных ценностей (на языковом, национальном, литературном и т. д. уровнях).

Если мы признаем этот феномен доминантного «северо-западного вектора» в развитии русской культуры, то в более простой и, вероятно, более провокационной формулировке тезис мог бы выглядеть так: русская культура в течение двух тысячелетий развивалась (и развивается) из южной культуры в северную.

---

<sup>14</sup> *Baak Joost van. Northern Cultures. What Could this Mean? About the North as a Cultural Concept // Papers from the conference «The Baltic. Languages and Cultures in Interaction» / Organized by the Centre for North, East and Central European Studies (Centre NOMES) of the University of Groningen (Tijdschrift voor Skandinavistiek, Groningen) — в печати.*

Е. А. КОСТЮХИН

## РУССКИЕ В СРЕДНЕЙ АЗИИ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Один из любопытных феноменов фольклора — восприятие чужой культуры. Сказки и былины, предания и исторические песни дают достаточно материала для представления о том, как воспринимаются чужие. В фольклоре выработались устойчивые топосы чужой земли и чужого народа. В былине, например, любая чужая земля, как бы она ни называлась, — это «иное царство», таящее угрозу родной земле. В исторических песнях «злые» (постоянный эпитет) иноземцы полны решимости захватить Россию, и нередко песни начинаются с похвалы врага (шведского короля, «вора француза») разорить Россию или с письма чужого царя, требующего подготовить для него квартирушки в Москве и Петербурге. Осмысление новых событий по традиционным художественным канонам — обычное для фольклора явление.

Чем ближе к нашему времени, тем более обнаруживается ограниченность фольклорных форм, их неготовность к воплощению новой реальности. Значит ли это, что встреча с чужим оказывается вообще в стороне от фольклорного восприятия и недоступна ему? Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к событиям, состоящим всего лишь на сто с небольшим лет, — завоеванию Средней Азии. Оно протекало, что говорится, на глазах цивилизованного мира, и мы в деталях знаем, как это было. Обстоятельные истории военных экспедиций, написанные туркестанскими генералами, дневники путешествий, мемуары, исследования миссионеров и этнографов, работы историков и публицистов — все это дает возможность увидеть реальную картину происходившего в Средней Азии, свободную от каких-либо фольклорных наслоений. Правда, традиции фольклорной военно-исторической песни еще живы, так что в песнях о среднеазиатских войнах можно встретить привычные похвалы чужеземного правителя:

Хан хивинский похвалялся  
Всю Рассеюшку пройти.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Песни оренбургских казаков / Собрал А. И. Мякутин. Оренбург, 1904. Вып. 1. С. 142.

Есть и похвальба ответная:

Как в колонну все сомкнемся  
И как грянем в раз «урал!»,  
Тут погибнет вся Хива.<sup>2</sup>

Но это всего лишь фольклорные островки в море фактического материала, и здесь не надо продираться сквозь частокол фольклорных свидетельств к тому, как это на самом деле было.

Однако вот что удивительно. Ясно осознанные цели и задачи соседствуют со смутными надеждами, несбыточными мечтами, социально-психологическими комплексами, далекими от действительности. Эти надежды не всегда ясно формулируются и не излагаются систематически, как планы военных кампаний, но проникают даже в эти планы, не говоря уже о дневниках и публицистике. Историческая реальность обрастает слухами и толками, представляющими элементарный уровень того, что называют у нас время от времени фольклорным сознанием (или традицией как некоей субстанцией, находящейся под миром «реальных данностей»). Как бы ни называть этот глубинный пласт, отметим его «невыраженность». Слухи и толки не обретают законченной художественной формы. В этом они сродни мифам: как миф может порою воплотиться в песне, сказке, загадке — в чем угодно, оставаясь зыбким и текучим, так слухи и толки могут быть воплощены в любую форму (мемората, фабулата и т. п.), но чаще остаются лишь «почвою», из которой разные формы произрастают.

Что касается материала среднеазиатского, то речь пойдет о социальных мифах в широком смысле слова, т. е. мыслительных стереотипах, которые постоянно дают о себе знать в меняющейся истории, — стереотипах, выходящих из-под контроля разума и получающих зачастую пластическое выражение. В отличие от феноменов фольклорного сознания, приписанного «простому народу», мифологические стереотипы живут во всех социальных слоях — от государя императора до последнего люмпена, их можно найти в крестьянской молве и правительственных манифестах. Как показывает история завоевания и колонизации Средней Азии, в это время актуализуются и рождаются разнообразные мифы. Встреча с новым миром как бы взбаламучивает глубины народного сознания, и на поверхности являются мифы, редко тревожимые, гальванизируемые лишь в исключительных обстоятельствах. Мифы эти могут функционировать в широких народных массах как факт фольклорный, но есть и, так сказать, мифы «государственные», идущие сверху и приобретающие характер политических лозунгов, внедряемых в общественное сознание.

Колонизация Средней Азии ощутимо связана с мифом о счастливой стране. В русской фольклорной традиции страна эта обычно называется Беловодьем. Миф о счастливой стране — не собственно российский, а по меньшей мере европейский. Чаще всего страна эта расположена на острове и представляет собою землю блаженных, т. е. по сути дела умерших предков, — таковы исторические корни этого мифа, легшего в основу многих социальных утопий — как полуфольклорных, породивших античные «этнографические романы» («Чудеса по ту сторону Фулы» Антония Диогена), так и философских («Город Солнца» Кампанеллы, «Утопия» Мора).

Русские социально-утопические легенды о Беловодье исследованы К. В. Чистовым.<sup>3</sup> Он связывает беловодскую легенду с переселенческим

<sup>2</sup> *Мякушин Н. Г.* Сборник уральских казачьих песен. СПб., 1890. С. 86.

<sup>3</sup> *Чистов К. В.* Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967. Глава II.

движением и видит в ней форму социального протеста против феодального гнета. Заметим, однако, что наиболее активный очаг поисков Беловодья — Алтай: оттуда неоднократно отправлялись на восток искатели земли обетованной, хотя никакого особого гнета на Алтае не было. С другой стороны, сам Алтай, точнее Бухтарма, воспринимался в центральной России как Беловодье, «мужицкая земля». Но и в таких отысканных уже «Беловодьях» возникало стремление найти подлинное Беловодье: нашли, оказывается, не то.

То, что в народе звали Беловодьем, в русской культурной среде стало ассоциироваться с испанским мифом об Эльдorado, хотя Беловодье — отнюдь не Эльдorado: это не столько страна сказочного богатства, сколько страна справедливости. Кстати, читая средневековый русский роман об Александре Македонском, видишь, что и походы Александра воспринимаются в нем не как завоевания и колонизация, а как поиски блаженной земли. И Александр нашел ее: это страна рахманов-нагомудрецов, людей праведных, живущих в Индии, «близ рая». <sup>4</sup> О Беловодье же, «русском Эльдorado», известный историк Е. Шмурло писал: «Через все XIX столетие проходит неустанное искание этого фантастического Эльдorado, где реки текут медом, где не собирают подати, где, наконец, специально для раскольников не существует Никоновой церкви. Беловодье — географический пункт, не отличающийся ни определенностью, ни устойчивостью». <sup>5</sup>

Переселенческое движение русских в Среднюю Азию тоже было окрашено иллюзиями о «земле обетованной». Близ Чимкента есть село Белые Воды. Но, как и на Алтае, «земля обетованная» неизбежно отодвигается вдаль. Среднеазиатские переселенцы были разочарованы в найденном было ими среднеазиатском рае. И. Аничков сообщает, что в 1897 году в нескольких поселках Чимкентского и Аулиеатинского уездов началось брожение: появилось немало желающих поехать на Амур, особенно среди людей старшего поколения, на японскую границу — их звала мечта «о каком-нибудь изобилующем млеком и кисельными берегами крае», где «нет никакого начальства и где будет полное приволье». <sup>6</sup>

Идея «русского Эльдorado» в истории среднеазиатской колонизации воплотилась не столько в беловодском сюжете, сколько в мифе о реке Дарье. Обычно этот миф связывают с «иллюзиями, возбужденными подготовкой к реформе 60-х годов». <sup>7</sup> А. Н. Пыпин сообщает о нем: «В безвыходном положении, в каком находилось крестьянство, в крайней темноте умов, среди него возникли периодически самые невероятные фантастические слухи о каких-то благословенных землях с молочными реками и кисельными берегами, по крайней мере с полным простором, где можно было занять сколько хочешь земли без податей, без помещиков, без начальства. Эти блаженные страны находились на Дарье-реке...» <sup>8</sup>

Хронологические границы мифа о Дарье, по-видимому, шире. Вспомним известную характеристику богучаровских крестьян из «Войны и мира» Л. Толстого, собиравшихся «лет двадцать тому назад» (т. е. в конце XVIII века) на «какие-то теплые реки»: «Сотни крестьян, в том числе и

<sup>4</sup> Александрия. Роман об Александре Македонском по русской рукописи XV века. М.; Л., 1965. С. 43—46.

<sup>5</sup> Шмурло Е. Русские поселения за южным Алтайским хребтом на китайской границе // Записки Западно-Сибирского отд. РГО. Омск, 1898. Кн. XXV. С. 15.

<sup>6</sup> Аничков И. Очерки народной жизни Северного Туркестана. Ташкент, 1899. С. 117.

<sup>7</sup> Чистов К. В. Указ. соч. С. 307.

<sup>8</sup> Пыпин А. Н. Мои заметки. М., 1910. С. 12—13.

богучаровские, стали вдруг распродавать свой скот и уезжать с семьями куда-то на юго-восток. Как птицы летят куда-то за моря, стремились эти люди с женами и детьми туда, на юго-восток, где никто из них не был. Они поднимались караванами, поодиночке выкупались, бежали, и ехали, и шли туда, на теплые реки».<sup>9</sup> Это задолго до освобождения крестьян (хотя роман Л. Толстого не исторический источник).

В среднеазиатской эпической традиции «дарья» обозначает большую реку, подобно древнерусскому Дунаю. В сказках Дарья — это край обитаемого пространства, граница живого и потустороннего миров. Там и находится земля обетованная. Но жизнь этого мифа не обрывается с освобождением крестьян — она продолжается в эпоху покорения Средней Азии: мифическая Дарья материализуется в Сыр-Дарье. Эпические представления о пределах мира (а досюда дошел, как известно, Александр Македонский, и здесь он «заклепал» стеной народы Гог и Магог) сменяются реальными среднеазиатскими дарьями.

Русская интеллигенция, как легко заметить, к мужицким поискам Беловодья и Дарьи отнеслась с явной иронией: искали, мол, рек молочных с кисельными берегами. Сама эта ирония тоже задана фольклорной традицией: миф о блаженной стране давно пародирован в известном сказочном сюжете АТ 1930. Это немецкая Schlaraffenland, Куканья французских, итальянских и испанских книг.<sup>10</sup>

Итак, Беловодье и Дарья русских мужиков лишь отчасти напоминают испанский миф об Эльдорадо. Гораздо ближе к испанскому мифу тот комплекс представлений о Средней Азии, который мы находим, так сказать, на правительственном уровне. История отношений Российской империи со Средней Азией начинается при Петре I. Именно тогда было отправлено первое посольство в Хиву, руководимое черкесским князем Бековичем. Петр прорубил окно в Европу, но он был не прочь прорубить его и в Азию. Недоставало сил и времени. Но почву Петр прощупывал: не удастся ли прибрать к рукам и Хиву? Это реальный политический ход Петра — с тем и был отправлен Бекович. Но одновременно Петра увлекала и химерическая надежда найти собственное Эльдорадо. Дело в том, что в Петербурге появился туркмен Ходжа Нефес с известием, что на Аму-Дарье полным-полно золота. Когда-то Аму-Дарья впадала в Каспийское море. А что если вернуть ее в старое русло и горстями черпать из нее золото? Бекович должен был проверить возможность возвращения Аму-Дарьи в Каспий. Чуть раньше Петр отправляет на неведомую Дарью, близ Яркенда, другого посланца, капитана Бухгольца, с той же целью — найти золото. Бухголец вернулся ни с чем, а Бековичу в Хиве отрубили голову.<sup>11</sup>

Больше в Хиву русские власти в XVIII веке экспедиций не посылали, пытаясь наладить отношения со степью: путь в Азию лежал через казахские (киргизские, как тогда говорили) степи. Мурза Тевкелев передавал слова Петра: «Хотя-де она киргиз-кайсацкая степной и легкомысленный

<sup>9</sup> Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. М., 1980. Т. 6. С. 150.

<sup>10</sup> См. также описание Вракии в «Декамероне» Боккаччо (день 8, рассказ 3). Подробную сводку фольклорно-литературных свидетельств о «стране небывалой» см.: Bolte J., Polivka G. Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Bruder Grimm. Leipzig, 1918. B. 3. № 158; АТ — The Types of Folktale. A Classification and Bibliography // FF Communications. 1964. № 184.

<sup>11</sup> Слух о золоте близ Яркенда передавался еще в начале нашего века. Дм. Львович сообщает о своей встрече с казахом-золотоискателем Джурабаем, который сетует: «Нет настоящего дела сейчас... хоть в Китай идти! Там, говорят люди, много золота где-то под Джаркендом находят... Будто так и валяется по земле, что песок...» (Львович Дм. По киргизской степи. Пг., 1914. С. 183).

народ, токмо-де всем азиатским странам и землям оная орда ключ и врата».<sup>12</sup>

Поисками ключа и была занята Россия. Но миф об Эльдorado продолжал жить. Только что упомянутый Тевкелев, занимавшийся переговорами с ханом Абулхаиром, привез молву о золотой горе в Казахстане. Оренбургская экспедиция под руководством секретаря Сената Кириллова должна была найти эту гору и заодно построить крепость на Сыр-Дарье. Экспедиция не состоялась (Кириллов умер, к тому же началось восстание башкир), но молва о золотой горе продолжала волновать русское правительство. Последняя вспышка активности этого мифа связана с поездкой в 1793 году доктора Бланкеннагеля в Хиву для лечения ханского дядюшки, страдавшего глазной болезнью. Дядя так и ослеп, а несчастного доктора ограбили и посадили в яму. Но поскольку Бланкеннагель уже успел излечить не один десяток человек, ему позволили уехать. Спасшийся доктор составил записку о Хивинском ханстве, где сравнивал Хиву с Перу, сообщая о неисчерпаемых хивинских рудниках золота и серебра и заключая: «Можно почесть Хиву за новую Перу, и, следовательно, колико бы желательно было, чтобы несметные сокровища, лежащие в земле втуне, обращены были в пользу России... Сии великие сокровища, в рассуждении их обработки и провозу, несравненно дешевле обходиться нам будут, нежели перувианские для Гишпаниии».<sup>13</sup>

Итак, Средняя Азия представлялась нашим Эльдorado, новым Перу. Но постепенно миф о среднеазиатском Эльдorado угасает, и в XIX веке о золотых горах в киргизских степях и о златообильной Аму-Дарье уже не говорят: Хива покорена, казахские степи подчинены, Коканд повержен — и никакого золота не найдено. Но если шли не за золотом, то за чем же?

Завоевание Средней Азии отчасти соотносится с очень живучим в русской культурной традиции имперским мифом: Россия должна, обязана быть мировой империей. Русских мужиков, надевших солдатскую форму, мечты о мировом господстве едва ли одолевали. Зато русское дворянское общество такими мечтами тешилось. Корни имперского мифа восходят к XVIII веку, родившему политические иллюзии таких масштабов, перед которыми меркнет старинная теория «Москва — третий Рим». Уже Анна Иоанновна видела в казахских степях плацдарм для завоевания «Бухарских и Самаркандских провинций и богатого места Бодохшана». В русском обществе складывается прочное убеждение в том, что великая Россия должна не только выйти к берегам Средиземного моря и освободить Константинополь, но и к новым океанам — Индийскому и Тихому. Безусловно должны принадлежать России Индия и Китай. Приветствуя прибытие Екатерины II из Казани в Москву в июне 1767 года, Василий Майков видел в мечтах, как нынешние юноши, подростки,

В твое владычество богатство принесут,  
Индию съединят с Российской страной  
И Хину во твое подданство приведут...<sup>14</sup>

Гаврила Державин также рассчитывал на «сынов верных и прямых», на недалекое будущее, когда

<sup>12</sup> Терентьев М. А. История завоевания Средней Азии. СПб., 1906. Т. 1. С. 42.

<sup>13</sup> Путевые заметки майора Бланкеннагеля о Хиве в 1793—94 гг. // Вестник РГО. СПб., 1858. № 3. С. 99—103.

<sup>14</sup> Майков В. Избр. произв. М.; Л., 1966. С. 293.



Определения судьбины  
Тогда исполнятся во всем;  
Доступим мира мы средины,  
С Гангеса золото соберем;  
Гордыню усмирим Китая,  
Как кедр, наш корень утверждая.<sup>15</sup>

Еще более грандиозной представлялась «русская география» Федору Тютчеву:

Семь внутренних морей и семь великих рек...  
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,  
От Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная...  
Вот царство Русское... и не пройдет вовек,  
Как то предвидел Дух и Даниил предрек.<sup>16</sup>

Это видение пятого царства из Книги пророка Даниила (11, 44), истолкованное Тютчевым по-своему. Пройдет еще несколько десятилетий, и бывлой имперский миф найдет новое подкрепление в видении мировой революции. Поэт-комсомолец 30-х годов уже не рассчитывает на недалекое будущее — он готов положить жизнь сейчас, немедленно за новую родину — в мировых масштабах:

Но мы еще дойдем до Ганга,  
Но мы еще умрем в боях,  
Чтоб от Японии до Англии  
Сияла Родина моя!<sup>17</sup>

Миф этот жив и по сей день: в откровениях политиков, испытывающих ностальгию по имперскому прошлому, говорится о последнем броске на юг, когда русский солдат омоет сапоги в Индийском океане.

Вторжение в Среднюю Азию способствовало укреплению имперского мифа. Трудно было, правда, надеяться на приведение Хины-Китая в русское подданство и на сбор золота с Ганга: к Гиндукушу вышли англичане. Туркестанские генералы реально оценивали сложившуюся ситуацию (хотя Индия не исключалась совершенно из их планов, а Герат манил воображение М. Д. Скобелева), но туман имперского мифа опьянял публицистов, раз за разом впадавших в мистические откровения: «Неудержимая сила событий влекла нас все далее в глубь страны „халатников” и „кобылятников”... привела нас, вопреки самим себе, до границ... Афганистана и Персии и повлечет нас в будущем и еще дальше».<sup>18</sup>

Рядом с имперским живет миф цивилизаторский. В среде просвещенной миф этот формулируется просто: мы несем в Азию право и свободу. Здесь мы «впереди Европы всей», и академик фон Миддендорф заявляет: «...вместе с русскими водворились безопасность жизни и имущества, которую мы и в настоящее время бесплодно стали бы искать в староевропейских государствах, каковы Греция, Испания, и в особенности несчастная Сицилия».<sup>19</sup> Это добровольно взятая на себя миссия, сопряженная с нашими потерями и страданиями, и Европа должна быть нам благодарна

<sup>15</sup> Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 206.

<sup>16</sup> Тютчев Ф. И. Лирика. М., 1965. Т. 2. С. 118.

<sup>17</sup> Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне. М.; Л., 1965. С. 309.

<sup>18</sup> Миропиев М. О положении русских инородцев. СПб., 1901. С. 393.

<sup>19</sup> Миддендорф А. фон. Очерки Ферганской долины. СПб., 1882. С. 441.

за титанический труд по переустройству жизни и быта огромной страны.<sup>20</sup> Переселенцы попроще тоже находятся во власти цивилизаторского мифа, только в более простом его варианте: мы выше этих «зверей», мы их научили — и далее следует перечисление, чему именно научили, вплоть до некоторых тонкостей отправления естественных надобностей.<sup>21</sup> Высокомерие завоевателей усугублялось легкостью завоевания.<sup>22</sup> Красноречиво говорят об этом строчки из солдатской песни «А при взятии Пишпека потеряли человека».<sup>23</sup> Презрение вызывали бытовые навыки, сам уклад жизни. «Бухария» неоднократно осмеивалась в песенках — как, например:

У них город-то на глине,  
На базаре одни дыни,  
А капусты нет;  
У них избы, как сараи:  
Без окошек, а с дверями —  
Стыдно посмотреть!<sup>24</sup>

Цивилизаторский миф распространяется не только в русском обществе, но внушается и покоренным народам: мы пришли не убивать и разрушать — мы принесли мир и порядок. В обращении к жителям Хивы после взятия ее в 1873 году так и говорится: «Войско Белого царя пришло не разрушать, а чтобы водворить в Хивинской земле порядок».<sup>25</sup> В письме к нашему посланнику в Персии Зиновьеву (11.09.1880) М. Д. Скобелев противопоставляет Россию, несущую среднеазиатским туземцам мир, на-

<sup>20</sup> См., например: «Быт киргизов находится в полной гармонии со страной, ими обитаемою. Жалкий недоразвившийся характер их отвечает территории, на которой они кочуют, и он изменится только тогда, когда изменится культура страны. Задача России при этом очевидна и бесспорна» (*Костенко Л.* Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1871. С. 8).

<sup>21</sup> Туземцы держались иного мнения. «В глазах восточного жителя европейцы стоят в одном ряду с собаками по способу мочеания. На Востоке при совершении этого акта приседают на корточки, боясь, иначе, малейшей каплей осквернить платье» (*Вамбери А.* Очерки Средней Азии. М., 1868. С. 176).

<sup>22</sup> «Непрерывный ряд славных и блестящих побед укрепил в туркестанском пехотинце сознание его непобедимости и полное презрение к врагу. Туземец, в понятиях туркестанских солдат, не человек, а какое-то животное, у которого вместо души — пар. Туркестанские солдаты зовут туземцев не иначе как „ордою проклятою“, „точеными башками“ и другими, не менее презрительными именами. Само собою разумеется, что презрительность обращения туркестанского солдата к туземцам, не имеющую, впрочем, в себе ничего вызывающего, до некоторой степени можно оправдать, так как и туземцы склонны называть русских пренебрежительными словами: кяфир (неверный), гяур (собака)» (*Костенко Л. Ф.* Туркестанский край: Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. СПб., 1880. Т. 3. С. 266).

<sup>23</sup> Взятие Пишпека в 1860 году стоило полковнику Циммерману одного убитого и шести раненых (*Терентьев М. А.* Указ. соч. Т. 1. С. 251). Цитированная песенка сочинена офицером Генерального штаба Сергеем Ивановичем Турбиным, служившим в ту пору в Западной Сибири. Начинаясь песенка так:

Как в Азии воевали,  
Много крови проливали,  
Только не своей.  
Так, при взятии Пишпека  
Потеряли человека  
И трех лошадей.

(Там же. Т. 3. Приложение. С. 3).

<sup>24</sup> Песни оренбургских казаков. Вып. 1. С. 102.

<sup>25</sup> *Абаза К. К.* Завоевание Туркестана. СПб., 1902. С. 204.

сильнице Англии, разоряющей Индию: «Русская держава, слава Богу, вносит за собою в Азию мир, начало равноправности, личной и имущественной свободы; она опирается не на привилегированные классы, а на трудящуюся массу».<sup>26</sup>

Эта идея порядка с трудом усваивалась туземцами. Какими бы гуманными целями ни руководствовались завоеватели, их намерения вызывали недовольство, поскольку противоречили сложившимся формам жизни, представлениям туземцев о праве и справедливости. Генерал А. К. Гейнс отмечает: «Распоряжения нашего правительства, которыми сопровождалось вступление русских в каждый среднеазиатский город, относительно уничтожения пыток, телесных истязаний и смертной казни встречались с ропотом и неудовольствием».<sup>27</sup> Вот русские обязывают прививать оспу. Но в Коране об этом не говорится. Не противно ли это аллаху? И в Ходженте в 1872 году начинаются волнения. Аксакал, принуждавший нести детей для прививки оспы, убит.<sup>28</sup> Л. Ф. Костенко свидетельствует, что «туземцы шли неохотно на эту операцию, усматривая в ней нечто противное Корану. Они были убеждены, что русское правительство вместе с оспенной материею стремится привить мусульманам кровь кафи́ров (неверных)».<sup>29</sup>

Вообще чувство достоинства туземцев было глубоко оскорблено: неверные устанавливают среди правоверных собственные порядки — это недопустимо. Поэтому раз за разом объявляется «священная война» — газават. Только-только порядок установлен, а неблагодарные туземцы вновь восстают, как это было, к примеру, в Андижане в мае 1898 года. Один из замечательных путешественников XIX века, Арминий Вамбери, который переоделся дервишем и, рискуя жизнью, отправился в Среднюю Азию незадолго до ее захвата русскими, писал: «В Средней Азии едят, пьют, одеваются по предписаниям Корана; в собирании податей, в ведении войны и в отношениях к другим державам руководятся все тою же книгою, и подобно тому, как все нововведения в домашней жизни запрещаются как грех великий, точно так же татарские владыки не могут de facto признать ни Англии, ни России, ни других новых государств, о которых в Коране не упоминается».<sup>30</sup>

И потом — кто учит? Русские в глазах туркмен — это карагяуры, черные неверные (и тут они хуже англичан — светлых гяуров). Они достойны лишь смерти.<sup>31</sup> В России постоянно стоит зима, вот русские и напали на мусульман и убивают их, чтобы видеть лето и погреться. И живут русские не по-человечески: у них нет семей, и солдат разводят табунами женщин, к которым посылают рослых и сильных мужчин.<sup>32</sup> И

<sup>26</sup> Гродеков Н. И. Война в Туркмении. Поход Скобелева в 1880—1881 гг. СПб., 1833. Т. 4. С. 142.

<sup>27</sup> Гейнс А. К. Собрание литературных трудов. СПб., 1898. Т. 2. Дневник 1866 года. Путешествие в Туркестан. С. 351.

<sup>28</sup> Смирнов Е. Сыр-Дарьинская область: Описание, составленное по официальным источникам. СПб., 1887. С. 241.

<sup>29</sup> Костенко Л. Ф. Туркестанский край. Т. 1. С. 323.

<sup>30</sup> Вамбери А. Указ. соч. С. 181.

<sup>31</sup> «Правоверный повинуетя лишь магометанскому властителю; только временно может он считать себя вынужденным уступить перевешивающей силе собаки-христианина, уничтожение которого — его священная обязанность» (Миддендорф А. фон. Указ. соч. С. 347).

<sup>32</sup> Гродеков Н. И. Указ. соч. Т. 1. С. 86. Русская зима вообще поражала иноземцев. Образ русских в глазах немцев XVI—XVII веков таков: московиты живут в стране, засыпанной снегом, отличаются злобным нравом и вообще не столько живут, сколько снят (см.: Russen und Russland aus deutscher Sicht. Munchen, 1985. 9—17 Jahrhundert. S. 25).

вообще не те ли это гоги и магоги (яджудж и маджудж), которых запер Александр Македонский (Искандер Зулькарнейн)?

Почему же черные гяуры побеждают правоверных? Да потому, что это колдуны, пользующиеся услугами дьявола. Промеривает гидрограф А. И. Бутаков глубины в Аральском море, значит, он заколачивает в воду черные кольца, чтобы уморить хивинцев.<sup>33</sup> Русские солдаты не торопятся ввязываться врукопашную, а ведут правильный залповый огонь — это из трусости и лукавства: «...хотя русские из трусости не подходили близко, а только издали стреляли, тем не менее храбрые газизы (воины за религию) не могли противостоять дьявольскому их искусству».<sup>34</sup> По свидетельству Н. И. Гродекова, «среднеазиатец времен Черняева глубоко веровал, что когда русские идут на ура, то они плюют огнем, что они пожирают детей и проч.»<sup>35</sup>

Попытки противостоять дьявольскому искусству русских солдат предпринимались соответствующие. К несчастью туркмен, во время похода Скобелева на Денгиль-Тепе началось лунное затмение. «Текинцы, кажется, приписали это колдовству русского генерала и понеслись в Денгиль-Тепе, где муллы уже отчитывали бедную луну от козней дьявола, а народ усердно колотил в котлы и стрелял из пушки в небо, чтобы напугать нечистую силу».<sup>36</sup> Перед штурмом Денгиль-Тепе туркмены выслали на встречу русским войскам слепую старуху — с твердой надеждой, что от встретивших слепую старуху удача отвернется.<sup>37</sup>

Особый трепет, некий мифологический ужас вызывал у туркмен генерал Михаил Скобелев. Не чуждый театральности, Скобелев не уставал повторять: «...тот владеет Азией, кто нещадно бьет ее по заливку и воображению».<sup>38</sup> Поэтому Скобелев появлялся неизменно во всем белом на белом коне, и верно предположение М. А. Терентьева: «Очевидно, что „белый генерал” явился копией „ак-батыря”».<sup>39</sup> С одной стороны, это, стало быть, ак-батыр, мифологический противник, с другой — не менее грозное чудище наподобие сказочного Белого дэва, с которым сражался еще эпический герой Рустам, — страшный, с красными глазами: туркмены дали Скобелеву прозвище «гёз-канлы» («красивые глаза»)<sup>40</sup>

Так туземное население тоже создает мифы — свои, конечно, далекие от мифов российских. Сходство лишь в том, что те и другие далеко отстоят от действительности. Вот русские заявляют: пришли не разрушать, никого трогать не будут. Но генерал Михаил Черняев, взяв Чимкент, отдал его на 24 часа солдатам — пусть делают, что хотят. То же сделал Скобелев, взяв Геок-Тепе; и завоеватели славно «погуляли» — факт, отразившийся в народной песне:

Генерал Скобелев дал свободу  
Трое суток в Геок-Тепе погулять.

<sup>33</sup> Небольсин П. Н. Рассказы проезжего. СПб., 1854. С. 43—44.

<sup>34</sup> Вамбери А. Указ. соч. С. 50.

<sup>35</sup> Гродеков Н. И. Указ. соч. Т. 1. С. 175.

<sup>36</sup> Терентьев М. А. Указ. соч. Т. 3. С. 144—145.

<sup>37</sup> Там же. С. 17. По свидетельству Э. Б. Тайлора, это поверье свойственно как раз славянам: «Древние славяне, например, считали встречу с большим или со старухой предвестием неудачи» (Тайлор Э. Б. Первобытная культура. М., 1989. С. 97).

<sup>38</sup> Из письма Арцишевскому (см.: Гродеков Н. И. Указ. соч. Т. 2. С. 104).

<sup>39</sup> Терентьев М. А. Указ. соч. Т. 3. С. 104.

<sup>40</sup> А. Вамбери отмечает один из туркменских обычаев: «Новорожденному промывают глаза соленой водой в течение трех дней, чтоб они не покраснели, что здесь считается отвратительным» (Вамбери А. Указ. соч. С. 93).

Мы гуляли три денечка,  
Про то знают небеса;  
Заплакали текинские жены,  
Зарыдала вся неверная орда.<sup>41</sup>

Туркмен-иомудов за то, что они были не в состоянии выплатить непомерную контрибуцию, истребляли, жгли их жилища. Мир зашумел тогда о зверствах русских в Средней Азии, но К. П. Кауфман был непреклонен, а Н. И. Гродеков вообще оправдывал истребление иомудов: «Туркмены — это черное пятно на земном шаре, это стыд человечеству, которое их терпит».<sup>42</sup> Конечно, голов не рубили и в пирамиды их не складывали, не поджаривали на огне, не выжигали глаза и не вырывали языки, как поступали хивинцы или ахал-текинцы с пленными русскими солдатами.<sup>43</sup> Но не было здесь и оливковых ветвей мира — были ружья и пушки.

Бремя белого человека, о котором трубил цивилизаторский миф, было слишком тяжелым. Раздавались, конечно, и трезвые голоса. Так, известный писатель и публицист славянофильского толка Е. Л. Марков задавал вопрос: «Мало ли кровных народных потребностей, на которые гораздо нужнее было бы употребить те десятки миллионов рублей, которые поглощает каждая военная экспедиция, подобная ахал-текинской, ту чуть ли не сотню миллионов рублей, которую вынужден жертвовать русский народ из своей тощей мощны на мнимое благосостояние азиатских разбойников, достойных потомков Чингиза и Тимура?»<sup>44</sup> Статистика свидетельствовала о резком превышении расходов над доходами в Туркестане конца XIX века. Но власть цивилизаторского мифа была сильнее трезвых расчетов.

Таковы мифы, рожденные или реанимированные завоеванием Средней Азии. Это ведет к культурологической проблематике: специфика восприятия чужого, специфика диалога культур.<sup>45</sup> Мы ограничились контактами первой ступени — и вот какой диалог тут получился. Это заставляет задуматься над особенностями фольклорного сознания, над мифологическим оформлением мыслительных стереотипов, их национальным своеобразием. Подобная проблематика была чужда отечественной фольклористике с ее традиционным филологическим подходом к «устному народному поэтическому творчеству». Пора осознать ее важность, возвратив термину «фольклор» его первичный смысл — «народознание».

<sup>41</sup> *Мякушин Н. Г.* Указ. соч. С. 142.

<sup>42</sup> *Терентьев М. А.* Указ. соч. Т. 2. С. 269—280.

<sup>43</sup> Два примера. При штурме Геок-Тепе туркмены взяли в плен 27-летнего бомбардира-водника из крестьян Агафона Никитина и пытались заставить его стрелять по своим. Никитин отказался — ему отрубили пальцы на руках. Снова отказался — отрезали уши. Потом сняли со спины кожу и отрубили голову (*Гродеков Н. И.* Указ. соч. Т. 3. С. 240). Взятую в плен Фому Данилова заставляли принять ислам — он отказался, за что был замучен (его поджаривали на углях) и убит (*Терентьев М. А.* Указ. соч. Т. 2. С. 389). Все это приобретало религиозную окраску: доблестные газизы — воины за веру — истребляли гяуров, которые, в свою очередь, воспринимались своими как мученики за веру, предпочитавшие смерть басурманскому изувещанию.

<sup>44</sup> Русь. 1884. № 13. См. также его дневники путешествия: «Россия в Средней Азии» (СПб., 1901. Т. 1—2).

<sup>45</sup> Этой проблематике посвящен один из последних томов сборника «Одиссей. Человек в истории» — «Образ „другого“ в культуре» (М., 1993).

## «СКАНДОВИЗАНТИЯ» И «СЛАВОТЮРКИКА» КАК КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СТАНОВЛЕНИЯ РУСИ

«Скандовизантия» как определение культурно-исторического пространства России дано в последних исследованиях и выступлениях Д. С. Лихачева.<sup>1</sup> «Славотюркика» — формула, наиболее полным образом выражающая суть концепции Л. Н. Гумилева.<sup>2</sup> Видимо, в самом сопоставлении этих двух имен и этих концепций, в восприятии большинства современников резко альтернативных, выступает все та же извечная русская дихотомия: Восток—Запад, Запад—Восток, либо же «Западо-Восток» (Чаадаев)<sup>3</sup> или, наоборот, «Востоко-Запад» (Бердяев),<sup>4</sup> Евразия или Азиопа.<sup>5</sup>

Сама по себе устойчивость этих противопоставлений, или оппозиций, свидетельствует в какой-то мере об исчерпанности парадигмы, о необходимости уточнения культурно-исторических координат, которое, скорее всего, приведет к созданию в определенных отношениях новой культурно-исторической картины мира. Один из путей к ее созданию — анализ базового аспекта, культурно-коммуникационного.

Значимость именно этого аспекта проступает вполне отчетливо уже в самих истоках культурного и национального самосознания. «Повесть временных лет», первый и основополагающий памятник русской национальной культуры, открывается описанием центрального, магистрального в системе древнерусских коммуникаций Пути из Варяг в Греки (и отсюда, что в материалах испано-русского симпозиума этой культурно-исторической магистрали уделено уже определенное внимание).<sup>6</sup>

Необходимо выделить одну существенную сторону этого развернутого описания великого речного пути, которым фактически завершается введение «Повести»: свидетельство о сакральном его характере и значении. Путь из Варяг в Греки — это не просто те или иные реки, которыми Русь сообщается с Западом и Востоком, это путь св. апостола Андрея Первозванного из Синопа в «Скифию», в глубины восточноевропейского пространства Руси, и там, на Днепре, — «Горы Киевские», где *города* Киева еще нет, но где водружается крест и возвещается будущее торжество христианства. Затем апостол появляется на Волхове, «иде же ныне Новгород», но и Новгорода *еще нет*, и здесь еще предстоит создание одного из главных городов домонгольской Руси. Дальнейший путь очерчен очень суммарно, но понятно, что, следуя вниз по Волхову, нельзя миновать Старую Ладугу (исторически и археологически предшественницу Новгорода, *первый*, а в середине VIII—IX веке главный из раннегородских

<sup>1</sup> См., например: *Лихачев Д. С.* Россия никогда не была Востоком // Лит. газ. 1992. 5 февр. № 6(5383). С. 14.

<sup>2</sup> *Гумилев Л. Н.* Древняя Русь и Великая Степь. М., 1992. С. 250—251, 330, 365, 464.

<sup>3</sup> См.: *Лосский Н. О.* История русской философии. М., 1991. С. 67—73.

<sup>4</sup> *Бердяев Н. А.* Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX века и начала XX века // О России и русской философской культуре. Философы русского послеоктябрьского зарубежья. М., 1990. С. 105.

<sup>5</sup> *Зуев В. Ю., Щукин М. Б., Лебедев Г. С.* К научному портрету Д. А. Мачинского // Скифы, сарматы, славяне, Русь. Сборник археологических статей в честь 65-летия Дмитрия Алексеевича Мачинского. Петербургский археологический вестник. 1993. Вып. 6. С. 7.

<sup>6</sup> См. публикуемые в настоящем номере журнала статьи Д. С. Лихачева и П. Баденаса.

центров Руси на Пути из Варяг в Греки).<sup>7</sup> Если же представить себе логичное завершение именно сакрального странствия по этому водному пути, то конечной его целью, важнейшим объектом поклонения в глубине акватории Ладожского «озера великого Нево» могли быть прежде всего острова священного архипелага Валаам, «Вали-маа», «земли Велеса» дохристианских времен.<sup>8</sup> И только отсюда, из заповедной точки наивысшей сакральности этого северного пространства, мыслим дальнейший путь, которым летописное предание ведет апостола, — через «устье озера великого Нево» в «море Варяжско», а по Варяжскому (Балтийскому) морю далее на Запад, вокруг Европы и в Рим.

«Из Варяг в Греки и из Грек» — «Повесть временных лет» воспринимает эту водную магистраль не просто как древнерусскую, но как циркум-европейскую, как ту систему магистралей и связей, которая охватывает весь континент, опоясывает Европу и связывает с нею Россию.

Собственно, понятие «Скандовизантия» основывается прежде всего на данных о Пути из Варяг в Греки, на его культурно-исторических характеристиках. Необходимо выделить те новые компоненты в представлениях о значении и характере волховско-днепровской речной культурно-коммуникационной магистрали, которые сформировались в результате исследований последних двадцати лет.<sup>9</sup>

Главный итог этих исследований заключается в том, что проясняется культурно-коммуникативная функция восточноевропейской водной магистрали как связующего звена между двумя крупными разновременными, но структурно изоморфными макрокультурными общностями. Если южная, базирующаяся на Днепр (античный Борисфен) часть волховско-днепровского пути связана с цивилизацией Средиземноморья (и эти связи достаточно детально рассматривает в своем исследовании П. Баденас),<sup>10</sup> то северная, волховская, раскрытая в Балтийский морской бассейн часть системы восточноевропейских речных коммуникаций относится к своего рода «североевропейскому Средиземноморью» вокруг Балтики.<sup>11</sup> Именно эта область Европы, охватывающая практически все побережья Балтийского моря и Скандинавии, в VIII—XI веках впервые в истории выступает как новое, качественно особое культурно-историческое единство — «Балтийская цивилизация раннего средневековья».<sup>12</sup>

Достаточно подробная характеристика этого культурно-исторического единства дана не так давно в серии монографических и коллективных работ.<sup>13</sup> Самая главная особенность этой общности заключена в том, что

<sup>7</sup> Средневековая Ладога. Новые археологические открытия и исследования / Отв. ред. В. В. Седов. Л., 1985.

<sup>8</sup> Лазарев Е. Валаам, Россия в миниатюре // Наука и религия. 1991. № 9. С. 4—9.

<sup>9</sup> Лебедев Г., Жвиташили Ю. «Нево»: «из варяг в греки» // Знание — сила. 1988. № 3. С. 32—39.

<sup>10</sup> См. в настоящем номере журнала.

<sup>11</sup> Lebedev G. S. Der slawische Burgwall Gorodec bei Luda. Zum Problem der west- und ostslawischen Beziehungen // Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte. Arbeits- und Forschungsberichte zur Sächsischen Bodendenkmalpflege. Beiheft 17. Teil II. Berlin, 1982. S. 225—238; Лебедев Г. С. 1) Северные славянские племена (к постановке вопроса о связях внутри славянского мира) // Новое в археологии Северо-Запада СССР. Л., 1985. С. 44—48; 2) Балтийская субконтинентальная цивилизация раннего средневековья (к постановке проблемы) // Тезисы докладов X Всесоюзной конференции по изучению скандинавских стран и Финляндии. М., 1986. С. 158—160; Лихачев Д. С. Балтийская цивилизация // Советская культура. 1987. 14 февр. № 20 (6276).

<sup>12</sup> Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Послесловие. Первые итоги и дальнейшие перспективы исследования // Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 363.

<sup>13</sup> Ловмянский Х. Русь и норманны. М., 1985; Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной

в ее создании впервые на равных основаниях участвуют новые для раннесредневековой Европы этносы, большие этнические массивы: скандинавы, славяне, балты, финны. Все они оказываются участниками единых по существу разнообразных процессов. Это прежде всего аграрная революция: необходимо отдавать себе отчет в том, что именно в это время в Северной Европе впервые складывается то, что можно назвать в полном смысле «крестьянским хозяйством» (индивидуальное пашенное земледелие с использованием упряжной лошади для обработки земельного надела). Скандинавские бонды, славянские общинники, а вслед за ними балты и финны переходят к этой модели средневекового земледельческого хозяйства, и такой переход сопровождается резко возрастающей по сравнению с эпохами первобытности и варварства продуктивностью сельского хозяйства.

Аграрная революция вызывает к жизни товарообмен и денежное обращение. Впервые народы Балтики начинают пользоваться денежными средствами, монетой, и начальный этап денежного обращения основан на привозной, восточной монете (арабский дирхем). Урбанизация, феодализация, христианизация — эти согласованные между собою по темпам и ритмам процессы завершают включение северной и северо-восточной периферии континента в общеевропейскую систему христианско-феодальной цивилизации средневековья.

Все эти процессы у названных народов Балтики (в широком значении, включая страны Скандинавии и Северо-Западную Русь) отличаются общностью сроков, общностью ритмов, общей направленностью и общими результатами. «Балтийская цивилизация» — это некий новый единый фонд ресурсов и единая система коммуникаций, объединивших впервые в единое целое эти четыре этнических массива.

Необходимо отметить принципиальную равноценность и при этом качественное различие вкладов каждого из участников этого общеевропейского процесса. Финны, при видимой «периферийности» в составе этого альянса племен, — инициаторы первичного освоения всего североевропейского пространства, культурной адаптации к его природным условиям; поэтому и у славян, и у балтов, и у скандинавов обнаруживается глубокое финское (и саамское) наследие в основании народных культур, в различных сферах жизни, хозяйственной деятельности и быта.

Балты могут рассматриваться как создатели наиболее целостной (по крайней мере, по сохранности) индоевропейской мифологемы всего этого пространства, его освоения на ментальном уровне. Не случайно, по-видимому, и такая «стратегическая» ценность балтийского пространства, как янтарь — с древнейших времен первый по значимости вид «экспорта», связывавший регион с внешними культурами (вплоть до Средиземноморской цивилизации), — с рубежа нашей эры известна как янтарь «эстиев», западнобалтийских племен позднейшей Пруссии, впервые под своим именем выступающих в описании Тацита.<sup>14</sup> Янтарный путь в I веке н. э. впервые связывает Балтику с Римом, и ведет он в земли этих балтских племен. Наконец, макрогидроним *Mare Balticum*, «Балтийское море», известен с XI века (Адам Бременский), и это название Балтийскому морю дано балтами.<sup>15</sup>

Европе. Историко-археологические очерки. Л., 1985; Славяне и скандинавы / Отв. ред. Е. А. Мельникова. М., 1986 (здесь же библиография до 1986 года).

<sup>14</sup> Тацит Корнелии. О происхождении германцев и местоположении Германии // Соч.: В 2 т. Л., 1969. Т. I. С. 372.

<sup>15</sup> Славяне и скандинавы. С. 10.



Скандинавы — основные создатели системы морских коммуникаций Балтики (со времен «свионов» Тацита). На основе коммуникаций архаического, беспарусного флота формируется военно-политическая организация. Викинги VIII—XI веков — наследники «свионов», первых мореплавателей, а само слово «русь», *rup*, в первичном, архаическом значении — военно-морской экипаж, команда морского корабля, дружина «морского конунга».<sup>16</sup>

Славяне в этот общий фонд достижений и ценностей вносят по крайней мере два существенных вклада. Это пашенное земледелие, роль которого уже отмечена, и, как ни парадоксально может это показаться в характеристике общевосточной ситуации, именно в связи с начальной активностью славян на Балтике появляется и входит в широкое обращение арабское серебро.

Дело в том, что все экономические процессы на Балтике в VIII—XI веках определяются начавшимся движением и интенсивным поступлением в обращение в течение сравнительно короткого отрезка времени большого объема денежных средств, в общей сложности порядка одного миллиарда дирхемов.<sup>17</sup> По экспертным оценкам современных экономистов, эта сумма эквивалентна приблизительно четырем миллиардам долларов США.<sup>18</sup> Примерно половина этих, весьма солидных «инвестиций» оставалась в обращении восточноевропейских, преимущественно славянских, земель Древней Руси, остальные же средства по существу создали основу средневековой североевропейской, скандинавской цивилизации раннефеодальных государств Швеции, Норвегии, Дании. Эти средства поступили в обмен на восточно- и североевропейскую пушнину, сырье, рабов, и славянское участие, славянское посредничество в этом процессе с 750—780-х годов было наиболее ранним и наиболее решающим.

Пашенное земледелие связано с другой важной особенностью североевропейского хозяйства. Славяне первыми воспользовались для вспашки земли упряжной лошадью (земледельцы предшествующих времен пахали на быках или на волах). Сбруя, позволяющая запрячь лошадь в соху, была славянами заимствована у кочевников, вероятнее всего авар, в VI—VII веках, в пору аварского господства над основными славянскими землями в Средней Европе. Продуктивность работы упряжной лошади в североевропейских условиях оказывается в три раза выше, чем у быка (вола), и потому у славян это новшество заимствуют скандинавы, а затем балтские и прибалтийско-финские земледельцы.<sup>19</sup> В сочетании с упряжной лошадью новая сельскохозяйственная культура, рожь, и вызывает на Балтике аграрную революцию.

Обе соотносимые со славянами инновации — конская сбруя и арабское серебро — тесно связаны со степной зоной Восточной Европы, с Волжским путем «из Руси в Булгары и Хвалисы». Наряду с Путем из Варяг в Греки он известен с начальных времен становления Руси, но, в отличие от Волховско-Днепровского, Волжский путь в сознании летописца не сакра-

<sup>16</sup> Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги (русско-скандинавские отношения домонгольской эпохи) // Славяне и скандинавы. С. 202—205.

<sup>17</sup> Там же. С. 195, 217, 275, 390—399 (библиография); Лебедев Г. С. 1) Эпоха викингов в Северной Европе. С. 132—140, 220—221; 2) Русь Рюрика как объект археологического изучения // Скифы, сарматы, славяне, Русь. С. 105—111.

<sup>18</sup> Консультация Б. Е. Николаи.

<sup>19</sup> Hermann J. Wikinger und Slawen. Berlin, 1983. S. 32—35; Lebedev G. Rüriks Rus'. Das nordwestliche Rußland — ein Bestandteil des Ostseeraums // Mare Balticum '93. S. 61; Славяне и скандинавы. С. 14—15.

лизуется: связывая славян с тюрками Великой Степи и другими народами и странами Востока, он не освящен соотношением со Святой Софией, Константинополем, Иерусалимом.

Собственно, становление Древней Руси, а с нею становление целостной христианско-феодальной Европы X—XI веков начинается со становления дохристианской, языческой «балтийской цивилизации». Она же, в свою очередь, формируется благодаря подключению к восточноевропейской системе коммуникаций, объединяющей Путь из Варяг в Греки и Волжский путь именно как единую и целостную систему речных коммуникаций, кольцеобразно опоясывающих и связывающих в единое целое восточноевропейское пространство. Система эта складывается последовательно. В VIII веке доминантою ее является Волга (первоначально с выходами на Каму — Белую, затем на Оку и, наконец, реки Балтийского бассейна). В IX веке Волжский путь взаимодействует и совмещается с Путем из Варяг в Греки по Волхову — Западной Двине — Днепру, и, наконец, с X века Волховско-Днепровский Путь из Варяг в Греки выступает как доминирующая, осевая магистраль, т. е. происходит переключение направленности начальных коммуникативных импульсов с мусульманского на византийский первоисточник, смещение интересов со столицы исламской на столицу христианской империи, с Багдада на Константинополь.

Путь из Варяг в Греки в коммуникационном отношении представляет собою систему, состоящую из семи рек и озер (Нева, Ладожское озеро, Волхов, Ильмень, Ловать, Западная Двина и Днепр с притоками в Днепр-Двинском междуречье и районе Усвятских озер), в свою очередь группирующихся в три гидросистемы: Балтийского бассейна, водораздела Двины — Днепра — Волги и Черноморского бассейна (которому принадлежит Днепр). Волховско-Днепровская магистраль пересекает и объединяет также три экономгеографические зоны. Это, во-первых, зона древнего высокопродуктивного земледелия на юге, в Среднем Поднепровье; во-вторых, зона стабильного земледелия южной части лесной зоны (широколиственные и смешанные леса) Верхнего Поднепровья и Подвинья; в-третьих, северная зона нестабильного земледелия (среднее и нижнее течение Ловати, Приильменье, Волхов, Приладожье). Последняя из трех зон принадлежит к экономгеографическому поясу, единому для всей территории Балтики и Скандинавии, предопределяя близость и взаимосвязанность хозяйственного уклада этой территории, Новгородской Руси, с остальными регионами Балтики.

Различный и во многом взаимодополняющий экономический потенциал определил дальнейшее развитие социально-политических и этнокультурных процессов выделенных территорий, приблизительно совпадающих или составляющих ядро позднейшей Украины, Белоруссии, России. Наиболее раннее проявление этого развития — формирование трех «узлов урбанизации» вдоль Пути из Варяг в Греки: Ладога и Новгород — в северной зоне, на Волхове; Смоленск — Полоцк — Витебск, перекрывающие Двинско-Днепровское междуречье; Киев — Чернигов — Переяславль в «русской земле» Среднего Поднепровья.<sup>20</sup>

Взаимодействие этих потенциалов в течение, по крайней мере, IX века проявляется в нарастающей интеграции древнерусских территорий вдоль Пути из Варяг в Греки, причем его срединная часть выступает в роли

<sup>20</sup> Лебедев Г. С. Ранжированная иерархия поселений древнерусского Пути из Варяг в Греки // Города Верхней Руси. Истоки и становление (материалы к научной конференции). Топоним, 1990. С. 62—69.

своего рода связующего звена, опосредующего две основные крупные взаимодействующие области, северную и южную. В письменных источниках они выступают как Русь Внешняя и Внутренняя (у Константина Багрянородного),<sup>21</sup> «Русь Рюрика» и «Русь Аскольда» в середине IX века, объединенная в конце того же столетия после похода Олега Вещего в то, что называют обычно «империей Рюриковичей»,<sup>22</sup> — и вот уже эта «империя» вступает собственно в историю христианской Европы, с крещением Руси при Владимире и затем расцветом Киевской Руси при Ярославе Мудром. Символическим выражением этого расцвета и торжества христианства молодой и могущественной державы на Пути из Варяг в Греки стало строительство при Ярославе трех соборных храмов Софии Премудрости Божией в ключевых «стольных городах» магистрального речного пути — Киеве на Днепре, Полоцке на Двине, Новгороде на Волхове, — замыкавшее таким образом эту трансконтинентальную трассу на Софию Константинопольскую.

Создание этой трансконтинентальной коммуникации безусловно имело решающее значение не только для России, но и для других участников этого партнерства, как на севере, так и на юге. Столица Византии, Константинополь, в течение ста с небольшим лет, с середины IX до конца X века, переживает десятикратный рост населения (с 40 до 400 тыс. чел.), несомненно связанный с активизацией восточноевропейского Пути из Варяг в Греки.<sup>23</sup> Скандинавия под воздействием этих связей в X—середине XI века завершает создание раннефеодальных государств и вступает в сообщество христианских государств Европы. Роль Древней Руси в этих процессах можно оценить, исходя хотя бы из того, какое место отводится в скандинавских «королевских сагах» персоне Ярослава Мудрого, «конунга Ярислейфа Хеймскринглы», союзника и старшего партнера норвежских конунгов, и в первую очередь святителя Скандинавии, конунга Олава Святого. «Скандовизантия» в полном объеме отчетливо выступает именно в эпоху Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Мстислава Великого — авторитетных монархов, тесно породненных со скандинавскими королевскими дворами. Это эпоха оформления основ национальных культур и на севере, и на востоке Европы, эпоха рождения национальных литератур, древнерусской и древнескандинавской (единственной, помимо славянских, в средневековой Европе, создававшейся на национальном, древнесеверном языке народа).<sup>24</sup> Именно при Мстиславе «Повесть временных лет» окончательно оформляется в памятник национального самосознания, запечатлевая в истоке его и Путь из Варяг в Греки, и «Предание о варягах», и память о варяжском происхождении имени «Русь», т. е. об основе той ментальности, которую выражает формула «Скандовизантия».

Можно согласиться с тем, что достаточно адекватно эта формула передает определенные характеристики древнерусского, домонгольского общественного и культурного сознания. Однако в исследовании ментальности необходимо соотнести ее сознательный и подсознательный уровни. И если

<sup>21</sup> Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарий. М., 1989. С. 45—51, 291—331 (комментарий).

<sup>22</sup> Маврдин В. В. Образование древнерусского государства. Л., 1945. С. 221—288.

<sup>23</sup> Курбатов Г. Л., Фролов Э. Д., Фроянов И. Я. Христианство: античность, Византия, Древняя Русь. Л., 1988. С. 163—164.

<sup>24</sup> Лихачев Д. С. Начало русской литературы // Повести Древней Руси. Л., 1983. С. 3—21; Стеблин Каменский М. И. Мир саги. Становление литературы / Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1984.

исследовать уровень «подсознания», нефиксируемые координаты пространственно-временных ориентаций эпохи «Повести временных лет», то здесь важно не только меридиональное (в основном) направление речных коммуникаций, прорезающих Русскую равнину с севера на юг, но и рассекаемые этими путями, ориентированные поперечно им широтные культурно-географические зоны, или пояса: от Великой Тундры на севере, близ арктического побережья Ледовитого океана вдоль всей Евразии, до Великой Степи на юге, от Финмаркена до Аляски и от Дуная до Амура. Между этими двумя базовыми природными широтными поясами располагаются все остальные, которые прорезают древнерусские речные коммуникации. И поэтому взаимодействие с этими великими системами определяет то культурно-историческое обстоятельство, что эпическая память славянства с самого начала пронизана впечатлениями именно Великой Степи.

Эпическая память «Повести временных лет» и других древнерусских памятников не знает Рима (при всем величии его империи лишь отражено фиксирующегося в представлениях об «истинном» Риме православного мира — Константинополе); не знает она и готов, хотя «анты» и «склавины» во взаимодействии с Готской державой вышли впервые на арену европейской истории (кроме, может быть, глухих ссылок в «Слове о полку Игореве» на времена Траяна, или «Буса»), — этой памяти о хорошо известных своим современникам I—V веков венедах, антах, склавинах письменные памятники восточного славянства не сохранили.

Эта память стерта, вытеснена стрессовыми впечатлениями Степи. *Первое* эпическое воспоминание и свидетельство о собственных судьбах славянства — *обрыв*, авары, господствовавшие в Средней и Восточной Европе с 565 по 791 год. «Повесть временных лет» открывают воспоминания об аварском владычестве и гибели; завершают же анналистическую часть летописи, подводя ее итоги, «свежие» впечатления о набегах других тюркоязычных степняков, половцев (разоривших Киево-Печерскую Лавру в 1096 году). Первые победы киевских князей над этой новой степной волною соединены и с первыми внятыми свидетельствами о совокупности тюркских этносов, этногенезе тюркских народов, этнонимии торкмен, печенегов, торков, половцев, а завершает этот обзор и экскурс, пронизанный тоскою финального ожидания, призыв Сильвестра (1118 год): «Ангель вожь бысть на иноплеменники и супостаты, якоже рече: ангель предъ тобою предъидет, и паки ангель твой буди с тобою?»<sup>25</sup>

Византийский реализм взгляда императора Константина VII Порфирогенита на окружающее — *κοσμητήν ολκάδα*, «мировой корабль» империи, народное море враждебных племен — еще в середине X века выделял «пацинакитов» (печенегов) как главный внешний фактор стабильности.<sup>26</sup> Половцы в Великой Степи были их соперниками и удачливыми преемниками, и Русь осознавала соседство и значение Степи по мере становления «Скандовизантии» Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Мстислава Великого. Несколько поколений киевских великих князей династическими связями были соединены как со Скандинавией, так и с Византией, и лишь постепенно, вместе с политической традицией и под давлением военно-политической ситуации, они наследуют и развивают собственный взгляд на «Дикое Поле», Великую Степь.

<sup>25</sup> Повести Древней Руси. С. 123, 227.

<sup>26</sup> Константин Багрянородный. Указ. соч. С. 37—41, 275.

«Славотюркика», в отличие от «Скандовизантии» (закрепленной уже летописным преданием об апостольском путешествии св. Андрея), пронизывает неосознаваемо русскую историю, как и в целом историю славянства VI—XII веков. Авары, булгары, хазары — этой последовательности волн воинственных тюркских кочевников, господствовавших в Европейской части Великой Степи, соответствует последовательность варварских кочевнических держав, каганатов, с меняющимся соотношением постоянных компонентов — тюркского и славянского. Первый из каганатов, Аварский (565—791 годы), по соотношению этих компонентов следует определить как тюрко-славянский: тюрки занимают безусловно господствующее, славяне — подчиненное, но значимое положение (обеспечивая не только пленниц и дани, но и зимовки, и пешее ополчение при конном войске авар). Следующий по времени (681—865 годы) Болгарский каганат следует определить уже как славяно-тюркский, где тюркская знать с крещением Болгарии превратилась в династию славянских царей. Хазарский каганат, со времени своего становления, а особенно после кризиса, пережитого в противостоянии исламскому натиску (650—772 годы), подчинивший славянские племена Приднепровья и Поочья, по направленности своей экспансии может рассматриваться как «анти-славянский». Полвека спустя в русских и зарубежных анналах появляются свидетельства об оформившейся «антихазарской альтернативе», загадочном «каганате росов» 830-х (850-х ?) годов.<sup>27</sup>

В противостоянии формирующейся Древней Руси и Хазарии можно выделить, с условной нижней границей, «столетие стабилизации» (865—965 годы), охватывающее период правления киевских князей от Аскольда до Святослава. Волжский и кавказский походы Святослава, сломив хазар, раскрыли Степь для свободного движения и господства печенегов, а затем и половцев.

Великая Степь этой эпохи, X—XII веков, представляет собою в общем совокупность более или менее оформившихся племенных конфедераций. В XIII веке, когда «Скандовизантия» распадается на конфедерацию княжеств Древней Руси, одновременно с падением Константинополя под ударом крестоносцев в 1204 году, в отдаленных восточных глубинах Великой Степи вызревает мощный тюрко-монгольский синтез, пронизавший вскоре молниеносным, беспрецедентным по масштабу импульсом все пространство от Желтого моря до Адриатики.

Так же как «Скандовизантию» можно и необходимо понять, основываясь на коммуникационной структуре Пути из Варяг в Греки, так и основа «Славотюркики» — Великий Шелковый путь Великой Степи. Однако эпицентром охваченного этой системой сухопутных коммуникаций пространства выступает не Византия — преемница Рима в Средиземноморье, но синхронная и равнозначная древней Римской империя Хань и ее преемница — могущественная и процветающая империя Сун, а затем сменяющая ее под ударами монгольских вторжений, но сохраняющая полную преемственность китайского великодержавия империя монгольской династии Юань. В 1234 году монголы завершили завоевание Северного Китая, в 1276 году подчинили Южный Китай; 1280—1368 годы — эпоха официального правления династии Юань, но фактически полновластным правопреемником китайских императоров был уже чингисид Хубилай, ка'ан (каган), Великий Хан монголов (1260—1294). Марко Поло,

<sup>27</sup> Лебедев Г. С. Русь Рюрика, Русь Аскольда, Русь Дира? // Старожитности Русі-України. Київ, 1994. С. 146—152.

путешествовавший в 1275—1292 годах с ханской «пайцзой», полученной в Ханбалыке (Пекине), засвидетельствовал для европейцев масштабы мощества этой державы.

Русь в системе координат «Скандовизантия—Славотюркика» подвергается наивысшим напряжениям, предельного выражения достигшим, вероятно, в судьбе, жизни и деятельности Александра Невского, святого и благоверного князя, канонизированного православной церковью. Недолгая жизнь Александра Ярославича (1220—1263) охватывает самый драматичный отрезок истории страны, когда ему последовательно пришлось занимать каждый из главных княжеских «столов», вплоть до верховного: Новгородский (1236), Киевский (1240), Владимирский (1252). Это восхождение по «лестнице власти» гибнущего государства жестко синхронизировано с тяжелейшими внешними ударами: татаро-монгольским 1237 года, шведским крестоносным 1240 года, немецким орденским 1242 года. Отразив оба западных, князь находит единственно возможный путь самосохранения страны и народа — это вассальные поездки в Орду: в 1242 году — к Батыю, в 1246 и 1252 — к Сартаку, в 1262 — к Беркехану. Признавая верховную власть татарского «царя» (номинально, в свою очередь, вассала Великого Хана), Александр выполняет и собственную вассальную обязанность. Ограничение великокняжеского суверенитета проявилось в направленных усилиях по завершению подчинения Орде областей и центров Руси, оставшихся недоступными для монгольских войск. В 1257 году под давлением Александра Новгород дал «число» татарам, т. е. был включен в общеордынскую систему обложения русских земель. Так завершилось и достигло наивысшего масштаба торжество татаро-китайской имперской бюрократии над древнерусским конфедеративным урбанизмом, «Славотюркики» над «Скандовизантией».

Это торжество, правда, открывало доступ в глубинные просторы и центр Монгольской державы, в Каракорум (где уже в 1246 году застал великого князя Ярослава, отца Александра, Плато Карпини, предшественник Марко Поло). Россия неравноправно, но полноценно включалась в евроазиатскую систему мировых коммуникаций.

Дальнейшая судьба страны определена последовательным развертыванием в этой системе. Именно в послемонгольское время начинает с особой силой действовать культурно-географический фактор, специфичный для России с изначальных времен. Как отмечал еще В. О. Ключевский, особенность русской истории — в непрекращающемся росте, расширении ее государственной территории.<sup>28</sup> В отличие от большинства государств как в Европе, так и в Азии, сравнительно рано стабилизировавших внешние границы своих территорий, а затем наращивавших плотность сети внутренних коммуникаций и центров, Россия в течение тысячелетней истории практически непрерывно развертывает коммуникационную сеть: в домонгольские времена главным образом в меридиональном направлении (север—юг), в послемонгольские — в широтном, с запада на восток. Этот процесс, имея в виду техническое оформление коммуникаций, не завершился даже в советское время (строительство БАМ).<sup>29</sup>

Непрекращающийся процесс экстенсивного наращивания коммуникационной системы (при соответствующей неполноте интенсивных форм развития) обусловил, по-видимому, и определенную специфику ментали-

<sup>28</sup> Ключевский В. О. Курс русской истории // Соч.: В 9 т. М., 1987. Т. I. С. 63—89.

<sup>29</sup> Лебедев Г. С. Тысячу лет спустя, или Опережающие прорывы и их цена // Знание — сила. 1989. № 5. С. 50—57.

тета, национального и культурного самосознания. Принимая за «норму» стабилизированную согласованность культурно-коммуникационных процессов и соответствующих пространственно-временных координат культуры, можно сказать, что для русского самосознания характерно «растянутое» пространство и «сплющенное» время: территория, непрерывно растущая, воспринимается как бескрайняя (и единственная, существующая в мире); время осознается как культурная ценность в пределах трехсотлетней «естественной» емкости эпической (фольклорной) народной памяти. Отсюда прерывность, сбои, застой в развитии собственной культурной традиции, но при этом и поступательное, в нарастающем масштабе, развитие ее базовых архетипов.

Столетие (1380—1480 годы) от Куликова поля до Стояния на Угре составляет существенный поворот в соотношении этих архетипов. Москва перехватывает у Орды евразийскую инициативу и начинает собственное движение по путям чингисхановых орд в обратном им направлении: начавшаяся при Иване III и завершенная Иваном IV борьба за Казань на Волге — первый целенаправленный шаг этого движения. Византийское начало, вдохновляющее московских государей, берет верх над тюрко-монгольским.

XVI—XVII века заполнены закономерным продолжением этого движения за Урал и, с освоением Сибири, до Тихого океана. С достижением естественных рубежей Евразийского пространства (и морской границы между Азией и Америкой) в 1649 году Россия обретает свое уникальное качество европейской страны с фронтальным выходом к тихоокеанскому побережью.

Петр Великий в Северной войне 1700—1721 годов добивается силой восстановления места России в «клубе» скандинавских государств Балтики. Однако при этом не просто осуществляется возрождение «Скандовизантии». Борьба за морские пути на Белом и Балтийском, Черном и Каспийском морях велась для того, чтобы Россия могла стать великой сухопутной державой — единственной в своем роде по непрерывности и масштабности трансконтинентальных отечественных коммуникаций.

В планетарном геокоммуникационном аспекте Россия выступает не просто как большая (даже очень большая) континентальная (трансконтинентальная) страна. В соотношении частей света (на картах петровского времени надписи «Европа», «Россія», «Азія» давались одинаковым и равновеликим шрифтом) для Петра и его современников, вдохновляемых, в частности, мыслями Г. Ф. Лейбница буквально о сухопутном «мосте» либо же «проходе» между Азией и Америкой, Россия — *мост* между Европой и Америкой, перекинутый через азиатское пространство. Семен Дежнев и его казаки достигли прибрежных вод Аляски лишь на 20 лет позже высадки пассажиров «Мейфлауэра» в Новой Англии. Новая история России, начинавшаяся еще до Петра, — это история создания коммуникативной сети, объединяющей «Славотюркику» со «Скандовизантией». Именно результат такого синтеза приобретает глобальное значение, ибо если Россия — *единственная* европейская страна с тихоокеанским побережьем, то в мире XXI столетия, где Тихому океану суждена роль мирового бассейна, этим положением России снова предопределена судьба Европы.

Средокрестием импульсов «Скандовизантии» и «Славотюркики» в новое время выступает Санкт-Петербург. Основанный Петром I в истоке древнего Пути из Варяг в Греки, он замыкает трансконтинентальную систему коммуникаций от Балтики до Тихого океана, и это фокусирую-

щее положение находит выражение на всех уровнях культуры. Главный храм Петербурга, Петропавловский собор, к началу XX века оказался внутри почти «равностороннего треугольника» храмов остальных мировых религий: мечеть, синагога, дацан манифестировали континентальную всеконфессиональность северной столицы России.

Исторический опыт России, при всей его уникальности, находит разнообразные параллели во взаимодействиях других народов и культур. Особый интерес представляют соответствия и схождения в судьбах России и Испании, оцененные впервые выдающимся петербургским ориенталистом В. В. Григорьевым на заре отечественного востоковедения (1835).<sup>30</sup> Уникальную тождественность этого опыта он видел в многовековом и для России и для Испании взаимодействии христианской культуры обеих стран с мусульманским миром. Для России это взаимодействие было органичным продолжением изначальных пространственно-временных связей с кочевыми народами.

Базовые испано-русские схождения исторических судеб выступают с достаточной очевидностью в последние пять столетий истории.

«Реконкиста», восстановление национально-государственной территории, освобожденной от мусульманских завоевателей, в обеих странах завершилась практически одновременно (1480 год — Россия, 1492 год — Испания). Великие географические открытия в непосредственно последовавший период были прямым продолжением движения реконксты на суше (русские землепроходцы) и на море (испанские конкистадоры), в том и другом случае перехватывая инициативу итальянских купцов и мореплавателей позднего средневековья. Результаты этих открытий — русскоязычная Сибирь и испаноязычная Латинская Америка — создали новый культурно-исторический потенциал, реализация которого во многом остается еще неизведанной перспективой.

Адекватно оценивать значение этих схождений можно, лишь глубже исследуя их истоки. Они же восходят, по-видимому, к эпохе генезиса Руси.

Если фундамент Балтийской цивилизации раннего средневековья — арабское серебро VIII—X веков, то именно *первый* период обращения дирхема в Восточной Европе (780—833 годы) основан на чеканке Аббасидов, серебряной эмиссии западного мусульманского халифата с центром в Кордове, в Испании. Простиравшаяся в VIII—IX веках далеко на запад сеть мусульманских коммуникаций Средиземноморья по своей активности и значению в этот период превосходила византийскую. Соотношение изменилось лишь в X веке: в мусульманском мире центр тяжести сместился во второй половине IX века, и с этого времени денежное обращение обеспечивается эмиссией Саманидов в Багдаде.

Древняя Русь выстраивала Путь из Варяг в Греки, осевую магистраль системы коммуникаций, в сложном взаимодействии с международными политическими и коммерческими центрами. Связи с Багдадом, а через него с другими странами Переднего и Среднего Востока и Средней Азии осуществлялись преимущественно по Волжскому пути. В 965 году испан-

<sup>30</sup> Григорьев В. В. 1) О двойственности верховной власти у хазаров // ЖМНП. 1834. № 3. С. 279—295; 2) Обзор политической истории хазаров // Северный архив. 1835. Т. 58. С. 566—595; 3) О древних походах русов на восток // ЖМНП. 1835. № 5. С. 229—287. Все эти статьи перепечатаны в сб. «Россия и Азия» (СПб., 1876). См. также: Крачковский И. Ю. Очерки по истории русской арабистики. М.; Л., 1950. С. 129—132; Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962. С. 29; Лебедев Г. С. История отечественной археологии (1700—1917). СПб., 1992. С. 146—147.



ский купец Ибрахим ибн Якуб ат-Тартуши (из Тортозы) совершает глубокую рекогносцировочную поездку по маршруту Прага—Краков—Хайтабу (Шлезвиг) с выходом на систему путей Балтики; за год до этого начинается разработка Раммельсбергских серебряных рудников в Германии, обеспечивших эмиссию денария (уступавшего по весу втрое, но превосходившего по качеству серебра дирхем, во второй половине X века подверженный систематической порче эмиссии). Трудно не сопоставить с этими событиями последовавший одновременно удар Святослава по Булгару и Хазарии, положивший конец доминированию Волжского пути. Ибн Хаукаль, современник событий, свидетельствует, что до этого похода «358 года хиджры» основной поток товаров шел на Багдад и Хорезм и лишь часть его направлялась в Андалусию. После походов Святослава активизируется не только Волховско-Днепровский путь, но и «рокадная» магистраль Краков—Хайтабу, что удовлетворяло интересы как византийских, так и андалузских купцов. Дружины киевского князя вольно или невольно приняли участие в «разборке» багдадских и севильских торговых объединений, объективно выступая на стороне испанских мусульман в деле строительства общеевропейской системы коммуникаций.

Трудно оценить в полном объеме, но нельзя не зафиксировать этого объединения или совпадения усилий в строительстве трансевропейской системы коммуникаций в течение VIII—X веков, а после реконксты — системы глобальной, в XVI—XVII веках сомкнувшей Старый Свет с Новым.

1492 год от Рождества Христова — год 7000 от сотворения мира — русское православное сознание ожидало как конец света. Адмирал Кристобаль Колон (генуэзец Христофор Колумб), посланный Изабеллой Кастильской и Фердинандом Арагонским «за море-океан», открыл в этом году Новый Свет, по ту сторону Атлантики. В отношении антично-средневековой (римско-византийской) картины мира ожидание православных в известной мере оправдалось. Мир стал существенно иным. Именно в этом изменившемся мире Москва принимает на себя эстафету поверженной Византии после взятия турками Константинополя (1453 год), провозглашая себя Третьим Римом, а Испания Габсбургов становится лидером римско-католического мира, хозяином Рима. По сути дела, обе страны — Московия, простершаяся от Ивангорода близ берега Балтики на восток, к Тихому океану, и Габсбургская держава, «где никогда не заходит солнце», господствовавшая за Атлантикой на западе, — в собственном геополитическом самосознании словно «разворачивали» пространство римского наследия, Восточной и Западной Римской империи, но разворачивали в новом, глобальном масштабе, сохраняющемся до сего дня.

*П. БАДЕНАС ДЕ ЛЯ ПЕНЬЯ*

## ОТ АРГОНАВТОВ К ТРЕТЬЕМУ РИМУ

(ГРЕЧЕСКИЙ МИР И РОССИЯ)\*

Данная работа посвящена рассмотрению ряда факторов, которые повлияли на судьбы того региона, границы которого растянулись от Эгейского моря до берегов Балтийского.

\* Перевод с испанского С. П. Николаевой.

В мое намерение входит, говоря об аргонавтах и Т делить место России на этом перекрестке дорог ист этом греческий фактор. Следует, видимо, пояснить ( быть очень осторожным в употреблении терминов), ' ский», я имею в виду не национальность и не современ истории культуры.

В греческой мифологии, со времен путешествия арг Геродота, Черное море (Понт Эвксинский) всегда симе логический север с окружающими это море огромны землями. Как любую неведомую землю, ее стремил использовать ее возможные богатства. Колонизация « края» предполагала для греческого мира множество лях (металлов, зерна и другого сырья), что способств ческой торговли. Эта деятельность в VII веке до н. э различные предприятия, связанные с освоением Среди свидетельствуют греческие поселения на Иберийском никла длинная цепь колоний и греческих поселений - гов Понта до Геркулесовых Столбов и далее за Гадес (с где возникли очаги греческой культуры с ее светски политическими проявлениями, что подтверждают архе ки. Что касается самих греков, в настоящее время он нить о своем продолжительном пребывании, наприме ского моря, в Мариуполе, стремясь обнаружить истор ность в этих греческих колониях. Я не думаю, что зд рить о непрерывности. Прошедшие тысячелетия и истс разрушают любое представление о непрерывной цепи. ] более правильным говорить о повторности. Куда эми кем намеревались торговать? Не с ближайшими ли со отплывая из Византии, Синопа, Трапезунда? Греки в благодаря выгодным торговым операциям с венецианн либо в силу падения Константинополя (1453 год (1461 год), или по причине щедрых обещаний Екате присоединенному в 1778 году Крыму, стремились об гично, в существовавших городах, построенных в дре зать, их прошлое предстоит еще открыть археологичес вия, Пантикапей, Феодосия и другие города стали, есл зиться, мостами, которые позволили, в разные перио никновения, грекам вновь пройти к границам ромаг периферии — византийской, генуэзско-венецианской, ственно русской. В наш век некогда процветавшие захирели — после революции 1917 года, в результате чений населения после 1922 года и во времена долгог

Первые колонизаторы, жители Милета, уже догад порта на южной оконечности западного побережья Кр месте, где Екатерина II повелела построить в 1784 г ского флота Севастополь (Херсонес). Место это не бы приемным для греков. Геродот рассказывает, что сви ли тех, кто терпел кораблекрушение, добывали их , отрубали и водружали их на пики, а тела бросали в рои своей богини-девственницы. Тавры отождествляли эт нией. Согласно мифу, Орест, ее брат, достиг этих мес фийского оракула, дабы освободиться от Эриний, кол Ореста за убийство его матери Клитемнестры. Местны

к сестре и отправили их в Грецию. Еврипид в своей трагедии «Ифигения в Тавриде» говорит, что в последний момент явилась Афина и приказала царю тавров отпустить брата и сестру и дать им с собою деревянную статую богини Девы, которую в дальнейшем почитали как Артемиду и называли *Ταυρόπολος* — богиней, вскармливающей быков. Так объясняет миф то, что греки покинули этот берег, чтобы отправиться в места более защищенные, на восток, например в Феодосию, основанную милетцами в начале VI века до н. э. и названную *Teodosiópolis* византийцами, а позднее (1261 год) Каффа — генуэзцами. Это было жизненно важное место для торговли с Востоком, пока оно не попало в руки оттоманцев. Каффа была преддверием киммерийского Босфора, копией другого поселения на Босфоре — фракийского, подчиненного Пантикапею, основанному ионийцами в VII веке до н. э. Пантикапей (современная Керчь), или, как называли его греки в XIX веке, Кертсион, превратился в центр государства на киммерийском Босфоре с конца V века до н. э., до присоединения к царству Митридата Евпатора в 108 году, как нам говорит Страбон (книга XI). На восточном берегу Керченского пролива расцвели поселения Гермонаса и Фанагория, ворота в Азовское море, которое отделяет черноземную украинскую степь на западе от великой кубанской степи на восточном побережье. Границу между Европой и Азией Страбон определяет дельтой Дона, где в последние годы VI века до н. э. поднялся город того же названия. Это были пустынные земли, хотя, возможно, и знавшие прежде другие поселения, как на то указывает керамика VII века, обнаруженная в радиусе 400 километров.

Но чего же искали греки — сперва ионийцы, а затем византийцы — в этих далеких краях, которые представлялись тогда концом земли? То же самое, что впоследствии коммерсанты итальянских торговых республик: соль, солонину, зерно, кожу, меха, а также рабов — знаменитых скифов, стражей общественного порядка в Афинах. Огромный регион Меотиды дополнялся речным путем, ведущим к янтарю. Путь из Варяг в Греки шел по течению Невы, Днепра, соединял Балтию с греческими городами, проходя через Новгород и Киев. Несомненно, наиболее значительным центром греческого элемента на юге России был древний Херсонес Таврический, Херсон, как называли его византийцы, современный Севастополь. Там, где первые мореплаватели столкнулись с малогостеприимными таврами, охотниками за головами, дорийцы основали в 422 году до н. э. город и порт, ключ к будущему России.

Херсонес никогда не терял своего важного стратегического значения на протяжении веков. В римскую эпоху и во времена Константинополя, несмотря на свою отдаленность, это поселение было необходимо благодаря своей близости к дельте Дуная и к началу дорог, которые вели от самого Константинополя и Трапезунда, являясь обязательной ступенью ко входу в Азовское море. Море создало Херсонес, и он надолго станет воротами бескрайних степей, открытыми в Дунайскую Европу, на Балканы, на Кавказ и в Малую Азию. Херсонес выжил в далеком прошлом благодаря морю, когда Рим потерял контроль над дельтой Дуная. Скифы и сарматы, которые не были эллинизированы, вошли в остготское государство Крыма в III веке. Остготы Крыма, христианизированные, но не арианизированные, подобно их братьям в Западной Европе, искали союза с византийцами, что и объясняет жизнестойкость Херсонеса, противостоявшего нашествию гуннов и степных народов. Христианство пришло в Херсонес очень рано, в конце правления императора Траяна (II—III века н. э.). Херсонес явился местом мученичества св. Клементия и местом ссылки епископа

Тимофея, папы св. Мартина (665 год), императора Юстиниана II (695 год). В 833 году император Теофил совершил административную реорганизацию Крыма.

В IX и X веках «рах Chazarica» в устье Дона поможет византийцам в их религиозных и дипломатических миссиях, направленных на христианизацию союзников. Без базы в Херсонесе и без надлежащего контроля в Крыму и на Азовском море невозможна была бы активная деятельность — религиозная, дипломатическая и военная — со стороны Византии по отношению к аварам, гуннам, протоболгарам, славянам, русам, варягам, печенегам, хазарам, которые через различные «ворота» Руси достигли земель между Дунаем и Доном. В Херсонесе было местопребывание стратега, который собирал информацию о перемещениях степных народов. От Херсонеса отправлялся императорский флот, чтобы войти в воды Дуная и в Болгарию. В Херсонесе побывали апостолы Кирилл и Мефодий, посланные патриархом Фокием зимой 860—861 годов с миссией к хазарам Волги и Дона. Здесь, на северо-западной оконечности Крыма, митрополит Херсонеса будет крестить от имени патриарха Константинополя киевского князя Владимира в 989 году, венчая его с принцессой Анной.

Неоднократно уже были описаны и объяснены различные политические, религиозные, экономические, культурные и географические факторы, которые способствовали тому, чтобы маленькое Московское княжество превратилось в XIV веке в столицу великой нации, а затем империи. Но, как указал Джон Мейендорф (*Byzantium and the Rise of Russia*. Cambridge, 1981), культурные, идеологические и политические причины следующих после Куликовской битвы (1380 год) событий коренятся в той роли, которую сыграла умирающая византийская империя в истории современной Европы. География и история неизбежно привели к контактам русских земель и Византии со времени расширения России как государства и образования общности, называемой Русь, как нации.

На огромном водном пути, проходящем через Неву, Волхов, Ловать и Днепр, укрепленные города Новгород и Киев и группа византийских баз (бывшие греческие колонии) Понта приобретают все большее значение в упрочении связей византийцев с Западной Европой, что трудно было осуществить по Средиземному морю, где возрастало арабское господство. То, что Дмитрий Оболенский метко назвал «Commonwealth» (православной федерацией) с центром в Константинополе, способствовало тому, что московские князья — династические и культурные наследники древнего Киевского княжества — начали объединение русских земель, опираясь на религиозный центр, Патриархию в Москве, что и обеспечило благоприятный исход.

В отличие от южных славян, которые в XI—XII веках на собственном горьком опыте узнали, что такое византийская власть, Россия не боялась риска политического господства со стороны Византии, поскольку отдаленность и размеры страны делали ее практически неуязвимой перед любым шагом к военному господству. Принятие православного христианства со стороны русских было действительно свободным выбором и, по существу, отвечало взаимным интересам (именно так это всегда и будет истолковываться).

Византийцы восприняли крещение русских как форму интеграции в структуру империи. На практике же русские при таком приобщении приобрели в некотором роде имперское главенство над остальным христианским миром. Тем не менее не всегда были легкими отношения между Византией и ее славянской периферией, входившей в состав этой космо-

политической структуры, как свидетельствует соперничество с болгарами и сербами. В этом смысле русские были всегда более лояльны по отношению к Константинополю, чем их южные братья, и всегда видели в Polis, даже в трудные времена Флорентийского Собора (1438 год), верный источник своей веры и цивилизации.

Несмотря на то что в мрачные годы господства монголов торговые отношения с Балтией были весьма неустойчивы, именно русская церковь сохранила культурную традицию благодаря своей связи с Константинополем, и это было единственной возможностью для России выхода в Европу. Однако империя угасала. В начале XV века, когда Москва начинает преодолевать монгольское иго, православное сообщество становится более крепким и многочисленным, нежели в небольшом уже греческом и балканском мире, почти полностью попавшем под власть Османской империи.

В этих исторических обстоятельствах Великий князь Московский счел, что именно ему надлежит стать во главе православного мира. Русские были в некотором роде бóльшие ортодоксы, чем греки, которые тщетно искали поддержки Запада, готовые склониться даже перед папой римским. Москве неприятно было, что распадающаяся империя просит милостыню у Запада, в то время как Рим поддерживает ее соперников, литовцев и поляков, и не шевельнет пальцем, чтобы защитить русские земли от монголов. Когда Константинополь окончательно пал в 1453 году, Россия, как почти весь православный мир, была убеждена, что это наказание Божье за нечестивое намерение присоединиться к римской церкви.

Падение Константинополя решительно изменило ситуацию. Уже не существовало императора, наместника Бога в Царьграде, а Патриархия, признав власть султана, стала рассматриваться русскими в качестве вассала неверных. Из всего православного христианского мира избежали ислама далекая и изолированная Грузия и Великое княжество Московское. Когда в 1480 году Иван III провозглашает независимость от Золотой Орды, а себя сувереном всех земель русских, возникают условия законно принять титул «царь» как синоним византийских правителей.

Понятия «Москва — Третий Рим» и, соответственно, «Великий князь» как «император» возникают несколько ранее (1441 год), чем падение Константинополя, когда князь Василий II «из необходимости, а не из гордости или дерзости» назначает митрополита Иону в Москве, не дожидаясь утверждения этого Византией, хотя сам Василий позаботился о том, чтобы объявить о своей верности константинопольской церкви. Вскоре, в 1451 году, митрополит предрекает падение Второго Рима. Когда годы спустя Святая София уже становится мечетью, Иван III объявляет (1470 год), что Патриархия уже не имеет власти над русской церковью, хотя из почтения русские митрополиты продолжают утверждаться патриархом, которого добровольно признают главой. Греки вынуждены считать верховным правителем султана, но не русские. В глазах последних необходимо было, чтобы кто-нибудь на законном основании занял вакантное место главы православия. В 1492 году митрополит Зосима пишет: «Император Константин основал Новый Рим, но новый Константин, владыка и самодержец всех русских земель Иван Васильевич, заложил основу для нового града Константина — Москвы».

Идея «Москва — Третий Рим» опирается на понятие «*translatio imperii*», имеющее двойное толкование: законность и восстановление. Законное право Юриков, породившихся с Августом, утверждает Спиридон, митрополит Киевский. Восстановление обладает религиозным аспек-

том, символизирующим перенос высоких символов власти. Русское духовенство сотворило легенду о том, что Константин IX Мономах передал своему внуку Владимиру Мономаху подобный символ власти — знаменитую шапку Мономаха, в действительности позднюю работу восточных мастеров (XIII или XIV век), не имеющую отношения к Византии. Идеологически вся эта символика была направлена на то, чтобы правящая династия оказалась способной возродить империю, православную империю, таким же образом, как прежде Константин, распространив христианство, возродил прежнюю Римскую империю, получив из ангельских рук знаки власти.

В словах Филофея подтверждается этот двойной смысл «translatio»: законность и возрождение. Сочинение монаха Филофея содержит детальное описание обязанностей царя, согласно теократическому характеру фигуры византийского императора. Тем не менее модель, на которую теперь опирались, идеологически значительно отличается от греческого прототипа. Так, для византийцев император был представителем Бога для народа, но, в свою очередь, император представлял и народ свой перед Богом, что значило очень много: нельзя было забывать о власти народа. Этот принцип прослеживается на протяжении веков, иногда усиливаясь. Тому способствовало и светское воспитание, вследствие чего, несмотря на свое могущество, власть византийской церкви не была абсолютной в Византии. В жизни империи большое значение имели миряне, обученные теологии, их было не меньше, чем духовенства. Но Филофей и русские доктринеры совершенно опустили демократическую греко-романскую традицию, на которой покоился византийский устав. Согласно русской церкви, власть правителя исходит прямо от небес, при этом добавляется дерзкий компонент: Россия рассматривается как царство, о котором возвестил Данииил, что оно «никогда не будет разрушено». Результатом станет то, что русская теократия — Царь и Церковь — будут взаимозависимы, благословенны Богом и свободны от любой земной критики.

Формула, принятая Константинополем и Москвой, исторически и в плане культуры предполагала длительный процесс взаимовлияния греков и русских и открывала новый этап, на котором ничто не закончилось так, как предполагалось. Сугубо русские реформы этого времени привели к духовной и политической автаркии на Руси. Третий Рим, рассматриваемый единственным хранителем Божьей благодати, показал, что не нуждается в реформах, подсказанных со стороны, он самодостаточен, чтобы идти вперед. Мы видим, как это ни парадоксально, торжество многих положений, за которые ратовали век тому назад. Различие заключалось в том, что теперь, хотя и видели в греческом православии основную модель, которой нужно следовать, военная власть, подлинно земная власть, способная политически направлять вселенское православие, оставалась в руках царя, помазанника, благословенного Церковью, которая обязала царя Алексея принести покаяние за убийство митрополита Филиппа, совершенное век назад Иваном Грозным.

Никон кончил жизнь в ссылке, но его реформы будут жить. Петр Великий, зная о преимуществах теократического усиления своей власти, а также о потенциальном вызове своему авторитету в случае подчинения власти поднимающейся Церкви, предпочел упразднить практически московскую Патриархию, которая так и не поднялась вплоть до времени после большевистской революции.

Упразднение Патриархии, замененной экзархом с его функциями, канонически вернуло русскую церковь во власть экуменического патриарха,

и на практике митрополит гарантировал некоторую независимость церковной деятельности. Царь же, обладая абсолютной властью, имея титул императора, являлся морально покровителем всех православных церквей. Оставалось только когда-нибудь завоевать Город патриархов, что являлось постоянной целью русской политики вплоть до конца династии Романовых и что обуславливало ход истории не только русских и греков, но и всего европейского юго-востока до недавнего времени.

Панславизм и панэллинизм, далеко не бесспорные в плане сугубо духовном, можно сравнить с соответствующими авторитарными системами, существовавшими в большей части Восточной Европы, которые трудно сломить, поскольку они строились на архаичных социоэкономических фундаментах. Панславизм и панэллинизм не выражают именно православие, напоминая даже некую карикатуру на него, но следует знать, что покоятся они на одной из главных православных традиций — византийской.

Г. М. ПРОХОРОВ

## ХРИСТИАНСКАЯ КНИЖНАЯ КУЛЬТУРА В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Христианизация Руси, как и всякой страны, означала распространение в ней христианского богослужения, устремляющего сердца людей ко Христу-Богу, к Вечности-в-настоящем. Но если составляющий сердцевину богослужения комплекс книжных текстов не имеет связи с тем, что люди вокруг думают, творят, изолирован от окружающего мира, как это было до крещения Руси и при большевиках, тогда, вероятно, можно говорить о вере во Христа посещающих храм людей, но не об их христианской культуре. Культура у них в таком случае, очевидно, какая-то другая.

Если же связь богослужения с «окружающей» словесностью, общественной мыслью, с представлениями людей о самих себе, о природе, о мире существует, то возможно, мне кажется, говорить не только о вере, но и о христианской культуре этих людей и их страны.

Применимо ли понятие христианской культуры к Древней Руси, к Руси XI—XVII веков? Я думаю, да, применимо, потому что именно большая, по сравнению с последующим временем, XVIII—XX веками, связь Церкви и культуры на протяжении как раз этих столетий русской истории и выделяет их в особый период жизни страны — в эпоху, как мы говорим, Руси «Древней», средневековой.

Конечно же, становясь христианами, люди сразу узнают — из Символа веры, да и из множества других богослужебных текстов, — если не знали раньше, что Церковь исповедует Бога, единого в трех лицах, или ипостасях — «собствах», или «сствах», как переводили это слово славяне. Об этом написано, например, в Изборнике 1073 года: «Богъ славимъ есть и покланяемъ въ трѣхъ собствѣхъ», и в Минее 1097 года: «Научилъ еси покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, нераздѣльно существъмъ, трѣми же, собствы покланяема», «Единому Богу покланятися въ трѣхъ сѣставѣхъ, Отцу и Сыну и Святому Духу».<sup>1</sup> Но ведь можно веровать в

<sup>1</sup> См.: Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Репринтное издание. М., 1989. Т. 3. Ч. 1. Стб. 457, 826.

единого в трех «собъствах», или «съставах», Бога и не задумываться над тем, что же такое «собъство», или «състав»; а можно и веровать, и задумываться, и это уже — шаг к окультуриванию своего христианства.

О «собъстве» русский читатель XI века мог прочесть в Изборнике 1073 года следующее: «Собъство же есть вещь състояштися и сушьтна, въ немъже сълучаюштихъся съборъ, акы въ единой подълежащйи вешти и дѣйствѣ състоится», что значит: «Ипостась есть явление, лежащее в основе и существенное, в котором как в едином лежащем в основе фактически и действительно реализуется совокупность случайностей». Продолжаю в собственном переводе: «Этимологически слово „ипостась“ объясняется словами „находиться в основании“ и „существовать“. Кажется, что слова ипостась и сущность означают одно и то же, но, по внимательном рассмотрении обозначаемых этими словами явлений, оказывается, что различие между ними не случайное: ибо сущность означает бытие чего-то общего, а ипостась особенного»; сущность может быть представлена определением, «ипостась же невозможно представить определением, но только — описанием».

Там же можно прочесть, что «ипостась» и «личность» означают практически одно и то же: «Личность есть то, что ясно проявляется в своих действиях и свойствах и отличается от родственных ей существ, как, например, Гавриил, беседующий с Богородицей (...) от единосущных с ним ангелов (...) Ведь благодаря появляющемуся у нас знанию о чьей-то деятельности называют „лицом“ того, кто действует. Кажется, это означает то же, мало или ничем не отличаясь, что и „ипостась“».<sup>2</sup>

С помощью Изборника 1073 года можно было уяснить также, что думали о различии «сущности» и «природы» внешние, т. е. языческие, мудрецы и что думает об этом Церковь; узнать, что движение сущего бывает пяти видов (умственное, словесное, чувственное, растительное и бездушное), понять, что означают термины «сущность», «случайное», «особенное», что такое природа, вид, род, свойство, качество, отношение, противоположность, синоним, омоним и ряд других интересных вещей. Здесь же, как известно, помещается знаменитая в науке статья Григория Хировоска «О образех».

Но Изборник 1073 года в очень малой степени способен служить показателем уровня христианской культуры Руси XI и трех последующих веков: русские его списки этого времени, как кажется, не известны. «Богатая рукописная традиция», которая, как пишут, «свидетельствует о большом интересе, проявлявшемся к Изборнику в древнерусской (...) письменности вплоть до XVII в.», не старше 1403 года (в этом году монах Андроникова монастыря Онфим написал сборник ГИМ, Синод. собр., № 275).<sup>3</sup>

В ту же эпоху усиления интереса к Изборнику 1073 года, не раньше XIV века, русский читатель получил возможность узнать — из перевода на славянский язык «Диалектики» Иоанна Дамаскина, — что практические добродетели, которые он должен как христианин стяжать: алчущего

<sup>2</sup> Пользуюсь в данном случае публикацией глав с философскими дефинициями из Изборника 1073 года, осуществленной параллельно с греческим оригиналом французским русистом проф. Жозе Жоанне: Les chapitres de définition philosophiques dans l'*Изборник de 1073* (Edition gréco-slave / Par José Johannet // *Revue des études slaves*. Paris, 1991. LXIII/1. P. 55—111). Эти главы представляют собой отрывки из сочинений Феодора Раифского, Иоанна Дамаскина и неизвестного автора. Они следуют в Изборнике 1073 года за «Вопросо-ответами» Анастасия Синаита (Л. 27—223) и занимают Л. 223—240.

<sup>3</sup> См.: Изборник 1073 г. // *Словарь книжников и книжности Древней Руси*. Вып. 1. XI — первая половина XIV в. Л., 1987. С. 194—195.



напитать, жаждущего напоить, странника приютить, нагого одеть, больного и заключенного посетить (Мф. 25, 35—36) — относятся к «обычному», этическому подразделению деятельной философии и что кроме «обычного» (этики) деятельная философия включает «домостроительное» (экономику) и «градное» (политику), каковые различаются только количеством руководствующих ими людей: «Обычай бо украшает и како подобает жительствовати учит; и аще убо единому челоуку узаконоложится, глаголетсе обычайное; аще ли всему дому, глаголетсе домостроительное; аще ли градовомь и странамь, глаголетсе градовное».<sup>4</sup>

«Зрительное» составляет другую, теоретическую часть философии, а эта часть, в свою очередь, делится на «богословное», «естествословное» и «учительное».

«Богословное» рассматривает объекты бесплотные и неведущественные, как то Бог, ангелы, души, и включает, стало быть, богословие, психологию и анжелологию с демонологией.

«Естествословное» состоит в изучении животных, растений, камней и тому подобного, т. е. включает в себя природоведение во всем его разнообразии.

«Учительное» же — это изучение «бестелесного в телесном» («бестелесных, а телесных же зримых»), как то математика, музыка, геометрия и астрономия (Ibid.).

Из той же «Диалектики» Иоанна Дамаскина читатель мог также узнать, если не знал раньше, что «зрети» значит и «думать», «еже смышляти» (Р. 232—233), и что это занятие заслуживает всяческих похвал: «Зрител'но убо есть еже разумь украшает» (Р. 20), а «ничто же разума есть чествйше, ибо разумь свѣтъ есть душе словесные. Такожды пакы неразумие тма есть. Якоже бо свѣта лишение тма есть, тако и еже разума лишение помыслу тма есть»; и кто по природе разумен и словесен, по нерадивости же и лености разума не имеет, тот «бесловеснихъ есть худъши» (Р. 8—10).

Благодаря мышлению то, что представляется человеку простым, оказывается сложным. Например, сам человек, кажущийся простым («прость являемь»), при рассмотрении оказывается двойственным, состоящим из души и тела («съмотрениемъ сугубь сматрает се, от душе же и тѣла слежешь», Р. 234). Причем ясно, что «ни душа есть въ себѣ челоуку съвршенъ, ни же тело» (Р. 56). Всегдашнее субъективное настоящее, в котором человек живет, «еже нынѣ», оказывается лишь границей прошлого и будущего — «край есть мимошедшаго лѣта и начало хотещаго быти» (Ibid.); так что мы различаем три времени, «лѣтна разнь'ствия»: «настоящее, мимошѣдшее, будущее» (Р. 194).

Мышление имеет свою технику: чтобы что-то стало ясно, требуется «указы», доказательство, к нему приходят с помощью «събрания», силлогизма. «Събрание же сълежит'се от двѣю истинну прѣдчинию и съвыкупленю», т. е. силлогизм образуется из двух правильных положений — посылок и вывода. Например, желая доказать, что душа бессмертна, говорят «предчиние»: «Всяко приснодвиж'но бесъмртно есть». Затем говорят второе «предчиние»: «Душа приснодвиж'на есть». И после этого — вывод: «Душа убо бесъмртно есть» (Р. 222—223).

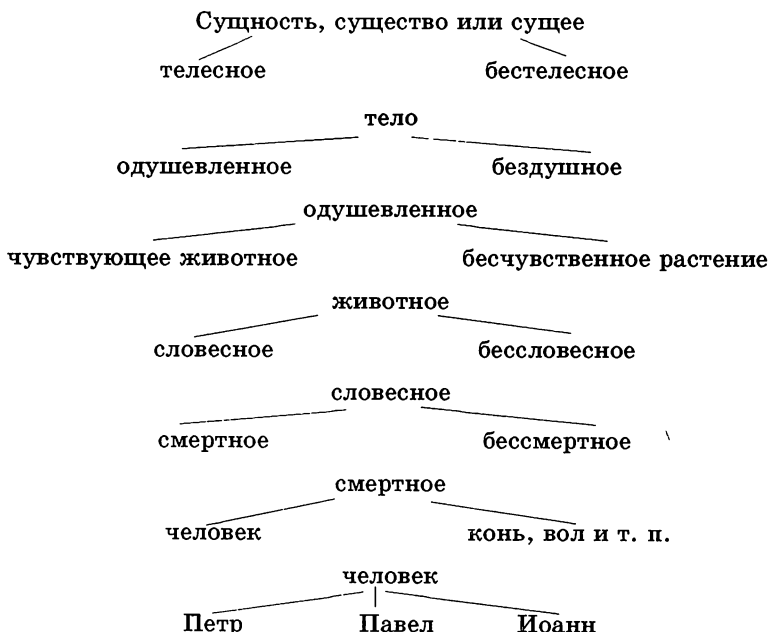
Исходные предпосылки коренятся в «общей мысли», общественной самоочевидности: «Об'ща мысль есть еже от всѣхъ исповѣдаема, сирѣчь,

<sup>4</sup> Weiher E. Die Dialektik des Johannes von Damaskus in kirchenslavischer Übersetzung. Wiesbaden, 1969. S. 24 (Monumenta linguae slavicae. Dialecti veteris. Fontes et dissertationis. T. VIII). Далее ссылки на это издание приводятся в тексте.

яко есть солнце» (Р. 230—231). Опираясь на нее, теоретическое мышление с помощью свойственных ему приемов приводит ум к парадоксальным результатам, «положениям»: «Положение есть прѣславное (т. е. парадоксальное. — Г. П.) приетие нѣкихъ въ любомудрии познан'нихъ, сирѣчь стран'на мысль», примером каковой «странной мысли» могут служить идеи Парменида и Гераклита: «Пар'мѣнидово слово, яко едино глаголаше еже суще, и якоже Ираклить, яко вса движутьсе» (Ibid.) (имеются в виду мысль Парменида о единстве сущего и идея Гераклита о всеобщем движении).

Теоретический анализ, опирающийся на средневековую самоочевидность, позволял разделить все существа на телесные и бестелесные; телесные, в свою очередь, на одушевленные и неодушевленные; одушевленные — на наделенные чувствами животных и бесчувственные растения; животных — на словесных и бессловесных; существа словесные — на смертные и бессмертные (ангелы); смертных — на людей, волов, коней, собак и т. п.; а людей — на отдельные лица, как то Петр, Павел, Иоанн (Р. 58, 100).

Поскольку логическое членение оказывается далее невозможным, лица получили в этой системе наименование «атомов», «нечленимых», в славянском переводе «несекомых» (то же, что латинское «индивидуум»), а поскольку схема строилась сверху вниз, также и «ипостасей», т. е. стоящих в самом низу, так сказать, подставок. Это особо разъяснялось: «Подобает знать, что святые отцы ипостасью, атомом и лицом назвали одно и то же — существующее само по себе, состоящее из существа и случайностей. ⟨...⟩ Ипостась именуется от глагола „класть в основу”» («Подобает же вѣдати, яко святии отци състав, и несѣкомое, и лице тожде нарекоше — иже въ себѣ свое — стоян'нѣ от случая и състава съставлешесе. ⟨...⟩ Глаголетсе же съставъ заеже състоятисе») (Р. 144—147). Вот эта схема, покоящаяся на «ипостасях» (Р. 58—59):



Во второй половине XIV—XV веке внимание переписчиков и читателей начали привлекать и другие книги, касающиеся вопросов философии, психологии, естествознания. Они тоже свидетельствуют о «культурных» интересах русских христиан того времени. Яркий тому пример — «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского (IX—X века), писателя и переводчика следующего за Кириллом-Константином и Мефодием поколения. Его «Шестоднев» — это перевод-компиляция «Шестоднево» Василия Великого (от которого зависят все сочинения этого жанра) и Севериана Гавальского (IV—V века), а также различных сочинений Григория Богослова, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, Феодорита Кирского, но наряду с ними и Аристотеля, Парменида, Демокрита, Диогена, Фалеса, Платона и других «эллинских» философов. Как и Изборник 1073 года, он пришел в русскую книжность из Болгарии, возможно, тоже в XI веке,<sup>5</sup> хотя древнейший его сохранившийся список, сербский, датирован 1263 годом,<sup>6</sup> а старейшие русские относятся к XV веку.

Наблюдение «сущего» во всех его видах — этому учили «Шестодневы» — должно было вызывать у читателя чувство радостного переживания красоты и восхищение премудростью свойственного ему устройства, каковое чувство обращало умственное око человека к Творцу. А уже во вторую очередь он мог, если хотел, вникать в устройство твари и секреты ее красоты.

Главнейшим из объектов тогдашней «зрительной» философии, судя по этим книгам, оказывался сам человек, причем не столько в виде животного, подлежащего «естествословному» изучению, сколько как существо невещественное и словесное, принадлежащее к объектам «богословного» отдела «зрительной» философии. Наиболее вероятным путем для умозрения и приложения духовных сил оказывался, таким образом, указываемый этими книгами путь, ведущий внимание человека к его собственной душе.

Что так оно на Руси в XIV—XV веках и было, мы судим по количеству дошедших до нас от той эпохи списков «психологических» сочинений определенного рода. Наблюдения над составом древнерусских библиотек показывают, что во второй половине XIV и в первой половине XV века на Русь тек поток пособий по «зрительной» философии именно в той ее части, которая занимается внутренней жизнью «несекогого», устройством и болезнями души, и что в это время резко возросла интенсивность переписывания, копирования на Руси этих, как их называют, аскетических сочинений. Ничего подобного не было ни в XI—XIII, ни в XVI—XVIII веках.

В известной мере это литература научная, потому что она базируется на некоей антропологии и «патологии», учении о страстях. Но по жанру и своим задачам это по большей части практические пособия — рекомендации, наставления, советы, мысли, рассчитанные на людей, занятых изучением и возделыванием собственной души. Хотя литература, о которой мы говорим, дошла до нас в составе монастырских библиотек и написана едва ли не исключительно монахами, она могла служить и,

<sup>5</sup> См.: Лихачев Д. С. 1) «Шестоднев» Иоанна Экзарха и «Поучение» Владимира Мономаха // Вопросы теории и истории языка. Л., 1963. С. 187—190; 2) «Слово о погибели Русской земли» и «Шестоднев» Иоанна Экзарха Болгарского // Сборник статей к 70-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. М.; Л., 1966. С. 92—96.

<sup>6</sup> Шестоднев, составленный Иоанном Экзархом Болгарским // Чтения в Обществе истории и древностей российских. М., 1879. Кн. 3; Aizetmüller. Das Hexaemeron des Exarchen Johannes. Graz, 1958—1971.

конечно, служила не только монахам. В сборниках того времени можно найти «Слово о спасающихся в миру», а там прочесть: «Разумейте убо, яко не спасает мѣсто никогоже, но дѣла спасуть или осудятъ», и «Аще кто в монастыри живет, или в пустыню идет, а норова зла не оставить, и тамо погубить душу свою».<sup>7</sup>

Одно из первых мест среди такого рода книг занимает «Лествица» Иоанна Синайского, или «Лествичника», автора VI—VII веков. Она известна в славянском (болгарском X или XI века) переводе по списку XII столетия, но широкое распространение на Руси получила с конца XIV—начала XV века, в новом, сербском, переводе, созданном около 1370 года. Многие «психологические» книги в XIV веке были переведены на славянский язык и попали на Русь впервые. Это сочинения Аввы Дорофея (VI—VII века), Исаака Сирина (VII век), Симеона Нового Богослова (X—XI века), Григория Синаита (XIV век) и др. Популярность этой литературы, судя по количеству списков, взлетела по второй половине XIV века у славян, преимущественно у русских, с близкого к нулю уровня XI—XIII веков на уровень в два с половиной раза превышающий «потолок» византийского интереса к ней в XI веке. В XV веке она была еще высока, но уже тогда начался спад. И хотя на рубеже XV и XVI веков произошел новый подъем, в XVI веке, однако же, спад продолжился и привел к нулевому уровню в XVII—XVIII веках.<sup>8</sup>

Читая эту литературу, мы видим, что, подобно всему существу, делящемуся на роды, виды и атомы-ипостаси, и внутренний мир человека имел — в глазах интересующихся этим людей — определенную конструкцию. Как в древности Платону, так и в Византии и Древней Руси душа «несекмого» представлялась состоящей из трех частей: умственной, или словесной, яростной, или раздражающейся, и «похотной», дающей способность влечения, вожделения. Считалось, что человек с такой трехчастной душой был создан, но что в будущем, после всеобщего воскресения и преобразования, «яростного» и «похотного» у него уже не будет, останется только «словесное». Именно «словесное», способность, созерцая, осмысливать сущее, роднит человека с Богом и дает основание говорить, что он создан по образу Божию. Способности же к ярости и вожделению, роднящие его с животными (он ведь и сам животное), считалось, были приданы ему как своего рода оружие, средства действенной ориентации в мире. Свободный в своем выборе человек должен управлять ими с помощью разума. Но уже первый человек, Адам, неправильно воспользовался «частями» своей души: мышлением — потому что не отличил хорошего от дурного, яростностью — потому что не прогневался на змея-искусителя, а влечением — потому что потянулся к тому, к чему тянуться не следовало. Подобные искушения испытывают душу каждого человека.

Каждая часть души открывает перед человеком как хорошие, так и плохие возможности. По Григорию Синаиту, согрешения «словесного» — «неверие, ересь, безумие, нерассуждение, хула, съложения грѣховнаа от страстных части» (т. е. уступка греховным желаниям страстной части); «Похотного же съгрѣшения суть сия: чрѣвообъядение, блудъ, нечистота,

<sup>7</sup> РНБ. Кирилло-Белозерское собр. № 4/1081. «Сборник Паисиевской», конец XIV—начало XV века. Л. 126—127, об.

<sup>8</sup> Расчеты эти на материале библиотеки Троице-Сергиевой лавры см.: Прохоров Г. М. Келейная исихастская литература (Иоанн Лествичник, Авва Дорофей, Исаак Сирин, Симеон Новый Богослов, Григорий Синаит) в библиотеке Троице-Сергиевой лавры с XIV по XVII в. // Труды МГУ. 1974. Т. XXVIII. С. 317—324.

въсѣкъ прѣзъестественный грѣхъ, любоимѣние, ненависть, немилостивное, памятозлобное, зависть, убийство и чястое о такихъ поучение».<sup>9</sup>

Словесная часть души, как видим, может ошибаться сама, но может и выпускать из повиновения свои «страстные» части, «похотное» и «яростное», которыми призвана управлять. «Как железо, по мысли мастера формируемое, в зависимости от того, что мастер захочет сделать, тем и становится, обращаясь либо в меч, либо в какое-либо земледельческое орудие, так и страх может быть обращен в послушание, ярость в мужество, робость в уверенность, а порыв вожделения в божественную нетленную радость», — читаем в «Диоптре», диалоге Души и Плоти, сочиненном византийским монахом Филиппом Монотропом в XI веке, а переведенном на славянский язык и ставшем известным на Руси во второй половине XIV века.<sup>10</sup> «Если же разум отбросит вожжи и, словно некий ездок, зацепленный колесницей, окажется ею влеком, то туда будет устремляем, куда направится бессмысленное движение упряжки. Что и можно видеть у бессловесных, когда не руководствует смысл свойственным их природе движением».<sup>11</sup>

Направлений такого «бессмысленного движения упряжки» различали восемь. Их называли страстями, или «страстными помыслами», и делили на: «1) чрѣвообъястный, 2) блудный, 3) сребролюбивый, 4) гнѣвный, 5) печальный, 6) уныния, 7) тщеславный, 8) грѣдостный».<sup>12</sup> Иоанн Лествичник говорит о семи страстных помыслах, поясняя, что тщеславие является просто начальной стадией гордости. Кроме того, он выделяет как главные страсти славолубия, сластолюбия и сребролюбия, поясняя, что они порождают все остальные болезни души — гнев, злопамятство, уныние, тщеславие и высшую степень тщеславия — гордость.

Всякая греховная страсть — учат писатели-созерцатели — начинается с простого воспоминания или с какой-то приходящей на ум мысли. Это «прилог». Он совершенно неизбежен в повседневной жизни. Хорошо усвоивший идеи этой психологической литературы русский писатель XV — начала XVI века Нил Сорский (ок. 1433—1508) писал о «прилоге» следующее: «Прилог убо, рекоша святии отци, Иоаннъ Лествичникъ и Филофей Синаитъ и инии, помысль простъ или образъ прилучшагося, новоявленне въ сердце вносимъ и уму объявляющесе. Григорий же Синаитъ глаголетъ: прилог — бываемое от врага въспоманутие, рекше: „Сътвори се или оно“, — якоже при Христѣ Бозѣ нашемъ: „Рци, да камение се хлѣби будутъ“. Сие же, просто рещи, каа-любо мысль на умъ челоуѣку принесена будеть. И сие, глаголють, безгрѣшно и ни похвалу имуще, ни укоръ, понеже не въ насъ есть. Невъзможно убо есть еже не быти къ намъ прилогу вражиа помысла, якоже глаголетъ Симеонъ Новый Богословъ...»<sup>13</sup>

Если человек не отгонит то, что ему приносит на ум или на сердце «прилог», происходит «сочетание». «Сие же есть помышляти которая-либо мысль, принесена на умъ. Сие рекоша не безгрѣшно: имать убо похвалу, егда богоугодно расчинить», — поясняет Нил Сорский.<sup>14</sup> «Съчетание

<sup>9</sup> БАН. 13.3.19. Сборник, 1448 г. Л. 470—470, об.

<sup>10</sup> См.: Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV—XV вв. Л., 1987. С. 60—86.

<sup>11</sup> Там же. С. 264—265.

<sup>12</sup> Нила Сорского Предание и Устав / Со вступительной статьей М. С. Боровковой-Майковой. ПДПИ, СЛХХХ. ОЛДП, 1912. С. 16.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Там же. С. 17.

есть приѣтие еже от врага вълагаемые страсти и, якоже рещи, чясто поучение и мъчтаніе», — читаем в переводе произведений Григория Синаита.<sup>15</sup>

Если в этот момент человек не начнет еще «борение» с помыслами, «сочетание» перейдет в «сложение», каковое, по Григорию Синаиту, представляет собой уже «прѣклонение помыслу къ страсти».<sup>16</sup> Если и тут не начнется еще «съпротив статіе помыслу»,<sup>17</sup> произойдет «пленение» человека какой-либо страстью и начнется ее губительное воздействие на личность (колесница сбросит наездника и, зацепив, повлечет его за собой). Тогда, как корабль, «бурею и волнами носим», человек уже не может «в тихое и мирное устроение приити».<sup>18</sup>

Эта теория болезней души естественным образом направляла внимание любителя «зрительной» философии в его собственные ум и сердце. Но допустим, он и этим не исчерпывал свои силы, и ум и душа его продолжали требовать и иной «умозрительной» пищи. Совершив вместе с Иоанном Дамаскиным мысленное схождение от единого «существа», сущего, до отдельных явлений и атомов-лиц-ипостасей — так сказать, с уровня эссенции на уровень экзистенции — и восхождение обратно, русский читатель мог, с конца XIV — начала XV века, в поисках истоков всякого бытия обратиться к такому кладезю богословско-философской мысли, как корпус сочинений, надписываемых именем Дионисия Ареопагита, с толкованиями к ним, собранными и написанными в VII веке Максимом Исповедником, и пробиться вместе с ними куда-то за пределы всего и видимого, и мыслимого. Там, за этими пределами, бесполезны, по Дионисию, приемы логического мышления, силлогизмы, и требуется не частная, а какая-то общая сила ума. Но и ее недостаточно, если человек не окажется частью, причастником этого плана бытия: «Вся бо божественная ѿ елика намъ явленна суть причастіями единеми (только по мере сопричастности. — Г. П.) разумѣваются; сія же какова суть по своему начялу и пребыванию, паче ума суть и всякого существа и разума».<sup>19</sup> Автор предлагает читателю прозреть превосходящее разум единство, «еже паче ума единьство» всего, увидеть «умный свет», «разумная и словесная вся събирающи и вкупѣ вся творящи»,<sup>20</sup> и затем попасть в «сумракъ пресвѣтлый», сверхсветлый мрак, «пресущественный», т. е. превышающий уровень «существа», и «преумный», превышающий уровень постижимого умом, где «безсловесіе отнюднее и неразуміе обрѣсти имама» (т. е. где человек оказывается полностью бессловесным и безразумным).<sup>21</sup>

Здесь я не могу говорить подробно о прославленном в истории мировой философии и христианства корпусе сочинений, надписываемых именем Дионисия Ареопагита. Я коснулся его лишь для того, чтобы показать, что и этот важный, неповторимый элемент мировой христианской культуры был усвоен Русью тогда, когда у нее возникла потребность в мировой христианской культуре. Но в отличие от «психологической» литературы, интерес к которой на протяжении XVI—XVII веков на Руси падал, Дионисиев корпус в это время пользовался всевозрастающей популярностью,

<sup>15</sup> БАН. 13.3.19. Л. 471.

<sup>16</sup> Там же. Л. 471, об.

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> Нила Сорского Предание и Устав. С. 18—19.

<sup>19</sup> Памятники славяно-русской письменности, изданные Археографическою комиссіею. I. Великия Минеи Четии. Октябрь, дни 1—3. СПб., 1870. Стб. 419—420.

<sup>20</sup> Там же. Стб. 450.

<sup>21</sup> Там же. Стб. 723—727.

но тоже практически был забыт в XVIII веке, после Петровских реформ, с концом «Древней Руси».<sup>22</sup>

Таким образом, интерес к «наднациональной» христианской культуре, совершенно определенно, резко усилился на Руси на рубеже XIV и XV веков, сообщив мысли читателей возможность восхождения до единого «сущего» и за его пределы, а также нисхождения до уровня «атома», ипостаси, и даже ниже этого предела, опускаясь по ступенькам «прилога», «сочетания», «сложения» и «пленения» в ад «страстей».

Можно, мне кажется, сказать, что если христианская вера дает «вертикальное измерение» сердцу человека, то христианская культура — такое же «измерение», новую координату, его уму.

Я коснулся здесь, конечно, далеко не всех переведенных с греческого на славянский и имевших распространение на Руси сочинений святых отцов, составлявших «интеллектуальную вертикаль» в общественной мысли страны. Но можно увидеть, что на протяжении XI—XVII веков она не была величиной постоянной. Едва намеченная в X—XI веках благодаря принесенным из Болгарии сборникам с отрывками произведений христианских мыслителей, на протяжении XII—XIII веков она пребывала в целом в таком же состоянии и вдруг резко выросла в XIV—XV веках за счет большого количества новых переводов. В XVI—XVII веках существенного приращения переводов сочинений святых отцов на Руси опять не произошло. К одним из них интерес за это время падал, к другим (как, например, к Дионисию Ареопагиту) возрастал. Но и те и другие ушли в небытие или на периферию культуры с началом XVIII века, когда, бросив прежние духовные завоевания, страна принялась за новые.

---

<sup>22</sup> См.: Прохоров Г. М. Памятники переводной и русской литературы XIV—XV вв. С. 5—59.

**В. Б. ЗЕМСКОВ**

## **ХРОНИКИ КОНКИСТЫ АМЕРИКИ И ЛЕТОПИСИ ВЗЯТИЯ СИБИРИ В ТИПОЛОГИЧЕСКОМ СОПОСТАВЛЕНИИ**

(К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСА)

Сопоставительное изучение памятников культуры, литературы России и Испании — далеко не новая тема. Ее в разных аспектах и на разном материале разрабатывало немало ученых, в том числе, если говорить о литературе, таких, как академик М. П. Алексеев, который своими работами и открыл данное направление, академик Н. И. Балашов и др.

Материал, который предлагается к сопоставлению, может показаться неожиданным, касательно же русских летописей взятия Сибири, и маргинальным (значение испаноамериканских хроник общепризнанно). Между тем если иметь в виду системность в сопоставлении испано-русского материала, то привлечение этих памятников оказывается не только возможным, но и необходимым, что я и надеюсь показать.

Поскольку речь идет о попытке очертить общий контур темы, сами тексты не рассматриваются, а служат фоном для постановки исходных вопросов. Если говорить об испаноамериканском материале, то базой для

суждений здесь является практически весь корпус памятников, созданных в ходе открытия и конкисты Америки, с последнего десятилетия XV века до примерно 70—80-х годов XVI века, когда конкиста завершается. Назовем имена наиболее известных авторов: Колумб, Кортес, Франсиско де Херес, Фернандес де Овьедо, Лас Касас, Лопес де Гомара, Сьеса де Леон, Гаспар де Карвахаль, Диас дель Кастильо. И как раз с этого рубежа и до конца следующего, XVII столетия в ходе продвижения русских на восток создаются «Летопись Сибирская краткая Кунгурская», летописи Строгановская, Есиповская, «История Сибирская» Семена Ремезова, так называемое «Описание Сибири» (уже начала XVIII века).<sup>1</sup>

Итак, хроники конкисты Америки и летописи взятия Сибири как объекты сопоставления. Почему мы можем их сопоставлять?

Фундаментальным основанием для сопоставительного изучения хроник конкисты Америки и русских летописей взятия Сибири является их единосущность в широком геополитическом, историко-хронологическом и историко-культурном смысле как памятников, отразивших экспансию христианской европейской цивилизации на рубеже нового времени за пределы своего традиционного ареала — на запад в иберийском варианте, на восток в варианте русском. Хотя эти два варианта европейской цивилизационной экспансии имели важные различия, наложившие свой отпечаток на тексты, существует немало моментов, зовущих к такому сопоставлению в том, что касается исходных причин экспансии, ее источников и форм. Назовем эти моменты, сознавая, что каждый из них мог бы стать предметом специального рассмотрения. Во-первых, возникновение на границах европейской цивилизации в конце XV — начале XVI века после освобождения от мавров на западе и от татаро-монголов на востоке сопоставимых типов государства — абсолютистских монархий (при католических королях Фердинанде и Изабелле, Карле V и Филиппе II — и при Иване III, Василии III и Иване Грозном). Обе монархии являют собой периферийные (по отношению к центрам европейского развития) и пограничные (по отношению к иным цивилизациям) государственно-национальные единства, через границы которых и осуществляется экспансия европейской цивилизации в целом. В обоих вариантах эта экспансия происходит на основе универсалистских концепций христианских империй — католической в испанском варианте, в акцентированном программном виде, православной в менее ясно выраженном, в программном смысле, русском варианте.

Далее общность идеологической цели, мотивации и аргументации экспансий — распространение христианской религии (Бог повелел проповедывать христианство через Сибирь во все концы — эта формула из «Истории Сибирской» Ремезова совпадает полностью с формулами испанских хроник). Кроме того, историко-хронологическая сопоставимость двух экспансий, начинающихся с разрывом в несколько десятилетий. Хотя русская экспансия имеет длительную предысторию, ее подлинным началом следует считать завоевание Астраханского и, особенно, Казанского ханств в середине XVI века, что открыло путь на Урал и в Сибирь. К этому времени Испания уже укрепилась в главных районах своей экспансии — в Мексике и в Перу; в дальнейшем, в XVIII веке, Испания и Россия встретятся на берегах Тихого океана (Русская Аляска, Русская Калифорния).

Наконец, следует отметить то обстоятельство, что и на востоке и на западе экспансия европейской цивилизации начинает осуществляться,

<sup>1</sup> См.: Сибирские летописи. СПб., 1907.



как уже отмечалось, через периферийные (по отношению к центру развития) культуры, задержавшиеся на рубеже средних веков и нового времени, где основные культурно-идеологические тенденции общеевропейского развития (Ренессанс) выступают либо в пригашенных, невыявленных или симбиозных формах (эразмизм в Испании), либо в спорадическом виде, не имеющем системного характера (Россия), — вариант «минус восприятия», поскольку налицо сопротивление западному влиянию, идущему через Польшу и Украину. Русская культура в целом остается в рамках средневековых форм и канонов, но в то же время обнаруживает принципиально новые моменты (о чем свидетельствует, скажем, такой известный памятник, как переписка Ивана Грозного и князя Курбского); претерпевает изменения летописный стиль, зарождается новая концепция исторического времени, причем это обнаруживается, по наблюдениям академика Д. С. Лихачева, именно в памятнике, отразившем начало русской экспансии, — в «Истории Казанской».<sup>2</sup>

Отдельный вопрос, который уже в определенной мере изучен фактологически (но, как нам представляется, недостаточно осмыслен), — это вопрос информационного взаимодействия и воздействия испанского примера на Россию. Как писал М. П. Алексеев, через сообщения и переводные сочинения Испания явила для русских «возбуждающий пример военно-колониальной экспансии, горячку которой Московское государство пережило несколько позже».<sup>3</sup> Вопрос о значении этого примера для России (хотя, как уже отмечалось, русское продвижение на восток имеет гораздо более давнюю историю) все-таки остается открытым для изучения на всех уровнях: от уровня выработки государственно-политической концепции экспансии до уровня текстов (концептуально-метафорическое осмысление открываемых новых земель и народов и стилистическое воплощение новооткрытого). Речь идет и об обмене информацией при политических контактах (русские посольства в Испании), культурных контактах (беседы италянцев — известного историка конкисты Паоло Джовио и выдающегося деятеля культуры Возрождения Рамузио с русскими о Сибири — но ведь несомненно был и встречный интерес); осмыслении этих событий при русском дворе и в русской литературе, начиная с М. Грека; распространении переводной литературы («Хроника» Марцина Бельского, хронографы, труды Меркатора, Орбелиуса, атлас Блеу и т. д.).<sup>4</sup> Все важно для понимания стимулов и фона, на котором создавались русские памятники. Меньше оснований, видимо, говорить о каких-то непосредственных влияниях, особенно в отношении ранних памятников.

При тех моментах сходства, о которых говорилось выше, существуют глубокие различия как объектов, так и субъектов культурно-цивилизационной экспансии на западе и на востоке и их взаимодействия между собой, что предопределяет границы, характер и объем их сопоставимости. Поэтому наиболее плодотворным путем выявления сходного или близкого в хрониках и летописях представляется путь, так сказать, апофатический: обнаружение несходного.

Сначала об объектах экспансии: Америка и Сибирь. Как известно, Колумб намеревался открыть лишь новый путь в Индию — этот извечный в европейском (в том числе и русском) сознании мифопопс щедрой земли.

<sup>2</sup> Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967. С. 277—279.

<sup>3</sup> Алексеев М. П. Этюды из истории испано-русских литературных отношений // Культура Испании. М., 1940. С. 89.

<sup>4</sup> См.: Алексеев М. П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников XIII—XVII вв. Иркутск, 1941.

В данном контексте правильной было бы даже сказать: путь в Нижнюю Индию, так как Верхней Индией со времен Плиния и до итальянского Ренессанса (у Помпонио Лэто, XVI век) называлось то неведомое пространство, что вскоре станет Сибирью. Для него это было техническое преодоление океанского пространства, которое должно было привести его все в тот же известный *континуум* Старого Света, только с западной стороны. Результатом же стало обнаружение нового континуума — нового континента, Нового Света. Испанцы в полном смысле слова совершили открытие: обнаружение ранее неведомого, новой географической, природной, культурной реальности.

Иное дело в русском варианте: экспансия совершается в пределах известного континуума Старого Света. Первые сведения о походах русских за Югру и в Самоядь фиксируют летописи XII века (причем со слов «старых мужей»). Речь идет о первой, новгородской волне колонизации; новгородцы в годы татарского ига достаточно прочно утверждаются в Заволжье; ранним объектом колонизации стала также Великая Пермь. Московская волна колонизации начинается с середины XV века (походы 1465, 1483, 1499 годов), когда русские доходят до Иртыша и до низовьев Оби. Одним словом, Русь имела давние и прочные контакты с Востоком, которые приобрели характер теснейшего взаимодействия во времена татарского ига. Если представления западноевропейского человека о Верхней Индии (Сибири) вплоть до начала (и позднее) завоевания Сибири русскими были покрыты мраком неизвестности и полны мифологизма, то для русских восточная ойкумена была зоной частых и даже постоянных контактов.

Но все-таки следует отметить, во-первых, дискретность, слабую преемственность знаний и сведений о восточных землях; во-вторых, то, что традиционные контакты с Востоком осуществлялись через границу лесостепи, по южной кромке русского ареала. После взятия Казанского ханства с середины XVI века открывается возможность, опираясь на уже давние зоны колонизации, такие как Великая Пермь, Строгановские колонии, продолжить путь на восток за Камень (т. е. Урал) по лесной, таежной полосе, т. е. через иную географически климатическую зону с неизвестными пределами. Таким образом, это также было открытие неведомого, хотя и в пределах старого континуума. Испанцы пересекали «море мрака», океан, а русские — океан-тайгу. Как писал теоретик евразийства Савицкий, «русские, пройдя насквозь тайгу от Онеги до Охоты, сделали ее стихией, соразмерной Степи»,<sup>5</sup> т. е. ввели в зону культурно-цивилизационных контактов, в чем и состоит, собственно, историко-культурный смысл понятия «открытие». И еще одно его высказывание: «Русские пересотворили восточный космос, пройдя в XVI веке по всей Сибири от Урала до Камчатки и Чукотки»,<sup>6</sup> т. е. русские создали в этой зоне иной мир — именно то, что сделали и испанцы в Новом Свете.

Далее о различиях и сходстве. В Новом Свете европейский человек встретился с обществом, изолированным от мировых связей, исторический возраст которого традиционно оценивается как сопоставимый с возрастом Древнего Египта. Это объясняет огромное напряжение на полюсах встретившихся культур, особенности экспансии, ее идеологии и характер культурного взаимодействия (имеются в виду цивилизации Нового Света — ацтеки, майя, инки-кечуа, за ними по нисходящей следует длинная лестница исторического возраста американских племен).

<sup>5</sup> В кн.: Евразийство. материалы; публикации. М., 1992. Вып. 1. С. 67.

<sup>6</sup> Там же. С. 78.

Русская экспансия, как уже было сказано, происходила в старом культурном континууме, но вне границ зоны активных культурных контактов (Степь—Тайга); здесь также наличествовала широкая шкала исторического возраста местных племен и народов. Основной фон похода Ермака составляли татары, остяги, вогуличи. Одни (как татары) были близки Руси в культурно-технологическом отношении, другие существенно отставали (чем дальше на север и на восток, тем больше), но главное различие состояло даже не в историческом возрасте, а в том, что население Старого Света (Сибири) жило в континууме постоянного информационного взаимодействия (огромную роль в этом отношении сыграла монгольская экспансия на запад). И это различие зафиксировали хроники и летописи.

Как известно, три феномена обрели мифологическое значение для индейского населения: конь, огнестрельное оружие, книга (см. хроники Франсиско де Хереса, Гуамана Помы де Айалы и др.).<sup>7</sup> Не говоря уже о коне, два других феномена не были совершенно неизвестны татаро-монгольскому населению конца XVI века. Большинство летописей о походе Ермака выделяет два как бы противоположных эпизода. Один — сходный с американскими хрониками: Ермак, чтобы запугать противников, демонстрирует «невидимое» или «огненное стреляние» пленнику и отпускает его, чтобы тот разнес весть среди своих соплеменников. Все факты устрашающего воздействия на сознание сибирцев эффекта пороховой стрельбы тщательно фиксируются. Другой эпизод, абсолютно противоположного свойства, отмечаемый в летописях, — это использование татарами в одном из сражений пушек (правда, неудачное), которые были доставлены им чувашами из Казани.

Кроме того, русские летописи не описывают такой паники, какая возникала среди ацтеков или инков. Одним словом, для северных сибирцев огненное стреляние и было новостью, и не было — в любом случае, нет сведений о мифологизации ими огнестрельного оружия. То же самое, очевидно, относится и к книге. Индейцы-инки воспринимают «разговаривание с книгами» (чтение вслух) как магический ритуал (у ацтеков и майя, как известно, было соответственно пиктографическое и иероглифическое письмо, имевшее магическое значение). В русских летописях нет сходных эпизодов, однако можно предположить, что *рукописная* книга через Степь, через Юг также не была *вовсе* неизвестной — ведь вскоре последовала исламизация татарского населения, и в противостоянии двух книг — Библии и Корана — христианство после военной победы потерпело здесь культурное поражение; христианство укрепилось лишь среди более отсталых народов и, конечно же, в формах, сравнимых с американским вариантом, — симуляцией восприятия непонятной религии и параллельного практикования двух обрядов.

Но в целом культурно-технологическое превосходство русских (благодаря их постоянному контакту с Западом) было решающим фактором успешного продвижения на восток. *Недостаточное удивление русских* при встрече с сибирскими религиозными обрядами и соответственно неизмеримо меньшее внимание к «болванским молениям» и к «шейтанщикам», достаточно будничным тон повествования о них (в сравнении с описаниями американских хроник) — это также убедительно говорит об ином характере экспансии в Старом Свете, или в старом культурном континууме.

<sup>7</sup> См.: История литературы Латинской Америки. От древнейших времен до начала Войны за независимость. М., 1985. Т. I. Ч. II.

Теперь о субъектах экспансии — вопрос, который должен рассматриваться, по крайней мере, в двух измерениях: общество и человек — носитель экспансии. Естественно, здесь можно лишь наметить общий контур темы.

Как уже отмечалось, существует принципиальное сходство общих идеологических концепций конквисты Америки и взятия Сибири: провиденциальность всемирного распространения христианства согласно библейскому завету. Соответственно и конкистадоры, и русские воины (Ермак и товарищи) — исполнители Божьей воли, сопровождаемые носителями идеологии — священниками (в отряде Ермака три попа, один расстрига, умеющий справлять обряд, хоругви, весь набор, необходимый для службы). Таков сходный с испанским исток кампании православной христианизации, разворачивавшейся с начала первой трети XVI века, когда в Тобольске учреждается первый епископат во главе с Киприаном (я не привожу сведений об испанской католической христианизации как более известной).

За этой заглавной формулой экспансии, как уже тоже отмечалось, стоят абсолютистские монархии с универсалистскими притязаниями. Государственный характер испанской конквисты хорошо известен, она отличается высокой и обнаженной идеологизированностью и политизированностью, опирается на благословение Ватикана, на свод быстро создающихся юридических оснований и установлений, касающихся Нового Света, закреплена формулой «всемирной католической монархии» и т. д. Всеми этими аргументами постоянно (критически или апологетически, в зависимости от отношения к конквисте) пользуются испанские хронисты.

В русских летописях существуют различные версии относительно начала экспансии в Сибирь. Большинство летописей, при том что завоевание Сибири рассматривается как исполнение Провидения, не утверждает, что начальный импульс исходил из Москвы. Напротив, подчеркивается своеволие казака Ермака и озабоченность Ивана Грозного тем, что нарушение границ может испортить отношения с могущественным соседом ханом Кучумом (Сибирское ханство), как это находит отражение в письме царя Максиму Строганову («Кунгурская летопись»). Укоряя его за то, что он помог Ермаку снарядиться в поход, царь грозит ему расправой, если поход принесет беды, но здесь же сквозит и иной мотив: в случае удачи одарен будешь.

В Строгановской же летописи, напротив, отмечается полная согласованность с престолом экспансии на восток (аргумент: защита подданных, пермяков и других, и свободной торговли с Югом от татар и их вассалов). Из нее следует, что царь специальной грамотой дал Строгановым право на экспансию, а потом, испугавшись последствий, отрекся от этой грамоты. Таким образом, в версии Строгановых (приводящих тексты грамот с датами, именами чиновников, их писавших) отвергается романтический характер начала русской экспансии и утверждается ее программный характер. Как известно, вокруг Строгановской летописи существовали споры, так как вся слава и инициатива здесь приписывается им, а не Ермаку, предстоящему послушным исполнителем их воли. Очевидно, истина лежит посередине: была казацкая вольница и была государственная политика. Во всяком случае, столь распространенная в западной науке версия о чисто стихийном характере русского продвижения на восток представляется достаточно наивной. Ко времени похода Ермака уже столетие существовала концепция «Москва — Третий Рим», которая, не будучи закрепленной как государственная программа, питала политику «православно-

го, истинно христианского самодержавства» в борьбе на западных границах, а теперь и на восточных. После взятия Казани поход за Урал был естественным и логическим шагом. Очевидно, что русский «авось» здесь сочетался с прямыми интересами государства, и самое время еще раз вспомнить слова М. П. Алексеева о «возбуждающем примере» испанской конкисты.

Формулы конкисты и взятия Сибири очень близки, если не просто однородны: не только распространить христианскую веру, но и привести в подчинение (царю, императору) и обложить данью (взять ясак). Однако есть черта, в символически концентрированном виде выражающая все различие в типе общественного человека, осуществлявшего экспансию. Берналь Диас дель Кастильо с гениальной простотой обнаружил еще один аспект испанской конкисты — личностно-индивидуалистический, — когда дал свою формулу: «Служить Богу, его величеству, дать свет тем, кто пребывал во мраке, а также добыть богатство, которое все мы, люди, обычно стремимся обрести».<sup>8</sup> Далекий от поэтизации наживы (Лас Касас и другие критики конкисты утверждали редуцированный образ конкистадора, когда объявляли *алчность*, *codicia*, его единственным импульсом), Берналь Диас просто выявил естественный индивидуалистический двигатель — материальный интерес участника конкисты.

Такой формулы нет и не может быть в русских летописях взятия Сибири по той причине, что сознание русского летописца, как и героя его сочинения, было иным. Конкисту Нового Света и взятие Сибири осуществляли разные типы общественного человека, порожденные разными культурами. Главным героем испанской конкисты был рыцарь, но не средневековый, а нового времени, одним из ключевых моментов которого было именно открытие и завоевание Америки. То было время разложения, распада средневековых норм и стереотипов. В разных странах Западной Европы этот процесс имел свои типовые воплощения. В испанской культуре наиболее яркие свидетельства рождения нового человека зафиксировали пикареска (первый европейский роман нового времени) и именно испаноамериканские хроники. Критики конкисты, и прежде всего Лас Касас, обнажили этот процесс, пояснив конкисту как колоссальное экономическое предприятие, в котором рыцарь превращался в грабителя, убийцу и лихоимца, бросавшего вызов не только императору и его установлениям, но и Богу. Но было не только это — было и становление нового сознания, новой личности, рассчитывающей на собственную инициативу и опыт.

Автор хроник конкисты Нового Света — это новый творческий субъект, который опирается прежде всего не на жанровый и стилиевой канон, а на собственный опыт. Люди, *пре-*ступившие пределы Старого Света, *пре-*ступили не только социально-этические и культурные, но и литературные каноны. Основу огромного корпуса хроник открытия и конкисты Америки составляет такой элементарный документальный жанр, как «реласьон», т. е. повествование, отчет, показание и т. д., которое пишется от первого лица и использует непосредственный опыт индивида — участника событий. От писем Колумба или Кортеса до «Истории завоевания Новой Испании» Бернала Диаса дель Кастильо нет ни одного выдающегося трактата, хроники или истории, которые бы не имели личностной окраски. «Я» видел, участвовал, знаю, свидетельствую — таковы основные форму-

<sup>8</sup> Castillo B. Diaz del. Historia Verdadera de la Conquista de la Nueva España. Mexico, 1980. Т. II. P. 368.

лы хроник конкисты Америки. Новый творческий субъект — это новое историческое сознание. Естественно, что это сознание глубоко религиозное, переполненное мифами и легендами, но мифы и легенды становятся для него не только той призмой, сквозь которую он видит новую, небывалую явь, но и объектом эксперимента, испытания на прочность. Именно в этом состоит двойственный смысл поисков Эльдорадо, земного рая, царства Амазонок и т. д.

Иная картина в русских летописях. Как уже отмечалось, Д. С. Лихачев фиксирует в «Истории Казанской» начало важных сдвигов в восприятии и отражении исторического времени. Но это только начало — до появления русского «Дон Кихота», увенчивающего XVI век Испании, еще далеко. Русские памятники не содержат выделившейся личности, отдельного «я». Очевидно, нам, исследователям, известно не все: крайне важно было бы знать, как писались деловые отчеты («скаска»), шедшие в сибирский приказ уже в ходе завоевания Сибири, — ведь это как раз жанр, близкий к испанской «реласьон». Но в летописях мы имеем дело либо с коллективным «мы» («Летопись Сибирская Краткая Кунгурская», составленная на основе записок и воспоминаний участников похода Ермака), либо с анонимным автором, отождествляющим себя с Провидением (как незамысловатая Есиповская летопись), а это тоже вариант коллективного «мы». Ремезовская «История Сибирская» — наиболее яркий памятник XVII века, окрашенный творческой индивидуальностью, но не выходящий за пределы традиционного сознания. Формулу «Каков автор, таков и герой» можно читать и наоборот: «Каков герой, таков и автор».

Русь не знала рыцарства в европейском значении этого понятия, и инициатива открытия и завоевания Сибири принадлежала не центральному, а маргинальному в социальном и культурном отношении сословию — казакам, казацкой вольнице, собравшей лихих людей и удальцов с Дона, Волги и Яика во главе с Ермаком сыном Тимофеевым Поволским, как его именуют летописи. В летописях есть разночтения в изображении личности Ермака и его вольницы в зависимости от политической задачи того или иного летописца. Созданная на основе воспоминаний участников похода «Краткая Кунгурская» летопись жестко и однозначно именуется Ермака *заворуем* (грабителем), решившим уйти за Урал, опасаясь возмездия от царских войск за грабежи и убийства на Волге. В Строгановской таких жестких характеристик нет: это казак-атаман, исполнитель наказов Строгановых, в свою очередь исполняющих волю царя. В Есиповской и в Ремезовской, строящихся на отчетливо выраженной государственно-религиозной концепции, призванной обосновать взятие Сибири, он вольный атаман-удалец, но внявший голосу Провидения.

В любом случае, Кортес, заканчивавший Саламанский университет, и Ермак — это, конечно же, люди разного культурного уровня. Писарро, неграмотный завоеватель Перу, наверное, ближе Ермаку, но дело в другом. Если Кортес лично писал отчеты о своем походе, то рядом с Писарро был участник похода хронист Франсиско де Херес, а вот рядом с Ермаком подобной фигуры не было. В вольнице Ермака были грамотеи, скорее всего, конечно же, это были попы, которые, видимо, и писали то письмо от имени атамана и казаков, в котором они приносили Ивану Грозному свое покаяние за преступления на Волге и преподносили ему взятую Сибирь.

Но дело здесь в другом: это было иное творческое сознание. Испанская конкиста имеет четкий исторический фон, развитую информационную сеть, опирается на новую, складывающуюся именно в ходе конкисты

историчность сознания. Повторим: субъект испанской конкисты — личность, индивидуальность. Русское взятие Сибири было совершено вольницей (во главе которой стоял наиболее инициативный казак, но не осмыслявший себя в иной, отличной от членов вольницы системе понятий), т. е. *коллективным субъектом*. Испанскому «я» в русских летописях противостоит коллективное «мы» («они»), хотя, естественно, персональная роль предводителя всячески выделяется.

Испанская конкиста оставила за собой шлейф документальных индивидуальных свидетельств, отражавших ту напряженную идейную борьбу, которая развернулась в Испании по поводу оценки Нового Света, его населения и методов конкисты, — ярчайшее свидетельство рождения сознания нового времени (ведь в центре полемики стояли сложнейшие правовые и этические проблемы). Русское взятие Сибири оставило шлейф устных рассказов, легендарного материала, оформлявшегося, естественно, на основе известных в то время фольклорных и книжных стереотипов. И оно не пробудило никаких споров в русской общественной мысли. «Краткая Кунгурская» летопись, которая может считаться наиболее близкой к свидетельствам казаков — участников похода, оформлена в единый текст анонимным автором, но, скорее всего, сохраняет дух изначальных источников. Для нее характерен прагматизм в оценке событий и нелицеприятный тон, дух объективности — в сочетании с фольклорно-легендарной стилистикой, стихией устности (ведь этот первый памятник русского взятия Сибири пишется примерно через 40 лет после похода Ермака). Все остальное — дело рук книжников, писателей, преследовавших разные цели, но одинаково не сомневавшихся в правовой обоснованности взятия Сибири.

Камнем преткновения в испанской полемике был вопрос о естественном праве народов на самостоятельное существование (независимо от религиозных отличий) — вершина развития испанской мысли, фактически поставившая под сомнение официальную концепцию «всемирной католической монархии» (Лас Касас). Этому соответствует неуклонный процесс дегероизации рыцаря конкисты, обнажения *естественной*, а не провиденциальной сущности истории в наиболее ярких памятниках XVI века («История завоевания Новой Испании» Берналя Диаса дель Кастильо). Верно, конечно, что испанская конкиста опиралась на большой слой мифологических, легендарных мотивов и тем, однако обычно не отдают себе отчета в том, что тексты XVI века фактически несут в себе такого мифологически-легендарного материала не так уж много, если просто не сказать мало. Мифы составляют фон конкисты, но не ее литературных памятников. Конечно, будучи носителями глубоко религиозного сознания, авторы хроник декларируют эту свою позицию, но оспаривают сверхъестественную природу событий. Иногда «Историю завоевания Новой Испании» Диаса дель Кастильо, чтобы передать свое восхищение, называют «настоящим рыцарским романом». Глубокое заблуждение в жанровой оценке. Все напротив: читатель рыцарских романов Берналь Диас отверг рыцарские стереотипы и десакрализовал историю. Кортес, а вслед за ним и его апологет испанский историк Лопес де Гомара описывают чудесное явление в одном из сложных боев с ацтеками св. Сантьяго на белом коне, который и ведет испанцев к победе. Диас дель Кастильо же иронически замечает: я там был и ничего подобного не заметил. Фактически в американских хрониках много упоминаний о мифологических и легендарных мотивах, но самих чудес мало, и чем дальше, тем меньше. Диас дель Кастильо делал фактически то же, что и автор «Дон Кихота»: хоронил жанр рыцарского романа.

Противоположный процесс — в русских летописях. У начал испанских хроник — письма Колумба, переполненные мифомотивами; русское летописание начинается с достаточно прагматической «Краткой Кунгурской» летописи (где нет фактически никаких чудесных мотиваций событий), а завершает его «История Сибирская» Ремезова — лучший памятник эпохи, где фактически ни одно событие, ни один поворот истории не происходит без Божьего вмешательства, знамения или чудесного явления. Приведем один пример, который, на наш взгляд, лучше всего передает это различие: в хронике Гаспара де Карвахала «Новооткрытие реки Амазонки» корабль испанцев по Амазонке ведет за собой некая птичка, а вот русские ладьи по Иртышу в одном из эпизодов ведет за собой чудеснодвигающаяся хоругвь со Спасом.

Если испанские авторы десакрализируют историю, то русские ее сакрализируют, если испанские авторы дегероизируют предводителей конквисты, то русские героизируют и сакрализируют Ермака. «История Сибирская» Ремезова совмещает в себе несколько жанровых моделей, и одна из них — житийная. Ведь заворуй Ермак в финале, после гибели, предстает «человеком Божьим», нетленным, как святой (как осуществляется эта операция — тема отдельная).

Подводя итог, скажем: личностное, индивидуальное измерение — то высшее, что присуще американским хроникам; надличностное измерение — то, что характеризует те сибирские летописи, где дается концептуально-завершенная картина событий.

Мы очертили лишь самый общий контур историко-культурного введения в тему сравнения испаноамериканских хроник и русских летописей; речь шла лишь о том, что позволяет их сближать и разводить. Само сопоставление еще впереди.

М. Т. ОРТЕГА-МОНАСТЕРИО

## АШКЕНАЗИ: ОСТРОВ КУЛЬТУРЫ В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ (XIV—XVIII ВЕКА)\*

Известно, что Ашкеназ — это ареал распространения евреев на северо-западе Европы, первоначально вдоль течения реки Рейн. Термин «ашкенази» закрепился как за немецкими евреями, так и за их потомками, расселившимися впоследствии в других странах. Значение термина подразумевает различные стороны жизни, мышление, законы, понятия и учреждения, иначе говоря, весь культурный комплекс. Эта культура берет свое начало на севере Франции и Германии, а затем распространяется в Польшу, Литву и части России. В наше время, благодаря постоянной эмиграции евреев, почти во всем мире имеются общины ашкенази, особенно в Америке и в Израиле. Термин возник, возможно, чтобы отличать эту группу евреев от «сефардов»: сефардами называли евреев юга Европы (Испании, Марокко, юга Италии и Португалии).

Термин «ашкенази» встречается в сочинениях XIV века, например в «Responso» Ашера бен Иехиеля. Общество ашкенази строилось на строгих законах своеобразного устава (takkanah) Герши бен Иуды. С этого момента

\* Перевод С. П. Николаевой.



развитие законов и норм жизни ашкенази и сефардов идет разными путями, приобретая различные характеристики и в религиозных обрядах, и в языковых особенностях, в том числе в письме. Большое влияние на это параллельное и отличающееся развитие имеют Р. Иосиф Каро и Р. Моше Иссерлес: постановления первого в его «*Sulhan Aruk*» защищают сефардские общины, в то время как второй в своих толкованиях работы Каро явно расходится с ним и его положения принимаются ветвью ашкенази.

Хотя на территории бывшего Советского Союза существовали еврейские поселения в районе Крыма, Черного моря и Киева, я не стану говорить о них, так как они не принадлежат к группе ашкенази. Они пришли с Востока, Ирана и Балканского полуострова.

Первые поселения в Польше относятся к X и XI векам. Это были выходцы из Германии. В ту эпоху некоторые еврейские коммерсанты появились в прибрежных районах Вислы, этим же временем датируется приход других переселенцев с юга России. Вообще же, до эпохи крестовых походов в Польше, можно считать спорадически, возникают некоторые еврейские центры. История евреев в Польше начинается с момента, когда во времена первого крестового похода большое число евреев было изгнано из Германии, Богемии и большей части Западной Европы. Некоторые из этих групп дошли до Киева, встретившись здесь с уже живущими группами, часть которых принадлежала к караитам, еврейской секте, которая отрицала традиции талмуда и раввинов. Вновь пришедшие не оказали большого влияния, евреи России не порвали культурные узы с Востоком и следовали своим обычаям, пришедшим с ними из Вавилонии через Крым и Кавказ. Со второй половины XIII века еврейские общины этого региона начинают завязывать экономические и духовные отношения с новыми общинами, возникшими в Польше и Литве, и, благодаря им, начинают воспринимать культуру ашкенази.

С XIV века еврей-ашкенази приобретают вес в Восточной Европе. В это время возникает все больше поселений в Польше и Литве, поскольку для ашкенази здесь было самое надежное место. Эти волны нарастают в XVI веке и в первой половине XVII века. Таким образом существенно увеличивается население ашкенази, что способствовало возникновению новых поселений. Некоторые польские города получили привилегию *non tolerandis judaeis* (не разрешать проживание евреев), но последние стали селиться вокруг наиболее важных городов или заселять новые центры. Некоторые из них оседали в городах, основанных знатными поляками, а другие селились в деревнях, селах или в имениях, принадлежавших дворянству.

Начиная с XVII века роль ашкенази, по сравнению с сефардами, резко возрастает. В результате преследований 1648 года в Польше большое число евреев эмигрирует на восток, увеличивая население общин, уже возникших на этих территориях. Одна из возможностей, которую использовали евреи, чтобы осесть в России, была торговля, и в этих случаях евреи оседали вокруг городов. Бесконечные декреты, издававшиеся царями, запрещали въезд торговцев-евреев, но договоры между Польшей и Россией свидетельствуют, что подобная форма оседлости существовала. Императрица Екатерина II благоприветствовала приезду евреев, но общественное мнение заставило ее отказаться от своего решения. Тем не менее во время ее правления появилось новое еврейское население, отважившееся на эту неофициальную форму проникновения в Россию. Вопрос о присутствии евреев на этой территории был решен историческими обстоятельствами, когда в конце XVIII века после трех разделов Польши все евреи попали под власть царей.

\* \* \*

Как уже было сказано, основу общины ашкенази составляла определенная интерпретация еврейского закона, и они старались никогда не отступать от нее. Где бы ашкенази ни жили, они следовали своим своеобразным обычаям и никогда не вливались полностью в жизнь той страны, которая их принимала. Более того, чтобы не сливаться с новым для них обществом, они предпочитали эмигрировать в другое место, где могли бы жить по своим обычаям. В этом кроется и одна из причин их экспансии на восток, когда на западе и на юге стали появляться декреты об их изгнании. Оставаясь в стороне, они всегда умели использовать возможности, которые позволяли им процветать и создавать для себя уровень жизни, во многих случаях более высокий, нежели уровень жизни граждан той страны, где они проживали.

Уже в XV веке отмечаются социальные и экономические достижения евреев в Польше и Литве, основанные на финансовых и политических обстоятельствах. Социальная жизнь города и торговые традиции немцев не были укоренены в Польше и тем более в Литве. Политические перемены того времени способствовали тому, чтобы торговля стала особенно важной во всех областях жизни страны, и евреи постепенно начали принимать участие в торговых отношениях, установившихся с Венгрией и Богемией — с одной стороны и с зоной Черного моря — с другой. Им удалось также проникнуть в различные сферы непосредственно польской торговли; они значительно укрепили свои позиции после завоевания турками Константинополя в 1453 году. Евреи заняли видное место среди торговцев, которые ездили из Константинополя в Лемберг (Львов), проявив себя в торговле текстилем, в экспорте на запад зерна и скота в Польшу и в перевозке товаров с востока. Поскольку они доставляли предметы роскоши, их хорошо принимало польское дворянство. Когда они добились успехов в этом секторе, возросло напряжение, существовавшее между ними и польскими гражданами. В 1485 году руководители общины Кракова подписали документ, который гласил: «... в согласии с членами общины мы обязались (...) не заниматься торговлей (...) не получать товары (...) для продажи дворянам, за исключением того, что нам было разрешено ранее, до истечения срока (...) мы не станем использовать или передавать денежные обязательства, торговать ими на улицах или на рынках города, за исключением определенных дней недели...»<sup>1</sup>

В 1492 году евреям официально запрещают заниматься коммерческой деятельностью (за исключением начатых дел), ростовщической и ремесленной. Однако, несмотря на то что евреев изгнали из некоторых городов, например из Кракова, они продолжали торговать в более или менее легальной форме.

В Литве во второй половине XIV века формально установился статут, согласно которому евреям предоставлялись те же права, что и евреям Львова и Брест-Литовска, при этом они становились настоящими гражданами в тех местах, где проживали, и пользовались всеми привилегиями. Им выделялись центральные районы и им позволили заниматься разнообразной деятельностью. Они были приравнены к остальному населению в отношении торговли, ремесел и сельского хозяйства: власти нуждались в подданных, которые давали бы импульс жизни в городах, и, кроме того, большая часть этих евреев пришла из Киевского княжества и из Византии, где они и занимались подобной деятельностью.

<sup>1</sup> Halperin I. Bet Israel be — Polin, II. Jerusalem, 1954. P. 235—236.

В конце XV века евреев несколько раз высылали из Польши и Литвы, и, казалось, их уже не стало там, но в 1503 году им разрешили вернуться с обязательством содержать ежегодно тысячу солдат кавалерии, обязательством, которое впоследствии не выполнялось. Король Польши и великий князь Литвы Александр позволил жить евреям везде и приказал вернуть им то, чем они владели раньше. С этого времени их деятельность становится экономически и социально весьма производительной в местах проживания — как в новых городах, так и в старых, потому что условия работы стали благоприятными. Вопреки протестам горожан Львова и Познани, евреи продолжают заниматься торговлей с еще большим успехом, поскольку они постепенно внедряются в новые экономические отрасли. Горожане жаловались на конкуренцию со стороны евреев и в импорте, и в экспорте (уличная торговля, чего до сей поры не знали, распродажа непосредственно в местах производства и т. п.). По существу евреи были гораздо более активными в торговле, на ярмарках, они осуществляли торговые сделки с Германией и Нидерландами. Успехом отчасти они были обязаны добрым отношениям с польским дворянством, которое приобретало постепенно все большую власть, и евреи становились экономическими советниками и управляющими. Враги евреев обвиняли дворянство в том, что каждый дворянин имеет «своего собственного еврея», который оказывается помощником в его делах.

Начиная с 1569 года (Брест-Литовская уния) украинские земли попадают под власть Польши, и польское дворянство посвящает себя умиротворению и обеспечению развития этих территорий. Усиленно их обрабатывают, а также увеличивают в Литве и Белоруссии производство древесины и добычу смолы, что имело большой спрос на Западе. Это вызывает, с одной стороны, еще большую эксплуатацию крестьян, а с другой — необходимость в деньгах. Для этого, естественно, обращаются к еврейским ростовщикам. Кроме того, польское дворянство не было заинтересовано в том, чтобы лично заниматься управлением, и поэтому оно отдавало свои земли под залог еврейским ростовщикам. Со временем те тоже получали в зависимости от вложений деньги, кроме платы за ссуду.

На Украине заселение земель шло невероятно быстро, и увеличивалось число евреев на них. Незадолго до 1648 года было 115 общин с 51 325 жителями, хотя, думается, что число это было большим, потому что относительно всего населения евреи составляли 5 %. Евреи и поляки перешли от системы «залога» к системе «аренды», которая позволяла арендовать по фиксированной цене и на определенное время (обычно на три года) поместья или только пахотную землю, с тем чтобы получать соответствующую ренту. Обычно, когда один еврей устраивался на этих условиях, он привлекал на службу и других евреев. Таким образом евреи внедрялись в область сельского хозяйства, но не как земледельцы, а как продавцы различных продуктов.

Быстрое и успешное развитие дел евреями вызвало сильное недовольство среди населения. Речь шла о том, что ростовщики истощили настолько свои кредиты, что это приводило к банкротству. Росло число «беглецов», которые скрывались из-за банкротств. Неизбежно евреи утрачивали доверие к себе и свою репутацию, что сказывалось на собственной экономической структуре еврейского общества.

Погромы 1648 и 1649 годов, более тяжкие, чем предшествующие выступления против евреев, разорили большую часть евреев Украины, что в свою очередь принесло жестокие испытания польскому и литовскому

иудейству. Процесс экономической экспансии затормозился, хотя евреи все еще составляли часть городского населения.

В XVIII веке существует значительная разница между экономической деятельностью евреев Запада, где они связаны с городом и непосредственно с государством, и евреями Востока, связанными с деревней. Арендный договор как средство экономической эксплуатации продолжает занимать значительное место: арендуются, уже частично, имения или меньшие участки, такие как мельницы, мочильни для льна и особенно питейные заведения. Отношения, которые поддерживали евреи с хозяевами, осуществлялись через посредников, их использовали не только хозяева поместий, но и другие лица, занимавшие хорошее положение, иногда учреждения, как, например, Театр в Варшаве.

В Западной Европе, как и в Центральной, большинство евреев проживало в городах. В некоторых они составляли единственную, посвятившую себя экономической деятельности часть населения, благодаря надежным связям в торговле и поддержке губернаторов. В силу этих благоприятных обстоятельств многие города превратились в города с преимущественно еврейским населением, как, например, Броды.

Жилища евреев группировались в городах вокруг центральной площади, где размещались лавки и мастерские, в то время как христианское население обитало в предместьях, ведя полусельскохозяйственную деятельность. Это было началом штетля (shtetl), типичного поселения социального характера, которое показывает организацию еврейской общины в Западной Европе до второй мировой войны.

Таким образом, в XVII и XVIII веках имеется большое расхождение между занятиями, которые осуществлялись евреями на Востоке и евреями на Западе. Первые посвящали себя работе в деревнях, а их основным занятием в городах была торговля: покупка и продажа товаров для деревень. Евреи на Западе ориентировались на колониальную, международную торговлю, были финансовыми советниками у правителей, получали капиталы и управляли имениями, участвуя таким образом в капиталистическом развитии, которое преобразовало социальную и экономическую организацию европейского общества.

Несмотря на различия, бывшие между экономической деятельностью, свойственной каждому географическому региону, существовала некая система отношений и взаимодействий: евреи Западной Европы нуждались в помощи тех, кто жил на Востоке, для дел, связанных с коммерцией. Евреи Польши пользовались кредитом немецких евреев, а последние получали поставки от поляков. Несмотря на то что возникла база для будущего различия в развитии между обоими мирами, дух сотрудничества продолжал существовать.

\* \* \*

С конца XVII века и особенно в XVIII веке конфликты между общинами становятся все более частыми, так же как и обращения к нееврейским судам, как на индивидуальном уровне, так и со стороны общин. В 1721 году все еврейские общины в Литве прибегли к посредству Суда Казначейства против пяти наиболее значительных общин, которые возобладали в Национальном Совете Литвы (центральный орган еврейской автономии; работал не постоянно, созывалось собрание или ассамблея с определенной целью), упрекая их в том, что они незаконно взыскивали налоги, и в том, что распределение этих налогов не было справедливым. Внутри общин тоже наблюдалось напряжение. Наиболее выдающиеся семьи оспаривали

назначения на ответственные посты и часто использовали чье-то влияние. Стали отмечаться случаи коррупции, что вредило престижу общины и экономической этике. Так, чувство единства и взаимной ответственности, характерные для общины, ослабли, и в течение XVIII века отмечался жесточайший контроль над общинными организациями вообще. В качестве примера можно привести жалобу, представленную несколькими жителями Шяуляя (Литва) служащему, отвечавшему за собственность: «Мы, евреи Шяуляя, заявляем со слезами на глазах, что не нуждаемся ни в каком раввине и ни в каком начальнике, потому что они вымогают, усердствуя в этом, и нас совершенно разоряют, и поскольку они связаны между собой семейными узами, обкрадывают нас до последнего гроша с единственной целью обогащения...»

\* \* \*

Начиная с XVI века ученые ашкенази сформулировали ряд основополагающих понятий, относящихся к жизни евреев, их назначению в этом мире и т. п. Еврейское общество в высокой степени находилось под влиянием своих собственных успехов, духовных и материальных. Основное, что они получили от окружающих их людей, была гуманистическая атмосфера, наследница Реформы, культура, возвращавшая к истокам, к Писанию. Так они встали на позицию рационализма, произошло это даже в тех кругах, которые пользовались каббалистическими и мистическими понятиями и терминологией. Представление о вещах, которое возникло под влиянием Реформы, явилось тем, что их объединяло, что в корне отличало их от сефардов. Изучение философии сефардов было распространено среди ашкенази особенно в XVI веке. В Польше и Литве появляется фигура раввина Моше Иссерлеса, из Кракова, который в своем «Darke Moshe», комментарии к «Sefer Haturim», устанавливает обычаи ашкенази. Он пишет также «Torat Naolah», философский труд, в котором разъясняет иерархическое значение заповедей через структуру Церкви и ее ветвей. Он отстаивает мнение, что в девяти из каждых десяти заповедей заложен смысл, согласно которому предназначение человека — это та польза, общественная и материальная, которую он приносит. Но со временем эти рационалистические тенденции уходят. Другой значительной фигурой является раввин Елизар Ашкенази (R. Eliezer Askenazi), который приехал в Польшу из Египта. Он дал начало критическому направлению и привнес религиозный рационализм с элементами мистицизма.

\* \* \*

Когда общины оказались поражены коррупцией, на это последовала реакция. Еврейские моралисты подвергли серьезной критике ростовщиков. Естественно, что в этих обстоятельствах могли возникнуть мистические движения, контратакуя тех, кто подрывал религиозные верования и принципы. Наиболее важным из всех является хасидизм, возглавленный раввином Израэлем бар Элиезером (R. Israel bar Eliezer) «Baal Sem Tov», родившимся в 1700 году в Подолии. Видимо, он имел контакты с последователями каббалистического учения своего времени и с последователями Sabetai Svi. Согласно этому хасидскому учению, *sadiq* (справедливый) — это основа мира и создан он именно для этого. Он контролирует все богатства, духовные и материальные. Его миссия — направлять общину. Цадик обращен к Богу, с одной стороны, и к народу — с другой, он действует как посредник. Чтобы быть на уровне общины, он должен спуститься со своей духовной высоты, принять обличье простого челове-

ка, смешаться с народом, но всегда должен находиться в состоянии согласия с Богом с единственной целью поднять народ на самую высокую ступень. Баал-Шем Тов умирает в 1760 году, но оставляет многочисленных последователей своего учения.

В Белоруссии и Литве жил раввин Аарон Великий, который распространял свою веру в основном в Вильне, городе, получившем известность как «литовский Иерусалим». Здесь начинается кампания против хасидизма. Именно Вильна становится в те времена главным центром иудейских религиозных штудий. Его община предала анафеме хасидов и призвала другие общины сделать то же самое; за ней последовала община в Бродах, что сделало жизнь хасидов в Белоруссии и Литве очень трудной.

Эта позиция противников (*mitnaggedim*) была поддержана Гаоном из Вильны, который посвятил всю жизнь изучению Мишны и Талмуда. Его писания отличаются краткостью и простотой. Он затрагивает также темы, связанные с мистикой, математикой, астрономией и грамматикой, как со вспомогательными науками для изучения Библии. Гаон объявил хасидскую секту еретической, и общины Литвы и их раввины подчинились ему. Он умер во время праздника сукот в 1797 году. Его война против хасидов не кончилась полной победой, и те все еще насчитывали большое число сторонников в Литве (даже в наше время они существуют), но он сплотил и укрепил традиционный иудаизм. Гаон способствовал также открытию *yeshivot* или школ, как основного источника воспитания и образования.

Растущее хасидское движение привело к укреплению иудейских общин: одних потому, что они объединялись в своей борьбе против этого течения, а других потому, что они защищали его. Затем существовавшие внутренние разногласия ослабили и стали исчезать. Как хасидские общины, так и общины *yeshivot* в Литве образовали крепкий барьер для проникновения *Haskalá* (просвещения) в эту зону, поддерживая единство общин на традиционной основе и создавая преграду, разделившую иудейские общины Востока и Запада, начиная с этого времени.

\* \* \*

Со второй половины XVI века еврейские авторитеты выбирали руководителей общин или известных эрудитов представителями общин, обосновавшихся в тех или иных регионах и государствах. Число этих представителей указывает, что Литва уже создала три «главные общины» (Брест-Литовск, Гродно и Пинск), к которым позже присоединились две другие (Вильна и Слуцк). Во всяком случае, эти общины (а их было немного, как мы видим) контролировали и регламентировали дела Литовского Совета.

В Польше структура была другой. Общины группировались в округа, затем был образован Совет регионов Польши. Опираясь в основном на внутреннюю организацию общин вокруг *qaḥal* и синагоги, возникли региональные Советы. Уже в 1595 году община Кракова принимает целый ряд правил, в которых указаны общественные учреждения и регламентирована внутренняя жизнь этой огромной общины. Правила были написаны на идиш, с большим количеством слов и фраз на древнееврейском. В этих правилах говорится, что община имеет «четырёх руководителей, пять *boni viri*, четырнадцать *qehalim*, трех судей низшего ранга, трех судей второго ранга, трех судей третьего, трех счетоводов, пять сторожей, пять почетных лиц, отвечающих за сирот, и несколько государственных контролеров, отвечающих за цены на алкогольные напитки». Власть трех разрядов судей была связана с общей суммой денег, которые выплачива-

лись в спорах: младшие судили спорные случаи до 10 золотых монет; судьи второй степени были уполномочены судить случаи, расцениваемые от 10 до 100 злотых; и судьи третьей степени судили дела, стоившие больших сумм.

Было несколько директоров *yeshivot*, чей статус зависел от академии, которой они управляли, и от количества учеников. Выше всех судей и ученых стоял Великий Раввин города. Он был духовным вождем и начальником главной школы, содержащейся на народные деньги. В больших городах существовала и фигура «Проповедника», который был почитаем в общине, в функции которого входила организация проповедей в синагогах.

Кроме того, были и другие должности меньшего значения, которые тоже имели конкретные функции, как, например: отвечающий за ритуальные омовения, выборный судья, посредник — для малозначительных дел или для того, чтобы выступить перед местными властями от имени судей, при этом он должен был знать язык данной страны. Имелся также совет заседателей, который фиксировал сумму налогов и тарифы, по которым члены общины должны были платить государству за содержание собственной общины. Методы, которыми пользовались для подобных решений, были строго регламентированы.

Краковские законы показывают, как еврейские общины Польши умели упорядочивать жизнь евреев, давать директивы, надзирать за поведением и даже налагать наказания. Они охватывали торговлю, называли процент дохода, который следовало предоставить дворянам (не менее 12 %), указывали, когда евреи могли или не могли проходить по улицам, где жили местные богачи, как должны были реагировать, если их оскорбляли, как получать товары по хорошей цене, что делать, чтобы не было мусора на улицах, как и кому оказывать помощь, кто должен помогать и когда и т. п.

Другие значительные общины тоже писали свои собственные законы. Общины скрупулезно заботились о контроле внутри общины; руководители общины избирались ежегодно, за исключением некоторых должностей, как, например, Главы Суда, который приобретал опыт и специальные знания, трудясь обычно в течение трех лет, и мог быть избран на следующие три года. Выборы обычно проходили на Пасху, главный праздник евреев.

\* \* \*

Евреи Литвы поддерживали, следуя этим законам, свой собственный образ жизни. Говорили они на разных диалектах, литовский идиш отличался в некоторых аспектах от идиш, на котором говорили в Польше. Особенно это касалось произношения гласных, главным образом дифтонгов; в некоторых регионах произносили *shim* как *sim* или *samek*. Например, слово *flaish* (мясо) на западном идиш произносили *flash*, на центральном *flaish*, а на востоке и на юге *fleish*. Или брат: *brüder*, *brider*, *bruder*.

Мы знаем, что идиш был языком, на котором говорили евреи ашкенази с X века до конца XVIII века, и что в некоторых ареалах, как, например, в России, он приобретал статус официального языка. Язык этот обладает очень характерным ударением, при котором особенно значимо вспомогательное ударение; возможно, это влияние славянских языков. В зависимости от места существует разница в произношении гласных, более или менее открытых. Разумеется, большое влияние на произношение оказы-

вал язык страны, где проживали евреи. Грамматика следовала немецкой модели, но упрощенной, в синтаксисе подчиненных предложений она схожа. Отличие идиш северо-востока Европы и остальной части началось до XVI века, с разделением Польши и Литвы.

С XVII века в Литве появляются выдающиеся ученые, изучавшие Тору, например Shabbetai Meir ha-Cohen, комментатор Shulhan Aruk, Mose ben Naftali Hirsch Rivkes и особенно Elijak ben Salomon Zalman, гаон в Вильне, который жил во второй половине XVIII века. Круг ученых, возникший вокруг центра обучения раввинов в Вильне, выдвигает ряд личностей, которые влияют на остальную часть приверженцев иудаизма ашкенази как в сфере halakah, так и в сфере каббалистики. В 1799 году в Вильне начинает функционировать еврейская типография для печатания книг по нравственному воспитанию: краткая версия Even Bohan Калонимоса бен Калонимос; Hin Zedeq Абрама Лихштейна и Shemirat ha-Mizvot Гершона бен Бенямина.

Вслед за первой в Вильне появилось много типографий, которые процветали здесь. Следует выделить типографию Баруха бен Иосифа, дело которого продолжил его сын. Работы было много, и большая часть иудейских книг, изданных в XVIII веке, напечатана в типографиях Вильны, включая такие тексты, как Талмуд или Мишна. Эти книги и в наше время поддаются фотографированию, благодаря своему высокому качеству.

Другим важным центром ученой деятельности и типографий был Люблин. С 1547 года здесь проживает издатель Хайм Шварц, который публикует Пятикнижие и Талмуд. В этом городе издается большое число работ по литургии, о раввинах, о Библиях; здесь продолжают функционировать еврейские типографии до двадцатых годов XX века. Таких примеров мы могли бы привести множество.

\* \* \*

Жизнь евреев в переходный период от средних веков к современности претерпела глубочайшие изменения; они переместились с запада на восток, из более развитых стран в менее развитые, в XVIII веке большая часть их сконцентрировалась в Польше и в Османской империи. Это передвижение в разные страны произвело огромные перемены в их образе жизни и в специфике их профессий, создало новые общественные пласты и разрушило некоторые прежние формы организации. Они развили способность приспосабливаться к новым условиям на протяжении долгих лет, а взаимопомощь и солидарность были естественнее среди них, чем среди их соседей. С одной стороны, у них была почти генетическая склонность признавать иудейское прошлое, сохранять и лелеять свои традиции; с другой — они чувствовали свою силу в сближении с соседями-иностранцами. Они живут в двух плоскостях: образуют часть общества, где проживают, участвуют в его политике, культуре и экономике и в то же время сохраняют историческое, религиозное и культурное наследие еврейского народа. И эти тенденции характерны не только для данной эпохи, а для всей истории, потому что народ этот не закрыт влиянием других цивилизаций. Они сумели сопротивляться их влиянию и в то же время впитать их богатства. Они явились ярким примером границы между различными культурами.



О. В. ЖУРАВЛЕВ

## О ПОНЯТИИ ПОГРАНИЧНОЙ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ

Современный мир нередко называют становящимся единым миром. Пронизанный густой сетью коммуникаций, озабоченный глобальными проблемами выживания, он, казалось бы, успешно осваивает способы и средства взаимопонимания между народами, тяготеет к утверждению на планете универсального культурного пространства.

Вместе с тем наше время демонстрирует и нечто иное и неожиданное. А именно, активное, нередко агрессивное и взрывное по форме самоопределение этносов, высвобождение их от патерналистского влияния со стороны традиционно доминировавших этносов с их культурой. Наследие нерешенных или заведомо конфликтно поставленных в прошлом проблем, главным образом геополитических, сказывается в перекройке политико-экономических пространств и появлении «горячих точек», в которых границы между культурами превращаются в военные границы.

Выясняя природу данного явления, сталкиваешься с целым комплексом вызвавших его причин, значительная часть которых, если отвлечься от причин широкого, так сказать, глобального плана и от разного рода злоумыслия, обусловлена обстоятельствами сцеплений и оппозиций этносов в межкультурном пространстве.

Связи, точнее, взаимодействия культур несомненно относятся к определяющим условиям исторической эволюции практически любой национальной культуры, а тем более производных от них региональных культурных комплексов: приморских, внутриконтинентальных и субконтинентальных, полуостровных... В обилии форм и типов взаимодействия выделяются, как это суммарно представил Д. С. Лихачев, преобладающие типы — оборонительно-автаркический и взаимообогащающий, а также «маятниковый», синусоидный характер динамики в отношениях культур и их способность сохранять свои коренные свойства на протяжении столетий вопреки деформирующим силам внешних воздействий. Указание на эти типологические черты позволяет приблизиться к пониманию природы и движущих сил культур особого типа, так называемых пограничных культур, если под культурой как таковой понимать органическую совокупность представлений человека и этноса о мире и о себе в мире, соединенных с арсеналом средств и методов его освоения и прилаживания к нему.

Всякая культура о-граничена, но не каждую правомерно считать пограничной. Даже при том, что самый термин имеет эмпирическое происхождение и относится к исторически подвижным феноменам, к бытию культуры в особых исторических обстоятельствах, определяющих ее облик и сущностные черты, отчего (по природе) понятие пограничной культуры не может быть вполне строгим и однозначным, все же, как нам представляется, возможно вычленивать типы культур, к которым данный термин применить затруднительно.

Прежде всего речь идет о культурах наций, взаимодействующих в сравнительно однородном хозяйственно-культурном пространстве (мировоззренческие, политические и религиозные различия между ними не столь существенны), в котором этническая уникальность относится, так сказать, к явлениям надстроечного уровня, относительно независимым от общей платформы их существования. На протяжении веков экономиче-

ская жизнь здесь имеет исторически устойчивый вид. В ней отчетливо проявляют себя качества кумулятивности и преемственности, и они более или менее равномерно «распределяются» на все области этнической культуры; культуры хозяйствования, быта, эксперимента и теории, образования и воспитания, нравственности и права, художественно-эстетической деятельности. Духовность, или, как принято сегодня говорить, менталитет, таких культур по большей части обособляется в своем максимуме в отвлеченные логические формы (в великие универсальные системы философской и социально-исторической мысли, в модельное точное и техническое знание, в развитое «классическое» правосознание) и в формы искусства, воспринимаемые впоследствии как всеобщезначимые («классические»). Возможной оборотной стороной такого обособления оказывается накопление на этажах обыденной, а тем более массовой (индустриализированной) культуры потенциала заурядности или даже стагнации, способного, при определенных условиях, выплеснуться разрушительными рецидивами антикультуры.

Подобные, актуализирующие себя культуры и комплексы культур (например, Германии, Западной и Центральной Европы), или, по классификации О. Шпенглера, цивилизации, целью своего движения полагают воспроизводство самих себя. Этой же цели служат и межкультурные взаимодействия, могущие вырождаться в антикультурные, сугубо геополитические экспансии в периоды империалистических переделов мира, но, как правило, обеспечивающие самосохранение данной культуры, сбалансированную целостность ее частей.

Вряд ли применимо определение пограничной культуры к тем культурам, в которых качество актуализированности соседствует со значительным нереализованным потенциалом. Этносы, переживающие в новейшей истории затяжную, но все же временную депрессию, являются отставшими от своей культурной истории.

Наконец, в некоторых культурах их потенциальность или, другими словами, уникально многообразная и целостная помещенность в мире и способность с ним взаимодействовать эксплуатируется актуализированной (цивилизованной) культурой в собственном качестве указанной потенциальности. Такие культуры (скажем, Японии) также нельзя назвать пограничными.

Буквальное толкование данного термина (в значении пограничной «полосы» культуры или культурного пространства между культурами) оправданно, хотя и недостаточно, и это легко заметить в следующих типологически сходных ситуациях взаимодействий.

Одной из них является взаимодействие культур в, так сказать, буферных зонах, в которых сталкиваются сразу несколько этнических культур (например, Трансильвания, Закарпатская Украина, Богемия перед второй мировой войной, ближневосточное присредиземноморье и др.). По большей части такие буферные зоны располагаются на территориях граничащих государств. Это обстоятельство препятствует выделению собственно пограничных культур в силу того факта, что здесь всегда господствует культура коренного для страны этноса, тогда как существование иных культур связано с их прилаживанием к господствующей и к выживанию. Процессы ассимиляции, а также самоидентификации взаимодействующих культур интересны для культурологии и этнографии и важны для учета в политике национальных государств, однако этот тип взаимодействия едва ли может быть охвачен понятием какого-то особого, целостного типа культуры.

Другая ситуация прослеживается в одноэтнических, но многонациональных анклавах культур, соприкасающихся по формальной границе с культурами или даже с анклавами культур, существенно или заметно отличающимися (в том числе и у этнически близких наций). Имеются в виду западнославянские территории бывшей Российской империи и СССР и сопредельные с ними славянские же восточноевропейские страны. Последние, в свою очередь, пребывают в постоянном межэтническом взаимодействии с западными соседями.

Особенностью подобных культурных анклавов является их транзитный характер. Передача опыта культурами друг другу есть своего рода просеивание через грубые или тонкие «ситя» принятий и противодействий со стороны культур-восприемников. В этих транзитных полосах наиболее прочно оседают многообразные элементы прямо или опосредованно взаимодействующих культур, накладываются на обычаи, язык, другие стороны коренной культуры, представляются как своего рода открытая экспозиция их свойств. Тем не менее они не изменяют решающим или даже заметным образом качеств взаимодействующих культур, даже в результате длительных экспансий на сопредельные культуры (в этом свете примечательна судьба униатства начиная с Флорентийской и до Брест-Литовской унии с их последствиями).

Транзитные культурные ареалы представляют близкий к пограничным культурам тип в силу их масштабности и относительной самостоятельности от основных взаимодействующих культур. Тем не менее они никогда не обретают качественной определенности культур, в них неизбежно преобладают устои материнской культуры.

Тип посредствующей и в этом значении пограничной культуры формируется колониальной практикой в процессе первоначального утверждения метрополий в чуждом им культурном пространстве завоеванных земель (показательный пример — прибрежные крепости колонизаторов или европейские селтльменты в Китае). Но в более или менее развитой, качественно определенной форме этот тип присутствовал, пожалуй, только в креольской культуре стран Латинской Америки, отнюдь не единственной и не исключительной.

Три обозначенные ситуации характеризуют, в конечном счете, взаимодействия лимитрофов-субкультур. Имея в виду разномасштабность, подвижность и, главное, соотносительность этих образований с коренными культурами и зависимость от них, важно отыскивать главные условия их существования в коренных, целостных культурах.

Сдвиг в определении «к границе» должен, на наш взгляд, означать перманентную незавершенность, потенциальность рассматриваемой культуры как «внутренней-внешней», как «закрытой-открытой». Здесь потенциальность культуры рассматривается со стороны способности искать и осваивать нужное из опыта других культур и при этом упорствовать в отстаивании своих коренных свойств. В начале века В. В. Розанов писал в этой связи о «женственности» русского характера. Этот интересный метафорический образ культуры, «вечно ищущей» для себя некоего прочного начала, способного ее оплодотворить, дополняется у философа мыслью о том, что данный поиск изначально предопределяется непрременным требованием «к тому, чему отдаются, кротости, любви, простоты, ясности».<sup>1</sup> Требование возникает изнутри воспринимающей культуры и имеет

<sup>1</sup> Розанов В. В. Возле русской идеи // Розанов В. В. Сумерки просвещения. М., 1990. С. 364, 346—363.

активный, охватывающий характер: культура стремится интернализировать, переделать «под себя» воспринимаемое и отразиться в источнике.

Все, кто размышляют сегодня о пограничных культурах, не сомневаются, по-видимому, в том, что даже в литературе XX века нечасты корреляты искомому понятию. Тем интересней встреча с каждым из них. На рубеже прошлого и текущего столетий особенно внимательными к данному явлению были российские и испанские авторы, стремившиеся не только выразить в концепциях или в образах искусства историческую драму национальных культур, достигшую, как им казалось, своего апогея, но и вычленить ее позитивный итог, ценный, как думали многие из них, для других культур.

В Испании со всей силой высказался об этом М. де Унамуно, видевший в самом основании испанской национальной жизни (в ее «интраистории») пример для подражания капиталистической цивилизации, потенциал для того, чтобы «испанизировать весь мир». Его младший современник, ученик и самый значительный испанский философ XX века Х. Ортега-и-Гассет осмысливал пути «спасения» (по существу, создающего восстановление) самой испанской культуры. В работах первых десятилетий века — «Размышлениях о „Дон Кихоте“» (это сущностно ортегианское произведение вышло в свет за неделю до выстрела в Сараеве и оттого, по-видимому, было оттеснено с авансцены важнейших творений европейской культуры своего времени), «Размышлении об Эскориале», в некоторых других он предлагал философско-теоретическую альтернативу неизбежному «пограничью» испанской культуры, намечал программу выхода нации из состояния исторической «неприкаянности».

Ортега предлагал испанцам (хотя отнюдь не только им) спасительную философию жизненного самоограничения, которую он назвал философией «жизненного разума». Проекция данной теории на жизнь этноса обозначалась философом как «теория ограничения», или «теория классицизма». Имея в виду Древнюю Грецию классического времени, он придерживался точки зрения, согласно которой величие этой колыбели европейской культуры было обязано максимально возможной реализации ее духовного потенциала в условиях ограниченного обстоятельственного горизонта. В этих условиях, считал Ортега, разум владеет обстоятельствами в том смысле, что его видение оказывается ясным и точным.

В соответствии с философией «жизненного разума», органической направленностью, интенцией разумной и нравственной жизни является потенцирование ею до естественной «полноты» (или прочности, безопасности, что, собственно, и образует форму или структуру культуры) всего круга условий этой жизни. В той же мере это относится и к жизни этноса. Каждый народ, писал Ортега, это, в сущности, особенный стиль жизни, или, другими словами, особенная способность организовывать материальный мир вокруг себя посредством «простых, но разнообразных и эффективных модуляций». И коль скоро народу удастся целиком раскрыть свои неповторимые возможности, то, как результат, неизмеримо обогащается общий мир, поскольку новое мироощущение дает начало новым обычаям и институциям, новой архитектуре и поэзии, новым чувствам и новой религии.

Испания же, по Ортеге, пребывает в плену у парадоксальной по форме культуры — культуры «дикарской, без вчера, без роста и небезопасной; культуры, вечно пытающейся одолеть обыденное и во все времена своего существования у кого только не оспаривающей свое право на владение

той землей, на которой выросли некогда посаженные ею деревья. Говоря коротко — прифронтовой культуры».<sup>2</sup>

Можно, разумеется, дискутировать по поводу приведенного конкретного определения пограничной культуры или, по смыслу интерпретации, пре-культуры. Однако в интерпретации Ортеги обращает на себя внимание мысль о преимущественно идеологизированном характере данного типа культуры, о претензиях к всеобщему, переплетенных, однако, с перипетиями обыденной жизни этноса и не могущих от них отвлечься. К такому универсалистскому типу притязаний культуры, преобладающему над трудом упорядочения собственного «жизненного мира», уместно, как нам кажется, применить определение пограничной этнической идеологии. Имеется в виду совокупность *активно* действующих в национальном обществе представлений и теорий, интеллектуальных движений с их программами, группирующихся вокруг национальной идеи как стержневой и «подпираемых» соответствующими социально-психологическими устоями народа. Привычная нечеткость, скорее, многоликость национальной идеи отражает предпочитаемое теми или другими ее выразителями обоснование: хозяйственно-экономическое, социально-политическое, духовное, религиозное или какое-то иное.

Складывание этноса всегда происходит на основе многосторонних солидарных усилий всех представителей данного народа, его каждодневной рутинной работы в историческом пространстве и времени. Это порождает у людей чувство глубокой привязанности к своим соплеменникам, сознание неразрывности общих судеб. Испанский мыслитель, литератор и дипломат Анхель Ганивет (1865—1898), почти не знакомый нашему читателю, но широко известный в своей стране как непосредственный предшественник интеллектуально-литературного и общественно-политического движения «поколения 1898 года» и провозвестник его идей, называл массовое чувство причастности людей к своему этносу «территориальным духом».

Это и другие понятия, облекающие в плоть патриотическую установку испанского национального сознания, Ганивет рассматривал в книгах «Испанский идеариум» и «Будущее Испании» (совместно с М. де Унамуно эпистолярном труде), написанных, кстати говоря, в западном приграничье России, в Гельсингфорсе, в бытность Ганивета испанским консулом. В книге «Испанский идеариум» он писал о том, что психологический склад народа становится, в силу его склонности, уникальнейшим, ни к чему другому не сводимым ядром, вокруг которого собираются более или менее внешние, так сказать, физиономические свойства этноса. В свою очередь, психология народа коренится в том единственном, что является его вечным достоянием, — в земле. Но «территориальный дух» — не только земля, а и люди на этой земле. Этот дух, писал Ганивет, есть «чувство молчаливых тружеников. Их деятельность — еще не история. Но историческая жизнь вынужденно опирается на эту косную массу, которая хотя и не созидает великих свершений, однако служит регулятором исторических событий и препятствует тому, чтобы исторические свершения имели бы чрезмерно долгую жизнь и разрушали бы тем самым национальный дух».<sup>3</sup>

Собственно говоря, дух территории должен считаться универсальным свойством, присущим каждому этническому сознанию: все народы живут

<sup>2</sup> *Ortega y Gasset J. Meditaciones del Quijote // Ortega y Gasset J. Obras completas. Madrid, 1953. T. 1. P. 352.*

<sup>3</sup> *Ganivet A., Unamuno M. de. Porvenir de España. Madrid, 1912. P. 143.*

своим трудом на земле, ставшей их землей. Оттого рассмотрение его через призму национальной уникальности и выделение коренных черт этноса могут принимать вид мессианистских представлений или, другими словами, вид этнической идеологии, в которой соединяются задачи выделения и о-граничивания этноса с наставлением для других народов. Активность данной идеологии состоит, по-видимому, в акценте на второй задаче, т. е. в ее националистичности. Пограничный национализм отличается, по нашему представлению, своей вполне органической связью с целой культурой этноса, неотвлеченностью от нее, достаточно ограниченным интересом к абстрактной националистической символизации, характеризующей именно воинствующий, агрессивный, отвлеченный национализм. Учение Ганивета было отчетливо выраженным пограничным национализмом.

По Ганивету, комплекс черт, составляющих активную часть испанского национального «территориального духа», называемую автором «испанской душой», образуют: склонность испанцев к простым формам жизни и к творчеству, чувства независимости и справедливости, готовность оказать отпор агрессору. Собственно же «духовное» содержание «территориального духа», формирующее «живую душу» национального характера, составляет католицизм, в отношении которого Испания считала себя главной хранительницей, а также так называемый «сенекизм», или жизненный стоицизм сенекистского типа: не грубый и героический Катона, разъярял Ганивет, не суровый и величественный Марка Аврелия, не строгий и экстремальный Эпиктета, не логический и не философский, а естественный и человечный стоицизм уроженца Испании Сенеки, покоящийся на принципе: «Не следует стремиться к достижению чего-либо, чуждого твоему духу». Сенекизм, утверждал философ, включает громадную часть испанской религии, морали, права, искусства, обыденных знаний и представлений, пословиц и максим, а в новейшее время также и развитого знания.<sup>4</sup>

Ганивет считал свое учение о «территориальном духе» реалистическим, основанным на наблюдении и сравнительном анализе динамических и устойчивых свойств психологических структур этнического сознания народов в виду типичных особенностей их бытия на определенном рода территориях. Понимание национального характера требует поэтому также учета черт его, обязанных типовым региональным условиям складывания «территориального духа» (деление народов на континентальные, полуостровные и островные). Не останавливаясь специально на данной части учения Ганивета, выводящей его социально-психологические построения на социологический и философско-исторический уровень, отметим ключевое положение этой по существу пограничной идеологии: первым условием действия народа по отношению к другим народам Ганивет считал верность духу своей территории: чтобы благообразно подходить к (внешне) политическим вопросам, писал он, необходимо «прикинуть к родной земле и обязательно выведать у нее то, что она посчитает нужным сказать».<sup>5</sup>

Читатель, знакомый с современной Ганивету нашей отечественной литературой, возникшей вокруг русской идеи, проблем евразийства, визан-

<sup>4</sup> С «испанизацией» идейного наследия и самого духа стоической философии Сенеки младшего мы встречаемся у различных испанских авторов. Наиболее авторитетным из них был мэтр испанской культуры, ее подлинный археолог и эпический поэт Марселино Менендес-и-Пелайо.

<sup>5</sup> *Ganivet A., Unatuno M. de.* Op. cit. Подробнее об учении А. Ганивета см. нашу кн.: Пути и перепутья. Очерки испанской философии XIX—XX веков. СПб., 1992. Гл. IV.

тизма и др., в частности представленной в извлечениях в двухтомнике «В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией» (М., 1994), возможно, согласится с мыслью о том, что если не в целом, то в мозаичном сочетании высказываний многих российских авторов складывается картина пограничной этнической идеологии, весьма напоминающая умозаключения автора «Испанского идеариума». Воззрения наших авторов на отечественное «пограничье» показывают, что, пожалуй, за исключением только Л. Б. Троцкого, отрицавшего за Россией ее собственные, внутренние возможности цивилизованного культурного движения, а также некоторых последовательных противников «ориентализации» России (например, П. Чаадаева), во всех взглядах более или менее отчетливо прослеживается мысль о национальной обособленности или, во всяком случае, коренной *особости* как важнейшем, если не решающем, условии собственного исторического пути русского народа и его вхождения в разного рода межкультурные взаимодействия.

Определенно пограничный характер демонстрируют мессианистские идеологические построения, и среди них: «проект воскрешения», предлагавшийся для «доведенного до высшей степени пессимизма» Запада Н. Ф. Федоровым в 1906 году («зачатки» этого проекта он видел в родообщинном земледельческом быте русского народа, в простой географии, в государстве на службе народу, в устройении государства и его распространении посредством «сторожевых линий»); учение Л. Н. Толстого и мысли Л. П. Карсавина об истинном, моральном христианстве русского народа, о его тяготении к абсолютному идеалу, о благоговении перед сущим, составляющем его бытийственную мудрость; уже упоминавшаяся концепция «женственности» русского характера В. В. Розанова, в которой выделяется ожидание «огромного нашептывающего влияния» русских на европейскую культуру в целом.

Согласно воззрениям некоторых историков российского «пограничья», Россия, выстояв смуту начала XVII века благодаря «крепкому строению национального целого», тому, что «национальность срослась со своей культурой», которая «давала смысл и направление национальным силам» (Р. Ю. Виппер), к концу этого же века делает «попытки противопоставить чистому иноземному влиянию самостоятельную культурную работу». Столкнувшись в петровскую эпоху с потоком европеизации, не задевшим, в конечном счете, глубин российской жизни, эта работа черпает вдохновение из источников «бытового» национализма народа и все больше опирается на «непрерывную и прочную социальную память. Является и интеллигентская традиция» (П. Н. Миллюков).<sup>6</sup>

Акцент на роль культуры здесь особенно важен. Ведь еще в середине XVII века едва ли имело место развитое, единое национальное самосознание, понимание масштаба российского этноса и национальное мессианство. Историческая наука, как известно, не в состоянии уверенно судить даже о количестве населения нашей страны (в тогдашних границах) — русского и нерусского: принимаются значения от 6,5 до 16 млн. человек. Тем более впечатляет решительная и последовательная политика создания единого централизованного государства, проводимая московскими государями (начиная с Василия II Темного), опиравшимися на достаточно развитую и в общем однородную культуру, осью которой являлось восточное христианство.

<sup>6</sup> Приведены выдержки из работ Р. Ю. Виппера «Национальность и культура» (1920) и П. Н. Миллюкова «Интеллигенция и историческая традиция» (1910). См.: В поисках своего пути: Россия между Европой и Азией. М., 1994. Ч. 2.

Возрастание, а затем и доминирование в русской культуре с XIV века исихастских и тринитарных тенденций не привело к ее самоизоляции. Она приобретает черты пограничной культуры, для которой становятся характерными откаты к «почве» и к истокам, однако при той особенности, что из универсализирующих внешних культурных воздействий интернализуются не только позитивный или необходимый, пусть чужой по генезису опыт, но и «негативный», вследствие чего в пределах самой этой культуры образуется своего рода внутреннее «пограничье» как резервуар культурного опыта, так сказать, про запас, на перспективу.

И в дальнейшем прерогативы в отборе внешних вкраплений в национальную культуру остаются за Россией. Так, западные традиции рационалистического богословия и профессионального философствования не смогли преодолеть национальных идеологических устоев России вплоть до Октябрьской революции (а в Испании до постфранкистского времени). Вероятно, это же в сильной степени характерно и для других областей культуры, хотя, разумеется, тут требуются разнообразные данные.

Рассматривая свой набросок как попытку взглянуть на этническую идеологию как на важнейшее условие действия пограничных культур в историческом времени и пространстве, автор сознает, что тема представлена здесь, так сказать, в первом приближении, абрисно и суммарно, а также преимущественно в идейно-мировоззренческой ретроспективе. Тем не менее кажется вероятным, что сегодня, в пору очередного отката «к истокам» или идеологического реагирования этнических культур на процессы их универсализации (преимущественно вестернизации в экономико-социальном и в широком культурном значении) предлагаемый подход имеет определенный смысл.

О. И. ВАРЬЯШ, И. И. ВАРЬЯШ

## ПРАЗДНИКИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ HISPANIA

В 1981 году вышла в свет книга французского историка М. Ферро «Как рассказывают историю детям в разных странах мира». Несколько страниц отведено в ней Испании. При всем схематизме, неполноте и упрощенности исторического, историографического и педагогического процессов, представленных в книге, взгляд М. Ферро интересен тем, что это взгляд со стороны, издали, и весьма примечательно, что он фиксирует как характерное для Испании явление обилие праздников, имеющих в историческом сознании жителей Пиренеев особую значимость. По словам М. Ферро, именно в праздниках воплощается народная память испанцев.

Наиболее наглядно это демонстрируют праздники с явной исторической основой, такие, как «Взятие Гранады», «Мавры и христиане» — действо, разыгрываемое более чем в полусотне городов, местечек и сел, праздник Ста дев в Сан-Педро-де-Манрике (Сория), Fiesta del Bollo в Авилес и др. Многие из них, как видно уже из названий, берут свое начало еще в средневековье. Однако, на наш взгляд, гораздо важнее, что по сию пору в их форме и глубинном содержании (не тождественном сюжету) открываются весьма древние пласты сознания, отражающие архаические формы социализации. Один из ярких примеров — праздник *tombolado* в том виде, в каком он зафиксирован и записан уже во второй половине нашего столетия в валенсийских и андалусийских местечках. И



совершение корриды под покровом ночи, и возжигание при этом огней (факелов), которые не только освещают, но и как бы отмеряют время действия, и участие в корриде юношей и молодых мужчин, в то время как остальные жители постепенно покидают место состязания, наконец, спонтанная, коллективная организация праздника, а затем, в случае умерщвления быка, стремление каждого жителя (или участника состязания) отведать его мяса — все это говорит о неосознанном переживании таких архаических ритуалов, как инициации молодых людей, идентификация себя с жертвенным животным, а через эти коллективно совершаемые действия — включение или подтверждение принадлежности к единому сообществу. И в этом смысле действительно можно говорить о сохранении в празднике народной памяти.

При такой живучести отражения в праздниках глубинного ритуального сознания естественно задаться вопросом о бытовании праздничной традиции в «пограничной» ситуации, когда сталкиваются и переплетаются разнородные этнические, конфессиональные и культурные элементы. Ярчайший пример такого «пограничья» представляет собой средневековая Hispania, но вопрос осложняется тем, что в традиционных обществах праздник неотделим от ритуала, который в условиях синкретизма восприятия мира средневековым человеком превращал праздник в специфическую форму бытия, особым образом устанавливавшую связи (и сакрализовавшую их) внутри сообщества, между индивидами, между сообществом, индивидом — и миром, космосом.

Ритуальность и в этом смысле религиозная окрашенность средневековых праздников вызывает сомнения в возможности влияния, взаимодействия, поглощения праздничных традиций иноконфессиональных групп. Сближал или отталкивал праздник мусульманина и христианина? Воспринималось ли что-либо из праздничной культуры иной конфессии?

В данном случае мы оставляем в стороне, как он ни важен, иудейский элемент средневековой Аль-Андалуса ввиду особого положения иудейских общин. Точно так же мы не будем рассматривать праздники, связанные с жизненным циклом человека, — рождение, свадьба, посвящение в рыцари и т. д. Мы остановимся на религиозных христианских и мусульманских праздниках именно потому, что встреча двух культур в них предположительно наименее возможна.

Христиане средневековой Hispania прежде всего отмечали общие для всего христианского мира двенадцатые праздники, дни общехристианских святых — св. Георгия, св. Екатерины, апостолов Петра и Павла, св. Лаврентия, Марии Магдалины и др. С IX века особенно почитаемым становится св. Иаков, гробница которого стала третьим по значению местом поклонения для христиан после Иерусалима и Рима. Очень широко отмечался день св. Иоанна. Кроме того, и в первые века христианства, и в эпоху реконкисты на Пиренейском полуострове происходит складывание пантеона собственно пиренейских святых, таких, как мученики Кордовы, св. Мильян, св. Факундо и Примитиво и др., культы которых постепенно становятся общепиренейскими. Наконец, города, местечки и села имели своих святых патронов, празднества в честь которых добавлялись к общим. Основу всех этих праздников, естественно, составляло отправление церковной службы. Однако анализ пенитенциалиев, народных песен, хроник и т. д. рисует перед нами гораздо более сложную структуру праздника.<sup>1</sup> Хорошо известно, как сознательно или неосознанно, вольно или не-

<sup>1</sup> Языческие ритуалы и обряды, не осознававшиеся таковыми большинством средневеко-

вольно и в первые века христианства церковь впитывала в себя римские, германские, кельтские культы, и они проглядывают во многих пиренейских церковных праздниках. Один из наиболее явных среди них — культ Вакха. Показательно, что он был воплощен во многих праздниках христиан. Его вспоминали во время сбора винограда; праздник св. Дионисия приходился на начало октября, так же, впрочем, как и св. Бакха. Собственной жизнью зажили эпитеты, прилагавшиеся во времена античности к Вакху, — *Eleuthereus et Rusticus*. В средние века они воспринимались как имена самостоятельных святых — Элевтерия и Рустика. Также в имена двух святых — Ауры и Пласиды — превратилось имя возлюбленной нимфы Вакха — *Aura Placida*.

Примеры переживания дионисийского культа можно множить, тем более что он имел глубокие корни и практическую основу здесь, на Пиренеях, но он не единственный, органично воспринятый системой христианских праздников. В основе общего для всей Западной Европы праздника *Candelaria* лежит римский праздник богини *Februa*, по смыслу — весенний оберег скота (в одних местах скот обводят вокруг церкви три раза, со свечами, потом, возвращаясь, прикрепляют эти свечи скоту на рога; в других праздник посвящен в основном лошадям). Сходный праздник, но уже берущий начало в земледельческих культах, — знаменитый день св. Марка (блестяще описанный и проанализированный Каро Барохой) — 25 апреля. В этот день быков подводили к алтарю, молились о плодородии, в некоторых местах, например в Алгарве, сражались с головой быка.

В то же время был широко распространен обычай отмечать Новый год по юлианскому календарю и 1 января, несмотря на долгую борьбу против этого церкви, ибо он совпадал с христианским праздником — обрезание Господне. Новогодние торжества включали в себя обмен подарками, что создавало особую связь между дарившими, возжигание огней, праздничную трапезу, песни и пляски.

Пожалуй, наиболее сильные элементы языческих обрядов в празднике св. Хуана (как, впрочем, и в других областях Европы). В этот день повсюду жгли костры; в Сан-Педро-де-Манрике до сих пор практикуется хождение по углям. Этот день осознавался как пик лета и битва лета и зимы, поэтому в празднестве обязательно присутствовали разнообразные состязания (танцоров, певцов), травля животных, корриды и т. д. На западных землях полуострова в этот день закалывали специально выращиваемую к этому дню черную свинью — но не просто так, а во время своего рода корриды. Свинья олицетворяла лето, и ее умерщвление должно было подтолкнуть колесо года к осени, к урожаю, к зиме.

Подобные примеры можно приводить еще и еще, вплоть до рождественского цикла, в котором исследователи применительно к средневековью находят следы оргиастических культов. Не имея возможности, к сожалению, подробно анализировать весь годовой цикл праздников, отметим, что сохранение языческой традиции происходит в тех случаях, когда это касается самих основ бытия — установления сакральной связи с силами добра и зла, соотношения человека и космоса. Оно сопровождается утратой отождествления космических сил с языческими божествами, однако суть, а зачастую и форма ритуала не меняется.

Сходную картину мы можем наблюдать и в исламе. Как ни далеко шагнул он по пути к монотеизму, на современном уровне науки уже

вых христиан, дошли до нас в основном в описаниях XII—XV веков, но переключка их с раннесредневековыми пенитенциалиями и поучениями позволяет думать, что и в эпоху реконкисты они имели место.

невозможно отрицать его генетическое родство со многими языческими культурами. Посмотрим, как это сказалось на системе праздников, присутствующих западному крылу исламского мира, — испанским мусульманам. Как и все последователи Мухаммада, они отмечали два главных религиозных события года: праздник окончания поста и праздник жертвоприношения. Мусульманский пост, который длится месяц, падает на девятый месяц лунной хиджры — Рамадан. С началом десятого месяца — его первые три дня — происходит праздник разговения, или, как его еще называют, малый праздник. Последнее название отличает его от праздника жертвоприношения, который называется большим и отмечается через десять недель после окончания Рамадана, на 10-й день 12-го месяца лунной хиджры.

В ночь с 27 рамадана в мечетях, дворцах, во всех домах Аль-Андалуса зажигались огни, и мусульмане слушали благочестивые чтения и проповеди, совершали праздничную молитву — салат аль-ид. Для восточной традиции типично внимание к поэзии как жанру, непременно присутствовавшему при всех наиболее важных событиях, в том числе и на праздниках, и потому в первый день разговения во дворцах и на площадях поэты читали свои стихи и поэмы, что нередко принимало форму поэтических состязаний. До нас дошли так называемые *idíuwas* — посвящения этому празднику.

Праздник жертвоприношения предполагал, по древнему арабскому обычаю, заклание хотя бы одного ягненка. Кроме того, в этот день глава семейства покупал новую одежду жене и детям. Об обязательности этого для человека любого состояния писал в XII веке кордовец Ибн Кузман, повествуя о проблемах, с которыми сталкивался глава семьи при поисках каждый год ягненка.

В день жертвоприношения готовили специальные блюда, например пшеницу в молоке — в память о первой еде после рождения Мухаммада его матери Амины.

Оба праздника проводились с общей молитвой под открытым небом, устраивавшейся за городом. После молитвы все возвращались в город, где до ночи продолжалось веселье с песнями, танцами и т. д.

Третий религиозный праздник мусульманской Испании — Ашура — приходился на 10 мухаррама и выражался в ритуальной трапезе. В этот день обменивались подарками. Если на Востоке он предварялся постом, то на Западе, в землях Магриба, это правило не соблюдалось, зато присутствовали ритуалы, связанные с огнем и водой и восходящие к земельческим культурам.

Как и на Востоке, в Испании праздновали 12 раби — день рождения Пророка, о чем свидетельствует, например, правитель Сеуты Абу ль-Касим Аль-Азафи. С особенной помпой этот день отмечался позже в Гранадском королевстве.

Кроме исламских праздников испанские мусульмане отмечали персидский Новый год — Навруз. Интересно, что он праздновался по юлианскому, а не мусульманскому календарю, т. е. был фиксированным относительно солнечного года. Еще более показателен праздник того же происхождения — Махрайан, который испанские мусульмане отмечали не в сентябре, как это было принято на Востоке, а 24 июня, так что он совпал с днем св. Хуана. В этот день дарили подарки, устраивали ристалища и состязания, о чем, в частности, упоминает знаменитый кади Йаду. Возжигание огней и костров характерно почти для каждого из этих торжеств.

Как видим, элементы язычества сохранились практически во всех праздниках мусульман и в их праздничном поведении в целом. Конечно, ярче всего языческая основа видна в празднике жертвоприношения. Однако обычай лепить фигурки зверей в Навруз, зажигать огни и костры, готовить особую ритуальную пищу к тому или иному дню, обрызгивать друг друга благовонной водой — все это восходит к языческим праздникам.<sup>2</sup>

К сожалению, у нас мало данных о том, как в это время христиане и мусульмане воспринимали праздники друг друга. Но есть несколько достаточно ярких свидетельств того, что в городах Аль-Андалуса, с их смешанным населением, мусульмане принимали участие в праздновании Рождества и Нового года по юлианскому календарю совместно с христианами. Об этом, в частности, пишет Абу ль-Касим Аль-Азафи (а это уже XII век!), сообщая, что они дарили друг другу подарки, пекли фигурные пироги, форму которых восприняли потом христиане. Впрочем, следует заметить, что участие мусульман в христианских праздниках было в то время принято и на Востоке.

XIII—XV века многое изменили в Западной Европе — и в христианском мире, и в мусульманском, и в соотношении того и другого. Не останавливаясь на этом подробно, ибо процессы эти хорошо известны, скажем лишь о том, что последствия Великой реконкисты, т. е. изменение положения мусульман на полуострове, а затем и нарушение баланса сил (и культур), совпали с началом размывания относительного синкретизма средневековой культуры. Если говорить о праздниках (и в первую очередь христианских, ибо ислам в этом отношении более традиционен), то это выразилось, с одной стороны, в увеличении доли праздников государственных и политических («Взятие Гранады», «Битва при Саладо» и т. д.), в основе которых лежали события несакрального свойства, хотя посредством праздника их пытались ввести в сакральное пространство. В этих праздниках, как, впрочем, и в других публичных действиях — шествиях, казнях, — ритуал как способ общения с космосом заменяется ритуалом, обозначающим единство сообщества (королевства, города, христианского мира), а затем уступает место церемониалу.

С другой стороны, в XIII—XV веках возникают и расцветают «театрализованные» формы ритуальных действий, основанных исключительно на христианской сюжетике. Таковы *pasiones* (предпасхальные процессии), такова религиозная драма, имеющая свое современное продолжение и воплощение в знаменитом празднике в день Успения Богородицы в Эльче, первые данные о котором восходят к XIV веку.

Что же в это время происходит с исламскими традициями? Неверно было бы считать, что после реконкисты мусульманские праздники сразу подверглись запрещению. Данные о том, как они отмечались в покоренных городах Аль-Андалуса, мы находим и в королевских грамотах, и в городских петициях. Более того, и после обязательного крещения мударов в конце XV — начале XVI века мориски продолжали отмечать Рамадан и другие религиозные исламские праздники, как об этом свидетельствует Bleda в своей «*Defensio fidei*», и, сколько можно судить, ритуал праздника не претерпел особых изменений. О том же пишет в XVI веке Бартоломе де лос Анхелес.

<sup>2</sup> Весьма силен языческий слой в системе праздников североафриканских мусульман, что может дать основания для предположения о сходных явлениях и на полуострове (ввиду сильной берберской струи), но точных данных на этот счет в андалусийских источниках не содержится.

Существование мудехаров под властью христиан сказывается, однако, в невольном осмыслении своих реалий, в том числе и праздников, в романской, т. е. христианской терминологии. Интересный материал здесь дают валенсийский и кастильский кодексы мудехарского права, которые употребляют термин Пасха по отношению к празднику разговения и празднику жертвоприношения, понимая их как единый сакральный комплекс; внутри него различаются Малая Пасха, или рисовая, и Большая Пасха, или Пасха агнцев.

Нельзя, однако, не сказать, что с начала XIV века ведется ужесточение государственной политики и закрепляются так называемые ограничительные меры, которые включали в себя, в частности, запрет призыва на молитву, в том числе и в праздничные дни. Это отражено в королевских грамотах XIV—XV веков. С одной стороны, этот процесс был связан с интересами церкви, с другой — городское христианское население подчас было намного радикальнее церкви и проявляло недовольство соседством мечетей с домами христиан из-за различия в праздниках и обрядах.

Таким образом, состояние большей открытости, присущее пограничным культурам, о котором говорил В. Е. Багно, начинает меняться на закрытое, если говорить о христианской составляющей пиренейской цивилизации. Кроме уже указанных причин общего порядка, позволим себе высказать два соображения касательно собственно праздников. Во-первых, мы констатировали сохранение значительных архаических, дохристианских и доисламских, элементов в праздниках и христиан и мусульман. Их анализ говорит о том, что впитывалось, принималось христианством и исламом из предшествовавшего религиозного опыта то, что касалось наиболее общих основ, констант религиозного сознания. Во-вторых, именно на этой почве праздничная культура христиан и мусульман если и не влияла друг на друга (если же влияла, то достаточно слабо и опосредованно), то становилась приемлемой, т. е. не отторгалась.

Разрушение цельности ритуала и перенесение акцента в нем на религиозно-догматическую сторону уничтожало ту основу, на которой было возможно понимание, и способствовало враждебному восприятию «чужого». Потребовалось несколько столетий, чтобы изменение акцентов внутри системы культурных ценностей позволило вновь вступить в уже сознательный диалог с иными культурами.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Приведем некоторые труды по затронутой нами теме: *Memorial histórico Español*. V. V. Madrid, 1853; *Caro Baroja J.* Mitos y ritos equívocos. Madrid, 1974; *Mira J. F.* Toros en el norte valenciano // *Temas de antropología española*. Madrid, 1976; *Etnología y tradiciones populares*. Zaragoza, 1977; *Saugneux J.* Cultures populaires et cultures savantes. Paris, 1982; *Barceló C.* Minorias islámicas en el País Valenciano. Valencia, 1984; *Braga T.* O povo português. T. I—II. Lisboa, 1986; *Elche: fiesta y misterio*. Madrid, 1987; *Ferrer i Mallol M. T.* Els sarraïns de la corona Catalano-Aragonesa en el segle XIV. Segregació i discriminació. Barcelona, 1987; *Arié R.* España musulmana / siglos VIII—XII. Barcelona, 1988; *Libre de la Çuna e Xara*. Córdoba, 1989.

И. М. СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЙ

## КОМУ МОЛИЛСЯ И ЧТО ПИЛ АФАНАСИЙ НИКИТИН В ИНДИИ

Душ аз масцид сӯи майхона омад пири мо,  
Чист, ёрони тарикат, баъд аз ин тадбири мо?

Мо муридон рӯй сӯи кибла чун орем чун?  
Рӯй сӯи хонаи хаммор дорад пири мо...

Вчера учитель мой в кабак пришел из храма,  
И я учение его понять не в силах прямо.

Кому же должен я теперь идти молиться,  
Когда идет учитель мой напиться...

Хафиз<sup>1</sup>

Вспоминая во время своих странствий по заморским странам о далекой родине, Афанасий Никитин пишет, что нет на свете земли лучше Русской. В Индии же все дорого, так что, как с явным сожалением замечает наш соотечественник, ему даже не пришлось пить вина и сыты (л. 387, стк. 2—3).<sup>2</sup> О том, какое вино есть в Индии, Афанасий Никитин упоминает при описании своей первой зимы на чужбине: «...вино же у них чинять в великих орѣсах. кози гундустаньскаа, а брагу чинят в татну...» (л. 373, стк. 8—10). Это наблюдение, которое И. И. Срезневский называет самым важным из заметок Никитина «о произведениях царства растительного» (Срезневский, 1857, с. 68), переводят и толкуют по-разному и до сих пор неточно.

После убедительного разъяснения Ю. Н. Завадовского, что «кози гундустаньскаа» — это орехи кокосовой пальмы (Завадовский, 1954, с. 141),<sup>3</sup> принятым стал такой перевод первой части рассматриваемого пассажа: «...вино же у них приготавливают в больших орехах кокосовой пальмы...» (Н. С. Чаев (Хождение, 1958, с. 74)), «...в больших кокосовых индийских орехах...» (Прокофьев, 1980, с. 91). В подтверждение такого понимания Ю. Н. Завадовский приводит свидетельство Н. Н. Миклухо-Маклая об употреблении скорлупы кокосовых орехов в качестве посуды на Новой Гвинее (Завадовский, 1954, с. 141; Сандыбаева, 1981а, с. 54).

Неясный оборот «...брагу чинят в татну...» во второй части тоже может толковаться «...в какой-то сосуд...» (Прокофьев, 1980, с. 186, примеч. 38), и есть попытка связать слово «татн(а)» с тюркским (азерб.) «тәкнә» 'корыто', 'жбан' (Сандыбаева, 1980, с. 96; 1981б, с. 8), хотя уже И. П. Минаев идентифицировал «татн(а)» с известным англо-индийским словом toddy — названием опьяняющего напитка из пальмиры (винной пальмы) (Минаев, 1881, с. 142). Таким образом, в обеих частях этого пассажа видят параллелизм: вино делают в скорлупе кокосовых орехов, а брагу — в корыте.

В стихотворном переложении проф. Н. Водовозова отрывок звучит следующим образом:

А вино здесь повсюду дешевое  
Продается в орехах кокосовых.  
Те орехи великие: с голову.  
Да и брагу простую здесь делают  
И в сосудах хранят ее пальмовых

(Хождение, 1950, с. 85)

Действительно, обе конструкции явно строятся параллельно, но почему они должны указывать на посуду, в которую наливают вино и брагу? С какой стати такой вдумчивый путешественник, как Афанасий Никитин, обратил бы внимание на то, во что наливают вино и брагу? Его интересует суть вещей, он пишет о том, из чего делают вино, а не во что его наливают или из чего пьют.

Сочетание «кози гундустанская» нужно понимать как глоссу к «великим орехам», названию кокосовой пальмы, известному и по другим древнерусским текстам, например по переводам с греческого «Христианской топографии» Космы Индикоплова (Щербакова, 1979, с. 25). Значение 'кокосовые орехи' для «кози гундустанская» давал и И. И. Срезневский (Срезневский, 1893, с. 1246), но Афанасий Никитин имеет в виду, конечно, не орехи — плоды кокосовой пальмы, а все дерево, которое он называет большим индийским орехом. Вино же готовят не из орехов (как это неточно переведено А. Д. Желтяковым и Л. С. Семеновым (Хождение, 1986, с. 46)), а из сока соцветий кокосовой пальмы (*Cocos nucifera* L.), сочащегося наподобие пасоки сахароносных видов клена или березы.<sup>4</sup> Этот сок, по словам Абу Рейхана Беруни, остается сладким полдня, потом превращается в вино, а затем скисает (Беруни, 1974, с. 838). Один европейский путешественник начала XVI века сообщил, что если у нас в Европе хлеб, вино, масло и уксус получают из разных источников, то в Индии все это дает кокосовая пальма (Hobson-Jobson, с. 229а).

То, что под брагой, которую «чинят в татну», подразумевается другой вид пальмового вина, предполагал еще И. И. Срезневский (Срезневский, 1857, с. 68, 87),<sup>5</sup> а позднее известный индолог И. П. Минаев, как уже говорилось выше, подтвердил эту идентификацию (Минаев, 1881, с. 142).<sup>6</sup> «Татн(а)» — это то же, что англ. toddy — англо-индийское слово, давно усвоенное английским языком и встречающееся уже в стихах Роберта Бёрнса в значении 'пунш' ('тодди') (Hobson-Jobson, s. v.). Афанасий Никитин под «татн(а)» имеет в виду так называемую тодди-пальму, винную пальму или пальмиру (*Caryota urens* L. или *Borassus flabelliformis* Murr.). перебродивший сок женских соцветий этой пальмы приятен на вкус и опьяняет,<sup>7</sup> в прошлом это был основной алкогольный напиток Южной Индии (Бэшем, 1977, с. 231).<sup>8</sup> Пересматривать первоначальное объяснение слова «татн(а)» нет необходимости, можно только более основательно подтвердить его реалиями.

Таким образом, весь пассаж («вино же у них чинят в великих орѣсах кози гундустанская, а брагу чинят в татну») нужно переводить не «вино у них готовят в больших орехах кокосовой пальмы, а брагу — в татне (жбане, корыте?)», но: «Вино у них делают из кокосовой пальмы (<называемой> индийским орехом), а брагу — из пальмиры (винной пальмы)». Примеры аналогичной конструкции с предлогом «в» при указании на материал, из которого изготавливается что-либо, есть в древнерусских памятниках: «...бози...суть дѣлани руками в деревѣ...» (Лаврентьевская летопись, XIV в.), «...хлѣб испечень в мукѣ пшенишной...» (Травник, XVII в.).<sup>9</sup> Вопреки утверждению комментаторов, никакой «специфичности выражения в древнерусском языке» (Хождение, 1986, с. 151) в данном случае нет.

Пальмовое вино «тодди» — не единственный ориентализм «Хождения», известный и по колониальной англо-индийской и(ли) индо-португальской лексике. К сожалению, издатели и комментаторы «Хождения» к собраниям такой лексики обращались мало. Так, И. П. Петрушевский сближает употребляемое Афанасием Никитиным слово «тава» в значении 'корабль',

'судно' с персидским и тюркскими обозначениями сковороды (перс. *tāba* и проч. (Хождение, 1958, с. 203, прим. 50)<sup>10</sup>). Между тем слово «тава», встречающееся в русской литературе только в тексте «Хожения», было давно усвоено европейцами (сначала, очевидно, португальцами, а затем англичанами). Оно вошло в английский язык как *dhow* [dau] — одно-мачтовое судно с латинским (треугольным) парусом, с древнейших времен до наших дней<sup>11</sup> бороздящее воды Персидского залива, Аравийского и Красного морей. Это слово объясняется в словаре англо-индийского арга Г. Юля и А. Бёрнелля, где приводятся среди прочих и цитаты из «Хожения» в английском переводе, поскольку Афанасий Никитин первым из европейцев упоминает о таких судах (Hobson-Jobson, с. 315а). Название это, по-видимому, индийского происхождения, как предполагал И. П. Минаев (Минаев, 1881, с. 13); статьи об этом слове есть в этимологических словарях разных европейских языков, в словаре восточных заимствований в европейских языках К. Локоча (Lokotsch, 1927, № 504). Об этимологии этого слова писал Т. А. Шумовский (Шумовский, 1965, с. 479).

Ориентализмы в «Хожении» Афанасия Никитина нуждаются в специальном исследовании, основанном на всех вариантах, зафиксированных в списках, так как критического текста этого памятника пока нет (Добродомов, 1981). Предстоит еще детально исследовать тюркские фразы «Хожения»; диалектная принадлежность этих фраз к поволжско-татарскому и чагатайскому в смеси с хорезмийскими формами декларирована (Хождение, 1958, с. 251), но не доказана (Трубецкой, 1983, с. 459). Возможно, это был какой-то жаргон купцов и торговцев, для которого более уместным кажется термин не «волапук» (И. П. Петрушевский), а «тюркский пиджин» (так как это был именно язык торговли, «бизнеса» — подобно «пиджин-инглиш»).

Арабского языка Афанасий Никитин не знал, но тем не менее молитва, которой заканчивается и Троицкий, и Эттеров список «Хожения», это, как будет показано ниже, совсем не искаженный и малоосмысленный набор слов на «смешанном персидско-арабско-тюркском языке» (Хождение, 1958, с. 97) или на «макароническом восточном», как пишут исследователи. После перевода этой молитвы, опубликованного А. К. Казембеком<sup>12</sup> в 1853 году в комментариях к «Полному собранию русских летописей», все переводчики и комментаторы «Хожения» повторяли этот перевод с незначительными изменениями, сохраняя даже пунктуацию (произвольную и не оправданную по смыслу). Перевод же этот (см.: Срезневский, 1857, с. 80, примеч. 186; Хождение, 1958, с. 90; Прокофьев, 1980, с. 124—125) неточен, неудачен и просто устарел. Вместо «...он бог, которому нет другого подобного...» нужно: «...он Бог, кроме которого нет божества...».

Посмотрим же, чем заканчивает Афанасий Никитин свое повествование. Действительно ли эти слова, в которых видят последнее молитвенное обращение, последний вздох умирающего русского путешественника и писателя, просто «иноязычная запись, довольно бессвязная» (Прокофьев, 1980, с. 22), «русско-азиатская тарабарщина», «последняя волна интимно-религиозных переживаний» (Н. С. Трубецкой)?

В нижеследующей таблице дается отождествление заключительных слов «предсмертной» молитвы Афанасия Никитина (по двум спискам, в которых она зафиксирована) с арабскими словами и перевод с арабского на русский. Арабские слова приводятся в общепринятой транскрипции русскими буквами согласно произношению в классическом языке (т. е. так, как они и сейчас должны читаться верующими).



Троицкий список (л. 392, об., стк. 17—26)	Эттеров список (Хождение, 1958, с. 50)	Арабский	Перевод
альмелику	—	ал-малику	Владыка
алакудосу	—	ал-қуддусу	Пресвятой
асалому	—	ас-салāму	Благополучие
альмоуминоу	—	ал-му'мину	Верный
альмоугамину	=/ имину <sup>13</sup>	ал-мухаймину	Охранитель
альязизу	альязизу	ал-'азйзу	Могучий
альчебароу	альчебару	ал-джаббāру	Грозный
альмоутаканъбируу	альмутаканъ биру	ал-мутакаббйру	Превознесенный
альхаликоу	алхалику	ал-хāлиқу	Творец
альбаріоу	альбаріоу	ал-бāри'у	Создатель
альмоусавириу	альмумусавириу	ал-муcавиру	Образователь
алькафару	алькафару	ал-гаффāру	Прощающий
алькахару	алькал'хару (алькахару) <sup>14</sup>	ал-қаххāру	Всемогущий
альвахаду	аньвазаху (аньвахазу)	ал-ваххāбу	Дарящий
альрязаку	альрязаку	ар-раззāку	Питающий
альфатагоу	альфатагу (альфатаху)	ал-фаттāху	Победоносный
альалімоу	альалиму	ал-'āлиму	Знающий
алькабізу	алькабизу	ал-қāбиду <sup>15</sup>	Сдерживающий
альбасуту	альбасуту	ал-бāситу	Простирающий
альхафизу	альхафизу	ал-хāфиду	Смиряющий <sup>16</sup>
альррафйю	альрравію (альрравію)	ар-рāфй'у	Возвышающий
альмавіфу	альмавизу	ал-му'иззу	Возвеличивающий
альмузилю	алмузилю	ал-музиллу	Унижающий
альсемію	альсемілю	ас-самй'у	Слышащий
альвасириу	альбасириу	ал-баcйру	Видящий
альакамоу	альакаму	ал-қакаму	Судящий
альадьюлю	альадьюлю	ал-'адлу	Справедливый
альлятуфу	альятуфу	ал-латйфу	Добрый

Из таблицы видно, что Афанасий Никитин приводит в последних строках своего «Хождения» эпитеты или так называемые «имена Аллаха» (араб. ал-асмā' ал-хуснā букв. «прекрасные имена»), которых всего насчитывается 99.<sup>17</sup> Афанасий Никитин называет принятые у мусульман имена Бога без единой ошибки по порядку с четвертого по тридцать первое и достаточно точно, так что их идентификация не вызывает сомнений. Начинает же он этот список не с первого (т. е. с самого Аллаха и с его второго и третьего имен — ар-раҳмāну 'Милостивый' и ар-раҳйму 'Милосердный') потому, что всему списку предшествуют 22—23-й стихи 59-й суры Корана (ал-Ҷашр 'Собрание'). В этой суре упоминаются первые 14 имен Аллаха и говорится, что «у него самые красивые имена» (Коран 59.24). Ниже следуют тексты по Троицкому и Эттерову спискам, коранические стихи и перевод.

*Троицкий список* (л. 392, об., стк. 14—17):...<sup>18</sup> хувомугоулези ляіляга ильлягуя алимуль гяйби вашагадити хоуараману рагыму хоувомугу лязи ляіляга ильляхуя... (далее по вышеприведенной таблице).

*Эттеров список* (Хождение, 1958, с. 50): [бисмилна giraхамм ppaгим] хувомугоулези ляіляса<sup>19</sup> ильлягуя алимуль гяйби вашагадити хуярахману рагиму хубомогулязи ля иляга (далее пропуск строки).

*Коран 59 (ал-Ҳашр):*

22. хува-л-ла̄ху-л-лаз̄ӣ ла̄ ила̄ха илла̄ хува 'алиму-л-гайби ва-ш-шаҳа̄дати  
хува-р-рахма̄ну-р-раҳӣму

23. хува-л-ла̄ху-л-лаз̄ӣ<sup>20</sup> ла̄ ила̄ха илла̄ хува [ал-малику-(а)л-қуддӯсу-(а)с-  
салāму и т. д. по таблице до 11-го имени; в следующем стихе упоминаются  
еще три имени Аллаха].

*Перевод:* Он Бог, кроме которого нет божества, он знает тайное и явное, он милостивый и милосердный. Он Бог, кроме которого нет божества: [Владыка, Пресвятой, Благополучие, Верный, ...].

В русском переводе заключительных строк «Хожения» не следует, видимо, объединять отдельные имена друг с другом и строить из них назывные предложения. Имена эти можно дать списком вслед за кораническими стихами.

Этот примечательный факт, что Афанасий Никитин дословно цитирует стихи Корана и безошибочно знает порядок имен Аллаха, в которых могут путаться и природные мусульмане, должен учитываться при характеристике личности автора и его мировоззрения, в рассуждениях о способе ведения им путевых заметок.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ср. в переводе Е. Дунаевского:

Вчера из мечети вышел  
наш шейх — и попал в погребок.  
Товарищи суфии, нам-то  
какой же в этом урок?  
Лицом повернуться ль к Ка'бе —  
нам мюридам простым, —  
Когда наш почтенный учитель  
прямо глядит в кабачок?

(Хафез. Лирика, 1935, с. 149)

Примечательно, что в издании в серии «Библиотека всемирной литературы» обращение «товарищи суфии» заменено на «друзья мои, суфии!» (Ирано-таджикская поэзия, 1974, с. 373).

Герман Плисецкий перевел эти строки так:

Наставник наш, распутства стойкий враг,  
Покинувши мечеть, зашел в кабак.  
Как нам, ученикам, теперь молиться  
И обращать лицо к святыне как?

(Хафиз, 1981, с. 52)

<sup>2</sup> Здесь и далее без оговорок даются ссылки на листы Троицкого списка «Хожения», которое издано факсимиле (Прокофьев, 1980, с. 127 и сл.); тексты списков «Хожения» печатались в серии «Литературные памятники» (Хожение, 1958, с. 9—67; Хожение, 1986, с. 5—42).

<sup>3</sup> Перс. *gouz-i hindī* (или в арабизированной форме *jouz-i hindī*) 'кокосовая пальма', букв. «индийский орех» — обычное у средневековых европейских авторов (Марко Поло и др.) название кокосовой пальмы (Hobson-Jobson, s. v. *soco, soso*). Др.-иран. \*(a)gauza- перс. *gouz* 'орех', как указал В. А. Лившиц, можно связать с корнем *gauz-* 'скрывать', 'прятать', ср. авест. *gaoz-*, др.-перс. *gaud-*, др.-инд. *guhati* 'прячет'. Сюда же (через восточно-иранское посредство) тадж., перс. *yūza* 'коробочка (хлопчатника, мака)', видимо, из согдийского (Стеблин-Каменский, 1982, с. 110; 1984, с. 15).

<sup>4</sup> «...Молодые соцветия до их распускания надрезают; из надреза все время сочится жидкость, стекающая по капле в подставленный сосуд. Это ферментированные запасные питательные вещества, мобилизуемые растением на процессы цветения и плодообразования. Сок содержит в среднем 14.6 % сахара; его либо выпаривают и получают кристаллизованный коричневый пальмовый сахар, либо подвергают брожению и получают вино, либо перегоняют в водку...» (Жуковский, 1971, с. 377). О вине из молодых соцветий кокосовой пальмы писал Альфонс де Кандолль (de Candolle, 1883, с. 345).

<sup>5</sup> В его «Материалах для словаря древнерусского языка», изданных посмертно, слово «татынь» приводится без перевода со знаком вопроса (Срезневский, 1903, с. 928).

<sup>6</sup> По словам И. П. Минаева, «тодди» очень нравился европейцам, «...особенно же британским солдатам, о которых, впрочем, существует мнение, что нет того крепкого напитка, которым они погнушались бы напиться до пьяна. Рассказывают об одном Англичанине, которому *тодди* так нравилось, что он скромно пожелал вместо жалования получать ежедневно по бутылке этого приятного напитка» (Минаев, 1881, с. 142).

<sup>7</sup> «...свежий сок (винной пальмы) мало сладкий и довольно безвкусный, после уваривания и кристаллизации он дает хороший пальмовый сахар; если его не выпаривать, то после 6—8 часов стояния вследствие ферментизации он превращается в чудесный слегка опьяняющий напиток...» (Жуковский, 1971, с. 291).

<sup>8</sup> Англ. *toddy* 'тодди' из хиндустани *tārī*, *tādī*, санскритское *tāla*-, *tāli*- 'винная пальма' к др.-инд. \**tāda*-, слову, видимо, дравидийского происхождения (Mayrhofer, 1953, с. 498; Burrow — Emeneau, N 2599); отражения его есть и в цыганском: *taro*, *tari* 'ром', 'бренд' (Turner, N 5750). Заслуживает внимания передача Афанасием Никитиным церебрального согласного сочетанием «тн» ← (г), (д) (?).

<sup>9</sup> Примеры из «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (Вып. 2. М., 1975, с. 86). Эта конструкция сохранилась и в современном языке: высекать в камне, вырезать в дереве, писать в цвете и т. п. На такое употребление предлога в (въ) обращал внимание А. А. Потехня: «Соломонъ почаль в (-из) деревцѣ вѣсочки дѣлать...»; «Во лѣвь его (Святослава) сдѣлаша чашу, окваше лѣвь его, и пѣяху изъ него...» (Потехня, 1941, с. 281).

<sup>10</sup> Необоснованно привлечение сюда же и итал. *tavolone* 'обшивка палубы', которое значит просто 'толстая доска' и образовано от *tavolo* 'доска', 'стол' (лат. *tabula*). Перс. *tāba* 'сковорода' может восходить к др.-ир. *tāra*ка- от основы *tar-* 'топить', 'греть'. Слово это распространилось кроме тюркских также в кавказские, угро-финские и другие языки (Абаев, 1979, с. 244, 287).

<sup>11</sup> «Морские суда, называемые даба, строят и сейчас, причем так же, без железных гвоздей...» (Семенов, 1980, с. 67).

<sup>12</sup> Мухаммед Али Мирза Казем-бек, сыгравший выдающуюся роль в становлении российского востоковедения, родился в Дербенте в 1802 году, он в 19-летнем возрасте в Астрахани принял христианство, получив имя Александр. Он писал: «Я решил отойти от магометанского мира. Этот мир и питающая этот мир философия Магомета представляется мне сейчас слишком фанатичным» (Рзаев, 1989, с. 25).

<sup>13</sup> В Эттервом списке, видимо, пропущена строка, так как начальные слова молитвы в обоих списках совпадают (см. ниже).

<sup>14</sup> Здесь и далее в скобках разночтения по Архивскому списку, приводимые Я. С. Лурье (Хождение, 1958, с. 185).

<sup>15</sup> Передача Афанасием Никитиным арабского «дād» а через русское «з» указывает на то, что эти арабские слова он усвоил не от арабов, которых, как известно, даже именуют «люди дād'а» ('ахлу-д-дāди) или «говорящие с дād'ом» (нāтику би-д-дāди), т. е. 'говорящий на чистом арабском языке'.

<sup>16</sup> А. К. Казембеком было ошибочно принято за араб. ал-хāфизу 'хранящий', 'помнящий наизусть' и переведено «все сохраняющий» (см.: Срезневский, 1837, с. 80, примеч. 186; Хождение, 1958, с. 90; Прокофьев, 1980, с. 125; Хождение, 1950, с. 182; Памятники, 1982, с. 477; Хождение, 1986, с. 58).

<sup>17</sup> Полный по порядку список «имен Аллаха» в транслитерации и с комментариями есть в статье L. Gardet. *al-Asmā' al-Husnā* во втором издании международного справочника «Энциклопедия Ислама», выходящего на английском, французском и немецком языках (The Encyclopaedia of Islam. New ed. Leiden; London, 1960-). Имена Бога известны во многих религиях Востока. Так, у зороастрийцев они перечисляются в специальном гимне Ахура-Мазде («Ормазд-яшт») и их всего 72 (по числу глав зороастрийской литургии и нитей в священном поясе (Авеста, 1993, с. 181)). Список имен Аллаха, по Дж. Брауну, приводит П. Позднев (Позднев, 1886, с. 178—183).

<sup>18</sup> Выше до слов «бисмилна гирахамм ррагым» (араб. б-исми-л-лāхи-р-рахмāни-р-рахīm 'во имя Аллаха, милостивого, милосердного') возносится хвала Богу на персидском и арабском.

<sup>19</sup> (ляляса) в Архивском списке.

<sup>20</sup> Соответствие никитинского «хувомогулези» арабскому «хува-л-лāху-л-лазй» может объясняться ошибкой: «м» вместо двух «л» (лл).

## ЛИТЕРАТУРА

Авеста, 1993 — Авеста. Избр. гимны. Из Видевдата / Пер. с авестийского Ивана Стеблин-Каменского. М., 1993.

- Абаев, 1979 — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 3. Л., 1979.
- Беруни, 1974 — *Беруни Абу Райхан*. Избр. произв. Т. 4: Фармакогнозия в медицине. Исследование, перевод, примеч. и указатели У. И. Каримова. Ташкент, 1974.
- Бэшем, 1977 — *Бэшем А.* Чудо, которым была Индия / Пер. с англ. под ред. Г. М. Бонгарда-Левина. М., 1977.
- Добродомов, 1981 — *Добродомов И. Г.* Проблемы текста «Хождения за три моря» Афанасия Никитина // Бартольдские чтения. 1981 (Год пятый. Тезисы докладов и сообщений). М., 1981. С. 37.
- Жуковский, 1971 — *Жуковский П. М.* Культурные растения и их сородичи. Систематика, география, цитогенетика, иммунитет, экология, происхождение, использование. 3-е изд., перераб. и доп. Л., 1971.
- Завадовский, 1954 — *Завадовский Ю. Н.* К вопросу о восточных словах в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина (1466—1472 гг.) // Труды Института востоковедения АН Узбекской ССР. Вып. III. Ташкент, 1954. С. 139—145.
- Ирано-таджикская поэзия, 1974 — *Ирано-таджикская поэзия* / Пер. с фарси. Вступительная статья, составление и примеч. И. Брагинского. «Библиотека всемирной литературы». М., 1974.
- Минаев, 1881 — *Минаев И.* Старая Индия. Заметки на Хождение за три моря Афанасия Никитина. СПб., 1881.
- Памятники, 1982 — *Памятники литературы Древней Руси*. Вторая половина XV века. М., 1982.
- Позднев, 1886 — *Позднев П.* Дервиши в мусульманском мире. Оренбург, 1886.
- Прокофьев, 1980 — *Хождение за три моря Афанасия Никитина (1466—1472)*. Предисловие, подготовка текста, перевод и комментарий Н. И. Прокофьева. М.: Советская Россия, 1980.
- Рзаев, 1989 — *Рзаев А. К.* Мухаммед Али М. Казем-бек. М., 1989.
- Сандыбаева, 1980 — *Сандыбаева Н. А.* О некоторых словах из восточных языков в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина // Проблемы филологических исследований (Информационные материалы IX научно-методической сессии по филологическим наукам). Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. С. 95—96.
- Сандыбаева, 1981а — *Сандыбаева Н. А.* Историографический обзор исследований, посвященных проблеме восточных слов в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина // Известия Академии наук Казахской ССР. Серия филологическая. 1981. № 1. С. 51—55.
- Сандыбаева, 1981б — *Сандыбаева Н. А.* Лексика восточного происхождения в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина. Автореф. канд. дисс. Л., 1981.
- Семенов, 1980 — *Семенов Л. С.* Путешествие Афанасия Никитина. М., 1980.
- Срезневский, 1857 — *Срезневский И. И.* Хождение за три моря Афанасия Никитина в 1466—1472 гг. СПб., 1857.
- Срезневский, 1893 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1. СПб., 1893.
- Срезневский, 1903 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 3. СПб., 1903.
- Стеблин-Каменский, 1982 — *Стеблин-Каменский И. М.* Очерки по истории лексики памирских языков. Названия культурных растений. М., 1982.
- Стеблин-Каменский, 1984 — *Стеблин-Каменский И. М.* Земледельческая лексика памирских языков в сравнительно-историческом освещении. Автореф. докт. дис. М., 1984.
- Стеблин-Каменский, 1986 — *Стеблин-Каменский И. М.* Афанасий Никитин в Индии // Переднеазиатский сборник. IV. М., 1986. С. 160—168.
- Трубецкой, 1983 — *Трубецкой Н. С.* «Хождение за три моря» Афанасия Никитина как литературный памятник // Семиотика. М., 1983. С. 437—461.
- Хафез. Лирика, 1935 — *Хафез*. Лирика. Перевод и статья Е. Дунаевского. М., 1935.
- Хафиз, 1981 — *Хафиз*. Сто семнадцать газелей. В переводе Германа Плисецкого. Составление, подстрочный перевод, предисловие и комментарий Н. Кондыревой. Отв. ред. О. Ф. Акимушкин. М., 1981.
- Хождение, 1950 — *Афанасий Никитин*. Хождение за три моря. Гослитиздат, 1950.
- Хождение, 1958 — *Хождение за три моря Афанасия Никитина (1466—1472 гг.)*. 2-е изд., доп. и перераб. М.; Л., 1958.
- Хождение, 1986 — *Хождение за три моря Афанасия Никитина* / Издание подготовили Я. С. Лурье и Л. С. Семенов. «Литературные памятники». Л., 1986.
- Шумовский, 1965 — *Шумовский Т. А.* Кто такой Дабавакара? (К истории арабско-индийских морских связей) // Семитские языки. Вып. 2. Ч. 2. (Материалы Первой конференции по семитским языкам 26—28 окт. 1964). 2-е изд. М., 1965. С. 477—480.
- Щербакова, 1979 — *Щербакова А. А.* История ботаники в России до 60-х гг. XIX в. (додарвиновский период). Новосибирск, 1979.

- Burrow — Emeneau — *Burrow T., Emeneau M. B. A Dravidian Etymological Dictionary.* Oxford, 1961 (1966).
- de Candolle, 1883 — *Candolle Alphonse de. Origine des plantes cultivées.* 2-ème ed. Paris, 1883.
- Hobson-Jobson — *Hobson-Jobson. A glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases...* by H. Yule and A. C. Burnell. New ed. L., 1903 (Reprinted: L., 1968).
- Lokotsch, 1927 — *Lokotsch K. Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs.* Heidelberg, 1927.
- Mayrhofer, 1953 — *Mayrhofer M. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen.* Bd. I. Heidelberg, 1953.
- Turner — *Turner R. L. A Comparative Dictionary of the Indo-Aryan Languages.* L., 1966 (1973).

А. Г. ПОГОНЯЙЛО

## ПЕРЕХОД ГРАНИЦ: СИТУАЦИЯ ИЛИ СУЩНОСТЬ СОЗНАНИЯ?

(ОБ ОДНОМ ПРИМЕРЕ КОММУНИКАТИВНОГО ПАРАДОКСА)

В главе о литературе народов науа Р. В. Кинжалов рассказывает один из эпизодов конкисты, а именно историю о том, как ацтекский правитель Мотекусума II послал высадившемуся на побережье Кортесу два наряда — Тескатлипоки и Кецалькоатля. Поскольку по ацтекскому календарю подходила очередная смена эпох, Мотекусума хотел выяснить, правда ли, что на Востоке объявилось некое божество, и если это так, что это за бог и, соответственно, чья эпоха настает. Кортес, как известно, не стал надевать посланных ему нарядов, и, как пишет автор, это определенным образом повлияло на ход завоевания.<sup>1</sup>

Попробуем разобраться с описанным эпизодом. В сущности, послав Кортесу божественные наряды, Мотекусума спросил у него, кто он такой. Кортес, не усмотрев в подарке вопроса, на него не ответил, если не считать, что само молчание уже было ответом, причем таким, который обязывает задуматься о том, правильно ли задан вопрос. Послание Мотекусумы предполагало, что по крайней мере одна из двух возможностей, заложенных в его сообщении, будет реализована. И облачение в один из посланных нарядов, снимая неопределенность, являлось бы «нормальным» ответом, поставляя потребную вождю информацию. При этом надо отметить, что оба «нормальных» ответа (Я — Тескатлипоки, Я — Кецалькоатль) уже существовали в готовом виде, поскольку были запрограммированы соответствующей культурой и не требовали перестройки ее языка. И именно в рамки этой запрограммированной ситуации укладывалось поведение Мотекусумы. Однако реальность оказалась существенно иной, и эта ситуация, когда на поставленные вопросы нет готовых ответов, очевидно, тоже предусмотрена культурой. В этом случае, для того чтобы сыскать ответ и выйти из неопределенности, требуется известное усилие деавтоматизации привычных умственных ходов и культурных навыков. Машина на такие вопросы не реагирует, принимая их за шум в канале связи. Меж тем человек принимается сомневаться, впервые обращая внимание на язык как таковой, обнаруживая его как затруднение, как проблему.

Работая в режиме, близком к автоматическому, мы не отдаем себе отчета в том, как мы работаем. Так, когда мы говорим, мы сосредоточи-

<sup>1</sup> История литературы Латинской Америки / Ред. В. Б. Земсков. М., 1985. С. 54.

ваемся на предмете разговора, при этом то, по каким правилам мы говорим, сам механизм разговора, остается неосознанным. Меж тем в случае недопонимания нам поневоле приходится обращать внимание собственно на язык: разбираясь с недоразумением, мы обычно стараемся выявить правило, по которому говорим. При этом объектом исследования становится сам язык, оказываясь как бы перед нами, и, как сказали бы философы, опредмечиваясь. И однако, разбираясь с языком, формулируя правило речи, мы все равно разговариваем и, стало быть, остаемся в рамках языка. Да, в рамках языка, но иного. Сама необходимость разобрататься с каким-то недопониманием побуждает нас выявлять правило, по которому мы говорим, превращая собственный язык в объект исследования и переходя по отношению к нему на позицию наблюдателя, на метапозицию, или, иными словами, выявление правила языка выводит нас за пределы языка, всякий раз оставляя в его бесконечно расширяющихся пределах. Этот непрекращающийся выход за пределы языка внутри языка называется у лингвистов и культурологов «коммуникативным парадоксом», который формулируется так: общение возможно, если есть один общий язык, и оно не имеет смысла, если этот язык — один-единственный.<sup>2</sup>

И если с этой точки зрения обратиться к описанному выше историческому эпизоду, то придется сказать, что собеседование Мотекусомы и Кортеса не состоялось именно потому, что принадлежа разным культурам, они говорили на разных языках, но разговор на двух языках потому и невозможен, что одна и та же вещь — в данном случае наряды — включается в разные контексты. Такие случаи прекрасно иллюстрируются примерами Л. Витгенштейна.<sup>3</sup> Тем не менее всякий реальный разговор — это в той или иной степени разговор на двух языках, и достижение понимания связано с выходом на метапозицию по отношению к ним.<sup>4</sup>

Добиваясь взаимопонимания, мы выводим правила языкового общения, но оказываясь на метапозиции по отношению к нашему собственному языку, мы не понимаем, как мы на ней оказались. Это непонимание — принципиальное, а не временное.<sup>5</sup> Наша точка зрения на мир никогда не станет объектом нашего представления, хотя мы уверены в том, что она есть, и хорошо, если не считаем ее единственно возможной.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> См., например, статьи Ю. М. Лотмана по семиотике культуры и текста: *Лотман Ю. М. Избр. статьи*. Таллинн, 1992. Т. 1. С. 11—247.

<sup>3</sup> В рисунке заяц/утка мы видим поочередно то зайца, то утку, но никоим образом сразу обоих. То же самое происходит со ступенькой и вообще во всех тех случаях (например, случай омофонии), когда одна и та же вещь, ничего не меняя в своем составе и «внешности», в разных контекстах-языках становится разными вещами (*Витгенштейн Л. Философские работы*. М., 1994. Ч. 1. С. 278).

<sup>4</sup> Одолеть слова можно, им подчиняясь, стараясь не заглушить собственными речами того, что «говорит язык». Однако, чтобы он заговорил, должно произойти что-то такое, что столкнет нас с предвзятого *мнения* в ситуацию *сомнения*, заставит отдать себе отчет в том, что слова — это слова, а не сами вещи. Менее всего идее «прислушивания к языку» отвечало бы представление о пронизывающем Вселенную «всеобщем сочувствии» (*sympathia universalis*) на манер того, как это представляли себе натурфилософы Возрождения, вычитывавшие из «книги природы» то, что они сами же в нее вписали.

<sup>5</sup> Этим объясняется полная неразумность вопроса о причинах языка и сознания. Опиши мы их причины, прочерти загода «маршрут» выдвижения на метапозицию, о каких тогда сознании и речи можно было бы вести речь?

<sup>6</sup> Признак эмерджентности, отличающий системное целое, это и есть метапозиция по отношению к двум языкам, на которых нельзя говорить одновременно. Попытки реконструировать язык как систему утопичны, ведь подлинный «атом» языка — событие различения и его алгоритм («раздвоение единого»), а не тот системный объект, который мы желаем видеть *не ред нами* и называть его языком.

Сознание не может быть предметом рассмотрения, поскольку на него никак не посмотреть, оно *не перед нами*, но сам факт сознавания чего-то при этом для нас несомненен. Лучше других это показал Декарт в своем знаменитом: «Я мыслю, следовательно, я существую». Когда мы сознаем что-то, мы не можем не сознавать, что мы сознаем. И это делает сознание неоспоримой достоверностью. Событие сознания как бы распадается на сознание вещей и сознание самого сознания. Событие сознания (и языка) случается как одномоментное разграничение сознаваемых вещей между собой и отграничение меня, сознающего, отдающего себе отчет в сознавании. Разграничиваясь, мир собирается в целое. Границы устанавливаются, и я устанавливаюсь *одновременно* с установлением границ. Я мыслю (различаю), я существую. Потому-то событие сознания, как и языка, необратимо, нельзя узнать, воспринять, почувствовать или сказать «назад» — к себе прежнему пути нет. Нет не потому, что я куда-то переместился, в иное время и иное пространство, а потому что «я» и есть само это мгновенное перемещение, открывающее горизонты мира — не-сознания. Я есмь я, только когда я больше самого себя: переход границ — не ситуация, а сущность сознания.<sup>7</sup>

Декарт, Кант, Гуссерль объясняют сознание, «развертывая» его, и этот опыт развертывания завершается удивительным открытием: у сознания нет сердцевины, нет собственной «сущности», ткань размотали и... ничего нет, хотя прежде сверток казался куда как увесист. И то, что у сознания нет собственной сущности, позволяет ему быть тем, что оно есть — сознанием вещей. Различая вещи, сознание отличает себя от них как метапозицию по отношению к ним, как взгляд «со стороны». И когда — мы об этом писали выше — в число различаемых со стороны, объективированных вещей попадают и фрагменты языка в виде сформулированных правил общения, то сама фрагментарность этой «грамматики» — это непрерывное условие возможности говорить и сознавать.

Речи — вопросы и ответы — неизбежны, они не проходят бесследно для мира, «спрошенный» мир — уже не тот, что до вопроса. Вопрошая, мы неизбежно делаем себя «правилом Вселенной»,<sup>8</sup> понимая при этом, что не мы ее правило. Вряд ли в случае Кортеса и Мотекусомы можно говорить о какой-то метапозиции по отношению к языкам их культур, если она и была, то была минимальной: сильная цивилизация подчиняла себе слабую, и вопросы Мотекусомы, скорей всего, так и повисли в воздухе, не разрешив сомнений, отсюда нерешительность прежде смелого воина.

<sup>7</sup> О *когито* часто говорят как об источнике новоевропейского «субъективизма» и «интеллектуализма». Отчасти это связано с непониманием, отчасти с тем, что Декарт не всегда последовательно отличал психологическое «я» от того «я», которое позже стало называться трансцендентальным. М. Хайдеггер говорит о другом субъективизме. Он полагает, что у Декарта «мыслить» впервые по-настоящему становится единственным основанием «быть», его «субъектом» в старом смысле слова (подлежащим), а потому «забвение бытия» достигает в посткартезианской философии своего апогея. После Декарта всякое сущее, прежде чем стать подлинно сущим, должно пройти испытание сознанием, мыслью, быть ими «положенным». А это и ведет к тому, что бытие подменяется «поставом» — тем, что «поставило» в качестве сущего мышление (см., например: Хайдеггер М. *Время и бытие*. М., 1993. С. 41—62). Здесь не место говорить об этой концепции, напомним только, что сам же Хайдеггер предупреждал об иллюзорности слишком скорого «преодоления» Декарта и был, безусловно, прав: разве само это преодоление не мыслится как тот же самый выход на метапозицию по отношению к самому себе, позволяющий различить собственное прошлое — прошлое европейской мысли?

<sup>8</sup> «Человек вследствие бесконечной природы человеческого ума делает самого себя правилом Вселенной там, где ум теряет от незнания» (Вико Дж. *Основания новой науки об общей природе наций*. Л., 1940. С. 73).

## ПАМЯТЬ ВОЙНЫ

(ИЗ ПИСЕМ ЧИТАТЕЛЕЙ К ЮРИЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ БОНДАРЕВУ)

Среди современных писателей России, жизненная и творческая судьба которых оказалась крепко связана с Великой Отечественной войной, Бондарев занимает одно из самых видных мест. Он принадлежит к славному «огненному поколению» юношей 1941 года, которые прямо со школьных, студенческих скамей с готовностью и энтузиазмом отправились защищать Отечество от захватчиков и в большинстве, увы, погибли. «Наше поколение — наполовину вырубленная войной роща»,<sup>1</sup> — с болью скажет потом Сергей Наровчатов о себе и своих ровесниках, кому в начале войны было всего по 17—20 лет. И это будет еще не вся горькая правда. На самом деле с кровавых полей сраженья живыми вернутся только трое из каждой ста молодых новобранцев.

Между тем после Победы это трагическое поколение выдвинуло из своих малочисленных рядов целую плеяду замечательных писателей, которые «без шума, грома, без ужимок и бития себя в грудь кулаком упрямо прокладывали свой путь в литературу»,<sup>2</sup> чтобы со временем занять в ней ключевые позиции, стать ее гордостью и надеждой. Федор Абрамов, Анатолий Ананьев, Виктор Астафьев, Григорий Бакланов, Владимир Богомолов, Василь Быков, Константин Воробьев, Юрий Гончаров, Даниил Гранин, Вячеслав Кондратьев, Виктор Курочкин, Евгений Носов — вот имена лишь наиболее известных прозаиков, которые вместе с Бондаревым стали создавать художественную летопись исторических событий 1941—1945 годов.

Естественно, каждого из них ожидала своя литературная участь, равно как неодинаковы были их личности, характеры, таланты. Но примечательно, что всех фатально объединяла, роднила неотступная память войны, ее неизгладимый шрам в сознании, душе и сердце. По свидетельству Юлии Друниной, «катастрофический прыжок из беззаботного детства в гущу самой большой трагедии, какая только выпадала на долю человечества, — потрясение, которое невозможно забыть». И она не уставала повторять: «Да, война засела в нас, как осколок».<sup>3</sup>

Следует подчеркнуть, что в творчестве Бондарева мучительная эта память давала о себе знать, пожалуй, наиболее настойчиво и нетерпеливо. В то время как другие прозаики еще не писали о войне, словно страшась касаться ее, как незаживающей раны, он выступил с произведениями, которые были до краев наполнены фронтовыми впечатлениями (повести

<sup>1</sup> Литература великого подвига. М., 1970. С. 46.

<sup>2</sup> Астафьев В. Выступление на IV съезде писателей РСФСР // Четвертый съезд писателей РСФСР. Стенографический отчет. М., 1977. С. 280.

<sup>3</sup> Там же. С. 197.



«Батальоны просят огня», 1957; «Последние залпы», 1959; романы «Тишина», 1964; «Горячий снег», 1969). Тем самым было положено начало ныне знаменитой «военной прозе», которая вслед за повестью Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда» (1946) по-своему развивала традицию правдивого и человеческого изображения войны с Германией. «Все они, писатели-фронтовики, вышли из бондаревских „Батальонов“...»<sup>4</sup> — как общепризнанный факт широко цитируется теперь это известное признание Василя Быкова.

Главным импульсом творческого вдохновения Бондарева с самого начала явилось сознание нравственного долга перед всеми фронтовиками, жгучее желание поведать миру неподдельную правду о них, о живых и, в особенности, о погибших. Писатель вспоминал, что создавал свои первые «военные» вещи «в состоянии неустанной одержимости», с чувством, что таким образом он как бы возвращает к жизни людей, «о которых никто ничего не знает и которых знаю только я, и только я должен, обязан о них рассказать».<sup>5</sup>

Так под пером молодого прозаика словно бы ожила многоликая, величественная и страшная реальность войны, знакомая ему не понаслышке. Восстали из безвестности живые образы тех, кого он встречал на фронте, с кем «вместе шагал по дорогам сталинградских степей, Украины и Польши, толкал плечом орудия, вытаскивал их из осенней грязи, стрелял, стоял на прямой наводке, спал, как говорят солдаты, на одном котелке, ел пропахшие гарью и немецким толлом помидоры и делился последним табаком на закрутку в конце танковой атаки».<sup>6</sup>

Все высокое и низменное, доброе и жестокое, с чем столкнулся когда-то будущий литератор, что своими глазами увидел, пережил, почувствовал в смраде пожарищ, в грохоте артиллерийской стрельбы, в постоянном соседстве со смертью, — все это, похоже, навсегда поселилось на страницах его книг, то полновластно и целиком занимая там повествовательное пространство, то возникая эпизодически — в ассоциациях с мирной жизнью, в снах, воспоминаниях персонажей. И самым ценным явилось то, что несли эти книги в себе настоящую правду не только о батальной стороне фронтовой действительности, о ее смертном ужасе и тяжести окопного быта, но и, главное, о людях, чья духовная сущность непреклонно выявляется там, где «бытие становится лицом к лицу с небытием», а нравственная состоятельность проверяется «через испытание огнем». По существу такова была основная творческая задача, решение которой Бондарев считал первостепенным делом не только для себя, но и для всех, пишущих о военном лихолетье. «В событиях истории мы познаем человека, — почти декларативно заявлял он от имени «писателей-солдат». — Мы хотим знать правду о самих себе, мы хотим понять и осознать истоки своей духовной силы...»<sup>7</sup>

Гуманно одухотворенная правда о войне, ее героях, мучениках и жертвах надежно обеспечила Бондареву непререкаемость его высокого литературного авторитета. Даже пристрастные коллеги с глубоким уважением характеризовали его в начале 70-х годов как «прочно зарекомендовавшего себя одним из наших самых серьезных и талантливых писателей». Одновременно сформировалось и даже приобрело черты некой статичности

<sup>4</sup> Коробов В. И. Юрий Бондарев. М., 1984. С. 71.

<sup>5</sup> Бондарев Ю. Хранители ценностей. М., 1987. С. 4.

<sup>6</sup> Там же. С. 12.

<sup>7</sup> Там же. С. 44.

общее представление о нем как о художнике исключительно одной «военной темы». Высказывалась уверенность, что «Юрий Бондарев может написать множество произведений о различных областях человеческих отношений или не написать больше ни строчки, но он останется в литературе автором военной темы, летописцем и бытописателем самой большой и кровавой войны из всех, пережитых нашим народом. Таков уж его писательский удел и его литературная судьба».<sup>8</sup>

Между тем очень скоро мнение это потребовало существенного уточнения. Одно за другим начали публиковаться новые произведения Бондарева, написанные совсем в другом ключе, нежели все прежние. В них война больше не главенствовала в сюжетном действии, а почти на равных соседствовала с картинами мирной жизни. И обе эти громадные сферы общественного бытия взаимно и обогащали, и объясняли друг друга своими представлениями о человеке и жизни. Романы «Берег» (1975), «Выбор» (1980), «Игра» (1985), «Искушение» (1991), «Непротивление» (1994), книга лирических миниатюр «Мгновения» (1977—1987) во многом неожиданно раскрывали талант автора, обнаруживая его органическую расположенность не столько к бытописанию, сколько к постижению крупных нравственно-философских истин.

Тем не менее и здесь война не отпускала писателя от себя. Он оставался как бы добровольным заложником своей боевой юности. Его мысль постоянно питалась идущими оттуда живительными токами. Изображение войны, даже отступая с переднего края художественного текста, все равно оставалось его неотъемлемой частью, важным элементом общей концепции произведения и спасительной «антеевой землей» автора. Порой эта память реализовывалась не только в виде непосредственного рассказа о войне, но и с помощью той, донесенной художником до мирных дней атмосферы правды и справедливости, самоотверженности и бескорыстия, мужества и чести, патриотизма и жизнелюбия, какую он сполна почувствовал, познал в юности, находясь в среде, исповедующей неписанные законы фронтового братства.

Стоит напомнить, что вся эта сложная полифония бондаревской прозы далеко не всегда и не всеми понималась и по достоинству оценивалась. Писателя с давних пор и по настоящее время упрямо преследовала официальная критика, подвергавшая кощунственному сомнению то полноценность его «окопной правды», то правомерность мятущихся, страдающих, несчастных героев. Однако так называемый массовый читатель, т. е. фактически все те, для кого, собственно, и существует литература, в большинстве своем неизменно тянулись к произведениям Бондарева и горячо поддерживали их. На протяжении почти сорока лет его книги издавались огромными тиражами, но никогда не залеживались на магазинных прилавках, на библиотечных полках. Их читали, как говорится, нарасхват. По воспоминаниям очевидцев, о них говорили, спорили повсеместно — «в редакциях, библиотеках, за обеденным столом, среди профессионалов-литераторов и читателей».<sup>9</sup> И нетрудно заметить, что преимущественным вниманием пользовались как раз те из них, где остро ощущалось горячее дыхание минувшей войны. Пусть иногда оно было как бы подспудным, обнаруживалось в основном в форме нравственных уроков, вынесенных писателем из сурового прошлого.

Чем же, однако, смогла так сильно привлечь читателей кровоточащая проза Бондарева? Что задевала она в них и что давала им? На какие

<sup>8</sup> Поздравляем юбиляра // Лит. газ. 1974. 20 марта. С. 5.

<sup>9</sup> Кузнецов М. Исповедь поколения // Бондарев Ю. Собр. соч.: В 4 т. М., 1973. Т. 1. С. 7.

поступки и раздумья наталкивала? Чему она учила людей, нисколько не претендуя на дидактичность?

Для разгадки этой непростой тайны читательского признания уже немало сделано литературоведами, критиками, посвятившими специальные книги анализу художественных открытий Бондарева (Е. Горбунова, О. Михайлов, Н. Федь, В. Коробов), не говоря о множестве единичных статей, очерков, рецензий. Но существуют еще и такие специфические историко-литературные материалы, как письма читателей к писателю. Их роль в изучении бондаревского творчества трудно переоценить хотя бы потому, что писем этих великое множество и в массе своей они решительно расходятся с разного рода конъюнктурными или тенденциозными трактовками его содержания, направления и общественно-литературной ценности.

На протяжении целого ряда лет письма читателей шли и шли к Бондареву буквально со всех концов бывшего Советского Союза. Из столичных городов и затерянных в глуши деревенок, рабочих поселков, из дальних воинских гарнизонов и даже мест заключения. Ему писали отставные офицеры-фронтовики и юные суворовцы, школьные учителя и рабочие, собраты по перу и домохозяйки, библиотекари и профессора, маршалы и солдаты. Трудно перечесть всех, кто обращался к писателю, доверяя ему свои сокровенные мысли, ища у него совета в трудных обстоятельствах жизни и, в свою очередь, стараясь поддержать его своей благодарностью и любовью. Большое место занимали в этих письмах и вопросы, касавшиеся собственно литературы, а также, в особенности, творчества самого Бондарева и его публичных выступлений в печати, на радио, в телевизионных передачах.

Историки литературы уже обратили внимание на эти бесценные человеческие документы. Началась даже их успешная публикация, сопровождавшаяся советом без всякого высокомерия чутко прислушаться к этим живым голосам, без преувеличения, всей «читающей, чувствующей и мыслящей России».<sup>10</sup> Однако к настоящему времени обнародована лишь крайне незначительная часть читательских писем, почти наугад взятых из бондаревского домашнего архива. И все-таки даже они убедительно говорят о том, за что же, в самом деле, миллионы людей горячо приняли книги Бондарева и безоговорочно поверили писателю, каждому его слову, образу и герою. Из этих, иногда почти профессионально составленных, а чаще наивных, коряво написанных, но всегда искренних и в глубине своей мудрых посланий явственно следует, что для писавших их дорожке всего оказалась поведанная Бондаревым Правда. Причем не только о военном времени, но вообще о жизни, о человеке, о его взлетах и падениях, радостях и бедах. Видно, что корреспонденты искали и находили у писателя отклик собственным мыслям, а также ответы на вечно волнующие «русские вопросы» о правых и виноватых, о том, зачем и как стоит жить на свете. У его героев они учились беззаветной любви к своей многострадальной Родине, равно как и обыкновенной житейской порядочности. С их помощью приобщались к человечности, определяли для себя четкие критерии Добра и Зла.

К сожалению, большая часть читательской почты Бондарева остается пока в неизвестности. Она ждет своего часа, обещая углубить существующие представления как о самом писателе, так и обо всей послевоенной русской литературе, ее сложных отношениях с духовными запросами общества.

<sup>10</sup> Коробов В. И. Указ. соч. С. 348.

Ниже публикуются некоторые письма из собрания рукописей и документов, несколько лет назад переданных Бондаревым на хранение в Рукописный отдел Пушкинского Дома (Ф. 829). Их отбор определялся стремлением по возможности шире продемонстрировать разнообразие как самих авторов писем, так и затрагиваемых ими проблем. Вместе с тем хотелось более крупно представить одну, заглавную тему большинства писем — тему Великой Отечественной войны. Фактически с нею, с этой масштабной темой, связано согревающее письма чувство глубокой признательности писателю («от всех солдат», «от всех юных») за его литературный подвиг. За то, что «своим пером» он сделал «для памяти миллионов, которые легли за Родину, не думая о славе и наградах». За то, что сумел «рассказать правду о своем поколении» и показать человечеству «огромную войну, нагую во всем ее трагическом величии». Нельзя было, не нарушая общей картины, обойтись и без писем, в которых Бондарева «по-человечески» благодарили за постановку высоких нравственно-философских вопросов, побуждающих нас смотреть «на грешную землю из бездны космоса глазами Вселенной».

Все тексты, за исключением частных моментов, печатаются без сокращений и с сохранением стилистических, языковых особенностей.

## 1

Дорогой мой Юрий Васильевич!

Только что прочитал случайно встретившуюся мне книжечку Ваших рассказов под общим названием «Игра», вышедшую в библиотеке «Огонька» весной прошлого года.

Расшевелила-таки она меня, схватила за самые живые волокна, составляющие, наверное, ядро моей личности, суть меня.

...Что удивительно точно схвачено в Ваших рассказах и что, на мой взгляд, главное в них — это их предельно верное проникновение в сердцевину человеческой природы, в потаенные уголки человеческой души...

Самые основные, важнейшие качества формирующихся сейчас молодых людей — это человечность, чуткость, гражданственность. Своими произведениями Вы эти качества воспитываете. Уверяю Вас, что как художник Вы на правильном пути. Рассказы Ваши берут за живое, заставляют задумываться... заставляют людей видеть мир в красках, образах, становиться чутче, добрее, лучше. Здесь, в армии, я это очень четко вижу. Они (рассказы) понятны для многих, но от этого не теряют своей глубины. В этом их секрет и невыразимая прелесть.

Вы далеко не равнодушны к народу нашему, к судьбе России. Это я чувствую в Ваших произведениях и за это огромное Вам спасибо... Вы нужны людям, Юрий Васильевич. Ваши маленькие рассказы делают большое, полезное дело. И мы вправе ожидать от Вас новых произведений.

С уважением  
рядовой Г. Попов.

{086860, В/ч, п. п. 86860 «Ф», 1973 г.}

## 2

Дорогой Юрий Васильевич!

...Все это время читал и перечитывал «Батальоны просят огня». Хотелось написать об этой книге статью, но статья не получилась — по объему она угрожает стать больше Вашей повести. Так невероятно глубоко и масштабно Вы открыли нас для наших потомков. Меня поразила философичность повести. Вы смогли заглянуть в существо таких головокружительных глубин, которые другие боязливо обходят, боясь утонуть в них.

Я отложил этот свой труд, тем более что Вы в нем не нуждаетесь. Ваша слава пустила такие глубокие корни в народе, что Вы сейчас стоите вне похвалы и вне хулы, вне времени и вне государства. Вы теперь вслед за Пушкиным можете легко произнести: «Хвалу и клевету приемли равнодушно...»

Я искренне радуюсь Вашему взлету потому, что вижу за ним большой и честный труд, скромность и мужество. В наше время такой благородный путь, к сожалению, не всегда ведет к успеху. Помогай Вам Бог!..

Обнимаю Вас, целую —  
преданный Вам (хочу быть приданным) —

Федоров Иван Филиппович.

⟨Ростовская обл., хутор Веселый, 1973 г.⟩

## 3

Уважаемый Юрий Васильевич!

От имени всего личного состава Минского Суворовского военного училища я приветствую и поздравляю Вас с праздником весны — Днем 1 Мая. Я поздравляю Вас и с Днем Победы — праздником победы советского народа в Великой Отечественной войне. Я поздравляю Вас как человека, писателя и воина, внесшего свой вклад в дело освобождения нашей Родины и народов Европы от коричневой чумы!

Шлю Вам пожелание дальнейших успехов в Вашей благородной деятельности.

С уважением суворовец 1 роты 4 взвода Минского СВУ

Ключук Владимир.

⟨г. Минск, 1973 г.⟩

## 4

За нашу Советскую Родину!

Уважаемый Юрий Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас, заслуженного артиллериста, с 56 годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции и Днем ракетных войск и артиллерии.

Пользуясь случаем, еще раз выражаю искреннюю признательность за Ваш замечательный роман «Горячий снег» и активное участие в создании одноименного фильма, так убедительно и правдиво показывающих одну из героических страниц Великой Отечественной войны и славные подвиги советских артиллеристов.

Роман и фильм «Горячий снег», получив всеобщее признание, поистине являются настоящей школой мужества и важным средством воспитания нашей молодежи в духе советского патриотизма и самоотверженного исполнения воинского и гражданского долга.

Желаю Вам, Юрий Васильевич, крепкого здоровья, большого счастья и новых творческих успехов на благо нашей Великой Родины и ее Вооруженных Сил.

Маршал артиллерии  
Передельский Г. Е.

5 ноября 1973 г.

5

«Возвращаю в жизнь тех, о которых никто ничего не знает и о которых знаю только я, и только я должен, обязан о них рассказать». Как это человечно и как это отлично, и весь в этом порыве, Вы поистине достойный наш современник!

Спасибо Вам за незабываемые строки о жизни, о том, что мы называем правдой, долгом, достоинством и честью...

Всего Вам хорошего, дорогой Юрий Васильевич!

Т. Огнева.  
Сотрудник библиотеки.

⟨Москва, 1974 г.⟩

6

Здравствуйте, дорогой Юрий Васильевич. Обращается к Вам совсем незнакомый Вам человек, житель г. Ростова н/Дону, профессия моя стюард, 1931 года рождения. Во-первых, извините меня за беспокойство, за то, что отрываю Вас своим письмом от полезного Вашего труда. Убедительно Вас прошу, не обижайтесь на меня, если мое письмо отнимет у Вас минут пять личного времени. Если бы Вы знали, как я горю желанием написать Вам письмо после прочитанных двух Ваших томов: «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Тишина». Прочитал их еще летом, и до сих пор хожу под впечатлением, до чего умно и справедливо написано. Много я читал военных книг, мемуаров. Конечно, кроме знаменитых полководцев, таких, как Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, в остальных чувствуется много фантазии, приукрашки. Читаешь такую книгу, и моментально следом за чтением выветривается все из головы, а самого автора этих книг представляешь далеким от этих событий, которые он описывает. В Ваших книгах все наоборот, запомнил я их прекрасно и полюбил вместе с их автором на всю жизнь. В Ваших книгах, Юрий Васильевич, ощущается, что сам автор пережил, перестрадал то, о чем он пишет. Дорогой Юрий Васильевич, сам я книголюб, имею небольшую свою библиотеку, книгу люблю очень сильно, особенно если она интересная и чтобы в ней было меньше фантазии, люблю все настоящее, фальши не терплю, отчего, по-видимому, и не везет мне в жизни. Читаю много, хотя образование мое маленькое, всего 4 класса.

Дорогой Юрий Васильевич, еще раз большое-пребольшое рабочее спасибо за Ваши книги, так умно и смело написаны они. Особенно меня потрясла Ваша «Тишина», как Вы смело ее описали. Если бы она вышла

в свет сразу после войны, то, я думаю, Вам бы пришлось плохо, а ведь в ней описано так правдиво, а сколько и сейчас живут среди нас Быковых и Уваровых, а ведь они нам портят жизнь. И как портят, подрывают авторитет государства. Боритесь с ними, смелей разоблачайте их, польза будет большая нашей прекрасной Родине. На этом я заканчиваю писать мое письмо, еще раз приношу свою благодарность за Ваши труды, Юрий Васильевич, а еще мое огромное пожелание дождаться ту молодую и очень молодую книгу, которую Вы собираетесь написать. Я могу с гарантией сказать, что она у Вас получится очень интересной. Желаю Вам здоровья и долгих лет жизни на благо нашей Родины. Передаю привет Вашей семье. С уважением к Вам

Снежко Иван Минович.

(г. Ростов-Дон, 1974 г.)

7

Дорогой Юрий Васильевич!

...Я люблю Вас по-мужски, по-фронтовому, по-писательски наконец. Я открыл Вас с «Последних залпов» и потом стал разыскивать все, что написано Вами, ибо я обнаружил созвучие душ, одинаковость биографий, хотя я и моложе Вас на два года, но тоже в 17 лет ушел добровольцем... Наше поколение выполнило свой воинский и гражданский долг и может честно смотреть в глаза своему потомству, да не только потомству, а и всему человечеству...

Низко кланяюсь Вам, по-русски, и желаю счастья, книг и здоровья! Пожалуй, уже пришло время, когда в первую очередь надо желать нашему поколению здоровья.

Ваш А. Соболев.

(Дубулты, 1974 г.)

8

Добрый день, Юрий Васильевич!

Ваш четырехтомник провел меня снова дорогами войны. Надо же так точно запечатлеть все: и геройство, и патриотизм, и ужас, и нежнейшие ростки любви (ведь молодые же были!). Но любовь описываете чистую, как слеза...

Спасибо за «кузнечика». Не будь его в сердце девушки, ей невыносимы были бы все тяготы солдатской службы, по праву считающейся мужской.

Несовершеннолетней ушла на фронт и я, вслед за двумя братьями и отцом. Бои, ранения, утопание в болотах — все было. А впереди — огонек. Где-то тоже воет любимый. Но не «кузнечиком», а «дюймовочкой» называла его я. И грезы между боями, и боязнь встреч.

И тоже — тяжелое ранение, и тоже — в живот. Но врачи спасли. А «дюймовочку» увидела только через 30 лет. Было время, что погиб он. Но звездочкой светил мне всю жизнь.

Еще раз спасибо за «кузнечика» и за все строки четырехтомника, читаю, перечитываю. И вижу в каждом бою себя...

Спасибо. С глубоким уважением

Вера Рыженко.

(г. Харьков, 1974 г.)

## 9

Уважаемый Юрий Васильевич,

спасибо Вам за талант. Только что дочитала «Горячий снег», последнюю главу не могла читать без слез, хотя особой плаксивостью не отличаюсь. Все, что Вы так зримо описали, я слышала от отца, участника боев под Сталинградом. Отец мой, Захаров Степан Иванович, был солдатом, ездовым; он пережил весь этот ужас и ад, под Калачом попал в окружение, был в лагере, бежал, скитался три месяца по оккупированным станицам Дона, испил полную чашу, пока дождался освобождения... Что пришлось пережить таким, как он, там, под Сталинградом, и как мало вернулось домой! Спасибо Вам, читая книгу Вашу, веришь, что так оно и было...

Знаю, что ему тяжело такие книги читать, но хочется, чтоб отец увидел — то, что наши люди пережили под Сталинградом, нашло, наконец, правдивое отражение в литературе. Это долг перед ними, пока они еще живы.

Желаю Вам, уважаемый Юрий Васильевич, здоровья, успехов и счастья. Извините, что отняла у Вас время, это мое первое письмо писателю, едва ли когда-либо и кому-либо напишу. Ваша книга задела душу, вот и не удержалась.

С уважением.

Панова Тамара Степановна,  
преподаватель Челябинского пединститута.

(г. Пятигорск, 1974 г.)

## 10

Уважаемый Юрий Бондарев!

Я не знаю Вашего отчества и прошу извинить такое обращение.

Вчера вечером по телевидению мы видели Вас. Поздравляю Вас с награждением орденом Трудового Красного Знамени и желаю всего самого доброго на всех фронтах: здоровья, личном и трудовом — литературном.

Большое спасибо Вам за действительно художественные произведения о войне.

Прочитав «Горячий снег», я почувствовала всю войну как тяжелый, самоотверженный, мужественный, полный лишений труд, а все герои — теперь мне так знакомы, как близкие, родные, как мои товарищи по работе.

Коль уж взялась писать Вам, то скажу о том, как читается «Горячий снег». Он читается и легко и трудно. Легко потому, что живешь в действии. Особенно при бомбежке эшелона, при танковой атаке, во время всех действий. Но и трудно. Устаешь, потому что сам участвуешь в этих событиях, переживаешь и устаешь вместе с Вашими героями. Для того, чтобы можно было дальше воспринимать, чтобы не обесцвечивалось все, приходится прерывать чтение.

А ведь всерьез Л. Толстого тоже нельзя читать много сразу.

Прошу прощения за высказывание своих, далско не общих мнений.

Еще раз желаю Вам всего самого доброго.

Иванова Анна Николаевна.

(г. Грозный, 1974 г.)



## 11

Здравствуйтесь, уважаемый Юрий Васильевич!

Пишут Вам ребята с Украины. Мы — члены клуба «Слава отцов — крылья сыновей» средней школы № 4 города Червонограда.

Может, Вы и не слышали никогда о таком городе, но он есть. Правда, ему всего чуть больше тридцати. Но за такое короткое для города время в нем уже выросло тринадцать шахт. На карте СССР он пока что не значится, но сердце его бьется в унисон с Москвой. Мы, жители Червонограда, как и все мирные труженики страны, трудимся на ее благо. Но нам не забыть тех, кто в смертельной схватке с фашизмом погиб за мирное небо, и тех, кто выжил. От имени всех юных мы говорим Вам: спасибо за «Горячий снег».

От имени всех членов нашего клуба я прошу Вас написать нам о своем жизненном пути. Рассказать обо всем, что задевает военное время в Вашей жизни, просим особенно подробно. Если у Вас нет времени на подробности, то напишите вкратце. Но просим, чтобы Вы обязательно написали.

До свидания, уважаемый Юрий Васильевич.

От имени ребят писала председатель клуба Галя Важелюк.

(Украина, Львовская обл., г. Червоноград, 1974 г.)

## 12

Здравствуйтесь, уважаемый Юрий Васильевич!

В течение последних десяти лет (с 1965 по 1974 г.), когда Ваши произведения были экранизированы и напечатаны массовым тиражом, я, как и все советские люди, с ними познакомился и с большим интересом читал, смотрел в кино.

Я с 1927 г. рождения, войну застал в периоде окончания — январь-май 1945 г. — и не могу судить о ней в полной мере, как ветераны этой войны. Но так, как Вы описали артиллеристов (т. е. простых советских людей, юношей 1923 — 25 годов рождения), — это просто подвиг писателя. Я сам в армии служил немного в артиллерии, а затем в танковых войсках.

Описать войну «из окопа», а не сидя в тиши кабинета, это, конечно, смог только человек, прошедший через все сам. И поэтому, как читатель, я говорю Вам: «От всех солдат большое спасибо за правду о войне, о наших людях, о том, что они вынесли на своих плечах в 18 — 20 лет». ...В этом году Вам исполняется (или уже исполнилось) 50 лет. Горячо поздравляю Вас с юбилеем, желаю здоровья и дальнейших творческих успехов!

Народ ждет от Вас новых произведений о подвиге своем в 1941 — 45 гг. На Ваших произведениях мы воспитываем наших детей в духе патриотизма и отношения к Родине, как у Ваших героев.

Я живу в г. Высоковск, Московской области... работаю на одном из заводов.

Извините за беспокойство! Просто захотелось по-человечески поблагодарить Вас за то, что своим пером Вы сделали для памяти миллионов, которые легли за Родину, не думая о славе и наградах...

С приветом!

Один из Ваших читателей В. Грибов.

(Московская обл., г. Высоковск, 1974 г.)

## 13

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич!

Мне пришлось прочесть Ваши произведения в таком порядке: «Тишина» (две части), «Юность командиров», «Горячий снег» и лишь на днях удалось прочитать в собрании сочинений «Батальоны просят огня», «Последние залпы», которые так хотел достать раньше, «Родственники», рассказы в «Литературной газете» — «Первое утро»... Стоит ли писать Вам, насколько нравятся мне, как, разумеется, и моим сверстникам рождения 1920 года, уцелевшим в этой «знаменитой» войне, Ваши работы?..

Четко помню в Великую Отечественную войну свою некоторую неудовлетворенность военной прозой тех лет, хотя она создавалась очень крупными писателями, но чаще всего средних или преклонных лет. Проза о Великой Отечественной войне военных лет была, к сожалению, зачастую какой-то суховатой, мало живой и несколько нарочитой. Стихи того времени гораздо больше, чем проза, нравились в действующей армии молодым солдатам и офицерам. Я счастлив, что дожил до наших дней, когда могу читать о Великой Отечественной войне правдивые полотно. Большое Вам спасибо за это от лица тех, кто их уже не сможет прочесть. Мы и они были в военное время молодыми людьми, которым ничто человеческое не было чуждо. Мы и они не были фанатиками и аскетами. Мы и они часто ошибались, но любовь к Родине, отчому дому, товарищам-фронтовикам делала нас сильнее.

Правдолюбие было и остается несокрушимой силой нашего поколения. Вы и другие писатели-фронтовики сумели показать это в полной мере...

С уважением

гвардии старший лейтенант медицинской службы  
Евсеев Евгений Петрович.

⟨г. Ставрополь, 1974 г.⟩

## 14

Дорогая редакция!

Прочитала книгу Юрия Васильевича Бондарева «Горячий снег». Была просто потрясена изображением событий под Сталинградом. Много писать не буду, но я нашла в этой книге очень много интересного для себя. Здесь столько неповторимых деталей, про которые я, по-моему, читаю впервые и которые очень трудно забыть. Вскоре книгу прочитал весь наш класс. Мы долго находились под впечатлением ее, обсуждали, вели беседы.

Огромное спасибо вам, автору!

Ученица 10 класса Ильинской средней школы Тамбовской области  
Мишустина Таня.

⟨Тамбовская обл., пос. Ильинский, 1974 г.⟩

## 15

Дорогой Юрий Васильевич!

На пороге Праздника Победы примите поклон от человека, глубоко Вас уважающего за мужество в войне и после войны.

Василий Песков.

⟨г. Москва, 1975 г.⟩

## 16

Дорогая редакция!

Не знаю адреса автора романа «Берег», напечатанного в Вашем журнале, и пишу Вам в надежде, что ему будет передано это письмо.

Спасибо Юрию Бондареву и всем, давшим право на жизнь этой вещи! Потрясена силой слова, страстностью, глубиной и правдой (не полуправдой) романа.

Как чудесно, что наша литература может дать слово такому таланту! (Пусть хоть наряду с кучей подражателей, не знавших войны и затоптавших тему.) И ведь здесь не только война, но и мир. Причем совершенно уверена, что только такая правдивая, пусть трагическая исповедь может принести истинную пользу людям во имя мира, любви, во имя жизни.

Верю в то, что мнение это разделяют все, кто читал этот роман. Мой муж, бывший артиллерист, и я, по воле судеб выжившая в оккупации, читали и находили в романе себя и своих друзей, и своих врагов, читали, не переводя дыхания и поражаясь таланту Ю. Бондарева, о котором мы мало знали до сих пор...

Еще раз спасибо!

М.

⟨1975 г.⟩

## 17

Юрий Бондарев!

Поздравляю Вас с Новым годом. Желаю творческих успехов и большого личного счастья!

Я прочла Ваш роман «Горячий снег». Написано очень сильно. Вы не только прекрасно раскрыли психологию героев, но и воспроизвели картину боев, дали представление о Сталинградском фронте.

Выведенные Вами герои — живые люди.

Каждая страничка Вашего романа так насыщена и психологией, и описанием, что хочется читать еще, еще раз..

Да, когда читаешь Ваш роман, то понимаешь, почему мы победили. Железная дисциплина, приказы стоять насмерть, но в то же время — беззаветная преданность Родине, нечеловеческое напряжение...

Пишу Вам подробно, так как иначе не могу выразить свое восхищение. Я знаю, как дорого писателю знать мнение не только литератора или критика, но и простого читателя. Я принадлежу к старшему поколению, но уверена, что и молодые оценили это блестящее произведение.

Вы талантливы. Русское спасибо! Цандекова А. П.

⟨Львовская обл., пос. Куликов, 1976 г.⟩

## 18

Глубокоуважаемый Юрий Васильевич! Полюбившийся писатель!

К Вам просьба — веление сердца и жажда разума! Взгляните, пожалуйста, на эти документы о розыске брата, на его фотографию... А вдруг! Бывают же чудеса! Или — один шанс из миллиона! Может быть, окажется, что Вы встречались на фронтовых дорожках с этим замечательным

парнем?! Конечно, за четыре долгих года войны перед Вашими глазами и памятью прошли и мелькнули многоликовые вереницы живых, убитых, изуродованных...

В послевоенные годы по розыску стало ясно, что брат пропал «без вести». Отец получил лишь одно письмо с фронта. При случае расспрашивала компетентных фронтовиков — какая участь могла быть у воздушно-десантной бригады. И сводилось в основном к тому, что в первый год войны из-за внезапности нападения в хаосе кромсал всех беспощадный, смертный жернов войны. Уже в воздухе могли расстрелять десант так, что никогда не сыскать то место, где посадить калину красную юному командиру.

Всюду, всюду была смерть страшная. Но разве можно согласиться с подлой grimасой жизни — с тем, что из военных училищ едва возмужавшие птенчики, честно мыслящие, с внушенным фанатично долгом, гибли не за Родину, а в амбразурах нерадивости допустивших располх. Эти мальчишки, еще только страстно мечтавшие о заветной жизни, о пока заветных дверях, не догадывались даже, не знали, что их могут так предательски бросить на «пушечное мясо», чтобы исправить чью-то неосмотрительность, граничащую с разгильдяйством. Для такого факта не нужно, просто бессмысленно было учиться несколько лет военному делу...

Простите за примитивность, быть может, суждений...

Дорогой, чтимый Юрий Васильевич! Я не тороплю Вас с ответом и не обязываю им. Справки же и фотографию брата, пожалуй, не возвращайте мне, искать Юрочку больше негде. Жизнь моя на склоне — 57 лет, а с этой фотокарточки курсанта есть портрет в красках, на который часто люблюсь со слезами, до чего же хорош мой родной брат!

Я не знаю другого адреса. Если бы Вы назвали номер почтового отделения хотя бы до востребования и разрешили мне писать еще о брате, о страшной смерти отца, о многом сокровенном, то дар этот неоценим, ибо в скорбной пустыне, где все в болевом трауре, как живительное прикосновение ритуальной радости от Ваших живых глаз, живых рук.

Позвольте поздравить Вас с праздником весны, которая извечно обновляет землю! Пусть небо с теплыми лучами коснется слуха гимном бытия!  
С уважением

М. С. <Нещеретова>

<Ленинград, 1976 г.>

## 19

Уважаемый Юрий Васильевич!

Великое счастье, что Вы — живой! Наверное, кто-то каждый день молился о Вас! Диво-дивное!

Дорогой Юрий Васильевич! Примите, очень прошу, этот теплый дар от сестры погибшего, в память война-брата. И надевайте, пожалуйста! Все сестры погибших хотят, чтобы Вам никогда не было холодно, ни внешне, ни внутренне! Вы не оставили наших братьев безвестными в страшной правде войны! Вы пронесли и донесли на своих окровавленных плечах до мирных дней гигантскую ношу — всю огромную войну, нагую во всем ее трагическом величии, чтобы знали надолго, какой ценой досталась Победа. И поняли бы многое, многое...

Написала Л. И. Брежневу письмо. На конверте оговорка: «Прочтите в час многогранных размышлений». Рассказала кратко о том, что книг о

войне написано много, и хороших. Но книги-повести Ю. В. Бондарева — это волшебный, уникальный калейдоскоп. Читая эти замечательные книги, ощущаешь действия так остро, что волнуешься, как будто сам участвуешь в напряженных военных ситуациях. Юрий Васильевич как автор внушает безоговорочное доверие и как-то незримо, но прочно закладывает фундамент понятия долга и другие понятия высшего порядка. В этих книгах, удивляющих правдой, решаются серьезные проблемы, имеющие отношение к смыслу человеческой жизни и в мирных, будничных днях. Такому писателю надо при жизни поставить благодарственный постамент, так как посмертный памятник не согреет его сердце.

Всего хорошего, Юрий Васильевич. Благополучия семье!

С уважением

М. С. <Нещеретова>

<Ленинград, 1976 г.>

## 20

Дорогой Юрий Васильевич!

Сердечное Вам спасибо за отличную книгу! Читаю, волнуясь, плачу, горжусь!

### УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА!

«Горячий снег» — ярчайшее, потрясающее, лучшее произведение об Отечественной войне!

Это — настоящая классика нашего времени!

Искренне желаю Вам здоровья, радости, новых творческих успехов!

Крепко жму Вашу руку.

Иван Корнеев.

<Рязанская обл., дер. Инкино, 1976 г.>

## 21

Здравствуйтесь, Юрий Васильевич!

Ваш роман «Берег» мне удалось прочитать, к сожалению, лишь сейчас. Я бы хотела, пусть даже с таким опозданием, поблагодарить Вас за эту книгу.

Меня зовут Гуля, учусь на третьем курсе медицинского института, мне 19 лет.

Наверно, это слишком ответственное заявление, но мне кажется, что «Берег» я читала с неменьшим вниманием, волнением, интересом, чем люди, оценивающие пройденный путь с высоты своих немолодых лет. Роман дорог мне тем, что рассказывает о жизни старшего поколения, повторить которую не может никогда и никто. Я, например, знаю, что не смогу воспринять победу так, как ощутили, восприняли ее солдаты, четыре года державшие в руках оружие, и многое еще мне не удастся ни почувствовать, ни понять так, как понимаете это вы, испытавшие все сами.

Я благодарна Вам за то, что Вы рассказали о своем поколении, о Вашем понимании всего пережитого.

И еще для меня очень важно было понять, что вопросы о смысле, о сущности человеческой жизни волнуют человека все время, до самых последних мгновений...

Еще раз большое спасибо за роман, постараюсь прочитать все, что Вы написали, и буду ждать новых Ваших книг.

С уважением

Усманова Гульнара.

(г. Уфа, 1977 г.)

## 22

Не знаю, куда написать автору книги «Мгновения». Вынужден написать письмо в ваше издательство с надеждой, что оно будет переслано автору.

Юрий Васильевич!

Взбудоражен. В художественной книге раньше не встречал подобного. А между тем какая жажда говорить, читать, спорить, слышать в тех руслах, по которым Вы осмелились провести читателя.

Сборник эскизов вырывает нас из земного и приглашает взглянуть на грешную землю из бездны космоса глазами Вселенной, предлагая чаще сверять земную суету с единственно бесценным компасом Вселенной — сохранением человечества...

Наверно, только такой меркой может оценивать свою жизнь каждый человек планеты — что он сделал для сохранения чуда Вселенной.

Большое спасибо за сборник!

С уважением

Глобин В. В.

(Башкирия, г. Стерлитамак, 1978 г.)

## 23

Уважаемый Юрий Васильевич!

Как фронтовик, решил написать Вам коротенькое письмо, потому что Ваше творчество связано с войной. Она уже закончилась 34 года назад, а Вы пишете о ней, и так психологически сильно, что душу захватывает. Порой откладываешь книгу в сторону, чтобы перевести дыхание. Здорово всколыхнули мое сердце «Тишина», «Горячий снег» и «Берег», где через призму мирных дней гул войны бередит душу, тревожит старые раны.

Юрий Васильевич, спасибо читательское Вам за суровую правду войны... Вы, как я узнал из «Литературной России», не прощаетесь с войной. Кто, как не Вы, писатель-фронтовик, должен говорить так о войне, как он ее пережил, перечувствовал своим сердцем...

Коротко о себе. Ветеран войны, бывший общевойсковой разведчик, подполковник в запасе. Участник боев на Курской дуге.

Желаю Вам хорошего здоровья, добрых творческих успехов.

Крепко жму руку

Пинчук Василий Иванович.

(г. Иваново, 1979 г.)

## 24

Уважаемый Юрий Васильевич!

С большим трудом мне удалось достать на время Вашу книгу «Горячий снег». И если я раньше читал художественную литературу, то не больше 2—3-х часов непрерывно. А вот от книги «Горячий снег» я не мог оторваться... Вы, наверное, и не думали, когда писали о бессмертном подвиге солдат и командиров во время Отечественной войны, что Ваша книга «Горячий снег» является продолжением боя, но в мирных условиях — что Вы также вошли в бессмертие. Ваша книга будет жить в веках, и каждое новое поколение будет Вам благодарно за титанический труд. Такую книгу мог написать только настоящий художник, солдат, перенесший все тяготы войны, человек с большой буквы... Она воспитывает молодежь в духе патриотизма, в любви к Родине, в умении ценить человека. В этом ее сила. И когда меня спросил внук — скажи, дедушка, кто правдивей пишет: Бондарев или Шолохов, я ответил, что они оба правдиво пишут... Оба большие мастера слова...

С уважением  
кавалер ордена Боевой славы  
Прунес Ефим Матвеевич.

⟨г. Москва, 1979 г.⟩

## 25

Дорогой Юрий Васильевич!

Страшно и трудно писать Вам письмо. Но все же я решилась на это. Я работаю в школе, преподаю английский язык. Страстно люблю музыку, поэзию, литературу. Это моя жизнь. Мне 43 года. Войну я знаю не по фильмам и книгам, память отчетливо сохранила многое из того страшного времени. Глухое, далекое, родное «ура» услышали мы, спавшие в колхозной конюшне, ранним утром. Это «ура» означало, что освобожден родной Днепропетровск и можно возвращаться домой. Дорога степная, по которой идем домой, тянется вдоль железнодорожной линии — на каждом шагу убитые солдаты. Ночуем в какой-то хате вместе с ранеными, со всех сторон несутся жалобные стоны, которые до сих пор не могу забыть. Все это было, было, было.

Пишу Вам потому, что недавно прочитала «Выбор». Он меня потряс. Сразу же перечитала «Берег». Вспомнила, как со своими десятиклассниками когда-то смотрела фильм «Горячий снег». Кажется, о войне уже столько написано, столько показано, что уже не может быть никаких потрясений. Оказывается, есть. И за это потрясение я Вам благодарна... Своими книгами Вы будите в нас прошлое, тоску по тому, что нельзя повторить и забыть.

Извините за то, что осмелилась написать Вам. Спасибо за радость, которую дарите своими произведениями.

Крепкого здоровья Вам, счастливый человек!

С уважением

Ващенко Клавдия Ивановна.

⟨г. Днепропетровск, 1981 г.⟩

## 26

С необычайным волнением я слушала Вас, каждое Ваше слово. С таким волнением я слушаю всегда Бетховена.

Час, проведенный с Вами, — огромная радость. Кажется, что Вы разговариваете лично со мной, и думаю, что такое же чувство было у каждого, кто слушал Вас 5 мая.

Ваши выступления не поучения — это Ваши мысли, Ваши понятия добра и нравственности. Ваше мировоззрение. Никаких сентенций и цитат, навязываемых повседневно.

Как много мыслей, чувств, воспоминаний вызвало Ваше выступление. Слушая, читая Вас, люди должны становиться лучше.

Хорошо, что в композицию Вашего выступления вошли новеллы «Мгновения», и одна из моих любимых — «Звезда и Земля».

Я долго еще сидела в кресле перед выключенным телевизором и думала обо всем, что Вы сказали.

Встреча с таким Человеком, как Вы, возвышает, и начинаешь верить в бессмертие души, в невозможность ее полного исчезновения.

Спасибо, Юрий Васильевич, за все, что Вы отдаете людям.

В. Простосердова.

⟨Москва, 1981 г.⟩

## 27

Здравствуйте, т. Бондарев!

Сперва по сибирскому закону поздравляю Вас с Первомаем.

Читал, читаю. Я столяр Первомайского совхоза Кемеровской области, с. Кайла, Чайка Виктор. Старею я и все-таки к Вам насмелился написать. Пишите больше о том, что грозит русскому народу, пишите, чтоб икалось день и ночь тем, кто на нас ножи точит.

Мы, старики, отдадим сынов, внуков и сами возьмем в руки хоть лом во имя защиты Отечества.

Ваше оружие — перо.

С уважением

В. Чайка.

⟨Кемеровская обл., с. Кайла, 1981 г.⟩

## 28

Многоуважаемый Юрий Васильевич!

Прочитал я Ваш «Берег» и «Выбор» и был очень и очень взволнован. Местами глубоко брало за сердце, как свое близкое, глубоко воспринималась судьба героев, их переживания, жизнь в прошлом и в настоящем. Обстоятельства, долг, честь вынуждают иногда человека жить не только так, как ему хотелось, но и так, как говорили когда-то, подсказывает ему его судьба. Как дорога жизнь, она единая, неповторимая, и ее вторично не проживешь. Ошибка, допущенная однажды, потом уже может, как рок и молох, диктовать свои условия... Спасибо Вам большое, дорогой, за Ваши ум, честь и честность, за глубину проникновения в судьбы людские, в их чувства и переживания. Велико и мужество людское, самозабвенность, рыцарство, чувство чести и долга, душевной чистоты и благородства. Велика их сила, дух и деяния на земле. Прелестны у Вас и женские



образы, их красота и обаяние — пример для подражания. Их невозможно не любить. Они мадонны. Пусть люди будут такие, как на Ваших страницах. Вы достойны уважения. За все за это и за многое другое я глубоко уважаю Вас, дорогой Юрий Васильевич. Как говорят, дай Бог Вам здоровья, силы, творческого огня, проникновения для последующего творчества, так нужного нам, живущим на земле.

Еще и еще раз спасибо Вам за труд, талант и ум! Одновременно хочу поздравить Вас с большими праздниками Первого Мая и днем Всемирной Победы в долгой битве. Пусть будет у Вас светло, тепло и ярко на душе! Пусть будет Мир на Земле!

С большим уважением к Вам  
подполковник медицинской службы в отставке  
Хорощев Василий Дмитриевич.

⟨г. Ставрополь, 1981 г.⟩

## 29

Москва, Малый Путниковский пер., д. 1/2,  
редакции «Нового мира»

Дорогая редакция,

благодарен Вам за публикацию романа Ю. Бондарева «Игра». Роман, прочитанный с огромным чувством признательности автору, потряс содержанием, восхитил совершеннейшим мастерством. Отодвигая на время разговор о концепции, масштабности трагических коллизий, отраженных с такой силой, хочу высказать свое восхищение столь любимой мною «бондаревской прозой». Особенности ее сложились как-то в последних романах и совершенно удивительных «Мгновениях». Это психологически тончайшая метафоричность, вбирающая весь видимый мир, все прелестные его оттенки; внутренняя неразрывная связь живой природы и «живой души» людей; чистота, многообразие языка; да и многое, многое другое.

Известно, что язык великих писателей завораживает... Нечто завораживающее испытываешь и читая Бондарева. В этом плане его не спутаешь ни с кем. В новом романе языковое мастерство, по-моему, стало еще более изощренным. Не нужно примеров, достаточно открыть любую страницу.

А содержание романа исповедальное, проникнуто горечью из-за несовершенства людей (Новый человек? Где он?), искренней тревогой — куда мы идем? Цивилизация Запада портит людей... Но, увы, и у нас еще много такого, что требует нравственного «выпрямления»...

Туго, трагично завязаны все проблемы. Роман заставляет думать, переоценивать, «смотреть» и вперед, и назад...

И еще одно, чтоб не очень уж расписываться. Бондарев с особым искусством создает образы женщин — таких загадочных, притягательных, великолепных...

О духовных исканиях Крымова трудно говорить. Надо читать и чувствовать большое его качество — его совесть, его высоту требований к себе, людям.

Сейчас главная беда — многие (очень!) перестали применять мерку «самокритики». Кто ты есть, что ты значишь? Непомерное притязание плохо.

Спасибо еще раз! Искренне благодарен

Четвертаков Л. В., полковник запаса.

⟨г. Горький, 1985⟩

## НАРОД НА ВОЙНЕ

(ВЗГЛЯД В. АСТАФЬЕВА ИЗ СЕРЕДИНЫ 90-х. РОМАН «ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»)

Именно сейчас, в год 50-летнего юбилея великой победы над фашизмом, мы со всей очевидностью понимаем, что война не окончилась 9 мая 1945 года. И не только потому, что еще не захоронены останки солдат, погибших на родных просторах, не установлены судьбы пропавших без вести, не воссоединены семьи, разрушенные войной, не приведена к обычной норме жизнь фронтовиков...

Война остается до сих пор болевой точкой в исторических, политических и философских размышлениях о судьбе советской России. Она снова и снова будоражит сознание современников, заставляя обращаться к своему горькому и кровавому опыту, чтобы мы могли ответить на простые вопросы с позиции нового исторического знания: кто развязал эту дикую бойню, кто виноват в неудаче первых лет войны, какой ценой мы победили... И ответы на эти вопросы диаметрально противоположны в зависимости от политических взглядов участников дискуссии, объединяющих в своих рядах российских и зарубежных историков, политиков, журналистов, фронтовиков и, разумеется, писателей.

Война является козырной картой в споре более или менее явных приверженцев социалистической идеи и антикоммунистов разного ранга. Поэтому отстаиваемая концепция Великой Отечественной войны, имеющая своей целью объективный поиск истины о военном времени, выходит за рамки собственно военных событий, ввергая в сферу своего анализа целый массив исторического материала, касающегося внешней политики советского правительства, коллективизации, индустриализации, личности Сталина, Жукова, других военачальников.

Если попытаться схематично очертить крайние позиции в этой еще сдерживаемой рамками победного праздника дискуссии, то можно прийти к следующим обобщениям. «Старая» концепция войны основывается на том, что Гитлер развязал вторую мировую войну и коварно напал на Советский Союз. Неудачи советской армии в начальный период войны были обусловлены перевооружением армии, перестройкой оборонительных сооружений, недалековидностью командного состава, уничтожением перед войной перспективных военных кадров, плохой подготовкой рядового солдата. Победа над фашизмом свершилась в результате блистательных операций советского командования, научившегося воевать, и героизма советских солдат и всего трудового народа.

«Новая» концепция рассматривает события иначе. По мнению ее адептов, Сталин являлся тайным вдохновителем агрессии и подталкивал Гитлера к войне в Европе. Он готовил Советский Союз к захватнической войне, имея своей целью выступить в качестве «освободителя» Европы и всего угнетенного пролетариата, устроив на освобожденной территории советскую власть. Гибель советских армий в начале войны объясняется тем, что Советский Союз готовился не к оборонительной, а к захватнической войне, разрушая все линии обороны для выдвижения войск к границе. Победа была обусловлена и заранее предопределена невозможностью фашистской армии воевать на два фронта, умелыми действиями командования и неисчислимыми, безмерными жертвами народа. Эти взгляды наиболее полно изложены в книгах В. Б. Резуна, советского разведчика,

в 1978 году бежавшего в Великобританию. Они вышли и в России под псевдонимом В. Суворов («Ледокол», «День „М“»).

Между этими крайними точками зрения находится современное общественное сознание, пытаясь приблизиться к пониманию и этой части истории Отечества. Это понимание обостряется тем, что еще живы фронтовики, имеющие свой собственный взгляд на войну, то поколение людей, которое пережило войну или слышало о ней от своих близких. И этот бесценный опыт оказывается как бы отторгнутым от исторических споров, что накаляет и без того сложную ситуацию. В дни победного юбилея трудно выбрать позицию между благоговейной памятью и истиной.

Литературная критика, погруженная в индивидуалистически-психоаналитическое и философско-культурологическое исследование литературы «восьмидесятников», редко обращается к анализу военной темы. Хотя еще десятилетие назад вокруг ее проблем было немало бурных дискуссий, написаны горы книг, статей, диссертаций. Любопытно, что наиболее яростные споры концентрировались вокруг двух проблем. Одна из них была инспирирована мечтой о «Главной книге», народной эпопее, где подобно «Войне и миру» или «Тихому Дону» был бы показан во всей сложности и трагизме народный подвиг. Критики спорили о жанре этой ненаписанной книги (роман, эпопея, роман-эпопея), выдвигали эстетические критерии, по которым она должна создаваться (широкоформатность, синтетическое изображение событий, философская глубина, всеобщность поэтического содержания, сопряжение разнородных начал, особый герой и т. д.). Спорили о мере возможного вымысла, об авторской позиции и даже о том, кто будет создавать «Главную книгу» — писатель-фронтовик, современник или потомок. Споры носили и теоретический, и практический характер. Было много истрчено бумаги на выяснение вопроса, подходят ли под мерку «Главной книги» или хотя бы эпопеи «Живые и мертвые» К. Симонова, «Блокада» А. Чаковского, «Война» И. Стаднюка, «Судьба» П. Проскурина, «Вечный зов» А. Иванова.

Можно было бы считать эту мечту о «Главной книге»; в разговоры о которой оказались втянутыми и писатели, наивным стремлением увидеть в литературе великолепный словесный монумент во славу русского солдата и народа, вынесшего на плечах всю тяжесть войны. Однако, чтобы увековечить ратный подвиг, литературу надо было «возвысить», придать ей определенную каноническую форму в русле определенной национальной традиции. Поэтому вырабатывался соответствующий эстетический стереотип, идеальная модель, на которую должен был ориентироваться и писатель, и читатель, и критик. Иллюзорный феномен «Главной книги» и до настоящего времени стоит перед нашими глазами.

Другая дискуссионная проблема, связанная с военной прозой, касалась правды изображения военных событий и человека на войне. Понимая, что художественная проза о войне имеет право на свободное переложение событий, критика тем не менее относилась к ней как к прозе чисто исторической, всегда пытаясь идентифицировать изображенные бои, даже если они не были названы, сверить с картой, с учебником и дать свое заключение. Если в произведении описывались трудные солдатские будни, то сразу же появлялся упрек писателю в «бытовизме», если совершался некий отлет от реальности, то мгновенно навешивался ярлык «пацифиста». Правду сортировали на «окопную», «лейтенантскую», «генеральскую». Возникали и плодились надуманные дискуссии о правде и правдоподобию. Одно такое обсуждение в «Литературной газете» было закрыто после выступления В. Астафьева, который недвусмысленно заявил: «Ди-

скутируют, спорят о теоретических вопросах — что, мол, такое правда, а что правдоподобие, тогда как есть вещи бесспорные: правда — это правда, неправда — это неправда».<sup>1</sup>

Утверждая в общественном сознании эстетический стереотип идеального произведения о войне, критика одновременно пыталась очертить границы дозволенной правды в изображении военного времени. Манипулируя «высокими» и «низкими» видами правды, а в сущности выполняя групповые и идеологические установки, критика приучала читателей с недоверием и подозрением относиться к художественному произведению и его автору, ибо он мог не приблизиться к требуемой мере истинности, отступить от утвержденных правил. Микроб этого недоверия и до сей поры витает в воздухе.

С другой стороны, и сам писатель, ощущая это недоверие и подозрительность, был вынужден умалчивать о каких-то вещах, заранее зная, что их снимет любой, даже самый благожелательный редактор. Элемент умолчания некоторым художникам представляется весьма значительным. Один из писателей-фронтовиков В. Кондратьев с горечью отмечал, что его собратья по перу многое не сказали о «чрезмерной жестокости войны, жестокости своих... Мы не сказали о штрафных ротах и батальонах. Наша военная проза мало рассказала о неумении многих наших военачальников вести современную войну, о наших победах „любой ценой“, а за ценой наши начальники не стояли, о взятии городов или даже населенных пунктов — к праздникам... Умолчали о недостойном поведении некоторой части наших солдат в Восточной Пруссии, об изнасилованиях, поджогах немецких ферм, о расстрелах гражданских лиц. Просто так, из мести... Умалчивали, потому что знали, что это все равно „вырежут“. Умолчали о безобразиях и пьянках в тылах, о принуждении к сожительству наших девочек, бросившихся в огонь войны с самыми чистыми и благородными чувствами — защищать Родину. А их потом, как правило, в постель...»<sup>2</sup>

Но, несмотря на этот элемент умолчания, которому В. Кондратьев отдавал десять процентов, на жесткое идеологическое и критическое давление, литература все-таки вырывалась из рамок навязываемых ей схем и стереотипов. И удачными оказывались произведения, написанные не в жанре эпопеи, а приближенные к роману или небольшой повести. До настоящего времени не утратили своей эстетической привлекательности, свежести, глубины и оригинальности своего содержания такие вещи, как «Горячий снег» Ю. Бондарева, «Пастух и пастушка» В. Астафьева, «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «На войне как на войне» В. Курочкина, «Сашка» В. Кондратьева, «Сотников» В. Быкова, «Усвятские шлемоносцы» Е. Носова, «Похоронка» Б. Екимова, «Момент истины» В. Богомолова.

Виктор Астафьев почти всю свою простую жизнь в литературе шел к роману о войне. Стоит вспомнить, что самый первый рассказ, который он написал, был посвящен его фронтовому другу Моте Савинцеву («Гражданский человек», позже переименован — рассказ «Сибиряк»), «умеющему негромко жить и без истерик отойти в мир иной».<sup>3</sup> Писатель не скрывает, что он был создан «во зле» после чтения одного из многочисленных «героических» произведений, кстати, тоже написанного фронтовиком, где

<sup>1</sup> Лит. газ. 1987. 7 окт.

<sup>2</sup> Лит. обозрение. 1990. № 5. С. 4.

<sup>3</sup> Астафьев В. Сердитый взгляд сквозь годы и расстояния // Уральский следопыт. 1987. № 10. С. 3.

был изображен «удачливый боец, который врага лупит и в плен берет, а сам остается цел и невредим».<sup>4</sup> Астафьев видел и помнит войну другую.

За многие годы литературной работы писатель очень осторожно подходил к военной теме: писал о тыле, о госпиталях, вспоминал отдельные эпизоды из фронтовой жизни, рассказывал с болью и горечью о послевоенной жизни фронтовиков («Звездопад», «Где-то гремит война», «Сашка Лебедев», «Индия», «Ясным ли днем» и др.).

Впервые в творчестве писателя война в ее жестоком течении обрела свое воплощение на страницах повести «Пастух и пастушка» (1971). Любимый сюжет был окружен огненным кольцом войны, оттеняющим катастрофичность встречи и расставания возлюбленных. Несмотря на то что повесть имела строгую структурную организацию, она была разностильна, соединяя разные стилевые потоки — обобщенно-философский, реалистически-бытовленный и лирический. Поэтому война представляла то в виде невероятной фантазмагии, гиперболической картины вселенского варварства и разрушения, то в образе невероятно тяжелой солдатской работы, то возникала в лирических отступлениях автора как образ безысходного человеческого страдания.

Ограниченный локальными рамками повести, Астафьев скупой рассказывал о солдатской жизни. В поле его зрения был только взвод лейтенанта Костяева. Из общей солдатской массы выделяются отдельные лица, характеры, связанные неповторимыми, порой сложными отношениями. Созданные с теплотой и любовью, «легким» пером, они олицетворяют разные, уникальные человеческие судьбы, которые сплела воедино нелегкая солдатская доля. Воссоздавая это сложное, противоречивое единство, Астафьев как бы раскладывал русское воинство на отдельные типы, среди которых находились традиционные для сельского мира, крестьянской общины персонажи: мудрец-книжник (Ланцов), праведник, хранитель нравственного закона (Костяев), трудяга-терпелец (Карышев, Малышев), почти юродивый (Шкалик), «темный» человек, почти разбойник (Пафнутьев, Мохнаков).

Народный характер существует в прозе Астафьева не в обобщенно-монологичном, былинном образе, соединяющем в разных пропорциях различные начала, а в широком спектре человеческих типов, выявляющих наиболее выпукло и рельефно одну из каких-то главных присущих народу черт.

И война, врывающаяся в народную жизнь, также имеет свой образ, свои отношения с каждым из этих воюющих людей, выбивая из их рядов самых светлых, самых беззлых, самых терпеливых. Еще в самом начале 70-х годов Виктор Астафьев утверждал право каждого человека, имевшего фронтовой опыт, на память о «своей» войне. За исключением Шкалика и самого взводного, солдаты представляют собой людей достаточно зрелых, обладающих жизненным опытом, определенной будничной закалкой, умением спокойно и расчетливо видеть военную ситуацию. И это несомненно помогает им воевать, а если уж наступает смерть, то спокойно и тихо отходить в мир иной. Крайнее напряжение физических и моральных сил, которое выпадало на долю всех воевавших, могли «держат» только те люди, которые обладали сформировавшимся характером, закаленным еще в довоенные времена. Другие погибали случайно, как Шкалик, подрывавшийся на mine, или Борис Костяев, умирающий при легком ранении от безмерной усталости и тоски.

<sup>4</sup> Там же.

Поединок юности со смертью был заранее предрешен, ибо юность чаще всего оказывалась беззащитной, нерасчетливой, не умеющей обмануть судьбу. Не случайно удачливый боец Василий Теркин, «тридцати неполных лет», все-таки имел за плечами какой-то жизненный опыт. Даже юношеская тяга к подвигу, геройскому поведению оказывалась не только опасной, но и бессмысленной на войне. Астафьев с некоторой долей иронии рассказывает, как Борис Костяев в своем первом бою поднимает взвод в атаку, размахивая наганом и визгливо крича: «За мной! Ура!». Однако за собой он не слышит ни грозного топота, ни героических возгласов. Солдаты шли в атаку не спеша, перебежками, хоронясь за пригорками, окапываясь, обстоятельно прицеливались и не торопясь выбивали противника. Такая негероическая война кажется молодому лейтенанту чуть ли не предательством, он даже хочет застрелить «для примера» кого-то из бойцов, чтобы другим неповадно было «отлеживаться». И погиб бы лейтенант со своим желторотым героизмом, если бы какой-то дядька не подгрел его под себя «будто кубанскую молодуху», не защитил, не научил солдатской мудрости. Борис долго переживал этот случай, а солдаты беззлобно посмеивались: «Нам че? Мы за нашим командиром, как за каменной стеной! Он как побежит да как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи собирать...»<sup>5</sup>

Рассматривая войну как тяжелую солдатскую работу под пулями, Астафьев оставлял подвиг за гранью реальности. Мохнаков бросается с гранатами под танк вовсе не из высоких побуждений, он сознательно делает свой выбор, завершая все свои счеты с жизнью, испепелившей жестоко всю его душу. Героическое поведение может сопровождать страх, безысходность, отчаяние. Астафьев на войне часто наблюдал такие ситуации и даже сам их переживал.

В сентябре 1988 года Астафьев посещал на Украине те места, где ему приходилось воевать. Один из спутников писателя, по-видимому журналист, описал это паломничество. Любопытно, что Астафьев не пошел смотреть старые блиндажи, весьма скептически отозвался о новых диорамах, ходил лишь по берегу Днепра, вспоминая о прошлых днях, встречался с однополчанами. Ни старые реликвии военного времени, ни новые музейные экспозиции уже не могли повлиять на тот образ войны, который уже сложился в творческом воображении писателя. Однако находились отдельные факты и эпизоды, которые как бы не соответствовали избранному типу повествования. Вот как выглядел такой эпизод в переложении автора публикации: «В одном из житомирских сел его с другом буквально загонял немецкий летчик, обстреливая их из пулемета. Ребята уже не знали, куда спрятаться от преследователя: зарывались в кучу навоза у какого-то сарая, затем, считая, что все кончилось, выбирались из нее — и снова видели гомерически смеющегося фашиста, высывающегося из своей кабины в небесах. Тут выходит из дому хозяин, деловито вскидывает обыкновенное ружье — и стреляет в ненавистную рожу фашиста, делающего низкий заход. Заряд попадает в самую рожу с первого раза — и самолет падает...

— Какая прекрасная и сложная вещь — человеческая память! — говорил Виктор Петрович. Вспоминаешь, как будто все это было с кем-то другим, с каким-то парнишкой. А с тобой же было, с тобой».<sup>6</sup>

Этот случай, который, по словам В. Астафьева, «никак не ложится на бумагу» из-за своей фантастичности, литературности, необычности, не

<sup>5</sup> Астафьев В. Повести и рассказы. М., 1984. С. 421.

<sup>6</sup> Радуга. 1989. № 14. С. 8.

вписывается в его концепцию войны как солдатской работы, в реалистически-бытовое повествование. Поэтому он обрел другое творческое воплощение, лег в основу сценария фильма «Дважды рожденный» (1983).

Астафьев этот эпизод, случившийся в житомирской деревне, переносит на север, в ледяные снежные пространства, где чудом уцелевший после гибели корабля солдатик пытается по льду добраться до берега к своим. Именно его преследует немецкий ас, решивший поиздеваться над своей добычей. Здесь уже нет друга-напарника, хозяина-спасителя с «простым ружьем». Схватка идет один на один. Парнишечка замерзает, шатается от голода, боится смерти, понимая, какую прекрасную мишень он представляет на белом снегу. И не выдерживает, вскидывает винтовку и стреляет в ненавистный самолет. Пуля пробивает бензобак, и самолет падает вместе с пилотом на белый, страшный в своей стерильности снег. А с берега уже бегут свои, приветственно и восторженно махая руками.

Бытовой случай переходит в философскую притчу, все реальные детали почти исчезают, пространство становится условным, время останавливается... У Виктора Астафьева фронтовой опыт обретает целостное воплощение лишь при совмещении реально-бытового и обобщенно-философского подхода. Именно такое изображение событий военного времени было в «Пастухе и пастушке». Надо сказать, что Астафьев, при всех цензурных строгостях того времени, коснулся и многих запретных зон, о которых старались умалчивать. Сделано это было весьма тонко, с неожиданной для Астафьева ловкостью.

В начале четвертой главы «Успение» появляется на страницах пасторальной повести «хороший» замполит, который, понимая тоску лейтенанта, выбивает ему пропуск на курсы молодых политруков, чтобы он по дороге навестил свою возлюбленную. Он радуется, что в человеке не пропало человеческое, стремится помочь молодому бойцу, боится, что он может удрать в самоволку и пропасть в штрафбате. Астафьев рассказывает о фантастической встрече влюбленных, а затем добавляет: «Но ничего этого не было и быть не могло». Вся эта встреча, командировка, разговоры о жизни, замечательный замполит существовали лишь в воображении романтического юноши.

Однако капитан «из какого-то» штабного отдела, навестивший взвод Костяева, был уже принадлежностью военной реальности. Он собирал сведения, порочившие командира, и нашелся злыдень, который, желая услужить капитану, «наклепал» на товарища лейтенанта и его старшину. Война жестоко расправилась со стукачом, лишив его обеих ног до паха. Станным казалось в те времена отношение солдат в повести Астафьева к пленным немцам. Наше усталое воинство сочувствует и жалеет пленных, они рядышком сидят в длинной очереди на перевязку, где врач даже не замечает между ними различий. С уважением, замешанным на сострадании, относятся фронтовики к немецкому генералу, покончившему самоубийством при окружении его армии. Командующий фронтом нашей армии приказывает похоронить его со всеми военными почестями.

Ругали повесть Астафьева и за «бытовизм», и за «пацифизм», и за условность, и за пасторальность, за «дегероизацию», за романтического невоенного героя, умирающего от любви.

Уже после «Пастуха и пастушки» военная тема не отпускала писателя, просвечивая в главах «Последнего поклона», «Царь-рыбы», «Затесей». Готовясь к роману о войне, о котором он стал упоминать в многочисленных интервью с конца 70-х годов, писатель размышлял о народном характере, его судьбе в послевоенное время. И раздумья эти были полны

горечи, недоумения, разочарования и обиды. Еще задолго до «Печального детектива» в «Царь-рыбе» (1976) Астафьев воссоздал страшную картину народной жизни, где были оплеваны святые, утрачены нравственные нормы, где царило пьянство, кураж, раззор, воровство и браконьерство. Совежливые люди, как обычно у Астафьева, фронтовики, державшие еще какое-то время назад в руках нравственные скрепы, оказывались на обочине жизни. Они уже не влияли на ход вещей, жизнь ускользнула из их рук, переродилась в нечто безумное, стихийное, хаотическое. Она обрела какой-то сильный импульс падения в какую-то бесконечную пропасть, неясную бездну, неоформленную тьму, вовлекая в свой поток и добрых и злых, и умных и глупых, и молодых и старых, и пьяных и трезвых...

Картина этого падения как бы смягчалась в «Царь-рыбе» образом дивной сибирской природы, еще не до конца загубленной человеком и ожидающей его мудрости, образами терпеливых женщин, еще несущих в мир доброту и сострадание, и, самое главное, образом автора, который не столько судил, сколько недоумевал, не столько критиковал, сколько печалился. Не случайно первым эпиграфом к повествованию в рассказах были избраны Астафьевым строки Н. Рубцова: «Молчал, задумавшись, и я, /Привычным взглядом созерцая /Зловещий праздник бытия, /Смятенный вид родного края». Именно они определяли главную интонационную струю «Царь-рыбы».

После выхода в свет «Печального детектива», «Людочки», заключительных глав «Последнего поклона» (1992) пессимизм писателя усилился. Мир предстал перед его глазами «во зле и страдании», полным порока и преступности. Что-то сместилось в душе художника, и события современности и исторического прошлого стали рассматриваться им с позиции максималистского идеала, высшей нравственной идеи и, естественно, не соответствовали их воплощению. «В любви и ненависти я середины не приемлю», — заявлял писатель.<sup>7</sup> Этот жесткий максимализм, свойственный не только сфере эмоций, но и историческому, философскому, этическому и религиозному познанию, был обострен болью за порушенную жизнь, за потерявшего себя и равнодушного к общественному возрождению человека. Чтобы разбудить современника, способствовать его отрезвлению, Астафьев пытается судить его по высшим законам, показывая всю неприглядную картину его преступлений против общества, другого человека и самого себя. Однако максимализм, составляющий как главный импульс творчества благородное и высокое стремление, имеет и другую сторону.

Русский философ Г. Ландау, размышлявший о максимализме Достоевского, весьма убедительно охарактеризовал его негативные стороны: «Предельная идея есть всегда духовная переработка, упрощающая, отвлекающая от содержания, мысленная проекция на нереальный экран запроса или задания, который имеет свой законный смысл в своей собственной конкретности, ограниченности, соотношении с действительностью. А потому воплощение в действительность этой умственной (или эмоциональной) ее переработки, с ней несоотносительной, неизбежно ее ломает, не осуществляя и себя. Тем более губительным должен быть максимализм, когда он не только преследует предельные задачи, но исходит из максимально преувеличенной, односторонне обостренной, взвинченной действительности. Двойное несоответствие приводит к двойному искажению».<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Не знает сердце середины: Беседа с Виктором Астафьевым // Правда. 1989. 30 июня. С. 4.

<sup>8</sup> Ландау Г. А. Тезисы против Достоевского // Русские эмигранты о Достоевском. СПб., 1994. С. 213.



Эти опасности, подстерегающие максималистское сознание, проявляются и у Астафьева. Всем памятно, хотя и прошло много времени, импульсивные рассуждения писателя о том, что Ленинград нужно было сдать фашистам: «Миллионы жизней — за город, за коробки? Восстановить можно все, вплоть до гвоздя, но жизни не вернешь. А под Ленинградом? Люди предпочитали за камень погубить других людей. И какой мучительной смертью! Детей, стариков...»<sup>9</sup> Высшая гуманистическая идея о спасении миллиона людей от мучительной смерти «прикладывается» (задним числом) к конкретной исторической ситуации, имеющей свой военно-стратегический и общественно-политический смысл.<sup>10</sup> Игнорируя этот «законный смысл», не вдаваясь в конкретный анализ ленинградской трагедии, писатель утверждает, что одни люди «за камень» губили других людей. Этот вывод не только абстрактен, он не соответствует уровню исторической реальности и даже оскорбителен для павших и еще живущих защитников города.

Более того, свою точку зрения писатель считает проявлением «новой гуманности», свободной от жестких и антигуманных догм. В максималистском запале он утверждает: «Мне кажется, что человечество неизбежно придет к такому же пониманию гуманности, что и я, — только не теперь и не завтра. Повторяю, может быть, век спустя...»<sup>11</sup> Именно максимализм позволяет писателю ставить свое «я» рядом с человечеством без опосредующих выработанных культурой звеньев.

Одержимостью поиска «высшей справедливости», стремлением узнать «всю правду» проникнуто выступление В. Астафьева на конференции, посвященной обсуждению актуальных вопросов исторической науки и литературы (1988). Писатель-фронтовик с горечью констатировал: «Мы как-то умудрились не без помощи исторической науки сочинить „другую войну“. Во всяком случае, к тому, что написано о войне, за исключением нескольких книг, я как солдат никакого отношения не имею. Я был на совершенно другой войне. А ведь создавались эшелоны литературы о войне. Например 12 томов „Истории второй мировой войны“. Более фальсифицированного, состряпанного, сочиненного издания наша история, в том числе и история литературы, не знала. Это делали, том за томом, очень ловкие, высокооплачиваемые, знающие, что они делают, люди... До сих пор мы не знаем, сколько людей потеряли в Великой Отечественной войне. Я слышал массу разных цифр. Но мне хотелось бы знать как солдату, сколько народу мы все-таки потеряли?.. Когда же с нами, уже доживающими свой век, перестанут разговаривать какими-то полунамеками, полуправдами? Полуправда нас измучила, довела до нервного истощения...

Когда касаешься целых отрезков, очень сложных и очень трагичных отрезков времени, и узнаешь затем откуда-то со стороны о том, что в 1941 г. из пяти больше трех миллионов наших воинов попали в плен, то ужасаешься. Как относиться к этим цифрам? Я до сих пор отношусь к ним с недоверием. Цифры эти меня просто ошеломили. Но когда вспоминаешь о том, что в той же книге об Отечественной войне не перерисованы карты, и если вы внимательно посмотрите эти карты и текст, который сопровождает их, то увидите полное расхождение между ними. Мы просто

<sup>9</sup> Правда. 1989. 30 июня.

<sup>10</sup> Возражения В. Астафьеву с исторической точки зрения содержатся в статье В. Панова «Не знает сердце середины» (Правда. 1989. 8 июля).

<sup>11</sup> Там же. 30 июня.

не умели воевать, мы просто залили своей кровью, завалили своими трупами фашистов. Вы посмотрите на любую карту 1941-го и даже 1944 г.: там обязательно девять красных стрелок против двух синих, вражеских. И на протяжении всей войны было так. ...Я понимаю, что об этом писать очень тяжело. Лучше, конечно, когда под барабанный бой провозглашается, что мы победили! Но как победили?»<sup>12</sup>

Обращая гневный пафос своего выступления против официальной науки, создавшей образ «другой», победной войны, Астафьев и здесь доходит до крайности: «Если сейчас глянуть на центр „деревенской“ России, которая была в основном поставщиком солдат, то, у меня во всяком случае, создается впечатление, что мы — побежденные. Мы с трудом сейчас начинаем подниматься, не исправлять еще, до исправления далеко!»<sup>13</sup> Позже эту мысль высказал Л. Аннинский, анализируя роман Г. Владимова «Генерал и его армия». Рецензия так и называлась «Спасти Россию ценой России...»<sup>14</sup> Спустя пятьдесят лет после победы ее цена видится столь огромной, столь невосполнимой, столь ужасающей по последствиям, что сквозь ее лучезарный лик начинают просвечивать следы и пятна поражения. Победа как бы подменяется поражением. А происходит это потому, что из конкретного разговора о Великой Отечественной войне, количестве погибших, военных событиях и сражениях (в этом выступлении Астафьев рассказывал о рейдах 11-й армии Манштейна) делается философский вывод о том, что в любой войне нет победителей, «что мы — побежденные». Высшая, предельная идея о войне как варварстве, уравнивающим нации в диком самоистреблении, которая еще не стала достоянием человечества, лишь стремящегося к ней путем выработки законов, договоров, пацифистских движений, становится критерием национального исторического опыта. И этот опыт выглядит перед этим абсолютом совсем ничтожным. Что такое Великая Отечественная война в безмерно длинной цепи кровавых сражений, которые вело и ведет человечество... Размышляя о войне как солдат, это всегда подчеркивает Астафьев, вспоминая конкретные события и военные эпизоды, писатель стремится внедрить в свои размышления оттенок всеобщности, философичности, создать художественный образ войны «с приглядкой» на все предшествующие и, возможно, грядущие сражения. Но это стремление осуществляется с максималистских позиций, и предельная идея, будучи лишь стимулом жизни и развития, превращается в творческое задание, критерий художественной правды, что существенным образом деформирует повествование, созданное по реалистическим законам.

Новый роман писателя, о котором он более десяти лет рассказывал интервьюерам, журналистам и критикам, появился в печати под названием «Прокляты и убиты». Первая его книга «Чертова яма» была опубликована в «Новом мире» в 1992 году (№ 10—12), вторая — «Плацдарм» — в 1994-м (№ 10—12). Свобода размышлений писателя, не вполне обычная, поначалу обескураживала.

Роман получился не просто тяжелый и страшный, он не только поражает фактами, о которых раньше не принято было говорить, — его отличает удивительная даже для Астафьева резкость, страстность, категоричность авторской интонации. Похоже, что и этот роман, как и свой первый рассказ, писатель создавал «во зле», в яростной оппозиции не только

<sup>12</sup> Астафьев В. П. Полуправда нас измучила... // Вопросы истории. 1988. № 6. С. 33—34.

<sup>13</sup> Там же.

<sup>14</sup> Новый мир. 1994. № 10.

официозной исторической науке, тем фронтовикам, которые не хотят помнить и размышлять о трагическом опыте тех лет, но и писателям, не осмеливающимся или не желающим говорить «всю правду». Как будто он сам взвалил на себя непомерную ношу этого знания и пытается, страдая и переживая это все снова, поведать всем живущим о тех жутких временах.

Астафьев начинает роман не с изображения военных действий, а с самого начала — приезда новобранцев в учебный полк, где должно было производиться обучение молодых мальчишек 1924 года рождения азам военного дела перед отправкой на фронт. Этот учебный полк и являлся «Чертовой ямой», где по замыслу командования и должно было формироваться непобедимое войско, доблестная Красная Армия. Под мощные звуки песни «Вставай, страна огромная...» новобранцы идут к казармам, воображая себя уже смелыми бойцами, закаленными в сражениях, полными великой и грозной силы, способной спасти страну. Они ощущают и единение, и коллективизм, и спаянность в каком-то общем порыве, где уже собственная жизнь в этом мощном потоке не представляет собой ценности и значения.

Но это состояние длится лишь какие-то минуты. Жизнь в полутемном подвале, в старинных строениях, называемых казармой, в холоде, голоде, страхе и болезнях, приучала к другому — «вялой покорности судьбе», согласно со всем происходящим. Солдатский быт напоминает быт тюремный, который также определяется страхом голода, наказания и даже расстрела. Вся эта пестрая солдатская масса тяготеет к двум полюсам: солдатам-старообрядцам — степенным, благодушным, обстоятельным — и блатникам — расхристанным, вороватым, истеричным. Между мучениками за веру и потенциальными преступниками существует солдатское братство, прибываясь то к одному берегу, то к другому. Солдаты с наименьшим любопытством слушают рассказы Коли Рындина о бабушке Секлетинь, живущей в скиту, и сочиняемые на ходу байки о фартовой жизни Лехи Булдакова. Однако первенство в жанре устного рассказа переходит к Ашоту Вартапяну — начитанному мальчику из интеллигентной семьи, который пересказывает однополчанам популярную литературу и мировую классику. Дети рабочих и крестьян, спецпереселенцев и заключенных с восторгом, наивной детской непосредственностью, благоговением внимали сказкам о жизни графов и принцесс, кавалера де Грие, графа Монте-Кристо, жутких пиратов и их возлюбленных.

Однако этот грамотей, имеющий тягу к просветительству, не выговаривает несколько букв, и его блестящие рассказы и чтения наизусть достигают сознания слушателей в каком-то странном, полуюмористическом переложении. Голос Вартапяна, который много разговаривает с солдатами и даже позволяет себе спорить на политзанятиях, своей картавостью усугубляет странную языковую среду, в которой находятся однополчане. В казарме чаще всего звучат слова команды, которые постоянно перемежаются крепким соленым словцом, матом, и как это ни странно, Божьим именем. Пожалуй, никогда в прозе Астафьева не соприкасались так близко эти разнородные языковые пласты.

Крайние состояния человеческой психики, обнаруживающиеся в тяготении к смеху, проклятью или плачу, как бы одновременно существуют в солдатской душе, борются друг с другом, причиняя нестерпимую боль, истощая и без того некрепкую закалку. Наравне с физическим истощением происходит истощение психическое, моральное, нарушая необходимый в солдатской жизни баланс между сильными нервными перегрузками и определенной устойчивостью, равновесием, волей. Бойцов начинают одо-

левать тяжкие предчувствия, страх и непонятная муторная тоска. Чтобы как-то от нее избавиться, служивые тянутся к бывалым бойцам за солдатской мудростью, хитрой фронтовой наукой, поддержкой. Они даже начинают мечтать: «Скорее бы на фронт вслед за этими основательными дяденьками, которые где уберегли бы от беды, где подсказали чего, где и поругали бы».

Астафьев подробно описывает солдатскую жизнь в «учебке»: подъем, наряды, столовая, баня, маршировка и занятия, политическая подготовка. Здесь царит пафос реалей, которые воспроизводят тягостную картину солдатских мучений, вызванных не столько военным положением, сколько безхозяйственностью и воровством тылового обеспечения. Астафьев методично излагает все страшные обстоятельства, в которые попадали молодые солдаты, все беды, которые на них обрушивались — до самых неприглядных и унижающих мужское достоинство. Жизненные обстоятельства, в которые попадают герои Виктора Астафьева, обостряются до крайности, до последнего предела, в то время как душа все больше и больше погружается во взвинченное, истеричное состояние. В прозе Астафьева как бы оживает традиция Достоевского, стремящегося в своем правдоискательстве к самой последней и крайней точке. Но если Достоевский стремился разрешить противоречия на уровне идей, философских споров, то Астафьев апеллирует к реальному историческому существованию, быту, народному и как бы природно-телесному бытию. Нагружая природно-телесную основу жизни многочисленными испытаниями, Астафьев ставит своих героев в положение «униженных и оскорбленных», заставляя читателей сострадать этим мучениям. Несмотря на грубовато-обытовленную манеру письма, солдатская «линия» романа воспроизводится в сентиментальном ключе нагнетанием негативных подробностей и деталей, желанием показать «всю правду».

Солдатское воинство, как в «Пастухе и пастушке», раскладывается на определенные типы, в основном повторяющие любимые писателем характеры. В описании этих героев талант Астафьева достигает наивысшей точки проявления. Мало кто в нашей литературе, становящейся все более и более рационалистичной, умеет так естественно, так достоверно, так непосредственно воссоздать человека во всей сложной совокупности внешнего состояния и внутреннего проявления. Блистательный дар созерцания озарен у Астафьева какой-то вдохновенной творческой игрой, фантазией, озорством, поэтому самый простой человек, человек «из народа», удивляет читателя не только подлинностью, «правдой характера», но и доставляет ему эстетическое наслаждение тем элементом творческого «отлета» от жизни, который необходим в искусстве.

В этом солдатском ковчеге можно обнаружить самый простой и самый сложный характер, самый добрый и самый отчаянный, умудренный жизнью и наивно-глуповатый. Выделенные в «Пастухе и пастушке» типы присутствуют и в этом романе, хотя каждый из этих типов имеет большее количество вариаций и промежуточных состояний. Среди солдат находятся и мудрец-книжник (Вартанян), трудяга-терпелец (старообрядцы, Шестаков, Шпатор), почти юродивый («доходяги», Попцов, Мусиков), «темный» человек (Зеленцов, зэки). Место «светлого» человека занимает колоритная фигура русского богатыря-старообрядца Коли Рындина. Если в «Пастухе и пастушке» хранителем нравственного закона был романтически чувствительный лейтенант, стремящийся к героической жизни, то в романе «Прокляты и убиты» им становится молящийся Коля Рындин, который даже на учебных занятиях не может деревянным ружьем «уко-

лоть» ближнего. А лейтенант Щусь олицетворяет функцию защитника слабых и обиженных, представляя собой образец бравого, собранного и справедливого офицера. Появляется среди героев романа и образ демагога, классического «филона» — Лехи Булдакова.

Все они по-разному переживают трудную долю: молча, терпеливо до слез и полного оупения Рындин, истерично Мусиков, пронырливо и с хитрецей Булдаков, стойко и мужественно Шестаков... Но случались и в их жизни события, которые объединяли этих людей в одном чувстве, в одной коллективной эмоции. Таких эпизодов в первой части романа четыре. Первый связан с речью Сталина, которую новобранцы слушали по радио 7 ноября 1942 года. По-детски радуясь сталинскому слову, испытывая эйфорический подъем, ребята со слезами и аплодисментами слушают речь вождя. «Хорошие, жалостливые, благодарные слушатели были у вождя, — замечает автор, — от любого, в особенности проникновенного, слова раскисающие, готовые сердце вынуть из груди и протянуть его на ладонях: возьми, отец родной, жизнь мою, всего меня возьми ради спасения Родины, но, главное, не печалься, не горюй, — мы с тобой, мы за тебя умрем все до единого, только не горюй, лучше мы отгорюем за все и за всех, нам не привыкать».

Однако эти наивные и жалостливые вояки превращаются на глазах в грозную и неодолимую, страшную силу, когда один из командиров («зверь и самодур») на глазах у всего взвода случайно «приканчивает» доходягу Попцова. Молчаливая рота в полной тишине смыкается вокруг командира, пытаясь поднять его на штыки. И даже крик Коли Рындина не может предотвратить надвигающейся беды. Спас ситуацию лейтенант Щусь, повисший на винтовках и подставивший свою грудь под штыки. А на его груди блестел красный орден, полученный за бои на озере Хасан. «Пусть лучше здесь умоются слезами с горя, чем в штрафной роте кровью», — замечает Щусь.

Такое же состояние — ненависти, горя, недоумения — испытывают бойцы, присутствуя на показательном расстреле братьев Снегиревых, объявленных дезертирами за отлучку из расположения полка. Молоденькие солдаты начинают понимать, что они попали в страшную военную машину, которая еще хуже фашистов умеет ломать судьбы, корезить жизнь, а то и попросту ее уничтожать. «И малая частица мира сего, зовущаяся солдатом, должна противостоять двум страшным силам, тем, что впереди, и тем, что сзади, солдатик устоять должен, исхитриться уцелеть в огне-полыме, да еще и силу сохранить для того, чтобы ликвидировать последствия разрушений, им же сотворенных, — продлить род человеческий, ведь не вожди, не цари его продляют, а мужики».

Завершает обучение в запасном полку показательный суд над Зеленцовым, обвиняемым в нападении на старшего офицера. Дерзкий и наглый Зеленцов превращает судилище в фарс, обещая председателю трибунала найти его и отомстить. И эта идея греет его на передовой, помогая выжить в сложных ситуациях.

Вторая часть романа «Плацдарм» посвящена самому страшному эпизоду из всей фронтовой жизни Астафьева — переправе через Днепр и обороне Великокриницкого плацдарма. Автор со всей мерой тщательности восстанавливает картину тяжелейших боев на протяжении семи дней, в течение которых небольшая горстка солдат должна была по замыслу командования отвлекать и изматывать силы противника. Самыми сильными страницами романа является глава «Переправа», где писателю удалось соединить детальное описание событий с небольшими обобщенно-

фантастическими характеристиками, которые высвечивают реальность каким-то запредельным светом, придавая ей черты вселенской фантазмагории.

Под пулями и бомбами людей, не умеющих плавать и не обеспеченных какими-либо средствами для переправы, как дикий скот загоняют в воду командиры. Ощущение предсмертного ужаса, паники, истерии лишает солдат рассудка, и они почти не понимают, что надо делать, куда двигаться, кого слушать в страшной водяной мясорубке. «Дранный подол ночи вздымался вверх, во тьму, вместе с камнями, комьями, остатками корней и белой рыбы; в ключья разорванные туловища людей, и купол воды, отделившийся ото дна, обнажал какую-то нездешнюю наготу, пятнисто-желтую, с серыми лоскутьями донных отложений. Из крошева дресвы, из шевелящейся слизи торчал когтистой лапой корень, вытекал фиолетовый зрак, к которому прилипла толстой ресницей острая трава, и белым привидением ползла, вилась червь, не иначе как из самой преисподней возникшая, безглазая, безголовая, состоящая из сплошного хвоста и склизкой кожи, червь эта, виваясь по голому месту, никуда не могла уползти, маялась, валяясь в грязи». Из трех тысяч солдат, форсировавших великую реку, в живых осталось около пятисот.

И едва оправившись от страха, нахлебавшись воды, утопившие оружие и боеприпасы солдаты вынуждены начинать свою военную работу, искать оставшихся в живых, закрепляться, окапываться... Эта жизнь приобретала какую-то растительную форму, где каждое ее мгновение являлось попыткой выжить, борьбой за существование, за каждый шаг, за каждый вздох, за каждую секунду передышки. Астафьев рассказывает, как солдаты начинают воевать попарно (Шестаков—Прахов, Булдаков—Финифатьев, Мусиков—Дерябин и т. д.), чтобы иметь какое-нибудь прикрытие, какую-то защиту в этой жуткой человеческой каше.

Далее повествование замедляется, дробится на отдельные частные эпизоды, где действуют в силу обстоятельств и склада своего характера герои, знакомые читателю по предыдущим событиям. Отказавшись от обобщенного показа событий, который сопутствовал реальному действию в «Пастухе и пастушке», Астафьев погружается в натуралистически-детальное, описательное воспроизведение боевых действий. Жуткие в своей подлинности и натуралистичности подробности создают картину ада на земле, который проходят люди по чужой воле. К концу седьмого дня иссякают человеческие силы, теряется чувство опасности от усталости, страха, голода. Засыпает на посту Коля Рындин и едва не становится добычей немецкой разведки, не замечает немцев и попадает под прямой огонь резвый и хитрый Булдаков, получает многочисленные ранения от незамеченной мины Леха Шестаков... Лишь пронырливый Мусиков, высунув ногу из окопа и получив две пули, резво ковыляет на одной ноге к переправе в медсанбат. «Черные работники войны», «сидельцы Великокриницкого плацдарма», изможденные, голодные, во вшах, покунанные крысами, больные и раненые, грязные, усталые, выходят из зоны, «чувствуя освобождение от гнетущего ожидания гибели, избавление от заброшенности и никудышности». Они вышли из самого пекла, чтобы через несколько дней вступить в него снова. Такова солдатская доля.

Самым тесным образом с «солдатской линией» в романе «Прокляты и убиты» переплетается «линия партии». С самых первых страниц романа Астафьев обрушивает весь свой гнев, сарказм, иронию на политработников, стремящихся «улучшить мораль» в армии. Они почти все представлены невероятными дуболомами, вколачивающими в молодые головы не

просто прописные истины, патриотические догмы, а марксистские идеи, оболваненные и низведенные до глупости, чуть ли не до абсурда. Исчез из поля зрения писателя «добрый» политрук из «Пастуха и пастушки», остались лишь догматики, наглецы, подхалимы, чинуши, стремящиеся проявить свою власть и доказать свое важное предназначение на земле. Их главная задача — «держат всех в унижительном повиновении, чтобы всегда, везде каждодневно военный человек чувствовал себя виноватым, чтоб постоянно в страхе ощупывался, все ли застегнуто, не положил ли чего ненужного в карман ненароком, не сказал ли чего невпопад, не сделал ли шаг вразноступ с армией и народом, то ли и так ли съел, то ли и так ли подумал, туда ли, в того ли стрельнул...»

Они не помогали армии воевать, а мешали, отвлекая от решения главных и жизненно важных задач. Создавая образ начальника политотдела дивизии Мусенка, Астафьев наделил его всеми отрицательными внешними характеристиками: и малым ростом, и сорочьим голосом, и пляшущей походкой, и дамскими каблукками, и детскими сапожками. Говорит он, постоянно взвизгивая и брызгая слюной, распекая боевых офицеров, цитирует не только Сталина, но и «Историю ВКП(б)». Когда он звонит на передовую, он не просто сообщает политические новости, он цитирует «Правду» и заставляет записывать стихи, которые должны поднимать боееспособный дух армии. И это в то время, когда единственная линия должна обеспечивать связь армейских частей с артиллерией, когда идут кровопролитные бои и решается участь передовых частей. Лишив его каких бы то ни было положительных черт, отказав ему в элементарной логике и капле здравого смысла, автор романа с легкостью посылает его на смерть, описывая лживые речи его соратников над свежей могилой.

Но самое странное, что к его смерти (он погиб, взорвавшись на mine) оказывается причастным лейтенант Щусь, которого походя унижил Мусенок. Эта личная месть офицера, прошедшего ад в сражениях на плацдарме, должна, видимо, олицетворять высший закон справедливости, отмщения за всех погибших. Однако вопрос о праве совершать такие поступки автор оставляет без каких-либо комментариев и психологических мотивировок.

Едкая авторская ирония по отношению к «линии партии» проявляется не только в изображении политзанятий, образов политработников, ерничаньи на политические темы разных персонажей, описании приема в партию на передовой, который был заочным. Этой иронией пронизан весь авторский текст повествования. Рассказывая о жизни солдат в учебном полку или об их довоенном существовании, которое почти у всех было бедственным и трагичным, автор не упускает случая, чтобы не помянуть «мудрую политику партии», «заботу вождя», «вечную борьбу за светлое будущее и за кусок хлеба, за место на нарах», «вечных пионеров», «трудовые подвиги», «борьбу с пережитками капитализма», «идейную невооруженность», «железную большевичку», «врагов Страны Советов» и т. д. Эта интонация доводится автором до высшего регистра и как бы переходит в свою противоположность. Разговор о партии оборачивается размышлениями о Боге: «Народ затаился с верой, боится, но Бога-то в душе хранит, на него уповает, а все кругом одно и то же, одно и то же: партия — Сталин — партия».

Не случайно разговор о вере возникает у Коли Рындина с политруком, который пытается переубедить верующего солдата и не находит аргументов. Коля тверд в вере, зная, что Бог карает всех за отступничество, за то, что допустили в душу дьявола вслед за комиссарами-безбожниками. Именно Рындин рассказывает капитану о старообрядческой стихире, где

было сказано, что «все, кто сеет на земле смуту, войны и братоубийство, будут прокляты Богом и убиты». Эти древние слова и вынесены автором в заглавие романа. А адресованы они в первую очередь комиссарам-безбожникам, вовлекшим народ в эту братоубийственную войну, вождю, который вслед за другими правителями направил на убой свой собственный народ, сограждан, сестер и братьев во Христе. «Только один товарищ не посылал никого вместо себя умирать, сам взошел на крест. Не дотянуться пока до него ни умственно, ни нравственно, да и креста нет, который тяжело нести...»

Образ Христа как высшая этическая идея является у Астафьева критерием жизни, исторических событий, человеческого поведения. А поскольку этот идеал недостижим, то жизнь беспросветна и бесчеловечна. Церковь как промежуточное звено, выстраивающее отношения личности с Богом, способное вовлечь человека в нравственный мир, в силу максималистских установок не принимается Астафьевым. Видимо, поэтому светлый человек Коля Рындин — из старообрядцев, отрицающих церковный устав.

Один из критиков, много писавший о творчестве Астафьева, объясняет специфику литературного творчества писателя последнего периода его нецерковностью: «Неполнота воплощения Богом данного ему неслышанного дара заключается в том, что он никак не войдет со всею глубиной в то храмовое существование, в котором он был бы просто всемогущим. Поэтому он и не может собрать ни „Прокляты и убиты“, ни тот же „Печальный детектив“, ни все иные сочинения нынешнего периода. И напрашивается невольный вопрос: почему раньше-то удавалось, когда Астафьев еще дальше был от церкви, еще о существовании ее, можно сказать, не знал? Это таинственный вопрос».<sup>15</sup>

Дело, однако, в другом — в максималистском сознании писателя, резко обострившемся в связи с изменением общественной ситуации. И это не только специфическая черта Астафьева как писателя, это — одна из главных характеристик национального мироощущения. Как справедливо заметила Н. Берберова, «русские не часто способны на компромисс, и само это слово, полное в западном мире великого творческого и миротворческого значения, на русском языке носит на себе печать мелкой подлости».<sup>16</sup> Трудно сказать, сумеет ли Астафьев, как и многие почитатели его таланта, преодолеть этот максимализм, ибо роман еще не закончен. Автор собирается писать третью книгу под рабочим названием «Болят старые раны».<sup>17</sup>

Однако уже две опубликованные части дают право сделать некоторые, пусть предварительные, выводы. Астафьев полностью разрушает сложившиеся каноны изображения народа на войне.

Народ в его романе не является бессмертным народом-победителем. Автор со всей откровенностью и резкостью утверждает, что народ смертен и уничтожим. И не потому, что исчерпал заложенные в нем генетические силы или утратил смысл своего развития, а вследствие того, что ему были нанесены сокрушительные и незалечиваемые раны. Не только фашизмом, но прежде всего своими — той тоталитарной машиной, которая без совета и счета губила русского мужика или ставила его на колени в годы революции, коллективизации и войны.

<sup>15</sup> Одинокого человека обступают сонмы святых: Неспешная беседа с Валентином Курбатовым // Юность. 1994. № 4. С. 15.

<sup>16</sup> Берберова Н. Курсив мой // Вопросы литературы. 1988. № 9. С. 230.

<sup>17</sup> Астафьев В. «Есть за что нам пороть друг друга...» // Вечерняя Москва. 1994. 17 окт.



Народ в романе «Прокляты и убиты» не является героем. Он — покинутый Богом, униженный страдалец, вынужденный воевать между двух страшных сил. Он, в меру своих слабых человеческих возможностей, совершает свою черную солдатскую работу, пытаясь выжить в том крошечном аду, куда его кинула судьба, рок, чужая, недоступная его пониманию воля. Высокие понятия «доблесть», «подвиг», «героизм» не соотносимы с изображенными в романе событиями. Вместо ожидаемой традиции Л. Толстого обнаруживается западная традиция писателей «потерянного поколения» — Хемингуэя, Ремарка.

Народ у Астафьева не монолитная грозная сила, а сложное разноликое единство, в полной мере одаренное и добрыми человеческими свойствами, и мерзкими пороками. Оно существует на войне между призрачной надеждой на Бога и справедливостью и реальной верой в силу родной земли, которая являлась порой единственной спасительницей солдата.

Несмотря на то что концепция Астафьева заявлена с максималистских позиций, она ни в коей мере не является данью времени, сложившейся ситуации, она выстрадана всей человеческой и писательской судьбой автора, болью за тот народ, частицей которого он всегда себя ощущает. «Я бы и рад оторваться от него, — говорит писатель, — да не получается — народ-то этот во мне, и я в нем, и крестили нас с соседом в одной церкви, пусть и сведенной с земли большевиками, и горе одно мыкали и мыкаем, и погибали на войне вместе, и о спасении себя и России молиться нам вместе...»<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Там же.

## К. М. СИМОНОВ. ПИСЬМО К РОДИТЕЛЯМ

(ПУБЛИКАЦИЯ Н. А. ПРОЗОРОВОЙ)

В 1974 году в Рукописном отделе Пушкинского Дома (Институт русской литературы) работала над материалами М. В. Матюшина искусствовед Лариса Алексеевна Жадова (1927—1981), жена К. М. Симонова.

Со старейшими сотрудниками института у нее сложились дружеские отношения. Через нее Марфа Ивановна Малова, в то время Ученый хранитель Рукописного отдела, обратилась к Константину Михайловичу с просьбой о передаче в архив его рукописных материалов военного периода. 6 марта 1975 года Симонов написал Марфе Ивановне:

«Дорогая товарищ Малова! Я бы с большой охотой откликнулся на Ваше предложение, но проверил состояние своего архива и обнаружил, что никаких дневников, блокнотов, стихотворений, очерков и т. д. и т. п., сохранившихся с дней войны, у меня нет. Все, что сохранилось, — я отдал в ЦГАЛИ, за исключением нескольких блокнотов, которые еще раньше того, очень давно оказались в Литературном музее.

Если говорить о войне, то единственное, что я могу предложить Вашему вниманию, — это найденные мною недавно, после смерти матери, письма к родителям, и среди этих писем я нашел одно, отчасти написанное от руки, отчасти продиктованное и перепечатанное на машинке, которое носит характер полусерьезного-полушутливого отчета о том, что я делал на фронте и в Москве в течение осени 1941 года.

Я снял с этого письма копию, которую посылаю Вам. Если Вам покажется, что это письмо для Вас интересно, я с охотой пришлю подлинник».<sup>1</sup>

М. И. Малова ответила согласием, и 3 апреля 1975 года литературный секретарь Симонова Нина Павловна Гордон прислала в архив подлинник письма. Так появилось в собрании Рукописного отдела наполненное сыновней теплотой и юмором письмо молодого, 26-летнего Симонова.

Несколько позже, в октябре 1975 года, находясь в Ленинграде, Симонов побывал в Пушкинском Доме. Принимавшие его сотрудницы Рукописного отдела Б. Н. Капелюш и Г. Г. Полякова с большой теплотой вспоминают об этой встрече. Восхищенный богатством литературного архива, Константин Михайлович оставил в Книге отзывов посетителей и экскурсантов следующую запись: «С чувством стыда — за то, что нахожусь здесь впервые, и с чувством признательности за то, что меня все-таки пустили сюда, ухожу отсюда полный благодарности к работающим здесь людям. И надеясь на новые встречи. 7/Х 1975 г. Константин Симонов».<sup>2</sup>

В первые месяцы Великой Отечественной войны Симонов был назначен корреспондентом газеты «Красная звезда» по ходатайству ее редактора Давида Иосифовича Ортенберга, знакомство с которым состоялось еще на Халхин-Голе.

«Нам, в редакции, нравились суровые мужественно-сдержанные военные очерки Симонова, — вспоминал Ортенберг. — Но в особенности в редакции любили Симонова за безотказность и смелость. Симонов был одним из тех, кого редакция бросала с одного самого трудного и острого участка на другой».<sup>3</sup> Так оно в действительности и было: едва вернувшись в сентябре 1941 года из Крыма и сдав последний очерк в газету, Симонов был командирован вместе с фотокорреспондентом М. С. Бернштейном на Мурманский фронт, где принимали участие в боях английские летчики.

Отправляясь в поездку 1 октября 1941 года и оставляя родителей — мать Александру Леонидовну и отчима Александра Ивановича Иванишевых в Москве, в канун наступления немцев, Симонов не знал, что его командировка продлится не одну-две недели, как предполагалось, а гораздо дольше, и родители в его отсутствие будут эвакуированы в Свердловск. Вернувшись из Заполярья в начале декабря, Симонов на несколько дней поселился в редакции, а затем был отправлен на Юго-Западный фронт: побывал в Рязани, Михайлове, под Богородицком. Позже были командировки в Калинин, Тулу, под Калугу, а 30 декабря Симонов вылетел в Крым. По возвращении из Крыма, в середине января, Симонов начал работу над пьесой «Русские люди». Именно в это время он и послал родителям в Свердловск своеобразный отчет о своей жизни — письмо в шутовском тоне, который, как он считал, «действовал на них успокаивающе».

Милые мои старики! Сейчас нахожусь в Москве. Получил отпуск на 20 дней для написания пьесы.<sup>1</sup> Это после Крыма. Сажу в Москве. Сажу, пишу день и ночь, так как срок жесткий, а все ж таки устал. Вот здесь посылаю Вам то, что делал за эти месяцы. Простите, что не писал, а стенографировал.

Итак, повергает к Вашим стопам родительским отчет о своих деяниях сын Ваш и слуга покорный.

<sup>1</sup> ИРЛИ. Р. 1. Оп. 25. Ед. хр. 446. Л. 1.

<sup>2</sup> Там же. Книга отзывов посетителей и экскурсантов за 1973—1980 годы. Л. 31.

<sup>3</sup> Ортенберг Д. Время не властно. М., 1975. С. 168.

1-го октября. Выехал он, бишь, вылетел из града Москвы во град Мурманск. Четверо суток сидел на аэродроме в Вологде<sup>2</sup> по причине плохой погоды, а также зеленого змия, близким знакомством с которым, увы, страдал летчик.

5-го числа благополучно прибыл во град Архангельск, где смотрел пиесу свою «Парень из нашего города»<sup>3</sup> и, при помощи большого нахальства, пил водку и чай у режиссера, а также спал на его диване без клопов.

6-го числа вылетел во град Мурманск, в каковой прилетел того же числа под звуки энергичной бомбежки, каковая, однако, лично ему потерь не нанесла.

В ближайшие дни после этого был у англичан-летчиков, знакомился с их бытом, жизнью и боевой работой на предмет описания оных в газете «Красная звезда», каковое описание было напечатано в последних числах ноября.<sup>4</sup> После чего выехал к нашим летчикам, результатом чего явился очерк: «Истребители истребителей», каковой можете прочесть в упомянутой газете за 10 декабря.<sup>5</sup>

После этого отбыл на Средний и Рыбачий. По дороге подвергался качке и опасности пойти на обед к рыбам, но вашими родительскими молитвами от оной опасности был избавлен и прибыл благополучно.

Снег пошел еще с 6 декабря. Было зело холодно, каковому обстоятельству несколько противодействовало потребление горячительных напитков, как то: спирта и водки, каковые на этих широтах неизбежно называются «горячими».

На Рыбачьем и Среднем полуостровах имел счастье наблюдать ниже следующие явления по №№

#### № 1

Авиабомбежку, во время коей были немцами разбомблены шерстяные кальсоны и рубашка вашего сына и в дырявом виде заброшены на телеграфные провода. Сын ваш остался цел в силу своей природной чистоплотности, ибо он в это время мылся в бане, а разбомбило предбанник.

#### № 2

Наблюдал северное сияние, каковое хотя и не так красиво, как на картинках в известном произведении Элизе Реклю «Человек и Земля»<sup>6</sup> и в словаре Брокгауза и Эфрона, но все-таки оставляет выгодное впечатление: действительно, северное и, действительно, сияет. Оказывается, Реклю не соврал.

#### № 3

Объездил весь Рыбачий и Средний,<sup>7</sup> включая скалы Муста-Тунати, где сильно достается австрийским горным егерям, каковые, будучи хорошими лыжниками, были присланы сюда специально на сей предмет. Но, как выяснилось, они у себя в Тироле бегали на лыжах в трусиках. Здесь коварный климат этого не позволяет, в связи с чем они недовольны жизнью, тем более что их довольно часто убивают.

## № 4

На том же полуострове Рыбачьем был у Вашего сына, при свете керосиновой лампы, весьма неопытной молодой девицей вырван зуб мудрости, от чего он впоследствии страдал и находился в меланхолии свыше трех суток.

Все эти события, перечисленные под номерами, в основном описаны в очерке «На Рыбачьем и Среднем», напечатанном в ноябре сего года в «Красной звезде».<sup>8</sup>

После возвращения с этих островов сын ваш имел счастье познакомиться с морскими разведчиками, каковые, после их колебаний по поводу того, что он писатель и что может подгадить, все же взяли его с собой в разведку в глубокий тыл немцев, где он с нескрываемым удовольствием лично поджигал немецкие склады с продовольствием и боеприпасами.

Результаты этой операции можно прочесть в той же «Красной звезде», если не ошибаюсь, за 23 ноября.<sup>9</sup>

После этого и нескольких других незначительных поездок сын ваш отправился обратно в Москву. По дороге десять дней болтался затертый во льду на Белом море,<sup>10</sup> где, ввиду израсходования провианта, встречал свой день рождения на пустой желудок, с энтузиазмом поднимая за свое собственное здоровье стакан с хорошо проваренным кипятком.

6 декабря вернулся в Москву, где был тепло встречен редактором, и, в связи с дефицитом братьев-писателей, немедленно опять поехал на фронт, на этот раз на Западный.

С 10 по 16 декабря был на южном участке Западного фронта, о чем можете прочесть его сыновний отчет под названием «Дорога на Запад» за 16 декабря 1941 года.<sup>11</sup> По возвращении, на следующий день полетел в Калинин, о чем была написана статья, быть может, не очень хорошая, но зато своевременная.<sup>12</sup> После чего через два дня поехал под Калугу, где и был до 28-го. Об этом можете прочесть длинный-предлинный очерк «Июнь-декабрь», напечатанный 31/ХІІ-41 г. в той же «Красной звезде».

30-го вылетел в Крым.<sup>13</sup> По дороге нос и щеки вашего отпрыска приобрели неожиданно фиолетовый оттенок, т. е., в просторечье, были отморожены. От этого неэстетического цвета удалось избавиться только спустив старую шкуру и отрастив новую, что заняло около 10 дней времени.

В середине января вернулся в Москву, а результатом поездки явились два очерка за 9 и 10 января 1942 года под названием «Письма из Крыма».<sup>14</sup> После чего некоторое время занимался работой для газеты. Советую посмотреть плоды ее в рассказе «Третий адъютант», напечатанном 13 или 14 января.<sup>15</sup>

С сегодняшнего дня, а именно с 21/І-42 сыну вашему дан двадцатидневный отпуск для написания военной пьесы. По использовании этого отпуска сын ваш предполагает отправиться опять на крайний Юг. Впрочем, сие зависит также и от желания редактора.

Вот, кажется, и все вкратце обстоятельства жизни вашего дитяти за отчетный период. Засим буду продолжать письмо от руки, как подобает почтительному сыну своих родителей.

Числа десятого уеду снова на фронт, очевидно, на южный на месяц-полтора. Потом подумаем о свидании. Не думайте срываться с места. Живите там. А я постараюсь как-нибудь все-таки прилететь.

Крепко вас целую, милые мои и родные старики.

Ваш сын Кирилл.

<sup>1</sup> К середине марта 1942 года Симонов написал пьесу «Русские люди», отметив в своем дневнике: «Должно быть, я быстро написал эту пьесу потому, что начал писать ее не в тот день, когда стал диктовать стенографистке, а в тот день, когда я попал на войну» (Симонов К. М. «Разные дни войны». Дневник писателя. М., 1977. Т. 2. С. 42).

<sup>2</sup> О пребывании в эти дни в Вологде у Симонова остались хорошие воспоминания. «Именно там, в этой поездке, у меня родилось первое ощущение севера, — писал он в дневнике, — которое потом без изменения повторилось и в Архангельске. Там, в Вологде, я написал первые строфы стихотворения „В деревянном домотканном городке“ ...» (Симонов К. М. «Разные дни войны». Дневник писателя. Т. 1. С. 396—397).

<sup>3</sup> Пьеса «Парень из нашего города» шла в 1941 году в Архангельском и Вологодском областном драматических театрах. В середине ноября 1941 года премьера этой пьесы состоялась в Мурманском театре, на ней присутствовал Симонов.

<sup>4</sup> Имеется в виду очерк «Общий язык» (Красная звезда. 1941. 30 ноября). Симонов вспоминал: «За ночь я написал очерк об англичанах „Общий язык“, а утром, открыв газеты, с огорчением увидел, что в „Известиях“ за 5 октября уже напечатана корреспонденция Селезнева об этих самых англичанах. Корреспонденция, на мой взгляд, была не такая уж хорошая, но так или иначе этот материал на ближайшее время был исчерпан, и я, перечитав свой написанный за ночь очерк, положил его в полевую сумку» (Симонов К. М. «Разные дни войны». Дневник писателя. Т. 1. С. 412).

<sup>5</sup> Очерк «Истребители истребителей» напечатан в «Красной звезде» (1941. 11 дек.).

<sup>6</sup> Реклю Жан Жак Элизе (1830—1905), французский социолог, публицист, составитель всемирной географии «Земля и люди». В письме упоминается его труд «Человек и земля» (СПб., 1906—1909).

<sup>7</sup> Симонов побывал на полуостровах Рыбачьем и Среднем, которые с первых дней войны оказались отрезанными от остального фронта. Он изучил жизнь людей, оказавшихся в осадном положении: был в саперном батальоне, артиллерийском полку, штабе пограничников, встречался с норвежскими партизанами. Артиллеристам Рыбачьего Симонов впервые прочитал еще не напечатанное стихотворение «Жди меня».

<sup>8</sup> Очерк «На Рыбачьем и Среднем полуостровах» напечатан в «Красной звезде» (1941. 15 ноября).

<sup>9</sup> Имеется в виду очерк «В разведке» (Красная звезда. 1941. 23 ноября).

<sup>10</sup> Не желая волновать своих родителей, Симонов описывает морскую поездку в шуточном тоне, тогда как она имела совсем иной, трагический характер. Получив предписание выехать в Москву, Симонов, Г. Зельма, М. С. Бернштейн, добравшись от Мурманска до Кандалакши поездом, сели 15 ноября 1941 года на лесовоз «Спартак». На пятый день после отплытия пароход застрял во льдах. Долго ждали ледокола. На борту было две с половиной тысячи человек, среди них — больные. Начался голод. И только в конце ноября изможденные люди прибыли в Архангельск.

<sup>11</sup> Очерк «Дорога на Запад» напечатан в «Красной звезде» (1941. 17 дек.).

<sup>12</sup> Имеется в виду очерк «Вчера в Калинин» (Красная звезда. 1941. 18 дек.).

<sup>13</sup> В ночь с 30 на 31 декабря Симонов надеялся вылететь к родным в Свердловск, о чем была договоренность с редактором, но Д. И. Ортенберг, получив сообщение о десантной операции в Керчи и Феодосии, изменил свое решение и отправил туда Симонова.

<sup>14</sup> Имеются в виду очерки «Последняя ночь» и «Предатель» (Красная звезда. 1942. 9 и 10 янв.).

<sup>15</sup> Рассказ «Третий адъютант» напечатан в «Красной звезде» (1942. 15 янв.).

**В. А. ШОШИН**

## ПОЭТЫ В БОРЬБЕ ЗА ЛЕНИНГРАД

Значительным явлением в литературно-общественной жизни страны стала научная конференция, проведенная в городе на Неве навстречу 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Заботливо организованная Министерством культуры Ленинградской области, Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, Областным музейным центром, администрацией Кировского района Ленинградской области, она обогатила аудиторию целым рядом интересных материалов.

Тема конференции «Новые исследования по истории битвы за Ленинград. 1941—1945 гг.» вызвала к жизни исключительно содержательные

доклады — «Битва за Ленинград и ее изучение» В. М. Ковальчука, «Упреждающий удар» К. К. Крупницы, «Немецкие историки о Ленинградской битве 1941—1944 гг.» А. П. Крюковских, «Факты и проблемы Кингисеппского подполья. 1941—1944 гг.» В. В. Абрамова и др. В докладах доктора ист. наук В. М. Ковальчука, канд. ист. наук В. В. Абрамова и других выступлениях звучал протест против абсолютизации темы трагизма, фактической замены ею темы героизма.

Мысль собравшихся логично обратилась к духовной жизни осажденного города, к духовным истокам его героизма. Вслед за именами маршалов Г. К. Жукова и Л. А. Говорова в зале не могли не прозвучать дорогие всем блокадникам имена Анны Ахматовой и Ольги Берггольц. Обеспокоенность фронтовиков на конференции участвовавшими и целенаправленными попытками дегероизации нашей истории побуждает пристальнее обратиться к теме блокады и в литературном плане. Нет, патриотизм не навязывался нам «свыше» — о том еще раз свидетельствует, например, признание Вс. Рождественского в письме 1942 года: «Я русский человек и горячо люблю землю, родившую меня, но только теперь это чудесное слово „Родина“ могу ощупать руками, взвесить на тяжесть, ощутить со всей теплотой жизни, заключенной в нем, — как собственного своего ребенка».<sup>1</sup>

В наши дни переоценки ценностей для получения верных выводов необходимо иметь полную картину анализируемого. Однако и поныне литература Великой Отечественной войны, в частности поэзия блокадного Ленинграда, предстает перед нами в теоретических трудах, пособиях и антологиях в урезанном виде. Об этом тоже говорилось на конференции, и эту тему следует продолжить.

Поэзия Великой Отечественной войны принадлежит истории. Но вместе с тем она продолжает жить в сознании последующих поколений. В ее широкой панораме возможны, оказывается, новые открытия. Шли годы, казалось, все всем уже известно, но вот в строй произведений о Ленинградской блокаде встали стихи Юрия Воронова. И ныне уже трудно представить себе лирику блокадного города без его строк.

Событием в литературно-общественной жизни явилось издание в 1965 году в Ленинграде сборника стихов «Победа». В предисловии Н. Тихонов писал: «В сборник вошли произведения русских советских поэтов — участников обороны Ленинграда, свидетелей жизни города и фронта, старых и молодых, широкоизвестных и начинающих. Включены стихи поэтов, которые мальчиками пережили блокадные годы и позже написали стихи-воспоминания о пережитом в ранней юности». Составители сборника включили в него, помимо стихов ленинградцев, также стихи поэтов, приехавших из других городов и оказавшихся свидетелями героизма Ленинграда, например написанную в 1942 году «Весну в Ленинграде» М. Алигер. Несомненной заслугой составителей сборника явилась публикация в нем стихов тех поэтов, которые, как писал Н. Тихонов, «занимались в первую очередь боевыми своими обязанностями», — красноармейца и фронтового поэта Полины Кагановой, бывшего командира стрелкового полка Владимира Грошикова и др.

Продолжая представлять сборник читателю, Н. Тихонов писал также: «Много в этом сборнике фронтовых поэтов — всех нельзя перечислить, но читать их надо всех, потому что у каждого есть какая-то своя, особая черточка, особое дыхание, особое восприятие действительности». Читать

<sup>1</sup> Личный архив В. Б. Азарова.

надо всех... И время потребовало расширить круг чтения. «Поэты в боях за город Ленина» — с таким подзаголовком вышел в 1985 году сборник стихов «За тебя, Ленинград!». По сравнению со сборником «Победа» авторский состав был значительно расширен. В него по праву вошли поэт-танкист Анатолий Аквилев, поэт-летчик Игорь Каберов, поэт-партизан Иван Антонов, фронтовики Владимир Алексеев, Павел Булушев, Анатолий Бухвалов, Виктор Круглов, Георгий Некрасов, Надежда Полякова и др. И дело не только в необходимости восстановить справедливость, в том, что «никто не забыт и ничто не забыто», но и в том, что «читать их надо всех, потому что у каждого есть какая-то своя, особая черточка, особое дыхание...»

К сожалению, и антология 1985 года оказалась неполной. В ней нет, например, стихов Мэри Рид. Между тем приехавшая в СССР еще в 1928 году как в страну своей мечты американская коммунистка была одним из действенных поэтов Ленинградской блокады. Она писала стихи, очерки, рассказы, за рубежом публиковали ее статьи, она переводила на английский язык стихи Ольги Берггольц, благодаря ей голос Ленинграда явственнее слышали и в Англии, и в Соединенных Штатах. Ее сын погиб как рядовой труженик города Ленина, ее судьба также была драматична, но продолжают жить ее патриотические — во славу ее второй родины! — стихи, и наш долг сделать так, чтобы ее голос был услышан.

К 50-летию Победы вышла книга стихов Александра Соколовского «С высокого берега». Рекомендую ее читателям, известный поэт Семен Ботвинник отмечает точность мысли автора, точность деталей, описаний фронтового быта. Восемнадцатилетним курсантом Военно-морской медицинской академии Александр Соколовский ушел на войну. За его плечами оборона Ленинграда, ранение в величайшей Сталинградской битве... Судьба его сложилась так, что он не оставил военную службу, не ушел целиком в творчество, как сделали многие представители фронтового поколения, ставшие вскоре известными поэтами. И стихов фронтовика-ленинградца нет ни в «Победе», ни в сборнике «За тебя, Ленинград!».

За отдельными судьбами встает вопрос принципиальный — на послефронтовой переключке нет еще полного и должного порядка. Брестская крепость-герой стала олицетворением мужества и героизма, однако достоянием истории литературы не стал еще тот факт, что первые стихи о защите Брестской крепости сложил Михаил Петров, который свои юношеские произведения опубликовал в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины», а в июне 1941 года встретил врага в рядах героев Брестской твердыни. В городе Новая Ладога есть ныне музей поэта-фронтовика Михайла Петрова, но упоминается ли его имя среди тех поэтов, которые первыми приняли на себя самый страшный удар врага?

От 50-летия Победы немного остается времени и до 300-летия города на Неве. С новой силой грядущие поколения поймут, как любили наш город во время Великой Отечественной войны, как самоотверженно сражались за него. Защищая Ленинград, поэт Эдуард Асадов командовал батареей гвардейских минометов, однако в ленинградских антологиях нет даже упоминания Асадова, а вот его стихотворение «Ленинграду» и сегодня звучит как полемический ответ некоторым высказываниям В. Астафьева и его сторонников:

Было нам всяко: и горько, и сложно,  
Мы знали: можно, на кочках скользья,  
Сгинуть в болоте, замерзнуть можно,

Свалиться под пулей, отчаяться можно,  
Можно и то, и другое можно,  
И лишь Ленинграда отдать нельзя!<sup>2</sup>

В историю поэзии Великой Отечественной войны должен войти и В. А. Мануйлов не только как литературовед и хранитель Пушкинского Дома, но и как автор интересных стихов, воссоздающих блокадные будни. Не стали профессиональными поэтами медсестра Яна Часова, ветераны армии К. Шевелев, В. Шермушенко, Н. Ширяев, но и их мы должны видеть в антологии ленинградской поэзии — ведь в нее широкой волной поистине вливалось творчество народа.

Пушкинский Дом должен внести свой вклад в историю блокады материалами своего Рукописного отдела, хранящего письма фронтовиков к М. Дудину, письма Н. Тихонова И. Демьянову, архивы Н. Тихонова, А. Прокофьева, Л. Поповой, Е. Вечтомовой, Н. Грудининой. А вот еще аспект темы: Юрий Воронов опубликовал статью о поэтах — детях блокады, и оказывается, что их не так мало: Анатолий Ушаков, Игорь Воронцов, Ефим Медведовский, Роберт Лейнонен, Владимир Двали. Но обобщен ли этот материал? Да он и не собран.

Принципиальное — особенно в наше время суверенизаций — политическое значение имеет то, что ленинградская симфония борьбы и победы не только многозвучна, она и многоязыка. В боях за Ленинград участвовали поэты многих братских народов — бурят Данри Хилтухин, таджик Хабиб Юсуфи, мариец Семен Вишневский, украинцы Юрий Андрущенко и Борислав Степанюк, армянин Даниэл Арутюнян, эвенк Павел Алексеев, казах Сырбай Мауленов, белорус Микола Аврамчик, карел Николай Лайне, латыши Андрей Балодис, Анатолий Имерманис, Валдис Лукс, эстонец Ральф Парве. Может быть, для прояснения грядущих межнациональных отношений нелишне вспомнить, что в сражающемся Ленинграде поэты Прибалтики видели оплот своего сопротивления германской экспансии. Валдис Лукс писал тогда в «Ленинградском дневнике», что вместе с другими бойцами хранил имя города Ленина как уголь пылающий в сердце.

Ленинградская поэзия военных лет «многолюднее», чем мы до сих пор привыкли ее себе представлять. Особую — и замечательную! — и все еще полностью не раскрытую страницу в летописи блокадного Ленинграда составляет творчество финского поэта Армаса Эйкия. Если мы говорим о помощи Ленинграду борьбы партизан Псковщины и Новгородчины, то мы должны помнить и «Песню ленинградских партизан» псковича Ивана Виноградова, его соратников по борьбе Игоря Григорьева и Льва Малякова. В ленинградской антологии должны найти себе место и стихи ушедшего на фронт добровольцем Льва Рахмилевича, погибшего в 1942 году аспиранта Эрмитажа Григория Птицына, жителя блокадного Ленинграда Александра Андреева.

Проблематика поэзии Ленинградской блокады еще ждет своих исследователей. Думается, что привлечь внимание к ней сейчас своевременно и необходимо. Редуют ряды ветеранов, а живые свидетельства современников не могут не сохранять своего непреходящего значения. Тема Великой Отечественной войны в связи с ее 50-летием приобретает второе дыхание, в наших силах и интересах сообщить ей и вторую молодость.

<sup>2</sup> Асадов Э. Сражаюсь, верую, люблю! М., 1983. С. 207.



# ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

В. С. Киселев-Сергенин

## ПО СТАРОМУ СЛЕДУ\*

(О БАЛЛАДЕ Е. РОСТОПЧИНОЙ «НАСИЛЬНЫЙ БРАК»<sup>1</sup>)

### 1

Московский почт-директор А. Я. Булгаков, как никто в России, был, пожалуй, самым осведомленным человеком — он знал все про всех. Сама должность его и ненасытное любопытство доставляли ему необъятную информацию об официальной и частной жизни современников, причем обычно сведения его были совсем свежие, подчас добытые из-под покровов тщательно оберегаемого секрета.

Неудивительно, что в письме к сыну Павлу от 26 января 1847 года Александр Яковлевич сообщил сенсационную петербургскую новость, касавшуюся их общей знакомой — известной писательницы графини Е. П. Ростопчиной. В неудобочитаемой скорописи А. Я. Булгакова удалось разобрать, кажется, самые важные строки: «Вы, верно, получаете, а ты читаешь „Северную пчелу“. Заметил ли ты в № 284 от 17 декабря стихи графини Ростопчиной, о коих теперь только и разговор, — рыцарская баллада „Насильный брак“. Это вышла аллегория, которую все разгадали: муж — это Россия, а жена — Польша. В Петербурге тотчас поняли мысль этих стихов, а на дверях лавки, где депо Булгарина,<sup>2</sup> написано большими буквами: „Завтра будут сечь Булгарина“. Ни его, ни Ростопчину, конечно, не высекут, но ей так это не сойдет. Умная, милая и даровитая, добрая женщина, а все глупости делает и всех ополчает против себя. Ну, что ей мешаться в политику. Пела бы себе да восхваляла Италию.<sup>3</sup> Я полагаю, что у ей, верно, любовником теперь какой-нибудь человек из полонифилов. Энтузиаст ляховский».<sup>4</sup>

Московский почт-директор слишком преувеличил сметливость петербургской публики. Злополучный номер «Северной пчелы» вышел 17 декабря 1846 года, а узнал А. Я. Булгаков об этом происшествии спустя по крайней мере две недели.

В статье «Поэтесса и царь», посвященной небывалому общественному резонансу, вызванному балладой Ростопчиной и расследованием факта ее публикации III Отделением, привлеченные мной архивные материалы позволили установить, что жандармское ведомство вплотную занялось этим делом только 4 января 1847 года.

Прав оказался А. Я. Булгаков в другом: Ростопчина действительно поплатилась за свое стихотворение — она навсегда стала лицом, ненавистным Николаю I. Вскоре после возвращения писательницы из-за границы в сентябре 1847 года в Петербург ей дали понять, что доступ ко двору для нее закрыт, а в столице империи

---

\* Владимир Сергеевич Киселев (1928—1995) уже не увидел в печати эту статью. Почти сорок лет он отдал служению филологической науке, 35 из них посвящены изданию серии «Библиотека поэта», где проявились его талант исследователя, тонкий вкус, большой опыт и глубокие знания. Его собственные научные интересы были связаны с русской литературой первой половины XIX века.

<sup>1</sup> См.: Киселев В. Поэтесса и царь (страница истории русской поэзии 40-х годов) // Русская литература. 1965. № 1. С. 144—156.

<sup>2</sup> Депо — здесь в значении: местопребывание.

<sup>3</sup> Ростопчина в это время находилась в Италии, откуда она прислала Булгарину для публикации в «Северной пчеле» подборку своих заграничных стихотворений, среди которых находился и «Насильный брак».

<sup>4</sup> Рукописный отдел РГБ. Ф. 41 (А. Я. Булгакова). № 39/25. Л. 14, об.

она — персона нон грата. Царская опала на долгие годы принудила графиню, вопреки ее планам, обосноваться в Москве.

Что касается предположения Булгакова о мотивах написания стихотворения, то оно — чистейший домысел. Даже от такого всеведущего человека, кстати, хорошо знавшего Ростопчину, по-видимому, укрылся факт тайного и довольно продолжительного романа ее с А. Н. Карамзиным, сыном знаменитого историка и писателя. В 1846 году он женился во время заграничного путешествия на А. К. Шернваль-Демидовой. Ростопчина была глубоко ранена этой новостью.<sup>5</sup>

Историю происхождения баллады рассказывает Н. В. Берг, частый посетитель московского салона Ростопчиной и ее друг. Знакомство с этим рассказом позволяет наглядно представить, как и почему возникло знаменитое стихотворение, написанное, согласно авторской помете в рукописи, «дорогою между Краковом и Веною».<sup>6</sup>

В сентябре 1845 года семейство Ростопчиных отправилось в заграничное путешествие. Конечно, только со слов графини Берг мог поведать следующий примечательный эпизод этого вояжа:

«Ехали через Польшу в коляске. Хорошая погода позволяла обозревать край на значительное пространство: эти цветущие поля, эти красивые фольварки, это улучшенное сравнительно с нашим сельское хозяйство, в общем и в деталях.

— Чего еще им надо? — ворчал граф. — Живут лучше нашего, всего у них вдоволь, а все не сидится спокойно, все бунтуют! Чего стоит нам этот проклятый край, с тех пор как приобретен! Я бы, на месте государя, бросил его на съедение немцам, и конец!

Всю дорогу он выражал свое неудовольствие против поляков, попросту сказать: ругался...

Графиня, по обычаю своему, возражала тихо и деликатно (...) зная по опыту, что возражения другого характера, более серьезные и жесткие, только подольют масла в огонь: граф еще пуще станет брюзжать и ругаться.

Графиня (...) в мыслях своих нисколько не соглашалась с мужем. Польша представлялась ей в ином освещении: она жалела поляков, лишенных свободы, самостоятельности, отечества, вечно страдающих, вечно недовольных... как поэт, она стала думать под конец стихами и привезла их с собою в Рим».<sup>7</sup>

Сообщение Берга полностью подтверждается соответствующей дневниковой записью самой поэтессы, которую привела в своем мемуарном очерке ее младшая дочь Лидия Ростопчина.

Запись, процитированная Л. А. Ростопчиной, имеет помету: «Белград, вторник, 18(30) сентября 1845 года».<sup>8</sup> Она гласит: «...сожалею о Польше, униженной, поработанной, уничтоженной... Печать глубокого уныния лежит на этом крае, на вид богатом, цветущем и хорошо обработанном. Но благоденствие не может заманить ему свободу, утраченную национальность и военные подвиги прошлого. Эта страна мне напомнила женщину в богатом наряде, живущую среди роскоши. Находясь под властью грубого мужа, она тяготится своим рабством, втайне оплакивая свое богатство».<sup>9</sup>

<sup>5</sup> Об этом романе см. мою статью «Тайна графини Е. П. Ростопчиной» (Нева. 1994. № 9. С. 267—284).

<sup>6</sup> Рукописный отдел ИРЛИ. 28466/ССПБ 138.

<sup>7</sup> Берг Н. В. Графиня Ростопчина в Москве // Исторический вестник. 1893. № 3. Март. С. 692—693.

<sup>8</sup> Имеется в виду польский городок Белгорай (Билгорай), находившийся в Люблинском воеводстве; от него шла дорога на Краков, куда ехали Ростопчины.

<sup>9</sup> Ростопчина Л. Семейная хроника (1812 год) / Перевод А. Ф. Гретман. М., 1912. С. 191—192. То же во французском издании: *Rostopchine L. Les Rostopchines (Chronique de famille)*. Paris, 1905. P. 174.

Как это уже не раз бывало с Ростопчиной, личная тема переплеталась у нее с темой социально-политического масштаба, причем это переплетение в данном случае было внушено самой реальностью.

С одной стороны, застарелая и глубокая неприязнь к мужу, к его нравственному облику и банальному образу мыслей, с другой — всегда присущее Ростопчиной горячее сострадание к любой человеческой беде вылились в замысел баллады, которой суждено было стать на десятилетие едва ли не самым популярным произведением русской музыки. Стихотворение выразило протест Ростопчиной против «насильного брака» с деспотичным нелюбимым мужем, хотя этот автобиографический мотив внешним образом расходился с фактами: к согласию на брак с графом поэтесса пришла сама, правда, не без усиленной агитации родни. Вскоре, узнав своего спутника жизни, она стала оценивать свое замужество как насилие над собой. Об этом недвусмысленно говорится в другой ее балладе — «Песни трувера» (июнь 1839).

Содержание обеих баллад в соответствии с распространенной традицией было приурочено к эпохе рыцарского средневековья. Кстати говоря, подобная же художественная проекция свойственна еще трем произведениям Ростопчиной: «Раздумье рыцаря» (1839), «Рыцарский пир» (1841) и поэма «Любовь в Испании» (1839). Все перечисленные произведения также объединяет иносказательный автобиографический смысл: речь в них идет о тайной любви поэтессы к Андрею Николаевичу Карамзину.

В стихотворении «Песни трувера» изображается печаль прекрасной дочери феодала, просватанной за немилую старого барона (тоже барона!), тогда как сердце ее алчет настоящей любви и счастья (стихотворение было написано уже в пору начавшегося романа с А. Карамзиным).

Таким образом, «Насильный брак» в чисто автобиографическом плане явился как бы продолжением «Песен трувера». Несчастливая невеста здесь стала уже страдающей женой, изнывающей под властью супруга-барона, против насилия которого она негодует и который за непокорный нрав предает ее суду вассалов, наподобие того как это происходит в поэме Байрона «Паризина».

Баллада «Насильный брак» в первой своей части строится как обвинительная речь барона, взывающая к вассалам, а вторая ее половина представляет собой ответ жены, в свою очередь обвиняющей мужа в притеснениях и жестокости.

Интимная тема «Насильного брака» и послужила дымовой завесой ее политического смысла. Она-то и усыпила бдительность прожженного литературного дельца Н. И. Греча, издававшего в то время совместно с Ф. В. Булгариным «Северную пчелу».

В своем покаянном письме на имя шефа жандармов графа А. Ф. Орлова Греч писал: «Балладу о бароне и его жене принял я по прямому ее смыслу, как сказку феодального времени, и, признаюсь, полагаю, что сочинительница, живя врозь со своим мужем, описывает в ней собственную участь. Но ни я, ни Ф. В. Булгарин, ни г. тайный советник Мусин-Пушкин, ни один из членов Цензурного комитета не находили в сих стихах ни малейшей аллегории или намеков на что бы то ни было».<sup>10</sup>

Так же думал и цензор А. В. Никитенко. В дневниковой записи от 5 января 1847 года он следующим образом отреагировал на этот казус: «И цензура и публика сначала поняли так, что графиня Ростопчина говорит о своих собственных отношениях к мужу, которые, как всем известно, неприязненны. Удивляюсь только смелости, с какою она отдала на суд публике свои семейные дела, и тому, что связалась с „Северной пчелою”».<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Русская литература. 1965. № 1. С. 148.

<sup>11</sup> Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. С. 299.

Как видим, неблагоприятие семейных отношений поэтессы не было секретом даже для столь далеких от ее окружения лиц, каковы Греч и Никитенко.

Тем более знали об этом такие чиновники-аристократы, как граф С. С. Уваров и М. П. Мусин-Пушкин, в руках которых находилась судьба отечественной прессы вообще. Но тема семейной распри, как видно, также отвела им глаза. Об их причастности к публикации баллады мы узнаем из купированных (тоже цензурой!) строк заметки в журнале «Русская старина»,<sup>12</sup> в которой излагаются обстоятельства появления «Насильного брака» в «Северной пчеле» и воспроизводится само стихотворение. Цензором «Северной пчелы» был тогда А. И. Фрейганг, человек в высшей степени осторожный и придирчивый. «Такой чуткий и умный цензор, — говорилось в вычеркнутом месте заметки, — не мог, конечно, прозевать „Насильный брак” — и между тем № 284 „Северной пчелы” скреплен 16 декабря подписью А. Фрейганга.<sup>13</sup> Вот как это случилось.

„Насильный брак” был представлен на его (Фрейганга) одобрение в рукописи в числе многих других стихотворений графини Ростопчиной за два месяца до появления их в „Северной пчеле”. Цензор пропустил стихи по докладу тогдашнему попечителю С.-Петербургского учебного округа и председателю цензурного комитета М. Н. Мусину-Пушкину». Но на этом дело не кончилось.

«В ночь на 16 декабря (1846 года) цензор был занят большой цензурной работой, данной ему самим министром народного просвещения С. С. Уваровым. Утром, готовясь отвезти ее министру, Фрейганг получил корректуру „Насильного брака”. Чуткое ухо цензора тотчас услышало в этих „сладких”, по выражению „Пчелы”, звуках что-то неладное. Он захватил с собой корректуру, доложил кстат министр и тот, не поняв или сделав вид, что не понял настоящего смысла баллады, разрешил ее пропустить».<sup>14</sup>

Таким образом, то, что один аллюзионный план в балладе прикрывал второй — политический, где обе страны были олицетворены в разнополюх персонажах-антагонистах<sup>15</sup> — страдающей под игом насилия жене барона (Польша) и тиранствующем над нею муже (императорская Россия), и позволило стихотворению миновать цензурные заслоны.

Двойной иносказательный смысл стихотворения — явление беспрецедентное в русской вольной поэзии. В этом его художественная оригинальность, и в этом же причина небывалого общественного резонанса стихотворения, который оно вызвало в самых разных слоях публики — от записных литераторов и обыкновенных читателей до чиновников и вельможных сановников. Значительная часть тиража газеты была конфискована властями, но произведение Ростопчиной в бесчисленных списках разошлось по всей России. Не случайно баллада послужила предметом стихотворных откликов, принадлежавших лицам, даже не причастным к литературе, но глубоко задетым сокровенным смыслом «Насильного брака».

<sup>12</sup> Булгарины В. Ф. и Б. Ф. Насильный брак, рыцарская баллада // Русская старина. 1872. Т. 5. Февраль. С. 296.

<sup>13</sup> Не только Фрейганга, но и А. Очкина.

<sup>14</sup> ИРЛИ. Архив «Русской старины». Ф. 265. Оп. 2. № 2423.

<sup>15</sup> Последнее обстоятельство — то, что названия обеих стран грамматически принадлежали к женскому роду, также сыграло роль отвлекающего фактора. А. И. Герцен был неточен, когда, поясняя смысл баллады в «Полярной звезде» 1856 года, писал, что «Насильный брак» «превосходно представил Николая и Польшу» (Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957. Т. 12. С. 457). В балладе есть слова, которые мог сказать в адрес Польши только Александр I, а не его брат. Александр не «судил» Польшу, даже сохранил в ней конституцию.

## 2

Бывший жандарм Э. И. Стогов в своих записках утверждал, что «первый обратил внимание и понял балладу государь Николай Павлович». Но тут же он поспешил добавить: «...вероятно, кто-нибудь прислужился».<sup>16</sup>

Это указание в сущности ничего не разъясняет. Когда и кто раскрыл политический подтекст баллады — вот вопрос, на который нет ответа и по сей день. В статье «Поэтесса и царь» приводилось замечание Н. В. Берга, будто крамольное содержание баллады стало известно в Петербурге «после разъяснения стихотворения в какой-то французской газете».<sup>17</sup>

Между тем прозрачные намеки на истинный смысл баллады появились, как удалось установить, в отечественной печати.

В № 1 газеты «Иллюстрация» от 4 января 1847 года была помещена анонимная заметка «„Северная пчела” и поэт неизвестного пола и звания», которую нельзя расценить иначе, чем полуприкрытый донос.

Автор заметки прежде всего саркастически излагает велеречивое рекламное примечание Булгарина к публикации пяти стихотворений поэта, пожелавшего остаться инкогнито. Интригуя читателей, Булгарин писал, что не хочет даже сообщать о поле и звании поэта, имя которого не нуждается в рекомендациях.

Висмеяв мнение Булгарина, что талант автора стихотворений дает ему место подле имен Пушкина, Крылова, Грибоедова и Жуковского, критик «Иллюстрации» приступает к рассмотрению самих стихотворений.

Вначале предметом придирчивого разбора стало стихотворение «Любовник и моряк», где в вину автору ставятся бедные рифмы: «меня — я» и будто бы бессмысленное выражение «Пучина дивная, пленяешь ты меня». Затем из стихотворения извлекаются строки с явно коварным умыслом напомнить о скандале со стихотворением В. Гюго «*À une femme*», опубликованным в переводе М. Д. Делярю в 1834 году в «Библиотеке для чтения».

И мнится — если бы царем проснулся я,  
За этот взор, за ласковое слово  
И трон и власть отдать душа была готова!

*Festina lente! Festina lente!*<sup>18</sup> И мы помним Виктора Гюго, — восклицает критик «Иллюстрации», — „*Enfant, si j'étais roi*” etc., etc.».<sup>19</sup> В свое время перевод названного стихотворения Гюго вызвал негодование властей за то, что красота женщины была поставлена в стихотворении выше всех земных и небесных владык.<sup>20</sup> Напоминание об этой истории было лишь прелюдией к главному удару. Чтобы намекнуть на потаенный смысл баллады, автор заметки, остерегаясь обвинения в прямом доносительстве, делает вид, что оценивает лишь художественную сторону произведения, в частности ловит поэтессу на несоответствии изображаемого семейного конфликта с тем, какими странными подробностями он обставлен. Претензии якобы чисто литературного свойства предъявлены были уже к первым строкам баллады:

Сбирайтесь слуги и вассалы  
На кроткий господина зов.

<sup>16</sup> Эразм Иванович Стогов, его посмертные записки // Русская старина. 1886. Т. 10. С. 79—80.

<sup>17</sup> Берг Н. В. Указ. соч. С. 694.

<sup>18</sup> Усердный глаз! усердный глаз! (ит.). — *Ред.*

<sup>19</sup> Иллюстрация. 1847. 4 янв. № 1. С. 11. Перевод первой строки стихотворения Гюго «Дитя, был бы я королем...»

<sup>20</sup> См. об этом эпизоде: Бобров Е. Делярю и его перевод из Гюго // Русский филологический вестник. 1905. № 2. С. 188—193.

«Как вам нравятся эти два стиха, особенно второй, — обращается критик к читателям. — Их произносит старый муж молодой жены. Когда собрались слуги и вассалы на кроткий господина зов, означенный старый барон начинает им жаловаться на свою жену, требуя, чтобы они объявили ему, не боясь опалы (...) кто прав: он или жена? Бедный барон уверяет, что он все делает, чтобы угодить ей, но она косо смотрит исподлобья и

Всё непокорна мне она,  
Моя мятежная жена!  
Но недовольна и грустна      С монахом шепчется она,  
Неблагодарная жена.      Моя неверная жена.  
Пусть защищается она,  
Моя преступная жена!!!

(...) Хотя добрый барон с кротким зовом несколько наскучил нам беспрестанным „она” да „жена” (в балладе эти повторы являются эпифорами. — В. К.-С.), но мы все-таки желаем узнать, что она, сия жена (...) приведет в свое оправдание. Она говорит:

.....победил, пленил меня  
Соседей злых набег хищливый... .

В переводе с высокой поэзии на низкую прозу это значит, что муж похитил ее: это, конечно, нехорошо с его стороны, а мы готовы заступиться за бедную жену... Но послушаем, что она скажет дале:

Знаменоваться мне мешает  
Моим наследственным гербом.

Это что значит? Какая крайность заставляет ее знаменоваться своим наследственным гербом, если это мужу неудобно? И какое именно место своей особы желала бы она знаменоваться своим гербом? Если это значит „употребить герб”, то мы должны сказать, что ни один барон на свете не запретит своей жене употребить ее герб, он даже считал бы за стыд иметь супругу, у которой нет герба, гербовой истории (...) Как вам нравятся эти три стиха, — продолжает иронизировать критик, — выписанные из баллады:

И враг ее чтоб не сманил,  
Я сам над ней стою с булатом.

(...) А вот и третий стих, отличающийся необыкновенной легкостью:

Вздувает огонь междоусобья...

Нет! баллада эта не может стать в одном созвездии с балладами Жуковского». <sup>21</sup> Автор заметки, правда, не привел самые рискованные во всей балладе стихи: «Послал он в ссылку, в заточенье Всех верных лучших слуг моих» и «Он говорить мне запрещает на языке моем родном». <sup>22</sup> Но и процитированных и откомментированных им отрывков было достаточно, чтобы заронить подозрение о скрытом смысле стихотворения. За приведенными в «Иллюстрации» строками угадывались реальные факты самодержавного «управления» Польшей. Прежде всего присоединение после поражения наполеоновской Франции к России большей части Польши.

Стих «Вздувает огонь междоусобья» несомненно имел в виду польское восстание 1830—1831 годов, потопленное в крови. Царь-победитель открыто угрожал полякам самыми жестокими репрессиями в случае повторного неповиновения. Он и впрямь «с булатом в руке» удерживал свою власть. Что касается польского госу-

<sup>21</sup> Иллюстрация. 1847. 4 янв. С. 12.

<sup>22</sup> Намек на ссылку в Сибирь и другие места активных участников польского восстания 1830—1831 годов и введение с 1837 года делопроизводства на русском языке.

дарственного герба, то он был упразднен и включен в общий герб Российской империи.

Строка «С монахом шепчется она» намекала на участие в восстании представителей польского духовенства (в автографе она читалась: «И с ксендзом шепчется она»<sup>23</sup>).

Так или иначе, но инсинуация газеты «Иллюстрация» достигла цели: именно 4 января (какое совпадение!) Греч был вызван к шефу жандармов и в тот же день написал ему покаянное письмо, в котором винился в собственной оплошности. «Я никак не мог вообразить, — писал Греч, — чтоб женщина, чтоб русская, носящая имя, озаменованное подвигом самой пламенной любви к отечеству, могла отважиться на подобное дело, не мог подумать, чтоб в числе присланных ею стихотворений скрывалась злоумышленная контрабанда, коварная и вероломная».<sup>24</sup>

Стоит отметить, что одно из наиболее распространенных в списках стихотворений, полемически направленных против «Насильного брака», приписывалось издателю «Иллюстрации» Н. В. Кукольнику, который не был его автором (анонимная заметка в «Иллюстрации» являлась очередной частью продолжавшегося почти в каждом номере газеты фельетона «Драматургия», сочинителя которого Кукольник рекомендовал как своего сотрудника). Но дыма без огня не бывает. Имя Кукольника явно всплыло в связи с враждебным выступлением его газеты против баллады Ростопчиной.

Впрочем, мишенью нападков в «Иллюстрации» стал также и редактор «Северной пчелы», столь комплиментарно отозвавшийся об авторе «Насильного брака» и других стихотворений. Заметку анонимного злопыхателя резюмировали слова: «Из отзыва г-на Ф. Булгарина) можно заключить почти безошибочно, что мы имеем дело не с поэтом, а с поэтессою: г. Булгарин), может быть, лучше нас всех понимает, что хорошо, что посредственно, что дурно (...) но г. Булгарин) пользуется репутацией дамского угодника,<sup>25</sup> чему мы приписываем неумеренные похвалы, расточаемые им этим весьма слабым стихотворениям».<sup>26</sup>

Существует другая версия раскрытия крамольного смысла баллады, не противоречащая изложенной. Она принадлежит неизвестному автору «Краткой биографии графини Авдотьи Ростопчиной», в которой эпизод с балладой занимает не менее третьей части этого текста. Вот что мы узнаем здесь:

«Молодая графиня (...) любила выхвалять душевные качества императора Николая Павловича,<sup>27</sup> но принесение его в жертву стихотворения было для нее как бы усилием сверхъестественным, самолюбие не позволило ей отказаться от рукоплесканий, которые она ожидала от либералов и филантропов, столь нежно пекущихся о благоденствии рода человеческого, и злополучная баллада явилась на литературном горизонте.

Ядовитые семена, рассеянные в сем стихотворении, были прикрыты столь тонкою аллегориею, что оба издателя „Северной пчелы“, и хитрый Греч и двуличный Булгарин, попали в расставленные им сети, а с ними — и вся петербургская публика.

Навестивши одним утром товарища своего графа Алексея Федоровича Орлова и взявши лежавшие на столе журналы, граф Павел Дмитриевич Киселев<sup>28</sup> начал

<sup>23</sup> Автограф в альбоме поэтессы // ИРЛИ. 28466/ССШ 6. Л. 29. В другом альбоме (Рукописный отдел РНБ. Архив П. Н. Батюшкова. Ф. 52. Альбом. Л. 16, об.) тот же стих читается: «С ксендзами шепчется она».

<sup>24</sup> Русская литература. 1965. № 1. С. 148.

<sup>25</sup> Намек на скрытые симпатии Булгарина к Польше.

<sup>26</sup> Иллюстрация. 1847. 4 янв. С. 12.

<sup>27</sup> Во всяком случае, не в своих стихах — стихотворение, посвященное Николаю I, Ростопчина написала лишь в порядке отклика на смерть царя.

<sup>28</sup> П. Д. Киселев — министр государственных имуществ в 1837—1856 годах, затем посол во Франции (до 1862 года).

пробегать „Северную пчелу” и все его внимание обратилось на стихотворение гр. Ростопч(иной). Прочитав балладу еще раз, он поднес графу Орлову листок с сими словами: „Прочти-ка! Как можно было позволить печатать такие стихи в одном из модных петерб(ургских) журналов”.<sup>29</sup>

На другой день не было в Петербурге другого разговора, как о балладе, помещенной в „Северной пчеле”. Гр. Киселев сделал всем понятную аллегорию — все наконец догадались, что Россия тут играла роль жестокого мужа, а Польша — несчастной жены, да и самое имя сочинительницы не скрылось ни от кого.

Издателям „Северной пчелы” был сделан по высочайшему повелению выговор за их неосмотрительность. Булгарин, вытребованный к гр(афу) Орлову, не только не стал перед ним оправдываться, но с пониженной головой признал себя чисто-сердечно *совершенно дураком*. Гораздо однако вероятнее, что он играл тут одну комедию: как поляк он в душе своей восхищался балладой гр. Ростопчиной и понимал очень смысл ее,<sup>30</sup> хотя и не смел обнаружить чувства свои. Всем известно, что он в журнале своем ревностно трубил мнение двора и правительства. Как раскаянию, так и пожалованному им себе лестному титулу дурака трудно поверить, да и сам гр. Орлов, от которого слышал я все эти подробности, сожалел, что Булгарин очень умно выпутался из весьма дурного положения, в которое себя поставил. Что касается до Греча, то он напрасно присвоил гр. Ростопчиной змеиные глазки и лисий хвост: уязвлять и лукавить были способности, не данные в удел ее сердцу». <sup>31</sup>

В этом рассказе есть подробности, которые подтверждаются документами III Отделения, но есть и весьма сомнительные.

Если дело о балладе начато было 4 января, то можно ли представить себе, что стол графа Орлова был завален газетами и журналами двухнедельной давности? Разумеется, на нем могли находиться только свежие номера, между прочим и «Иллюстрация». П. Д. Киселев, если он вообще как-то участвовал в этой истории, или прочел еженедельник Кукольника, или должен был хотя бы в двадцатых числах декабря обнаружить сокровенный смысл баллады, и в таком случае расследование началось бы раньше. Да и можно ли допустить, чтобы конфузная для правительства весть из кабинета Орлова с такой быстротой выпорхнула к петербургской публике? Очевидно, источник скандальной информации был иной.

Как явствует из бумаг III Отделения, шеф жандармов не вызывал к себе Булгарина. Последний по собственной инициативе написал ему длинное письмо, в котором, вопреки признанию Греча, доказывал, что стихотворение не имеет ни малейшего отношения к Польше, что вообще вся эта история — результат произвольного толкования баллады и клеветы. Тем самым он действительно прикинулся дураком, избрав далеко не глупую тактику опровержения.

Ссылка в «Краткой биографии» на то, что передаваемые сведения исходят от самого графа Орлова, в данном случае не следует переоценивать. Во-первых, устный рассказ, как это нередко бывало, мог претерпеть известную трансформацию. Во-вторых, маловероятно, чтобы автор «Краткой биографии», написанной, кстати, после смерти Ростопчиной, беседовал с Орловым сразу после происшествия. К тому же уже в конце 40-х годов современники отмечали у шефа жандармов серьезные

<sup>29</sup> Слово «журнал» здесь употреблено на французский лад — в значении «газета».

<sup>30</sup> Это противоречит высказанному выше утверждению, что Булгарин и Греч попали в расставленные им сети.

<sup>31</sup> РГАЛИ. Ф. С. Д. Полторацкого. Юдинская коллекция. № 2857. Л. 3—3, об. Очевидно, автором этого документа был С. Д. Полторацкий, так как биография графини находится среди бумаг его фонда. Автор «Краткой биографии» называет Ростопчину Авдотьей, что было свойственно именно Полторацкому. Поэтесса, недовольная этим, однажды попросила его называть ее только Евдокией (Записка Ростопчиной Полторацкому от апреля 1857 года // Отдел рукописей РНБ. Ф. 603. С. Д. Полторацкого. № 180. Л. 13). Полторацкий усердно собирал материалы для биографии Ростопчиной и написал несколько незаконченных вариантов ее.



провалы в памяти. Но кое-что в этом документе безусловно имеет под собой фактическую основу. Так, в нем верно отмечается несовпадение позиций Булгарина и Греча; то, что Греч обвинял Ростопчину в вероломстве. Попытка же Булгарина отрицать потаенный смысл баллады преобразовалась в анекдот о его глупости.<sup>32</sup>

## 3

Баллада «Насильный брак» дорого обошлась Ростопчиной. Кроме запрета на проживание в Петербурге и оскорбительного инцидента весной 1849 года, когда поэтесса выпровождена была с торжественной церемонии, устроенной в Москве по случаю приезда царя,<sup>33</sup> она приобрела опасный для себя имидж либералки, находящейся в оппозиции к самодержавию.<sup>34</sup>

Цензоры, рассматривавшие ее сочинения, относились к ним с удвоенной подозрительностью. Так, В. Н. Лешков, задержавший два ее стихотворения, предназначенных для «Москвитянина», — «Молчание» и «Молитву не о себе», писал издателю журнала М. П. Погодину: «Я не понимаю ее „Молчания“, но оно может быть красноречиво истолковано. А „Молитва“ ее — за кого-нибудь из живых и известных... Не быть бы в ответе».<sup>35</sup>

После истории с балладой в Ростопчиной стали видеть не только автора, пишущего стихи с политическими аллюзиями, но и автора сатир, задевавших власть и распространявшихся в списках. Графине, в частности, молва приписывала стихотворение Н. Ф. Павлова «Ты не молод, не глуп и ты не без души...», направленное против нового московского генерал-губернатора А. А. Закревского, назначенного на этот пост Николаем I вскоре после французской революции 1848 года. Закревский, согласно предначертанию царя, должен был навести «порядок» в Москве. Ростопчиной пришлось нанести визит к Закревскому и заявить о своей непричастности к приписывавшемуся ей стихотворению.

Репутация фрондерствующей особы таила опасность серьезных столкновений с властями и новых репрессий. Между тем вольнолюбие Ростопчиной, носившее спонтанный и чисто эмоциональный характер, было очень далеко от оппозиции режиму Николая I. Путешествие по Европе, начало которого было озаглавлено «Насильным браком», тем не менее внушило ей крайне негативное представление о современной западной демократии и ее лидерах, абсолютно чуждых, по ее мнению, всяких благородных побуждений и сменяемых чувством зависти. Когда же началась революция 1848 года во Франции, она в своих беседах со знакомыми и в письмах к ним выражала негодование против тех сил, которые сокрушили прежнее правительство.<sup>36</sup>

В это время за поведением Ростопчиной, как мы убедимся из нижеприведенного неопубликованного документа, все еще следили агенты тайной полиции. 20 марта 1848 года поэтесса получила по городской почте письмо следующего содержания:

<sup>32</sup> По-видимому, ближе к истине информация А. В. Никитенко: «Государь {...} велел было запретить Булгарину издавать „Пчелу“. Но его защитил граф Орлов, объяснив, что Булгарин не понял смысла стихов. Говорят, что на это замечание графа последовал ответ: „Если он (Булгарин) не виноват как поляк, то виноват как дурак!“» (*Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. Т. 1. С. 300—301*).

<sup>33</sup> Об этом скандале рассказывается в «Семейной хронике» Л. А. Ростопчиной (С. 194—195).

<sup>34</sup> Так, например, сенатор К. Н. Лебедев писал: «Графиня Ростопчина есть истинная московка-демократка, либералка, талант смелый, язык резкий, стих прекрасный» (Русский архив. 1888. Т. 1. С. 487).

<sup>35</sup> См.: *Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина*. СПб., 1896. Кн. 10. С. 333. Оба стихотворения все-таки были помещены в «Москвитянин» (1848. Ч. 6. Декабрь. № 24. Кн. 2. С. 329—330). Адресатом «Молитвы не за себя» был возлюбленный поэтессы А. Н. Карамзин.

<sup>36</sup> Данные об этом приведены в изд.: *Барсуков Н. Указ. соч. Кн. 9. С. 273*.

«Madame la comptesse!

J'ai été instruit par mes agents des soins que vous prenez, par vos raisonnements, vos discussions, votre opinion même à flétrir et attaquer le gouvernement provisoire de la République française. Vous avez beaucoup à vous faire pardonner, car vous avez beaucoup péchée; je vous prie de croire que ce mot ne regarde en rien vos affaires matrimoniales, ces sortes de choses, ou bien ces mots vertus et morales sont pour moi comme pour vous et comme pour ce vieux romain, — rien que de mots. Ainsi quand je dis que vous avez péchée, vous savez ce que cela veut dire, surtout quand un homme de ma couleur prend la plume pour vous l'écrire. Vos démonstrations politiques font oublier l'histoire de Baron, mais ne l'ont pas encore totalement effacée de la mémoire. Persévérez, persévérez, prenez pour exemple votre cousin Bancale, et mon rapport fait, — la cour vous recevra les bras ouverts et pour ainsi dire en triomphe.

Agreez, Madame la comptesse les sentiments de la haute consideration:

de votre très obeissant Etienne Perfilief.

Се 19 mars». <sup>37</sup>

Перевод письма:

«Госпожа графиня!

Я получил известие от своих усердных агентов о том, что в своих высказываниях, спорах, а также мнениях Вы обрушиваетесь и нападаете на временное правительство Французской республики. Вам во многом надо повиниться, ибо Вы много согрешили. Уверяю вас, что это слово не относится к вашим супружеским делам; такого рода вещи или, лучше сказать, слова для меня, как и для вас, как и для этого старого римлянина, — всего лишь слова. Итак, когда я говорю, что вы согрешили, вы знаете, что хотят этим сказать, особенно когда человек моего цвета берется за перо, чтоб вам это написать. Ваши политические высказывания заставляют забыть историю Барона, но пока не стерли ее совершенно из памяти. Будьте тверды, будьте тверды, берите пример с вашего кузена Банкаля, и когда мой отчет будет сделан, двор примет вас с распростертыми объятиями и, так сказать, с триумфом.

Примите, госпожа графиня, чувство высокого уважения от вашего покорного Этьена Перфильева

19 марта».

Письмо это дошло до нас в копии, снятой в среду, 15(27) июня 1849 года.

К слову «Барон» переписчиком сделано примечание: «Намек на русские стихи графини Ростопчиной, опубликованные в „Северной пчеле“, № ...».

К слову «Банкаль» также дано пояснение: «Князь Петр Долгорукий, автор „Заметок об известнейших фамилиях в России“. Париж, 1848, in 8... Брюссель, 1843, in 8».

Копия письма почему-то озаглавлена: «Анонимное письмо графине, адресованное ей в марте 1848 года под псевдонимом Этьена Перфильева».

На самом деле письмо имеет подпись, и она вряд ли может быть принята за псевдоним. Этьен Перфильев — не кто иной, как Степан Васильевич Перфильев (1796—1878), генерал-лейтенант, начальник московского округа корпуса жандармов. Этьеном он назвался, как было принято в обществе, на французский лад. Во французском языке это имя восходит к древнегреческому «stephanos», от которого произошло имя Стефан (Степан), т. е. Этьен — имя, идентичное Степану.

<sup>37</sup> Отдел рукописей РГБ. Архив С. Д. Полторацкого. № 45/10.

Несмотря на свой голубой мундир и устрашающую должность, С. В. Перфильев отнюдь не был зловещей фигурой. Более того, он слыл за человека добродушного, любителя литературы, почитателя таланта Гоголя. Письмо его к Ростопчиной внушено благим намерением помирить ее с царем. Но его уверенность в достижимости этой цели была жестоко опровергнута — в самом конце марта злопамятный Николай I распорядился удалить Ростопчину с торжественного праздника по случаю освящения вновь отреставрированного Кремлевского дворца.

Что касается кузена Ростопчиной Петра Васильевича Долгорукого, по прозвищу Банкаль (1816—1868), то он провинился тем, что издал на Западе брошюру «Заметки об известнейших фамилиях России», скомпрометировавшую некоторых видных сановников. После ареста и возвращения из ссылки он жил в Москве, находясь под полицейским надзором. Перфильев был доволен его поведением, не подозревая, что это чисто показная благонадежность.

Неясно в письме Перфильева лишь одно: кто был тот человек, которого он назвал «старым римлянином». Можно предположить, что имелся в виду московский военный генерал-губернатор князь А. Г. Щербатов (1777—1848). Он был тоже нетипичным военачальником николаевской эпохи. В 1848 году ему уже исполнилось 72 года. Щербатов был участником шести войн и тридцати трех сражений, кавалером многих орденов. Жуковский воздал ему хвалу в своем «Певце во стане русских воинов». Вероятно, за выдающуюся воинскую доблесть Перфильев и назвал его «старым римлянином». В связи с революционным движением на Западе Николай I, считавший, что Щербатов «совсем распустил Москву», поставил на его место Закревского.

#### 4

Политическая репутация Ростопчиной стала меняться лишь благодаря патристическим стихотворениям, обнародованным ею с началом Крымской войны. Так обстояло дело в России. Между тем в 1855 году в Париже была издана книга А. Галле де Кюльтюра «Царь Николай и Святая Русь»,<sup>38</sup> где Ростопчина причислена к писателям, враждебным николаевскому режиму. Ей была посвящена особая глава, в которой назывались и даже приводились (во французском переводе) стихотворения, ей не принадлежавшие. Речь, в частности, шла о ходивших по рукам баснях «Запасные магазины», «Пастух и стадо» и упоминавшейся выше сатире на графа Закревского.

Между прочим, текст «Пастуха и стада» попал в руки того же А. Ф. Орлова, вступившего по поводу этой басни в переписку с А. Демидовым.<sup>39</sup>

Познакомившись с книгой Галле де Кюльтюра, которую Ростопчиной доставил ее друг С. Д. Полторацкий, поэтесса возмутилась тем, в каком свете преподнес ее этот автор французской публике, беспардонно приписав ей чужие стихотворения.

В названной книге<sup>40</sup> утверждалось, что графиня была выслана в Москву «за преступление в поэзии», что ее известность основана на смелых сатирах и что она «не устает преследовать графа Закревского своими сарказмами».<sup>41</sup>

<sup>38</sup> *Gallet de Kultur Ach. Le Tzar Nicolas et la Saint Russie.* Paris, 1855. Второе издание книги вышло в 1857 году.

<sup>39</sup> ИРЛИ. Ф. 109. Оп. 1. № 1928. Письма графа А. Орлова и А. Демидова по поводу распространившейся в публике басни «У мужика зажиточного было...». См. ее текст в кн.: *Вольная русская поэзия XVIII—XIX веков.* Л., 1988. Т. 1. С. 537—538. (Библиотека поэта. Большая сер.). См. там же сатиру на Закревского и басню «Запасные магазины» (С. 489—490 и 528—529).

<sup>40</sup> Автор книги — верхоглядный дилетант. Воспользовавшись ростом враждебных отношений во французском обществе к России, вызванным Крымской войной, он в погоне за сенсацией и барышами присвоил себе роль разоблачителя самодержавной тирании. Его книга была наполнена сомнительными слухами, несуразностями и просто небылицами. Будучи личным секретарем богача А. Н. Демидова (так называемого князя Сан-Донато, титул которого был ему пожалован королем Италии), Галле де Кюльтюр некоторое время проживал с Демидовым в России, где и почерпнул так много недостоверной информации.

<sup>41</sup> *Gallet de Kultur Ach. Op. cit.*

При посредничестве того же Полторацкого Ростопчиной удалось напечатать свой протест в двух французских газетах — «Journal de Francfort» (1857. 9 febr. № 34. P. 4) и «Le Nord», выходящей в Брюсселе (1857. 28 mars. № 84. C. 3).

Опровергая фальшивые сведения о себе («Нет ни слова истины на пяти страницах, которые этот господин мне посвятил»), Ростопчина между прочим сочла нужным сообщить о себе: «Графиня Ростопчина никогда не отрекалась ни от одного из своих стихотворений, никогда не делала их анонимными! Она не принадлежит ни к какой партии: совершенно независимая сердцем и душой, она могла открыто выражать свои идеи, даже с риском не понравиться чересчур подозрительным (людям); но перо, которое начертало и сделало известным „Насильный брак“ (1845)<sup>42</sup> и „29 января 1837“ (стихи неизданные на смерть поэта Пушкина), это же перо не в состоянии унизиться до пасквиля и эпиграмм, особенно вроде тех, которые г-н Галле де Кюльтюр подобрал в грязи московских улиц, даже если эти стихи были сочинены русскими!»<sup>43</sup>

Из этих строк мы узнаем любопытный факт: оказывается, Ростопчина была автором стихотворения на смерть Пушкина, текст которого до сих пор неизвестен. По-видимому, после ареста Лермонтова за сочинение «Смерти поэта» Ростопчина, жившая в то время в Петербурге, приняла меры предосторожности, дабы избежать возможной неприятности для себя.

## 5

В статье «Поэтесса и царь» речь шла также о трех «ответах» на стихотворение Ростопчиной, один из которых под заглавием «Суд вассалов» (или «Ответ вассалов барону») чаще всего встречается в списках. В числе авторов этого стихотворения в списках фигурируют имена Жуковского, Кукольника и князя В. Ф. Одоевского. Художественный уровень, на котором написаны этот и другие «ответы», не позволяет всерьез отнестись к подобным атрибуциям, не говоря уже о том, что ни Жуковский, похваливший талант Ростопчиной как раз в связи с балладой,<sup>44</sup> ни друг поэтессы В. Ф. Сдоевский никогда не стали бы полемизировать с ней. Как говорилось, имя Кукольника всплыло скорее всего потому, что «Насильный брак» был разруган в его газете.

Кроме названных писателей, «Ответ вассалов барону» приписывался также Булгарину, будто бы сочинившему его по заказу властей, что выглядит совершенной нелепостью. А в «Краткой биографии» Ростопчиной автором этого стихотворения назван Михаил Михайлович Магницкий,<sup>45</sup> по-видимому сын известного изювера М. Л. Магницкого. Но никаких доводов в пользу этой атрибуции «Краткая биография» не приводит.

Таким образом, нет оснований оспаривать довольно авторитетное указание князя Н. Н. Голицына о том, что сочинителем «Суда вассалов» был князь А. С. Голицын, автор дилетантских стишков с площадным юмором, служивший в Польше калишским военным генерал-губернатором.<sup>46</sup> У него, надо полагать, были причины опровергать мнение о порабощении Польши, высказанное в балладе.

<sup>42</sup> Правильно: 1846 год.

<sup>43</sup> Journal de Francfort. 1857. 9 febr. № 34. P. 4.

<sup>44</sup> См. письмо Жуковского А. Я. Булгакову (от 25 мая 1847 года), познакомившему его с балладой Ростопчиной (Русский архив. 1868. Вып. 9. Стлб. 1466—1467). Более полно (без купюр) мнение Жуковского приведено в «Русской литературе» (1965. № 1. С. 152).

<sup>45</sup> РГАЛИ. Ф. С. Д. Полторацкого. № 2857. Л. 6, об. М. М. Магницкий — автор сочинения «Взгляд на мироздание. Думы I и II» (Утро. Литературный сборник, издаваемый М. Погодиным. М., 1868). Среди бумаг А. А. Краевского (Рукописный отдел РНБ. Ф. 381. № 42. Л. 68) сохранилась «Дума при гробе графа Сперанского» (1839) с пометой Краевского: «Михайло Михайлов Магницкий».

<sup>46</sup> Справка о литературных опытах А. С. Голицына приведена в изд.: Голицын Н. Н. Материалы для полной родословной росписи князей Голицыных. Киев, 1880. С. 143.

Второе стихотворение под заглавием «Ответ старого вассала» опротестовывало первый «Ответ». Оно во всем обвиняло барона и полностью солидаризировалось с жалобами жены. Очевидно, переписчики этих «ответов» стали путать предполагаемых авторов и названия стихотворений. Именно второй «ответ» по логике вещей должен был бы приписываться Булгарину как тайному полонофилу. Не был ли и М. М. Магницкий автором того же самого «ответа»?

Третий «ответ» принадлежал киевскому графоману А. П. Рудыковскому. Он ненавидел поляков и по случаю подавления польского восстания 1830—1831 годов написал «Победную песнь». Чтобы дать представление о его полемическом «ответе», достаточно привести реплику четвертого вассала, бранившего непокорную жену в таких полуграмотных виршах:

Мечты, мечты ее волнуют,  
И ум, и сердце, и язык...  
Воображение чаруют.  
В ней фанатизм еще велик!  
О дикой вольности мечтает,  
Свободу ставит в том свою,  
Былой разврат свой вспоминает,  
Чтоб отравлять любовь свою.<sup>47</sup>

Рудыковский даже не смог выдержать правила полемических «продолжений», которому неукоснительно следовали оппоненты Ростопчиной: они сохраняли всех персонажей баллады, ее строфику и варьировали эпифору со словом «жена» (в последнем стихе строфы).

Еще одно, до сих пор неизвестное «продолжение» «Насильного брака» принадлежит Д. П. Ознобишину. Оно сохранилось в архиве московского поэта, в папке его бумаг под названием «Историческое». После текста баллады Ростопчиной непосредственно следует «продолжение», озаглавленное: «Часть 2-я», представленное в черновом и беловом автографах с подписью поэта. Привожу этот текст без черновых вариантов (нумерация строк дается в нем от последней строфы баллады Ростопчиной):

## 9

Шумит, волнуется собранье,  
Жены строптивой слыша речь.  
Не раз в немом негодованье  
Вассалы бралися за меч.  
Но вот с серебристыми власами,  
Согбенный бременем годов,  
Выходит старец из рядов.  
Его презрительно очами,  
Смеясь, окинула она,  
Вольнолюбивая жена!

## 10

[Он начал: «Ждешь ты] суд правдивый —  
Ногой в могиле я стою, —  
Язык придворных чужд мне льстивый!  
И правды я не утаю,  
Не убоюсь твоей опалы,  
Скажу: „Властитель, ты не прав!“  
„Издrevле ум жены лукав!“ —  
Твердили все тебе вассалы.

<sup>47</sup> Щербина В. Из семейного архива Андрея Петровича Рудыковского // Киевская старина. 1892. Т. 37. № 5. С. 216.

Ты не внял нам! [Коварств] полна  
Твоя надменная жена!

## 11

Нам памятно ее рыданье;  
Друзья, соседи и сыны  
Влекли ее на поруганье —  
В разгар губительной войны.  
Она в тоске ломала руки,  
Бедам не видела конца;  
По щёкам впалого лица  
Катились слезы тяжкой муки...  
Как истукан, без слов, бледна  
Была смятенная жена.

## 12

В свою блестящую порфиру  
Ее ты, бедную, одел!  
Лобзая, указал ты миру  
На царственный ее удел,  
Прижав сынов ее с любовью  
К своей груди, их кознь забыл;  
Все раны сердца исцелил,  
К ее приникнув изголовью,  
В твой дом с семьею введена  
Тобой спасенная жена!

## 13

Тогда, склонив смиренно очи,  
Она стояла пред тобой,  
Но помыслы темнее ночи  
Смущали ум ее молодой.  
В груди не преданность кипела —  
Кипела месть в ее крови,  
Лишь был в устах призыв любви...  
Рабыня властвовать хотела!  
И не тебя... твой скиптр она  
Искала хитрая жена!

## 14

Глядели, полные тревогой,  
Мы на избранную тобой,  
Ты ей щедрот так сыпал много;  
Но с ней союз счастлив ли твой?..  
Взгляни теперь: в устах лишь пени,  
В ее речах -- один укор;  
В ее душе — лишь твой позор,  
Ум полн враждебных помышлений!  
Ты спас ее, а что ж она? —  
Нож точит злобная жена!

## 15

Любви, восторгов чужд ей трепет...  
Чувств благородных нет у ней...  
Не веришь? Так послушай лепет  
Ты ею вскормленных детей!..  
Твоих даров она стыдится,  
С монахом шепчется тайком!..  
Своим сынам грозит перстом  
Ходить в наш храм, у нас молиться...

Не любит наш язык она,  
Неблагодарная жена!

## 16

Готовили ей дети тризну, —  
Ты властен был врагов смирить;  
Но вольнодумную отчизну  
Она не может позабыть.  
Коварных слуг своих жалеет,  
Носивших всюду клевету;  
Твою поносит правоту,  
И в мраке тайно козни сеет,  
Кинжал не бросила она —  
Клятвопреступная жена!

## 17

Смири же ее! Венец твой славный  
Пусть с головы ее падет;  
Пусть с высоты своей державной  
Она в ничтожество сойдет.  
Пора исполнить суд правдивый,  
Змею от груди оторвать.  
Не век преступной клеветать!  
Не век кичиться горделивой!  
Пусть горько всплачется она,  
Твоя мятежная жена!<sup>48</sup>

Таким образом, из четырех выявленных к настоящему времени «продолжений» «Насильного брака» лишь одно написано в защиту «жены». Это — «Ответ одного из вассалов». Только оно поддержало инвективы Ростопчиной в адрес «барона». Все остальные написаны с откровенно антипольских позиций, хотя между ними есть некоторые различия. В одном случае (у Рудыковского) дело ограничивается призывом к применению насилия, в другом (у А. С. Голицына) — Польша осуждается как прежний и современный враг России, но вывод делается в том смысле, что между этими странами при надежной узде самодержавия возможен компромисс и забвение былого антагонизма. В стихотворении Ознобишина, несмотря на антипольскую его направленность, «барону» все же ставится в упрек недалевидный его «союз» с неверной и мятежной «женой», на исправление которой нет никаких шансов. Отсюда совет — «змею от груди оторвать», т. е. бросить на произвол судьбы эту страну, предав ее собственному бессилию и ничтожеству.

«Продолжение» Ознобишина любопытно рядом исторических аллюзий. Слова «В разгар губительной войны» имеют в виду участие Польши в войне против России на стороне наполеоновской Франции. Стихи: «В свою блестящую порфиру Ее ты, бедную, одел!» и «На царственный ее удел» — намекают на восстановление Польши после двух ее разделов в составе Российской империи со статусом царства. В строке: «Ты ей щедрот так сыпал много», видимо, подразумевается дарованный Польше Александром I режим конституционной монархии. Слова: «С монахом шепчется она» — стих из баллады Ростопчиной, о смысле которого уже говорилось. В строках: «Своим сынам грозит перстом Ходить в наш храм, у нас молиться» — должно быть, речь идет о возмущенных настроениях польской общественности по поводу церковной реформы 1839 года, предусматривавшей подчинение униатской церкви — православной. В стихе: «Готовили ей дети тризну» — намек

<sup>48</sup> ИРЛИ. Ф. Д. П. Ознобишина. № 10. Л. 50—51. В этой папке находится также «Ответ вассалов барону», ошибочно озаглавленный: «Ответ одного из вассалов».

на восстание 1830—1831 годов. Наконец, в стихах: «Коварных слуг своих жалеет, Носивших всюду клевету» — подразумевается деятельность польских политэмигрантов во Франции, печатно разоблачавших террористические акты царского правительства на их родине, деспотизм имперской администрации и прочие притеснения.

\* \* \*

Все неопубликованные или малоизвестные материалы, приведенные в этой и предыдущей статьях, существенны, по крайней мере, в одном отношении: они показывают, как одно-единственное стихотворение, причем отнюдь не самое характерное для автора, может коренным образом изменить его репутацию и судьбу, привлечь бесчисленное множество читателей и даже спровоцировать некоторых из них на стихотворные отклики. Такое явление, возможное, конечно, только в поэзии, обязано ее специфической функции как оперативнейшего средства воздействия на умы и формирования общественного мнения.

В истории нашей вольной поэзии, пожалуй, нет памятника, который мог бы соперничать с балладой Ростопчиной своей широчайшей известностью у современников. Причины здесь — разные. Это и простое любопытство к тому, каким способом автор сумел усыпить стражей умственных плотин, это и жгучий у многих интерес к теме векового антагонизма двух славянских стран, остро задевавшей национальные чувства одной из них. Имело значение и то, что автором была женщина, графиня, звезда петербургско-московской аристократии. И наконец, не менее важная сторона дела — небывалый еще в практике русской поэзии вид сатирической аллегории,<sup>49</sup> замаскированной под «рыцарскую балладу» на тему семейной распри, прозвучавшей как интимно-автобиографическое признание.

Греч усмотрел в стихотворении Ростопчиной «злонамеренную контрабанду», автор «Краткой биографии» категорически это отрицал, и он был прав — баллада поэтессы была продиктована ей самой жизнью: спор с нелюбимым мужем о положении Польши в связи с поездкой через эту страну, переплетение личных и политических антипатий и симпатий подсказали содержание и форму этого стихотворения.

<sup>49</sup> В автографе из упомянутого выше архива П. Н. Батушкова (Ф. 52. Л. 16, об.) стихотворение имеет подзаголовок «Баллада и аллегория».

Э. Г. Гайнцева

## К УТОЧНЕНИЮ ДАТИРОВКИ СТАТЬИ И. А. ГОНЧАРОВА «„ХРИСТОС В ПУСТЫНЕ“. КАРТИНА г. КРАМСКОГО»

Принято считать, что поводом к работе И. А. Гончарова над статьей «„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского»<sup>1</sup> послужило его знакомство с Третьей передвижной выставкой в Петербурге (1874 год). Комментаторы единодушны в этом вопросе. В примечаниях к собранию сочинений писателя 1952—1955 годов отмечается: «Критический этюд о картине И. Н. Крамского (...) был написан Гончаровым в связи с посещением им третьей „передвижной“ выставки 1874 года, на

<sup>1</sup> Статья не была завершена. При жизни писателя не публиковалась. Черновой автограф хранится в Отделе рукописей РНБ: Ф. 209 (И. А. Гончаров). № 10. Далее указывается авторская нумерация листов.



которой была экспонирована картина Крамского „Христос в пустыне”.<sup>2</sup> По существу то же самое сказано в комментариях к его последнему собранию сочинений 1977—1980 годов: «Критический этюд был написан Гончаровым после посещения им третьей „Передвижной художественной выставки” (1874 г.), где всеобщий интерес привлекла картина И. Крамского „Христос в пустыне”».<sup>3</sup> Автор хроники жизни и творчества Гончарова также поместил информацию о статье в раздел 1874 года, под рубрикой «Без определенной даты».<sup>4</sup> Между тем С. Н. Гольдштейн, исследователь творчества И. Н. Крамского, воздержалась от категоричной датировки статьи. Она характеризовала ее как «отзыв», не опубликованный в свое время, но написанный несомненно в годы создания картины.<sup>5</sup>

Основанием принятой датировки статьи Гончарова послужили ее начальные строки: «На 3-й „передвижной” так называемой выставке, в Академии художеств, (...) посетитель находит (...) капитальное произведение кисти г. Крамского „Христос в пустыне”».<sup>6</sup>

Действительно, Третья передвижная выставка проходила в 1874 году в Петербурге, Москве и других городах России. В столице она экспонировалась с 21 января по 14 марта в залах Императорской Академии художеств. Однако в материалах петербургской экспозиции — в указателе к ней, в «Отчете правления Товарищества передвижных художественных выставок за 3-ю выставку» — картина «Христос в пустыне» отсутствует.<sup>7</sup> На этой выставке Крамской был представлен другими работами — портретами И. И. Шишкина (1873, ГТГ), П. А. Валуева (1873, местонахождение неизвестно, ранее — собрание Учетного банка в Санкт-Петербурге), В. М. Васнецова (1874, ГТГ), картинами «Пасечник» (1872, ГТГ), «Оскорбленный еврейский мальчик» (1874, Государственный Русский музей) и др.<sup>8</sup> «Христос в пустыне» был включен лишь в московский вариант выставки, которая функционировала со 2 апреля по 31 мая 1874 года в здании Училища живописи, ваяния и зодчества и вобрала в себя также произведения учеников училища.<sup>9</sup>

Публикации 1874 года подтверждают, что картина не входила в петербургскую экспозицию Третьей передвижной выставки. Так, анонимный рецензент «Голоса» отмечал: «...хотя настоящая выставка так же интересна, как и предыдущие, но особенно выдающихся вещей на ней нет; есть вещи хорошие, и многое среди этих хороших вещей прекрасного; но нет между ними, как это бывало прежде, такого произведения, которое можно было бы назвать *chef-d'oeuvre* выставки. Тут нет картины, подобной „Иисус Христос в пустыне” И. Крамского, которая была украшением прошлогодней выставки, нет и подобной „Петр с царевичем Алексеем” Н. Ге — картины, стоявшей во главе первой передвижной выставки; здесь, словом, первенство не выпало ни на чью долю...»<sup>10</sup> В отзыве «Нового времени» «Христос в

<sup>2</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8. С. 517.

<sup>3</sup> Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. М., 1980. Т. 8. С. 507.

<sup>4</sup> См.: Алексеев А. Д. Летопись жизни и творчества И. А. Гончарова. М.; Л., 1960. С. 216.

<sup>5</sup> См.: Гольдштейн С. Н. Иван Николаевич Крамской: жизнь и творчество. М., 1965. С. 90. «Христос в пустыне» написан в 1872 году, хотя работа над картиной началась значительно раньше. Приобретена П. М. Третьяковым в 1872 году у автора. Хранится в Государственной Третьяковской галерее (в дальнейшем — ГТГ).

<sup>6</sup> Цит. по автографу: Л. 1.

<sup>7</sup> См.: Указатель Третьей передвижной художественной выставки. СПб.: Типогр. М. М. Стасюлевича. 1874 (дозволено цензурой 11 февр. 1874; 68 номеров); Товарищество передвижных художественных выставок. 1869—1899. Письма, документы. М., 1987. С. 100—101, 136—137.

<sup>8</sup> См. там же. С. 137.

<sup>9</sup> См.: Иван Николаевич Крамской. 1837—1887. Выставка произведений к 150-летию со дня рождения. М., 1988. С. 75; [Урусов Г. Г.] Полный обзор третьей художественной выставки Товарищества передвижных выставок в России. М., 1875. С. 6, 8—10.

<sup>10</sup> [Без подписи.] Художественные новости. Третья передвижная выставка и выставка покойного академика архитектора В. К. Гартмана // Голос. 1874. 16 (28) марта. № 75. С. 1.

пустыне» также рассматривался как характерное произведение предшествующего этапа творчества Крамского, когда художник якобы не шел «далее подражания природе».<sup>11</sup>

Отклики же на московскую экспозицию 1874 года зачастую начинались характеристикой «Христа в пустыне» — самого заметного явления в современной живописи. «Скажу, во-первых, о картине г. Крамского „Христос в пустыне“, — писал обозреватель «Современных известий». — Это произведение из тех нескольких произведений последнего времени, которые делают в настоящее время переворот в живописи, а именно: как выражение духа времени, они начинают собою ряд картин, в которых содержание преобладает над формой; (...) Человека-Бога, в котором главное, полагаю, разум, я видел в первый раз на картине Крамского».<sup>12</sup> «Московские ведомости», подводя итоги выставки 1874 года, писали о картине Крамского: «Прежде всего останавливает на себе внимание картина г. Крамского „Христос в пустыне“ (...) Христос г. Крамского в том же роде, что и Христы г. Ге. Из двух естеств, сочетавшихся, по учению церкви, в личности Искупителя, этих художников вдохновляет человеческое естество, и его-то они воспроизводят в разных моментах земной жизни „Сына Человеческого“...».<sup>13</sup> Обозрение московской выставки передвижников 1874 года, составленное Г. Г. Урусовым, закономерно открывалось строками о картине Крамского: «...мы начинаем обзор нашей выставки с самой крупной картины, как по размерам, так и по мысли, в ней заключающейся, сколько достойной полнейшего почтения, столько же и невыполнимой: изобразить неизобразимое. „Христос в пустыне“ — вот основа мысли в картине г. Крамского. Картина эта, без сомнения, должна расшевелить каждого и разбудить внимание, кто бы ни постоял перед нею».<sup>14</sup>

«Христос в пустыне» впервые был представлен в Петербурге не на Третьей, а на Второй передвижной выставке, проходившей в Античной галерее Академии художеств с 26 декабря 1872-го по 15 февраля 1873 года (включена в указатель-каталог под № 32).<sup>15</sup> Наряду с этим полотном Крамской показал еще несколько произведений — портрет министра путей сообщений графа А. П. Бобринского (№ 19), этюды, изображающие крестьян (№ 9, 10).<sup>16</sup> Однако наиболее энергично петербургская пресса обсуждала его картину, посвященную Христу.<sup>17</sup> Как следует из приведенных фактов, Гончаров видел картину Крамского не на Третьей,<sup>18</sup> а на Второй выставке передвижников.

Имеется в виду картина Н. Н. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе» (1871, ГТГ).

<sup>11</sup> А. О-нъ. Третья передвижная выставка // Новое время. 1874. 16 (28) марта. № 72. С. 1.

<sup>12</sup> Толоконников. Еще о выставке художественных произведений // Современные известия. 1874. 9 мая. № 104. С. 2. Двумя днями раньше хроникер этой же газеты писал: «„Христос в пустыне“ (...) картина, долженствующая одна привлечь лишнюю тысячу посетителей» (Любитель. Передвижная выставка картин // Там же. 1874. 7 мая. № 102. С. 2).

<sup>13</sup> П-нный. Третья передвижная выставка в Москве // Московские ведомости. 1874. 4 июня. № 139. С. 3.

<sup>14</sup> [Урусов Г. Г.] Указ. соч. С. 8—9.

<sup>15</sup> См.: Указатель [Второй] передвижной художественной выставки. СПб.: Типогр. М. М. Стасюлевича, 1872 (дозволено цензурой 29 дек. 1872; 44 номера). С. 3; Товарищество передвижных художественных выставок. С. 73.

<sup>16</sup> См.: Указатель [Второй] передвижной художественной выставки. С. 2, 1; Товарищество передвижных художественных выставок. С. 72—73.

<sup>17</sup> См.: Отечественные записки. 1873. № 1. С. 93—104. 2-я пагинация; Биржевые ведомости. 1873. 6 янв. № 4. С. 2—3; Новое время. 1873. 6 (18) янв. № 6. С. 1—2; Голос. 1873. 12 (24) янв. № 12. С. 2; С.-Петербургские ведомости. 1873. 23 янв. (4 февр.). № 23 и пр.

<sup>18</sup> Свидетельств того, что «Христос в пустыне» мог появиться на годичных выставках в стенах Академии художеств, не обнаружено. См.: Указатель выставки художественных произведений в Императорской Академии художеств в 1872 году. [СПб.: Типогр. В. Грацианского и Комп., 1872] (389 номеров); Указатель выставки художественных произведений в Императорской Академии художеств в 1873 году. СПб., 1873 (399 номеров); Указатель выставки художественных произведений в Императорской Академии художеств в 1874 году [СПб.: Ти-

Таким образом, повод к работе над статьей возник у писателя не ранее 26 декабря 1872 года.<sup>19</sup>

На полях первого листа рукописи Гончаров сделал приписку: «Надо пересмотреть на досуге, кажется — из этого материала можно сделать полный этюд».<sup>20</sup> По значению и масштабу поставленных вопросов набросок Гончарова о картине Крамского, действительно, мог перерасти в «этюд», подобный «Миллиону терзаний». В определенном смысле он тяготеет к форме, которую можно условно назвать «размышлением у картины». Яркий ее образец — «Рафаэлева Сикстинская Мадонна» А. В. Никитенко (Русский вестник. 1857. Т. XI. Окт.). Анализ непосредственных впечатлений зрителя в статьях подобного рода перерастает в этико-эстетический трактат. В то же время, написанный вскоре после посещения выставки, отзыв Гончарова — особенно в первой своей части — напоминает традиционный фельетон-рецензию и, в соответствии с нормами жанра, содержит сведения о выставке, об условиях, в которых зритель воспринимает картину. В частности, Гончаров указывает количество экспонатов: «... среди сорока более или менее замечательных картин...» Каталог-указатель Второй передвижной выставки, которым мог пользоваться писатель, называет сорок четыре произведения. Соответствуют этим сведениям и цифры из обозрения В. В. Стасова: «Достаточно бросить беглый взгляд на 43 картины и одно скульптурное произведение, составляющие эту выставку, чтоб убедиться, что в отношении интереса она не уступает своей предшественнице».<sup>21</sup> В следующем, 1874 году передвижники показали в Петербурге уже 68 картин и рисунков (всего же — 82 экспоната в различных городах), т. е. почти вдвое больше, чем на предыдущей выставке.

Столь же выразительны и замечания Гончарова по поводу общей организации экспозиции, условий, в которых находилось полотно Крамского («(...) в глубине залы, в углу, почти в темноте (...)), психологических особенностей восприятия его зрителем («Кроме темноты, для картины невыгодно и то, что зритель подходит к ней, развлеченный впечатлениями предшествующих — пейзажей, портретов, жанра, этюдов. Между тем картина и по сюжету и по исполнению должна иметь важное значение в современном искусстве»)<sup>22</sup>

Варианты рукописи свидетельствуют, что Гончаров ощутил несоответствие значения картины и того места, которое ей было отведено в выставочном зале: «(...) посетитель находит в глубине залы, [в числе последних и в конце выставки — серьезное<sup>23</sup> в углу, почти в темноте — капитальное произведение кисти г. Крамского „Христос в пустыне“».

погр. Императорской Академии наук. 1874] (245 номеров). Стремление художников выставляться не на официальных академических выставках подтверждает и пресса. Так, в 1874 году обозреватель «Голоса», критически оценивая выставку в Академии, писал: «... в позапрошлый и прошлый годы лучшие произведения русских художников по преимуществу были на передвижной и постоянной выставках; нынешний же год академическая выставка выходит даже из ряда художественных» (*Nemo*. Годичная выставка в Академии художеств // Голос. 1874. 20 апр. (2 мая). № 108. С. 2).

<sup>19</sup> Уточненная датировка позволяет установить произведения, увиденные Гончаровым на этой выставке. Его внимание могли привлечь портреты И. С. Тургенева (1872, ГРМ), Ф. М. Достоевского, А. Н. Майкова, М. П. Погодина, В. И. Даля, И. С. Камынина (все — 1872, ГТГ) работы В. Г. Перова, принадлежащие кисти Н. Н. Ге портреты М. Е. Салтыкова-Щедрина и Н. А. Некрасова (оба — 1872, ГРМ). Содержание статьи о картине Крамского «Христос в пустыне» позволяет также с уверенностью предположить, что в сентябре 1863 года Гончаров посетил годичную выставку в Академии художеств, на которой демонстрировалась столь зримо описанная им «Тайная вечеря» Ге.

<sup>20</sup> Цит. по автографу: Л. 1. После *на досуге* следует неразборчивая фраза.

<sup>21</sup> *Н. [Стасов В. В.]* Вторая передвижная художественная выставка // С.-Петербургские ведомости. 1873. 23 янв. (4 февр.). № 23. С. 1. Экспонатов на выставке могло быть и больше. В рецензии «Голоса» речь идет о пятидесяти картинах (1873, 12 (24) янв. № 12. С. 2).

<sup>22</sup> Цит. по автографу: Л. 1—1, об.

<sup>23</sup> В квадратных скобках — зачеркнутое Гончаровым.

[Картина обставлена не совсем благоприятными обстоятельствами] условия. Она [буквально] стоит буквально в углу, с особым освещением, и к ней] Кроме темноты, для картины невыгодно и то, что зритель подходит к ней, развлеченный впечатлениями предшествующих [картин] — пейзажей, портретов, жанра, этюдов. [Может быть, при размещении картин была мысль не ставить ее вперед, чтобы не повредить другим картинам, в надежде, что она [возьмет] произведет свое действие своими капитальными сторонами. Конечно, это так — [как оказ(а)лось?] те картины много выигрывают от этого расположения — но и она не может не терять значительного влияния на более или менее развлеченного посетителя.

Между тем картина эта [по нашему мне(нию) по мнению] заслуживает особого и серьезного внимания.]

Между тем картина и по сюжету и по исполнению [занимает главное место] [имеет] должна иметь важное значение [и не на маленькой, приватной выставке, а] в современном искусстве». <sup>24</sup>

Газетные и журнальные отклики на Вторую передвижную выставку 1872—1873 года подтверждают впечатления Гончарова. Так, обозреватели «Биржевых ведомостей», «Нового времени», как бы следуя внешнему развитию экспозиции, завершают рассказ о ней описанием «Христа в пустыне». П. Ковалевский, который в свое время счел полотно Крамского главным событием выставки, <sup>25</sup> позднее вспоминал: «В самое утро открытия выставки академические залы, по обыкновению, были почти пусты (...). Холст Крамского помещался в глубине последней залы, и сидящая на пустынном камне фигура, в сосредоточенном положении крепко сомкнутых рук, вдумчиво склоненной головы и всего в высшей степени выразительного целого, производила издали большое впечатление. Особенно выразительны (экспрессивны) были руки». <sup>26</sup>

Картина Крамского была замечена и осознана зрителями не сразу. Интерес к ней нарастал постепенно. 13 февраля 1873 года, т. е. в последние дни выставки, когда шумный успех «Христа в пустыне» уже определился, Крамской писал Ф. А. Васильеву: «Картина моя расколола зрителей на огромное число разноречивых мнений. По правде сказать, нет трех человек, согласных между собой. И странно, только теперь как будто даже сами зрители начинают отдавать отчет себе, что это такое. С начала выставки зрители как будто не замечали ее, она такая серенькая, но чем дальше, тем больше, и только к концу выставки у картины толпа горячится, разговаривает, жестикулирует; (...) я был свидетелем такого впечатления, которое может удовлетворить самого гордого и самолюбивого человека (...).» <sup>27</sup>

Гончаров, вероятно, пришел на выставку в первые дни ее работы, когда вокруг картины Крамского еще не было ажиотажа, а академический зал, где располагались произведения передвижников, пустовал. Хроникер «Биржевых ведомостей» в эту пору сетовал: «Выставка эта, если не богата численностью, зато достоинством помещенных экземпляров оставляет желать очень немногого. Доступная цена за вход (20 коп. и 5 коп. за перечень — вместо каталога), казалось бы, должна привлечь тысячи любителей, видны же на ней единицы и десятки. Это жаль!» <sup>28</sup>

Неточность датировки статьи в определенном смысле была обусловлена ошибкой (опиской) Гончарова. Первоначально она открывалась строкой: «На „пере-

<sup>24</sup> Цит. по автографу: Л. 1 — 1, об.

<sup>25</sup> П. К. [Ковалевский П. М.] Вторая передвижная выставка картин русских художников (январь, 1873) // Отечественные записки. 1873. № 1. (январь). Современное обозрение. С. 93.

<sup>26</sup> Ковалевский П. Иван Николаевич Крамской // Русская мысль. 1887. Кн. 5 (май). С. 178; то же: Ковалевский П. М. Стихи и воспоминания. Посмертное издание. СПб., 1912. Раздел «Встречи на жизненном пути». С. 249. Противоречия собственной рецензии в «Отечественных записках» на Вторую передвижную выставку, Ковалевский на этот раз называет ее годичной выставкой 1872 года в Академии художеств.

<sup>27</sup> Крамской И. Н. Письма, статьи. М., 1965. Т. 1. С. 155.

<sup>28</sup> [Без подписи.] Петербургская летопись // Биржевые ведомости. 1873. 5 январь. № 3. С. 4.

движной” так называемой выставке, в Академии художеств (...)» Цифра «3-й» была вписана Гончаровым (над строкой), возможно, позже.<sup>29</sup> Психологически подобная описка объяснима. Новое явление, периодичность которого не устоялась или еще не усвоена публикой, видимо, способно вызывать такого рода ошибки.

Первая публикация статьи в 1921 году,<sup>30</sup> а затем последовавшие за ней издания, не учитывавшие особенностей авторского текста и не содержавшие обоснования датировки, по существу, канонизировали ошибку, которая повторялась издателями и комментаторами Гончарова на протяжении более семидесяти лет.

<sup>29</sup> См. автограф. Л. 1.

<sup>30</sup> См.: «Христос в пустыне». Картина г. Крамского. Неизданный этюд И. А. Гончарова. Сообщил Д. И. Абрамович // Начала. Пб., 1921. № 1. С. 191—203. В этой публикации к первым строкам статьи Гончарова дан следующий комментарий: «Третья передвижная выставка открылась в начале 1874 года» (Там же. С. 191).

## ПИСЬМА М. М. ПРИШВИНА к А. М. РЕМИЗОВУ

(ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И ПРИМЕЧАНИЯ Е. Р. ОБАТНИНОЙ)

Автобиографическая и мемуарная проза А. М. Ремизова (1877—1957) необычайно насыщена эпизодами литературного быта и портретами писателей начала века. Их количество и обилие фактов столь велики, что при обращении к теме взаимоотношений Ремизова с литературно-художественным кругом Петербурга возникает соблазн черпать информацию только из этого источника. Между тем исследователям ремизовского наследия известно, что, несмотря на подробность и кажущуюся документальность этих свидетельств памяти,<sup>1</sup> их жанровое приближение к литературным мемуарам, хронике и дневнику не отменяло особых художественных задач, характерных для символистской культуры в целом. В сущности в этих текстах Ремизов создал миф о литературной жизни Серебряного века, «героями» которого стали реальные люди, знакомые писатели, художники и поэты: А. А. Блок — «рыцарь, закованный в латы с крестом»,<sup>2</sup> В. В. Розанов — «исповедник пламенной веры в Вяя, Пузырь и Тарантул»<sup>3</sup> и др. В мифологическом облике выведен в воспоминаниях Ремизова и писатель М. М. Пришвин (1873—1954) — «когда-то елецкий „черный араб“, а теперь как лунь бородатый, белый медведчик и волхв — *Михайло Михайлович Пришвин*. А над ним серебряные тихие русские звезды».<sup>4</sup>

Образ Пришвина, тесно связанный с мифом, впервые появился в окончательной редакции ремизовского переложения народной сказки «Пес-богатырь». По воле автора ее главным героем стал охотник Пришвин: «Был один охотник — лесной человек.

Шайками на охоту Пришвин не любил ходить — был у него верный пес, непростое ружье.

<sup>1</sup> К наиболее значимым описаниям петербургского периода жизни писателя относятся его очерки, объединенные в книгу «Встречи. Петербургский буерак» (Париж, 1981), «временник» революционных лет «Взвихренная Русь» (Париж, 1927), а также художественный монтаж писем В. В. Розанова и воспоминаний Ремизова о философе, основанных на дневниковых записях, — «Кукха. Розановы письма» (Берлин, 1923).

<sup>2</sup> Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж, 1981. С. 97 («К звездам»).

<sup>3</sup> Там же. С. 105 («Выхожу один я на дорогу»).

<sup>4</sup> Там же. С. 271 («Пришвин»). Этот очерк о Пришвине был впервые опубликован в парижской газете «Последние новости» (1938. 25 мая. № 6269).

Благословил его ружьем лесник-колдун, как помирать пришел час старику, а пса разжился у знакомого от злой сучки. (...)

Случилось Пришвину под Егорьев день заночевать в лесу (...)<sup>5</sup>

Здесь абстрактному сказочному персонажу приданы реальные черты личности Пришвина: его любовь к охоте, привязанность к собаке и даже почитание Егорьева дня.<sup>6</sup> Введение реального имени писателя, а также ряда особенностей его характера в фольклорный текст имело свою предысторию и стало возможным благодаря тем дружеским и творческим отношениям, которые существовали между Ремизовым и Пришвиным на протяжении почти четверти века.

О своей первой встрече с Пришвиным Ремизов вспоминал: «Пришвин появился у нас в Малом Казачьем в 1907 г. (...) А познакомился я с Пришвиным на вечере на Женских Медицинских курсах. Мое впечатление — черная борода и черный зачес. И растерянные глаза от удовольствия. Помню, я подумал: „со мной такому никак!”

Я стоял один. (...) Меня познакомили с „писателем Пришвиным”. (...) У Пришвина была уже книга „В стране непуганых птиц” (1906 г.). С первой встречи с Пришвиным я замечаю: доверчивый, природа его звериная. А еще простодушие и с хитрецей.

Простодушие вызывает улыбку. Издание книги утвердило в нем, что он писатель. А ему хотелось быть писателем».<sup>7</sup>

Поначалу их общение определялось отношениями, какие обычно устанавливаются между учеником и учителем. Стиль Ремизова оказал влияние на многих писателей, о которых в начале 1920-х годов говорили как о прозаиках его «школы» (А. Н. Толстой, И. С. Соколов-Микитов, Е. Замятин, Вяч. Шишков). Однако первое «наставничество» началось именно с Пришвина в 1908 году. Заметим, что инициатива такого распределения ролей, по всей видимости, принадлежала Пришвину, так как в действительности ко времени их знакомства Ремизов еще только утверждался в статусе «известного» писателя, и хотя уже успел частично опубликовать роман «Пруд» (1905), а также две книги, принесшие ему признание в литературных кругах, «Посолонь» (1907) и «Лимонарь» (1907), критика еще долго именовала его «молодым талантливым писателем». К тому же Пришвин был старше Ремизова по возрасту. Тем не менее он всецело доверился художественному чутью и опыту Ремизова, который много лет спустя написал: «...я счастлив, что встретился с вами (...) и на мою долю выпала честь направить вашу руку в трудной работе над словом».<sup>8</sup> Не будет преувеличением сказать, что Ремизов способствовал началу литературной карьеры Пришвина, оказывая ему протекцию в известных повременных изданиях («Аполлон», «Русская мысль», альманахи издательства

<sup>5</sup> Цит. по: Ремизов А. Сказки русского народа, сказанные Алексеем Ремизовым. Берлин; Пб; М., 1923. С. 312. Впервые сказка «Пес-богатырь» была напечатана в журнале «Северные записки» (1913. № 2. С. 48—50), затем вошла в состав сборника «Докука и балагурье» (СПб., 1914. С. 240—244). Тексты этих двух редакций не имеют значительных разночтений с редакцией 1923 года, за исключением того, что в последнюю было введено имя Пришвина. «Пес-богатырь» является литературной переработкой народной сказки «Про охотника и Егория Храброго» в записи А. Васильева (см.: Васильев А. Шесть сказок, слышанных от крестьянина Ф. Н. Календарева. Издал А. М. Смирнов // Живая старина. 1911. № 1. С. 126—128). Ср. приведенный фрагмент сказки Ремизова с началом текста-источника: «Бывши один охотник, не любил шайками на охоту ходить, а все одиночками сам себе — только и надеялся на свою собаку и на свое ружье. Вот случай ему выпал 23-го апреля (Егория бывает) заночевать в лесу» (С. 126).

<sup>6</sup> День святого Егория (так называемый Егорий вешний) отмечается православной церковью 23 апреля (ст. ст.). В своем дневнике Пришвин писал: «Я люблю в природе самое первое начало перемены, особенно ранней весной (...) когда по еще низенькой, но уже плотно позеленевшей траве начинают гоняться друг за другом ежи, пастух выгоняет коров, словом, до Егорья» (Пришвин М. Дневники. М., 1990. С. 120. Далее: Дневники. 1990).

<sup>7</sup> Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, 1959. С. 322.

<sup>8</sup> Ремизов А. Встречи. С. 270.

«Шиповник»), щедро делясь с ним своими личными деловыми и дружескими связями почти со всем художественным бомондом Петербурга. Вскоре контакты между ними стали настолько тесными и даже проникнутыми взаимным дружеским расположением, что Пришвин, часто бывавший в отъезде, смог вверять свои литературные хлопоты Ремизову, который нередко держал корректуры его произведений и вообще заботился о судьбе пришвинских публикаций. Со своей стороны Пришвин, сотрудничавший в московской газете «Русские ведомости» и имевший там родственника в лице редактора и литературного критика И. Н. Игнатова, по возможности контролировал выход в свет печатавшихся в газете произведений Ремизова. Тогда же завязалась переписка, одну из линий которой, а именно письма Пришвина к Ремизову, мы публикуем ниже. Эти письма позволяют прояснить характер творческих и личных отношений двух писателей с 1908-го по 1918 год.

Безусловно, это был взаимообогащающий дружеский союз. Творческий поиск Ремизова, как и Пришвина, был устремлен в область народной мифологии. Их знакомство пришлось на тот период формирования Ремизова-писателя, когда основную задачу литературы он видел в восстановлении утраченных связей с коллективным творчеством народа. Поэтому Пришвин — путешественник, участник фольклорной экспедиции на Север, организованной в 1906 году известным ученым-этнографом Н. Е. Ончуковым, действительный член Императорского Географического общества — стал для Ремизова интересным собеседником, а вскоре выяснилось, что и единомышленником. Ремизов неоднократно обращался к фольклорным записям Пришвина, работая над литературными переложениями народных сказок.<sup>9</sup> Должно быть, рассказы Пришвина о его поездках в отдаленные, глухие районы России, откуда он привозил ценнейший фольклорный материал, были столь заманчивыми, что Ремизов, не склонный по своему характеру к кочевой жизни, серьезно обсуждал план их совместной экспедиции в Лапландию.

Общность интересов двух писателей и взаимная личная симпатия подверглись испытанию на прочность в июне 1909 года, когда творческий эксперимент Ремизова по «вживлению» фольклорного текста в литературную традицию был поставлен под сомнение статьей Мих. Миров «Писатель или списыватель?»<sup>10</sup> Естественно, что обвинение в плагиате, ставшее одним из скандальных литературных происшествий того года, психологически травмировало Ремизова, повлекло за собой серьезное заболевание на нервной почве и непродолжительный, но тяжело переживавшийся писателем творческий кризис. Нельзя сказать, что в сложившейся ситуации он оказался без дружеской поддержки и сочувствия. Рядом с Ремизовым в этот момент оказался Р. В. Иванов (псевд. Иванов-Разумник). Известен и благородный порыв В. Хлебникова, который с возмущением писал В. Каменскому: «(...) в „Киевской мысли“ появляется перепечатка из „Биржевых ведомостей“ под заглавием „Плагиат писателя“, где в тоне, за который бьют по морде, говорится о якобы плагиате рассказа „Мышонок“ в сборнике „Италия“. Зная, что обвинять создателя „Посолонь“ в воровстве — значит совершать что-то неразумное, неубедительное, на злостной подкладке, я отнесся к этому с отвращением и презрением. (...) Мы должны сплотиться вокруг Алек(сея) Мих(айловича), как его друзья. Пусть Ал(ексей) Мих(айлович) помнит, что каждый из друзей гордо встанет у барьера защищать его честь и честь вообще русского писателя (...) Итак, еще раз: я был бы гордым встать у барьера за честь Ал(ексея) М(ихайловича) (...) Об этом о всем, о чем я не мог написать А(лексею) Мих(айловичу), я пишу вам, думая, что вы передадите

<sup>9</sup> Почти все ремизовские обработки записей Пришвина вошли в сборник «Докука и балагурье», в том числе сказки «Летчик», «Чужая вина», «Ослиные уши» и др.

<sup>10</sup> *Миров Мих.* Писатель или списыватель? // Биржевые ведомости. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5—6.

ему многое из написанного».<sup>11</sup> Почти сразу же отреагировал на статью, порочащую имя Ремизова, владелец издательства «Шиповник» С. Ю. Копельман:

«Многоуважаемый Алексей Михайлович,

Выражаю Вам мое сочувствие по поводу грубой и бестактной выходки г. Мирова.

Полагая, что посланная Вами мне открытка М. М. Пришвина может Вам понравиться, спешу ее Вам возвратить.

С искренним уважением и преданностью С. Копельман».<sup>12</sup>

Имя Пришвина упомянуто здесь отнюдь не случайно, так как именно он взялся организовать кампанию по защите репутации Ремизова. Пока Ремизов под опекой Иванова-Разумника приходил в себя от всех неприятностей в небольшом путешествии по Волге, в Петербурге и Москве Пришвин выполнял роль его доверенного лица и пытался поместить в различных газетах свое опровержение на статью Мирова. обстоятельный отчет об утомительных переговорах с редакциями содержится в его письмах к Ремизову этого периода. Наконец, не без трудностей, статью Пришвина «Плаггиатор ли А. Ремизов? (Письмо в редакцию)» напечатали в газете «Слово».<sup>13</sup> Пришвинское «письмо в редакцию» было не только выражением дружеского участия, но прежде всего заявлением профессионала, выступившего в защиту ремизовских принципов обработки фольклорного материала. Несомненно, в беседах с Пришвиным, как и с другими литературными соратниками, отшлифовался и текст статьи самого Ремизова, решившего лично ответить на предъявленное ему обвинение.<sup>14</sup> Апеллируя к известной народной мудрости, скажем, что, быть может, только благодаря этому, одному из самых черных событий в жизни писателя мы располагаем единственной в своем роде теоретической статьей, в которой Ремизов обосновал свой творческий метод и изложил взгляды на задачи литературы. Этот текст, написанный также в форме «письма в редакцию», представляет собой уникальный документ с программным содержанием. Недаром теоретик символизма Вяч. Иванов, прочитав «Письмо в редакцию» Ремизова, записал в дневнике: «От Ремизова письмецо и вырезка из Русск. Вед. — письмо его к редактору по поводу обвинений в „плагиате“, обстоятельное и интересное как статья — о мифотворчестве, с очень широкими горизонтами. Думаю, что это заявление будет и нечто большее даже, чем Ehrenrettung».<sup>15</sup>

Тем временем писательская индивидуальность и самостоятельность Пришвина год от года крепили. Возможно, этой «проблемой роста» можно объяснить определенный сдвиг в его отношениях с Ремизовым, прослеживаемый и по пришвинским дневниковым записям. Так, начиная с 1910-х годов в его суждениях наблюдается явная переоценка некоторых черт характера и авторитета писателя в целом, а также стремление преодолеть собственную творческую зависимость от ремизовской стилистики. Поэтому столь болезненно воспринималось Пришвиным малейшее совпадение в их творческих замыслах, как это случилось с его повестью «Иван-Осляничек. (Из сказаний Семибратского кургана)»<sup>16</sup> и рассказом Ремизова

<sup>11</sup> Цит. по: Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940. С. 358—359.

<sup>12</sup> Письмо С. Ю. Копельмана А. М. Ремизову от 22 июня 1909 года (см.: РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 129. Л. 6).

<sup>13</sup> Пришвин М. Плаггиатор ли А. Ремизов? (Письмо в редакцию) // Слово. 1909. 21 июня (4 июля). № 833. С. 5. Републикуется ниже (см. Приложение 1).

<sup>14</sup> Ремизов А. Письмо в редакцию // Русские ведомости. 1909. 6 сент. № 205. С. 5. Републикуется ниже (см. Приложение 2).

<sup>15</sup> Иванов Вяч. Собр. соч. Брюссель, 1974. Т. 2. С. 803. Ehrenrettung — спасение чести, реабилитация (нем.).

<sup>16</sup> Пришвин М. Иван-Осляничек. (Из сказаний Семибратского кургана) // Заветы. 1912. № 2. С. 5—30; № 3. С. 5—29.



«Петушок»,<sup>17</sup> где оба автора, по-видимому независимо друг от друга, использовали название одной и той же иконы — «Иван Осляничек обидяющий». Впрочем, и весь стиль повести Пришвина в целом был несвободен от влияния Ремизова, это отметил даже такой благожелательный критик, как Иванов-Разумник.<sup>18</sup> Позднее Пришвин и сам критически оценил это произведение в своем дневнике: «Из прошлого встает „Семибратский курган“: сколько трудился. А теперь вспомнить стыдно, какой вздор написал под Ремизова (...) „Иван Осляничек“ — получилась не вещь, а сосулька».<sup>19</sup> Тогда же наметился ряд расхождений, прояснивших несоответствие мировоззренческих позиций писателей, их принципиальное типологическое различие, осознанное не только Пришвиным, но, думается, и Ремизовым. Эта перемена во взаимоотношениях почти никак не выражалась внешне, разве что ремизовское первое впечатление, описанное впоследствии в мемуарной книге «Встречи» («со мной такому никак!»), реализовывалось в едва обозначившейся иронии, направленной на Пришвина. Пример такой иронии встречается в письме Ремизова к Иванову-Разумнику: «Появился Пришвин, вид у него гордости необычайной, как некий мышь в крúпах, так смотрит».<sup>20</sup>

И хотя в пришвинских дневниках Ремизов по-прежнему был одним из постоянных персонажей, размышляя о нем, Пришвин пытался осмыслить собственный индивидуальный путь, свое место в литературе, наконец, самого себя лично. Камнем преткновения в понимании Ремизова и вообще символистов стала для Пришвина позиция большей части творческой интеллигенции, видевшей в искусстве прежде всего способ познания жизни. Начало этого расхождения относится к 1908 году, когда Пришвин, довольно быстро освоившийся в Петербурге, привлек к себе внимание деятелей петербургского Религиозно-философского общества (РФО). Пришвин был принят в РФО, и скоро его положение упрочилось, так как он стал своеобразным посредником между идеологами нового религиозного сознания и сектантами, жизнь и вероучение которых изучал во время поездок по глухим северным деревням. Как знаток сектанства он был признан Д. С. Мережковским, З. Н. Гиппиус, З. А. Венгеровой, В. В. Розановым и др. В Петербурге Пришвин установил связь с хлыстами и стал «проводимым» писателей на радения. В очерке «Астраль», вспоминая свою деятельность в РФО, он писал: «Признавая разумом всю огромную ценность задач людей, взявших на себя крест спасти во Христе мировую культуру, в тайне, сердцем, я, как понимаю теперь, был с людьми протестующими этому движению и горел любопытством посмотреть, как они, такие ученые люди с лысыми и в очках, будут вертеться с хлыстами».<sup>21</sup> Здесь же Пришвин описал свой визит вместе с деятелями РФО к хлыстовской «богородице» Дарье Васильевне Смирновой. В одном из персонажей, именуемом «приятель мой», характер которого намечен лишь несколькими штрихами, без труда угадывается А. М. Ремизов: «Все было необыкновенно в нашем путешествии к Дарье Васильевне: и как собрались в моей комнате (...) и как мы в шубах сидели молча, дожидаясь остальных членов экспедиции, — все-таки же это была ученая экспедиция, хотя и протестующая крайней учености главной струи религиозно-философского общества. (...) В это время „Охтенская богородица“ жила в Лесном на какой-то глухой улице (...) Постучались прямо в забор, и оттуда мужской голос спросил нас, кто мы такие и зачем. (...) было как-то неловко от этой таинственно-

<sup>17</sup> Ремизов А. Петушок // Альманах издательства «Шиповник». СПб., 1911. Кн. 16. С. 205—221.

<sup>18</sup> См.: Иванов-Разумник. Черная Россия («Пятая язва» и «Никон Староколенный») // Заветы. 1912. № 8. С. 40—58.

<sup>19</sup> Цит. по: Пришвина В. Путь к слову. М., 1984. С. 175, 176.

<sup>20</sup> Письмо от 25 августа (8 сентября) 1912 года (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 31. Л. 49).

<sup>21</sup> Пришвин М. Астраль (Возле процесса «Охтенской богородицы») // Заветы. 1914. № 4. С. 84.

сти, до того уж все были почтенные люди. Я очень боялся рассмеяться в самый главный момент. По скрипучей деревянной лестнице с половиками ввели нас в необыкновенно чистую комнату и оставили сидеть дожидаться. В полной пригородной зимней тишине куковала кукушка на старинных часах. Кот вышел к нам какой-то особенный, подсланный. Только что приятель мой высказал потихоньку одно свое предположение о подсланном коте, как вдруг появилась „богородица”.<sup>22</sup> По-видимому, Ремизов бывал в Лесном неоднократно, о чем свидетельствует письмо А. Блока к А. А. Кублицкой-Пиоттух с упоминанием поездки к сектантам вместе с Ремизовым, «где провели несколько хороших часов. Это — не последний раз».<sup>23</sup>

Попад в бурлящий философскими идеями Петербург, Пришвин, знавший духовную жизнь народа изнутри, вскоре ощутил неприязнь ко всякого рода теоретизированиям и постоянно чувствовал, что, в сущности, был как будто «взрослее» и опытнее многих идеологов РФО. В дневнике он записывал свои мысли по этому поводу, используя хлыстовское выражение «повертеться», т. е. при помощи экстаических движений достичь особого духовного состояния: «Тем она и страшна, эта хлыстовщина, что человек для жизни опустошается. Дает высшую радость самовольной мечте... После все плоско. (...) Ремизов очень бы хотел повертеться. Вообще все бы с удовольствием повертелись, а потому заискивали у хлыстов. («Повертеться желали» — а хлысты и не вертелись.) Для тех это все „шалуны” (...) Быть может, никогда литература так близко не стояла к народу, как в эпоху декадентства: характеризовать тип богов и этики: чем отличаются? У одних эстетика, у других религия: это и есть отличие»;<sup>24</sup> «Все эти писатели говорят: „Мы сами народ в своей личности (как Пушкин)”». И им отвечают другие: „Подите в настоящий народ, и вы себе шею сломаете”»;<sup>25</sup> «Последние русские символисты, даже те, которые брали материалы из русской этнографии и археологии (Ремизов), лишились восприятия действительной жизни и страшно мучились этим (Вяч. Иванов, Ремизов). Непосредственное чувство жизни своего (страшно любимого) народа совершенно их покинуло. И всегда символисты меня этим раздражали, и был я с ними, потому что натуралисты-народники были мне еще дальше».<sup>26</sup>

При всем уважении к творчеству Ремизова, особенно к его литературным работкам фольклора, Пришвин не принимал «лабораторный» метод писателя, которому противопоставлял свой непосредственный контакт с народной устной традицией, осуществлявшийся в его многочисленных путешествиях. На эту тему в дневниках Пришвина имеется ряд размышлений: «Все, чем мы живем: сказочки и проч. искусство — все сказочки, пустяки, мы — шалуны. Особенно мне чуден кажется Ремизов, отвергающий народ и потихоньку роющийся у Даля в погоне за народными словами...»;<sup>27</sup> «Ремизов страдал всегда недостатком материалов, ему Россия казалась заповедной страной, в которую ему нет входа, и так он пользовался архивами — почему это так?».<sup>28</sup> В дневнике 1951 года он снова возвращается к анализу творчества Ремизова: «Есть у писателя болезнь отчужденности, и ею страдал Ремизов. В жажде материалов он как бы каждого гостя силился обогреть в его словесности. Теперь это у нас учли как „отрыв от масс” и создали творческие командировки».<sup>29</sup>

В свою очередь Ремизов, который в новелле 1910-х годов стремился раскрыть многообразие человеческой духовной жизни через психологию и характеры героев,

<sup>22</sup> Там же. С. 84—85.

<sup>23</sup> См.: Письма Александра Блока к родным: В 2 т. М.; Л., 1927. Т. 1. С. 236.

<sup>24</sup> Пришвин М. М. Дневники: 1914—1917. М., 1991. С. 54. Далее: Дневники. 1991.

<sup>25</sup> Цит. по: Пришвина В. Путь к слову. С. 166.

<sup>26</sup> Дневники. 1990. С. 111.

<sup>27</sup> Там же. С. 52.

<sup>28</sup> Там же. С. 106.

<sup>29</sup> Пришвин М. Собр. соч.: В 6 т. М., 1957. Т. 6. С. 380.

наблюдая за становлением литературного мастерства Пришвина, отчетливо понимал, что пути их творческих исканий практически не имеют точек пересечения. Не случаен его «провокационный» вопрос Пришвину, на который тот попытался ответить в своем дневнике: «Однажды Ремизов сказал: — Вот бы настоящим критикам разобрать интересный вопрос, почему Пришвин не хочет описывать людей, а все коров, собак и всякую всячину. Это вот почему: потому что сердечной жизни человека (себя) я не понимаю и боюсь трогать этой догадкой, спугивать, непережитое отдать бумаге, расстаться с будущим. Тут дело мудрое».<sup>30</sup>

Все же по прочтении писем, дневников и воспоминаний двух писателей создается впечатление, что, несмотря на сложившееся между ними внутреннее противостояние, Пришвин и Ремизов долгие годы находились под взаимным обаянием личности и творчества друг друга. Оценивая свои отношения с Ремизовым по прошествии времени (в 1926 году), Пришвин писал: «Общаясь с декадентами, я всегда испытывал к ним в глубине души враждебное отталкивание, доходившее до отвращения, хотя сам себя считал за это каким-то несовершенным человеком, низшего круга. Но Ремизов понимал меня лучше, чем я сам себя, и, кажется, очень любил».<sup>31</sup>

Заметим, что отдельные размышления Пришвина о Ремизове, прослеживаемые по частично опубликованным дневникам писателя, нередко вступают в противоречие друг с другом. Поэтому неудивительно, что, несмотря на отрицательное отношение к приоритету мифологии и искусства в творчестве Ремизова, Пришвину была близка идея жизнетворчества, которая воплотилась в ремизовской игре в Обезьянью Великую и Вольную Палату. В Обезьяньей Палате Ремизова Пришвин носил почетный титул князя, а в реестре Обезвельволпала о нем записано: «М. М. Пришвин — князь и кавалер; известный этнограф, космограф и географ, певец птиц, земли и звезд. Князь и полномочный резидент заячьего ведомства».<sup>32</sup> Последнее звание он получил за учреждение в 1916 году фантастического «Заячьего ведомства» «внутри Министерства Торговли и Промышленности», где, по его собственным словам, «служил, укрываясь от войны, делопроизводителем отдела „Военного Времени“».<sup>33</sup> Судя по упоминаниям об этом ведомстве,<sup>34</sup> выдумка Пришвина была пародией на государственные структуры предреволюционного времени и не имела того мифологического развития, каким прославилось Обезьянье общество Ремизова. Возможно, тема «заяшного ведомства», а также утвердившийся в художественном восприятии Ремизова образ Пришвина — охотника, «лесного человека», — послужили поводом к созданию специально для Пришвина шутилой заклинательной молитвы, написанной в подражание народному заговору:<sup>35</sup>

Алексей Ремизов  
ЗАЯШНАЯ МОЛИТВА  
народный оберег

*Михаилу Михайловичу Пришвину*

Есть гора костяная.

На горе стул костян.

На костяном стуле сидит царь костян, подпершись костылем костяным:

<sup>30</sup> Дневники. 1990. С. 92.

<sup>31</sup> Там же. С. 133.

<sup>32</sup> Ремизов А. М. «Обезьянья Великая и Вольная Палата». Материалы фантастического общества [1921—1950] // ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 2. Ед. хр. 13. Л. 44.

<sup>33</sup> Дневники. 1991. С. 253—254.

<sup>34</sup> Там же. С. 253—254, 416.

<sup>35</sup> В этом же жанре написано еще одно произведение Ремизова — «Ратный поясок. Народный оберег», опубликованное в журнале «Аргус» (1917. № 5. С. 64—69).

шляпа на голове его — костяна,  
рукавицы на руках его — костяны,  
сапоги на ногах его — костяны.

Сам царь костян и все семьдесят три жилы его костяны и станковая жила — кость.

Так и у меня семьдесят три жилы, семьдесят три сустава были б костяны и станковая жила — кость и стояла б сто раз и тысячу на пострекание, на малое место — черное, русое, красное, белое, всякое.

И как у стоячей казенной бутылки горлышко всегда стоит прямо и бодро, так бы во всякое время стояла моя станковая жила.

Благослови ж меня, царь костян, ставить свои поставушки и половушки, золотые капканцы, позолочены пружинки, целковые силья на вольного зверя, — серого, белого зайца — косолапых, короткохвостых, корноухих. И шли б они, серые, белые зайцы, из-за тридесять земель, из-за тридевять городов, из-за тридевять ловцов, из-за тридевять хитрых мудрецов по всяк час, по всяко время без попятю, без завороту.

Замок крепок, ключ во рту.

Так тын —

Над аминями аминь.

Аминь.

говорить на сон трижды и плюнуть<sup>36</sup>

Совершенно в новом русле развивались отношения Пришвина и Ремизова в революционные годы. Конечно, более тесному сближению немало способствовало и соседство их домов на 14-й линии Васильевского острова. В это время квартира Ремизова напоминала мифологический ковчег, в котором переживали исторические невзгоды часто собиравшиеся там писатели. Из книги Ремизова «Взвихренная Русь» и ее прототекста — дневника писателя этого периода<sup>37</sup> явствует, что Пришвин был не просто постоянным гостем и собеседником Ремизова; он приносил известия о последних политических событиях, а также был заботливым товарищем, помогавшим превозмочь житейские трудности. Однозначно негативный взгляд на Октябрьский переворот, подорвавший весь прежний уклад жизни, определил единый регистр произведений обоих писателей, которые печатались на страницах правозащитной газеты «Воля народа» и ее литературного приложения «Россия в слове», выходявшего под редакцией Пришвина. Несомненно, что и для Пришвина, и для Ремизова это недолгое, но плодотворное сотрудничество в «Воле народа» было памятно как время наивысшего накала патриотических чувств, время, когда оба надеялись с помощью своего писательского дарования предотвратить историческую катастрофу. Сравнительный анализ очерков и рассказов Пришвина из «Воли народа» и таких произведений Ремизова, как «Слово о гибели земли русской»<sup>38</sup> и «Слово к матери-земли»,<sup>39</sup> позволяет говорить о том, что оба писателя пребывали в состоянии исключительного единодушия и единомыс-

<sup>36</sup> Текст «Заяшной молитвы» публикуется впервые по наборной рукописи с незначительной авторской правкой, хранящейся в Рукописном отделе Российской национальной библиотеки (Ф. 92. Оп. 1. Ед. хр. 343).

<sup>37</sup> Ремизов А. Дневник 1917—1921 / Подг. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и комм. А. М. Грачевой // Минувшее. М.; СПб., 1994. Вып. 16. С. 407—549.

<sup>38</sup> Ремизов А. Слово о гибели земли русской // Россия в слове. 1918. [Декабрь?]. Подробнее об этом произведении Ремизова см.: *Иезутова Л. А.* «Слово о гибели земли русской» А. М. Ремизова в газете «Воля народа» // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы.* СПб., 1994. С. 67—80.

<sup>39</sup> Ремизов А. Слово к матери-земли // *Воля страны [Воля народа].* 1918. 3 (16) февр. № 16. С. 2.

лия. Благодаря Пришвину ремизовское «Слово о погибели земли русской» впервые было напечатано в литературном приложении «Воли народа» «Россия в слове». Находясь под сильным впечатлением от этого произведения, Пришвин записал в своем дневнике: «Этот больной писатель, его плач о погибели земли — единственное произведение первого года русской революции, которое останется навсегда памятником в литературе. Он страдает язвой в желудке и не может даже выходить на улицу всю зиму <...> Перекочевать через восьмушку навоза с язвой в желудке и еще что-то написать — это ли не подвиг».<sup>40</sup>

Весной 1918 года Пришвин уехал из Петербурга на родину, в Орловскую губернию. С этого времени его общение с Ремизовым по существу свелось к обмену письмами, что вскоре также стало затруднительным в связи с отъездом последнего в 1921 году за границу.

Обрисовав здесь историю взаимоотношений писателей, мы ограничились периодом, к которому относятся публикуемые ниже письма Пришвина к Ремизову, хранящиеся в архивах РНБ и ИРЛИ, и не беремся анализировать отзывы, встречающиеся в поздних дневниках Пришвина, и высказывания Ремизова 1950-х годов, полагая, что некоторые мнения могли возникнуть в результате искаженной или недостаточной информированности, утраты личного контакта и многих других обстоятельств.<sup>41</sup> Как бы то ни было, в одной из первых книг, написанных в эмиграции, Ремизов, возвращаясь мыслями в Россию, писал о Пришвине: «И Пришвин, поди, не спит, и ему в окно манит — от снега луна еще ярче и льется свет в окно беспокойный».

А от луны еще звернее, зарос, как леший, — почетный косарь! — а в штанах два репья колючих еще с лета, как купался.

Вынул бережно свое старое охотничье ружье — поработало на веку! — подул, погладил.

Завтра еще не звонят к ранней у Большого Вознесенья, постучит сосед Лидин, берлинская трубка пыхнет в мороз и пошли —

„Все покрыто снегом. Глухарь и тетерев держатся в лесных чащах, там же рябчики и белая куропатка. Серая куропатка большими стаями, медведи в берлогах, у волка...”

Из всех, ведь, писателей-современников — теперь уж можно говорить о нас, как об истории — у Пришвина необычайный глаз, ухо и нос на лес и зьяря, и никто так живо — теперь уж можно говорить о нас и не для рекламы и не в обиду — никто так чувствительно не сказал слова о лесе, о поле, о звере: запах слышно, воздух — <...>.<sup>42</sup>

Таким же благодарным чувством было пронизано письмо Пришвина к Ремизову 1923 года: «<...> те, кого я люблю в старой Руси, живут постоянно со мной».<sup>43</sup>

В настоящее время тема «Пришвин и Ремизов» изучена лишь фрагментарно.<sup>44</sup> Эпистолярное наследие Пришвина, несомненно, является важным материалом, позволяющим реконструировать реальные взаимоотношения писателей,

<sup>40</sup> Пришвин М. Дневник: 1918—1919. М., 1994. С. 57 (далее: Дневник. 1994). Ср. главу «Труддезертир» в книге Ремизова «Взвихренная Русь» (Париж, 1927. С. 409—434).

<sup>41</sup> См. об этом, например: Резникова Н. В. Огненная память. Berkeley, 1980. С. 84; Кобринская Н. Алексей Ремизов. С. 322; Lowe D. Unpublished letters from Pilniak and Ivanov-Razumnik to Remizov // Russian Literature Triquarterly. 1974. № 8. P. 489—501.

<sup>42</sup> Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 55.

<sup>43</sup> Цит. по: Дворцова Н. П. М. Пришвин и А. Ремизов (К истории творческого диалога) // Вестник МГУ. 1994. № 2. Сер. 9. Филология. С. 27.

<sup>44</sup> Эта тема затронута, в частности, в монографии Т. Хмельницкой «Творчество Михаила Пришвина» (М., 1959. С. 80—86), а также в книге В. Пришвиной «Путь к слову» (С. 175). Начало ее всестороннего исследования положено в статье Н. П. Дворцовой (см. прим. 43).

что значительно дополняет известные автобиографические и мемуарные источники.

Письма Пришвина к Ремизову (1908—1918) публикуются по автографам, хранящимся в РНБ: Ф. 634. Ед. хр. 175 (п. 1—11, 14, 15, 17, 19—22), Ф. 124. Ед. хр. 3505 (п. 12, 13, 16, 18, 24); а также в ИРЛИ: Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 156 (п. 23, 25—28).

## 1

〈конец 1908 года〉<sup>1</sup>

Я хотел бы прийти к Вам, Алексей Михайлович, через неделю во вторник, если Вам неудобно, черкните открытку (Песочная 19, кв. 17. Михаилу Михайловичу Пришвину).

Посылаю Вам свою книгу. Если можно: прочтите к моему приходу первую главу, очень прошу. Отвлекитесь только от крикливой и некрасивой внешности: я в ней не виноват, выбор издания, рисунков и т(ак) д(алее) зависел не от меня.<sup>2</sup>

Есть у меня и другая книга (полузэтнографическая)<sup>3</sup> и еще сказки записанные,<sup>4</sup> но у меня нет теперь под рукой ни одного экземпляр(а) — достану. Думаю я: читаю Вас я, знаю, надо же и Вам меня чуточку узнать, вот и послал. До свидания.

М. Пришвин

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Имеется в виду вторая книга Пришвина «За волшебным колобком. Из записок на крайнем севере России и Норвегии», вышедшая в 1908 году в петербургском издательстве А. Ф. Девриена. Книга сопровождалась рисунками Г. Д. Дэнглас-Юма.

<sup>3</sup> Речь идет о первой книге Пришвина «В краю непуганых птиц» (СПб., 1907).

<sup>4</sup> Подразумеваются сказки, собранные и записанные Пришвиным летом 1906 года во время экспедиции в Олонецкую губернию. Этот фольклорный материал (всего 37 сказок) вошел в сборник Н. Е. Ончукова «Северные сказки» (СПб., 1908. С. 412—469; сказки № 166—203), опубликованный в виде XXXIII тома Записок Императорского Русского Географического общества по Отделению этнографии; в 1909 году был выпущен отдельный оттиск этого тома.

## 2

Материалами, Алексей Михайлович, пользуйтесь на здоровье, я буду только рад. Но прочтите сказки и других собирателей: у них, кажется, лучше записано.<sup>1</sup> Сборник<sup>2</sup> я хотел нести к Вам вчера, но забыл в «Тропинке».<sup>3</sup> Там он Вас и дожидается.

З/1 (19)09.

М. Пришвин

Открытое письмо. На штемпелях: Петербург. 4. I. 09.

<sup>1</sup> См. прим. 4 к п. 1. Ремизов активно использовал фольклорные записи из сборника «Северные сказки», о котором идет речь, преобразуя этнографический материал в художественные произведения и при этом сохраняя колорит, а также подлинное звучание народной сказки. Занимаясь литературным пересказом фольклорных текстов, он нередко обращался к записям, сделанным такими известными учеными-фольклористами и собирателями, как Н. Е. Ончуков и А. А. Шахматов, но вместе с тем значительная часть его переработок основывалась на сказках, записанных Пришвиным: шестнадцать из них были переработаны Ремизовым и включены впоследствии в его сборник «Доука и балагурье» (1914). Первые пересказы пришвинских записей (сказок № 190 и 174), выполненные Ремизовым, появились в печати уже в 1909 году: это были сказки «Мышонок» (Италии. СПб., 1909) и «Мужик-медведь» (Тропинка. 1909. № 7).

<sup>2</sup> См. прим. 4 к п. 1. и прим. 1 к наст. п.

<sup>3</sup> «Тропинка» — детский журнал, издавался в Петербурге в 1906—1912 годах поэтессой П. С. Соловьевой (Allegro). На протяжении всех лет существования этого издания в нем печатались произведения Ремизова.

## 3

Вот что, Алексей Михайлович, узнал я о секте, *вырезающей груди у женщин*.<sup>1</sup> Такой секты не существует, но есть легенда о хлыстах, передаваемая Мельниковым. Он говорит, будто хлысты сажают свою богородицу в чан с водой, отрезают одну грудь и частицы ее съедают<sup>2</sup> [подробнее см. Андерсен (Так. — Е. О.). Старообрядчество и сектантство].<sup>3</sup> Но это все враки. Мельников известный враль.<sup>4</sup>

Материалы о сектантах, к(ото)рые Вы велели кому-то<sup>5</sup> послать, направ(ь)т(е) тому же Андерсену, воззвание его со ссылками на Смайльса<sup>6</sup> я Вам посылал.

Ив(ан) А(лександрович) Рязановский,<sup>7</sup> с которым Вы почему-то поленились встретиться, предложил Вам для разработок сказки: 1) ст(р). 194 № 75 дополнить ее из № 48 2) стр. 286 № 119.<sup>8</sup>

Затем желаю Вам всего хорошего, на днях я исчезаю из Питера в Орловск(ую) губ(ернию),<sup>9</sup> вернусь в мае и опять исчезну. Поклон Серафиме Павловне.<sup>10</sup> Ваш

М. Пришвин

4/II (19)09.

<sup>1</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым красными чернилами.

<sup>2</sup> Подобный обряд описан П. И. Мельниковым-Печерским в очерке «Белые голуби» (Русский вестник. 1869. № 3. С. 383—386), посвященном хлыстовским сектам. Интерес Ремизова к этому обряду нашел отражение в его рассказе «Черная бабушка» (Грани. Берлин, 1922. Вып. 1), включенном в книги «В поле блажитном» (Берлин, 1922) и «Оля» (Париж, 1927). В нем, в частности, упоминается хлыстовское посвящение в «богородицы».

<sup>3</sup> Имеется в виду книга В. Андерсона «Старообрядчество и сектантство. Исторический очерк русского религиозного разномыслия» (СПб., 1908).

<sup>4</sup> В своей оценке Пришвин опирается на высказывания В. Андерсона, подвергнувшего сомнению исследовательскую добросовестность Мельникова-Печерского в очерке «Белые голуби», по поводу которого он писал: «Хлыстам инкриминируется практикование „свального греха“ (...) и различные изуверства при выборе „богородицы“». Разумеется, к подобным обвинениям нельзя относиться не скептически, памятуя, что они исходят из лагеря таких непримиримых гонителей раскола, принадлежностью к которому заявил себя хотя бы известный казенный исследователь раскольничьего быта беллетрист Мельников» (Андерсон В. Старообрядчество и сектантство. С. 307). Далее следует черта, проведенная Ремизовым красными чернилами.

<sup>5</sup> Подразумеваемого адресата установить не удалось, хотя известно, что тема хлыстовства была предметом живого интереса Д. С. Мережковского, З. Н. Гиппиус, В. В. Розанова, З. А. Венгеровой, Е. Г. Лундберга и др. Любопытно, что в тот же день (4 февраля 1909 года) в письме к З. А. Венгеровой Пришвин выразил готовность помочь ей в сборе материала о хлыстах для будущей книги, а также повторно предложил познакомить ее с хлыстовской богородицей. Показательна для Пришвина заключительная фраза этого письма, отражавшая истинные отношения писателя к символистским увлечениям сектантством и богоскательству вообще: «Кончайте скорее свою книгу, весной нельзя такими вещами заниматься. Большой грех будет на душе Мережковского, если он заразит русское общество религией, как модернизмом, а света Христова не даст» (ИРЛИ. Ф. 39. Ед. хр. 654. Л. 3—4).

<sup>6</sup> Имеется в виду предисловие В. Андерсона к книге «Старообрядчество и сектантство», в котором сформулированы задачи исследования (см.: Андерсон В. Старообрядчество и сектантство. С. 3—6). Непосредственно перед этим предисловием помещен издательский анонс Собрания сочинений С. Смайльса в восьми томах («Нравственные сочинения С. Смайльса»).

<sup>7</sup> Рязановский Иван Александрович (1869—1927) — архивист, археолог, собиратель документов по истории России, в 1910-е годы хранитель Романовского музея в Костроме. С Пришвиным и Ремизовым его связывали дружеские и профессиональные интересы. Рязановский был неиссякаемым источником архивных материалов для будущих произведений обоих писателей. Особенно это отразилось на творчестве Ремизова, так как Рязановский стал не только его авторитетнейшим консультантом в области медиэвистики, но и прототипом некоторых литературных персонажей (например, следователя Боброва в повести «Пятая язва»), а также героем его автобиографической прозы. Об этом творческом контакте свидетельствуют письма Ремизова к Рязановскому, хранящиеся в РНБ (Ф. 634. Ед. хр. 31—33), и письма Рязановского к Ремизову, находящиеся в собрании ИРЛИ (Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 180). Своим знакомством с Рязановским Ремизов был обязан Пришвину: «А познакомил меня с этим необыкновенным человеком М. М. Пришвин, счастливый на встречи, как с птицей и зверем, так и с человеком. И во все наши петербургские годы (...) Рязановский был всегда желанным и неизменным, верным гостем» (Ремизов А. Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж,

1951. С. 153—154). Пришвин посвятил Рязановскому книгу «У стен града невидимого» (М., 1909), написанную под впечатлением от путешествия к заволжским раскольникам.

<sup>8</sup> Имеются в виду сказки из сборника Н. Е. Ончукова (см. прим. 4 к п. 1) № 75 — «Царь Агапий и дочь его Елизавета» (в записи Н. Ончукова), № 48 — «Федор Бурмаков» (в его же записи) и № 119 — «Христов крестник» (в записи А. Шахматова). Ремизов воспользовался лишь некоторыми из этих рекомендаций. Так, контаминация двух сказок (№ 75 и № 48), по видимому, его не привлекла, а вот заключительный мотив последней (№ 48) не был оставлен им без внимания, так как сходный мотив является основным в сказке № 161 — «Хмель», которая была переработана Ремизовым и под названием «Хмель» впервые опубликована в журнале «Копейка» (1909. № 20. С. 2), а затем включена в сборник «Докука и балагурье» (С. 222—224) под названием «Лев-зверь». Сказка «Христов крестник» (№ 119) вскоре появилась в пересказе Ремизова в газете «Речь» под тем же названием (Речь. 1909. 11 апр. № 86. С. 4). Впоследствии Ремизов включил ее в седьмой том собрания сочинений («Отреченные повести») под названием «Иов и Магдалина». О своих намерениях относительно этого текста он писал Рязановскому 3 сентября 1909 года: «„Христова крестника“ я пробовал изобразить, напечатан он в пасхальном № „Речи“. Для „Лимонаря“ мне хотелось бы его дополнить, для примечаний знать тексты. Тоже прошу Вас, сообщите их мне» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 31. Л. 1, об.).

<sup>9</sup> Весной 1909 года Пришвин навестил имение своей матери — Хрущево, находившееся в Орловской губернии под городом Ельцом.

<sup>10</sup> Ремизова-Довгелло Серафима Павловна (1876—1943) — жена Ремизова.

## 4

(Петербург. 20 июня 1909 года)<sup>1</sup>

Алексей Михайлович!

В Речи<sup>2</sup> отказали «Мы, — говорят, — в эту полемику не хотим ввязываться, напечатайте в „Бирже(вых) Вед(омостях)“.<sup>3</sup> Писал: Измайлов».<sup>4</sup> Я им на это «как сотрудник Русск(их) Вед(омостей)»<sup>5</sup> выразил свое неодобрение и ушел в Слово,<sup>6</sup> где был радостно встречен. Завтра будет напечатано (я там прочел статью).<sup>7</sup> Просили меня следить за полемикой и отписываться. Так и будем делать.

Материал, сообщенный Вами, я в одном письме использовать не мог,<sup>8</sup> сердился на себя, ругался и кое-как только доскреб ко времени. Алек(сандру) Мих(айловичу),<sup>9</sup> значит, не показывал. В общем я пришел к заключению, что и нельзя все выложить в коротком письме. Во всяком случае пуля пущена и настолько основательная, что по прочтении в «Речи» хотели даже изменить решение не печатать, но посоветовавшись, опять отказали. Сегодня в Нов(ом) Врем(ени) тоже, говорят, была скверная заметка о Вас.<sup>10</sup> Но ничего. Это к лучшему. Бог даст, узнают Вас и в более широких кругах.

Получил письмо от Ивана Александровича,<sup>11</sup> оно начинается: «И не знаю как обрадовали Вы меня (...) etc..» Так что очень зовет Вас. Как-нибудь забегу к Вам на днях.

Какие свиньи в Речи! Как волки.

Ваш М. Пришвин

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> «Речь» — ежедневная политическая, экономическая и литературная газета; орган партии конституционных демократов; издавалась в Петербурге в 1906—1917 годах. Издатели: В. Д. Набоков, И. И. Петрункевич, Н. К. Милюков, Ю. Б. Бак. Одна из газет, в которой активно публиковались произведения Ремизова.

<sup>3</sup> 16 июня 1909 года на страницах газеты «Биржевые ведомости» (№ 11160. С. 5—6) было напечатано обличительное «письмо в редакцию» «Писатель или списыватель?», подписанное псевдонимом Мих. Мироз. Сопоставляя записи из сборника Ончукова «Северные сказки» с ремизовскими сказками «Мышонок» (см. прим. 1 к п. 2) и «Небо пало» (Всемирная панорама. 1909. № 5), его автор утверждал, что эти тексты абсолютно идентичны. Тем самым он обвинял Ремизова в плагиате. Эта заметка имела широкий резонанс и была перепечатана не только столичными, но и многими провинциальными газетами. Пришвин оказался, пожалуй, единственным, кто деятельно пытался восстановить честное имя писателя, стремясь поместить в различных газетах опровержение на это обвинение. Ср. в воспоминаниях Ремизова: «Приходил Пришвин. Вздрыбленный. Бубнит по-елецки. У Ончукова „Небо пало“ его запись, в моей



редакции сказка звучит отчетливее — рассказчику подвесили язык. Дело не в количестве слов, а в выборе слов — и одно-единственное может распутать и пустить в ход. При беглом чтении текстов можно и не заметить. Эти свои соображения по поводу обвинения меня в плагиате он изложил по-газетному — он сотрудник „Русских Ведомостей” — и отнес в „Речь” И. В. Гессену, уверенный — напечатают. Но Гессен не принял опровержение и печатать решительно отказался. А. Ганфман сказал: „С «Биржевкой» «Речь» не может полемизировать — всякий спор принизил бы ее достоинство”» (Ремизов А. Встречи. С. 22).

<sup>4</sup> Измайлов Александр Алексеевич (1873—1921) — прозаик, пародист, литературный критик. Автор ряда статей о творчестве Ремизова (см.: *Aronian S. Critical and Bibliographical Literature on A. M. Remizov // Russian Literature Triquarterly*. 1985. № 18. P. 213). Как явствует из данного письма, заметка «Писатель или списыватель?», напечатанная в «Биржевых ведомостях», принадлежала перу А. А. Измайлова. Ср. также следующий пассаж Ремизова: «(...) А. А. Измайлов из побуждений самых высоких, оберегая литературную честь, написал про меня в вечерней Биржевке (...)» (Ремизов А. Кукха. С. 81). Однако мы не располагаем более вескими доказательствами его причастности к этой публикации. Поэтому, принимая во внимание тот факт, что псевдоним Мих. Миров был употреблен только один раз, причем, как известно, критик обычно пользовался другими псевдонимами (Аякс и Смоленский), считаем допустимым предположить, что статья была написана не Измайловым, хотя и не без его непосредственного участия в качестве руководителя «Литературного отдела» «Биржевки». К тому же, по мнению исследователей творчества критика, стилистически она не согласуется с другими его работами.

<sup>5</sup> С 1905 года Пришвин становится постоянным корреспондентом ежедневной политической и литературной газеты либерального направления «Русские ведомости», выходящей в Москве в 1863—1918 годах. С 1901-го по 1916 год ее издателем был В. М. Соболевский.

<sup>6</sup> «Слово» — ежедневная политическая, общественная и литературная газета; выходила в Петербурге с 1903-го по июль 1909 года. Орган партии «мирного обновления». С 1907 года издавалась и редактировалась М. М. Федоровым.

<sup>7</sup> Пришвин имеет в виду свою статью, написанную в ответ на обвинение Ремизова в плагиате. Это «письмо в редакцию» под названием «Плаггиатор ли А. Ремизов?» было опубликовано в «Слове» 21 июня (4 июля) 1909 года (№ 833. С. 5). См. также Приложение 1.

<sup>8</sup> Речь идет о принципах работы с фольклорными текстами, которые были сформулированы Ремизовым, вероятно, в виде набросков к будущей статье (см. Приложение 2) и предоставлены Пришвину, готовившему публикацию в защиту писателя.

<sup>9</sup> Коноплянцев Александр Михайлович (1875—?) — педагог и публицист, ближайший друг Пришвина, с которым они вместе учились в елецкой гимназии, где в те годы преподавал В. В. Розанов. Одна из глав книги Пришвина «За волшебным колобком» была написана в форме писем, обращенных к Коноплянцеву (см.: *Пришвин М. За волшебным колобком*. С. 74—100). Ремизов усматривал в Пришвине и Коноплянцеве типологическое сходство, объединяя их во взаимодополняющую пару: «(...) когда я о Пришвине подумаю, лезет в голову Коноплянцев (...)» (Ремизов А. Кукха. С. 56).

<sup>10</sup> Имеется в виду заметка, напечатанная в рубрике «Среди газет и журналов», анонимный автор которой язвительно замечал: «„Модернисты” сделали еще крупный шаг в литературной технике (...)», подразумевая плагиат, в котором был «уличен» Ремизов (см.: *Новое время*. 1909. 20 июня. № 11950. С. 3).

<sup>11</sup> И. А. Рязановский.

Прощайте, достопочтеннейший Алексей Михайлович!

Завтра уезжаю в Семипалатинск на два месяца. Ждал, ждал от Вас ответа и не дождался, а тут подошла выгодная комбинация с Русскими Ведомостями<sup>1</sup> — вот и уехал.

Ломаю себе голову: почему Вы мне не ответили на мое письмо? Писал о Вас матери,<sup>2</sup> всячески хотел устроить Вам добро,<sup>3</sup> а Вы... ноль внимания. Пришло другое в голову и... все. Так вот же и Вам моя месть: жду и все.

Боюсь, не обиделись ли Вы чем-нибудь на меня... Может быть Вы не так поняли мое письмо? Быть может в моей комбинации с «дачей» Вы увидели что-нибудь Вас, как говорят, «шокирующее». Я как-нибудь не так выразился. Если это так, то просто затрудняюсь объяснить себя: нужно в этих случаях понимать и верить просто, без объяснений. Ну, довольно об этом.

В Панораме<sup>4</sup> отказались печатать письмо о Вас. Я достал из Слова несколько экземпляров письма<sup>5</sup> и хотел направлять в разные стороны, но вот что вышло. С одним моим знакомым встретился Изгоев<sup>6</sup> и советовал не раздувать это дело, приводил веские аргументы в пользу нераздувания. Я с этим вполне согласился и не послал письма. Кстати, Панорама не печатает письмо исключительно потому, что оно не интересно их публике.

Итак, всего Вам хорошего. В октябре увидимся. «Невидимый град» после долгих усилий устроил сам.<sup>7</sup> Котылев<sup>8</sup> Ваш никуда не годится. Он может устраивать только «имена». Кланяюсь Серафиме Павловне. Ваш М. Пришвин.

<sup>1</sup> Лето и осень 1909 года Пришвин провел в Средней Азии, собирая материал о жизни русских переселенцев в казахских степях по заданию редакции «Русских ведомостей» (см.: *Могиланский В.* Там, где охотился «Черный Араб» // Воспоминания о Михаиле Пришвине. М., 1991. С. 47).

<sup>2</sup> Пришвина Мария Ивановна (урожд. Игнатовна; 1842—1914) — мать Пришвина.

<sup>3</sup> Речь идет о предложении Пришвина устроить Ремизова и С. П. Ремизову-Довгелло на отдых в имение его матери Хрущево.

<sup>4</sup> «Всемирная панорама» — петербургский журнал (1909—1916; издатель и редактор Б. А. Катловкер), поместивший в № 5 за 1909 год сказку Ремизова «Небо пало» без подзаголовка «Народная сказка», который обычно ставился писателем при публикации литературных пересказов фольклорных текстов, что и послужило поводом для обвинения Ремизова в плагиате (см. об этом: *Ремизов А.* Встречи. С. 21, где вместо «Всемирной панорамы» указан журнал «Скетинг-ринг»).

<sup>5</sup> См. прим. 7 к п. 4.

<sup>6</sup> Изгоев Александр Соломонович (наст. имя Арон Соломонович Ланде; 1872—1935) — публицист, журналист, общественный деятель. В 1909 году заведовал отделом «Русская жизнь» в газете «Речь».

<sup>7</sup> Речь идет о попытках издать в Петербурге книгу Пришвина «У стен града невидимого», которая была написана зимой 1908—1909 года.

<sup>8</sup> Котылев Александр Иванович (? — 1917) — журналист, издатель. Играл в жизни Ремизова роль покровителя и благодетеля. В силу авантюристичности своего характера помогал писателю во многих трудных ситуациях, устраивая его произведения в разные журналы и издательства, не гнушаясь при этом и «силовых методов». Как писал о нем Ремизов, «Котылев — король петербургского шантажа, газетной утки и скандала», «отчаянная голова, возьмется за что, ни перед чем не остановится, доведет до конца» (*Ремизов А.* Встречи. С. 14, 54). Экцентричность и широта характера Котылева, а также этимология его фамилии, переосмысленная Ремизовым в духе народной мифологии (своеволие льва и хитроумие кота), позволили писателю создать нарицательный образ героя под именем Кот-и-Лев в сказке «Никола Чудотворец». Кот-и-Лев выполняет здесь роль волшебного помощника, в характере которого органично сочетаются два качества: «море ему по колено и на догадку горазд» (*Ремизов А.* Николины притчи. Пг., 1918. С. 79). Такой диапазон характера был присущ и реальному прототипу этого героя — А. И. Котылеву, принимавшему участие в нашумевшем в 1909 году скандале в связи с обвинением Ремизова в плагиате. Подробно излагая эту историю в книге «Встречи. Петербургский буерак» и отмечая роль заступника, которую принял на себя Котылев, Ремизов описывает стиль поведения своего приятеля следующим образом: « — Мерзавцу, — возгласил Котылев (...) — в театре публично набьем морду (...) А ведь Котылев, как оказалось, убежден, что я содрал сказку и попался» (*Ремизов А.* Встречи. С. 24). Зная способности А. И. Котылева, Ремизов, вероятно, полагал, что этот «волшебный помощник» мог бы стать полезным Пришвину, безуспешно пытавшемуся издать свою книгу «У стен града невидимого».

Подждал, все поджидал от Вас, дорогой Алексей Михайлович, известий. Ну, хорошо, что Вы доехали, устроились и прочее.<sup>2</sup> Нехорошо, что и на пути Вас беспокоят «лестные» отзывы.<sup>3</sup> Признаюсь, я уже стал было эту историю хоронить. Мне сказали, что видели перепечатку или выдержку моего письма о Вас в Русс(ких) Вед(омостях) и в каких-то Ярославских газетах.<sup>4</sup> Потом, доходили голоса от с. р-ов, что там у них публика «возмущена», что письмо мое совершенно Вас

обеляет; где-то писали: «не так-то легко списывать...»;<sup>5</sup> у Котылева<sup>6</sup> видел кучу писателей, все знают эту историю; некий Пильский<sup>7</sup> предложил тут же написать фельетон в Руси, просил доставить ему материалы на другой край города; я понес ему в условленный день и час, но он надул; еще понес, еще надул, пока, наконец, Котылев велел мне оставить Пильского в покое. Котылев взял у меня последний экземпляр письма для Панорамы, т(ак) ч(то) нечего было послать Розанову;<sup>8</sup> как только напечатают в Панораме — пошлю Розанову и Ончукову.<sup>9</sup> Проездом через Москву узнаю, в каком № Рус(ских) Вед(омостей) было перепечатано письмо. Думаю, что не стоит Вам обращать внимания на эту глупую чепуху. Пишите свое Вавилонское царство<sup>10</sup> спокойно. Не забывайте только о необходимости для Вас получить место,<sup>11</sup> напр(имер), в музее, в библиотеке и т(ак) д(алее). Итак, две звезды: Вавилонское царство и место, а прочее вздор.

О себе могу сообщить мало хорошего. Невид(имый) Град все еще на руках;<sup>12</sup> Котылев предлагает издать мне самому, обещает доход; я и мог бы занять у сестры<sup>13</sup> руб(лей) 200, но боюсь: она существо неприспособленное, не хочется подводить; да и за Котылева боюсь. Так вот и сижу. Послал фельетоны<sup>14</sup> в Русск(ие) Вед(омости), к(ото)рые должны мне дать 200 р(ублей). Теперь ожидаю денег, как только напечатают, отправляюсь с семьей в Оптину пустынь,<sup>15</sup> где и проживу осень, навещаю оттуда мать. Если же не напечатают, то и не знаю, что делать. Во всяком случае на родину я еду и могу вас доставить к матери. Хотелось бы мне устроить Вас с Сераф(имой) Пав(ловной) в Хрущеве, но боюсь я за нее: не понравится ей, будет скучно и т(ак) д(алее). Для того, чтобы не стесняться и глядеть жизни в очи прямо (если Вы пожелаете поселиться у матери с Сер(афимой) Павл(овной)), — поселитесь как бы на *даче*,<sup>16</sup> а потом — я это *хорошо*<sup>17</sup> устрою — Вы поднесете моей маркизе<sup>18</sup> какую-нибудь изящную вещь (напр(имер), свою «Посо-лонь»);<sup>19</sup> и тем дело и кончится. Ничего, что я так Вам все это объясняю?

Пишу рассказы. Читаю Раз(умника) Иванова.<sup>20</sup> Играю с Левушкой<sup>21</sup> в мяч. До свидания, Алексей Михайлович. Большущий поклон Серафиме Павловне. Хорошо увидеть ее под хрущевскими липами. Ваш

М. Пришвин

Напишите: когда будете в Москве,<sup>22</sup> где Вас найти. Бирж(евые) Ве(домости) не отвечали; я сходил. Быть может, сходить туда и попросить напечатать мое письмо?<sup>23</sup>

<sup>1</sup> Сверху рукой Ремизова синим карандашом проставлена дата получения письма: 18 VII.

<sup>2</sup> В конце июня — начале июля 1909 года Ремизовы вместе с семьей Иванова-Разумника предприняли путешествие по Волге на пароходе «Великий кн. Владимир», которое закончилось пятидневным отдыхом (с 9 июля по 14 августа) в имении Гриневич Ольховый Рог, находившемся в Полтавской губернии (см.: *Ремизов А. М.* Адреса его и маршруты поездок // РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 3. Л. 12; см. также письма Иванова-Разумника Ремизову // Там же. Ед. хр. 115. Л. 10).

<sup>3</sup> Имеются в виду газетные отклики на статью Мих. Мирова «Писатель или списыватель?» (см. прим. 3 к п. 4).

<sup>4</sup> Вероятно, Пришвин был дезинформирован, так как его письмо в редакцию «Плагатор ли А. Ремизов?», опубликованное 21 июня 1909 года в газете «Слово», в «Русских ведомостях» напечатано не было. В ярославских газетах перепечаток обнаружить также не удалось.

<sup>5</sup> Цитату обнаружить не удалось.

<sup>6</sup> А. И. Котылев. См. прим. 8 к п. 5.

<sup>7</sup> Пильский Петр Моисеевич (1876—1941) — литературный критик; сотрудничал во многих периодических изданиях, некоторое время возглавлял литературный отдел петербургской газеты «Новая Русь» (1908—1910), выходившей с 16 августа 1908 года вместо газеты «Русь» (1903—1908).

<sup>8</sup> Розанов Василий Васильевич (1856—1919) — писатель, критик, публицист, философ. Преподавал географию в елецкой гимназии, из которой не без его содействия был исключен тогдашний гимназист Пришвин. Этот инцидент 1888 года не повлиял на их дальнейшие отношения, так как, встретившись в Петербурге через двадцать лет, они оказались причастными к одному литературному кругу (см. об этом: *Дневники. 1990. С. 50—51; Пришвина В.* Путь к

слову. С. 43, 46—47, 176—178; Ремизов А. Кукха. С. 62; Фатеев В. В. В. Розанов: Жизнь. Творчество. Личность. Л., 1991. С. 35). Тема русского сектантства в творчестве Розанова и Пришвина обнаружила общность литературных интересов. Объединяла их и дружба с Ремизовым, с которым Розанов познакомился в 1905 году в редакции журнала «Вопросы жизни». Вскоре деловые отношения Розанова как постоянного автора журнала и Ремизова как сотрудника редакции переросли в дружбу, пронизанную глубокой сердечностью и уважением. По воспоминаниям Ремизова, именно Розанов посоветовал ему лично ответить в печати на предъявленное обвинение в плагиате (см.: Ремизов А. Встречи. С. 25).

<sup>9</sup> Ончуков Николай Евгеньевич (1872—1942) — ученый-фольклорист. Заинтересовал Пришвина этнографией и определил его в экспедицию на Русский Север для сбора фольклорного материала, предназначенного в будущей сборник «Северные сказки» (см.: Пришвина В. Путь к слову. С. 127). Ончуков был лично знаком с Ремизовым, высоко ценил его бережное отношение к фольклорным текстам-источникам и относился к писателю с искренним уважением. Видя в Ремизове задатки профессионального исследователя-фольклориста, Н. Е. Ончуков обещал писателю в письме от 16 апреля 1907 года предоставить для работы тогда еще только готовившийся к изданию сборник «Северные сказки»: «Сочту не долгом, а удовольствием доставить свои сказки Вам, как только они выйдут из печати. Такого усердного читателя, как Вы, нынче поискать» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 47. Л. 1). Подробнее о нем см.: Иванова Т. Г. Н. Е. Ончуков (Любительская линия в фольклористике) // Иванова Т. Г. Русская фольклористика в биографических очерках. СПб., 1993. С. 175—179.

<sup>10</sup> Произведение Ремизова с таким названием нам неизвестно; возможно, имеется в виду какой-либо первоначальный вариант названия, более уже не употреблявшийся автором и его корреспондентами.

<sup>11</sup> Испытывая большие материальные трудности, Ремизов был озабочен поиском места службы, которое бы стало стабильным источником доходов для его семьи (жены и маленькой дочери). Мучительный поиск надежного заработка начался с 1906 года, когда с закрытием журнала «Вопросы жизни» Ремизов потерял постоянную работу в редакции. Многие знакомые литераторы старались поддержать его материально и подыскивали подходящее для него место службы, среди них были: З. Н. Гиппиус, Д. В. Filosofov, М. О. Гершензон, Вяч. Иванов, Иванов-Разумник и др. С 1906-го по 1910 год Ремизов безуспешно пытался устроиться на работу, в том числе в газету «Русское слово», на фарфоровую фабрику, по рекомендации Filosofova — в Государственный Контроль, выполнял случайные редакторские заказы, занимался составлением каталога детских книг и прочей, порою совершенно неожиданной деятельностью. Об этом периоде своей жизни он вспоминал: «Опять по письму Д. В. Filosofova я ходил в „Гос. Контроль” и на этот раз ничего не вышло. Р. В. Иванов-Разумник, с которым познакомился о ту пору, достал нам работу: сверять Белинского. Но эта работа скоро кончилась. Ходили по объявлениям. И все неудачно. Случилась в Петербурге перепись автомобилей и собак — (...)» (Ремизов А. Кукха. С. 49). Летом 1909 года проблема «хлебного заработка» стала особенно актуальной, так как после обвинения в плагиате от Ремизова отвернулись многие журналы и газеты, прежде печатавшие его произведения (см.: Ремизов А. Встречи. С. 21—23).

<sup>12</sup> См. прим. 7 к п. 5.

<sup>13</sup> Пришвина Лидия Михайловна (1866—1918).

<sup>14</sup> Вероятно, имеются в виду очерки Пришвина, напечатанные в газете «Русские ведомости» уже в июле и августе 1909 года: «Как я укреплял тещу Никифора» (18 июля. № 164. С. 2; 23 июля. № 168. С. 2), «Как быть с мужиками?» (23 июля. № 168. С. 2) и «Дубовый дол» (1 авг. № 176. С. 2).

<sup>15</sup> Свято-Введенская Оптиная пустынь — мужской монастырь, основан в XIV веке, расположен в Калужской области под г. Козельском; прославился своей традицией старчества. Оптиные старцы духовно окормляли не только прихожан из народа, но и творческую интеллигенцию. На духовные беседы со старцами приезжали В. А. Жуковский, А. К. Толстой, братья И. В. и П. В. Киреевские, С. П. Шевырев, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев. Пришвин особенно почитал преподобного старца Амвросия (1812—1891), святые мощи которого и ныне находятся в Оптиной пустыни (см. об этом: Пришвина В. Путь к слову. С. 218).

<sup>16</sup> Слово, выделенное нами курсивом, подчеркнуто Пришвиным.

<sup>17</sup> Слово, выделенное нами курсивом, подчеркнуто Пришвиным два раза.

<sup>18</sup> Домашнее прозвище матери Пришвина.

<sup>19</sup> Имеется в виду первая книга Ремизова «Посолонь» (М.: Издательство журнала «Золотое Руно», 1907; рис. Н. И. Крымова), оформление которой было выдержано в эстетике модерна.

<sup>20</sup> Иванов Разумник Васильевич (псевдоним Иванов-Разумник; 1878—1946) — критик, публицист, журналист, историк русской литературы и общественной мысли; автор ряда статей о Ремизове и Пришвине (см.: Aronian S. Op. cit. P. 212; Леонтьев Я. В. Р. В. Иванов-Разумник: Библиография // Библиография. 1993. № 3. С. 64—72). Ремизов познакомился с Ивановым-Разумником в 1909 году; с этого времени их объединяли общие творческие замыслы (журнал «Заветы» и издательство «Сирин») и взаимное расположение. Иванов-Разумник

чрезвычайно высоко ценил произведения Ремизова, с интересом следил за творческим ростом Пришвина. В одной из своих статей (*Иванов-Разумник. Черная Россия // Заветы. 1912. № 8. С. 68—97*) критик одновременно анализировал произведения Ремизова и Пришвина, объединив их по принципу тематической общности. Ремизов посвятил Иванову-Разумнику притчу «Властелин» (1909), вошедшую в седьмой том его собрания сочинений. Писатель Е. Г. Лундберг, рекомендуя Иванова-Разумника в новый журнал «Заветы», создававшийся в 1912 году, характеризовал его следующим образом: «Разумникова лучшая добродетель — прямота и безукоризненная внут(ренняя) честность. Затем он всегда знает, чего хочет. Самый большой его порок — недостаток дарования и гибкости. (...) Он больше всего — полезный в литературе человек, без красноречия Овс(янико)-Куликовского, и без самодурства (но и без дарования) Чуковского. Больших проблем он ставить не умеет: для этого он слишком „математик“ (по образ(ованию) и по вкусам), но около них ходит уверенно, и бывает проницателен. Я ему никогда не прощу его книги о Шестове — но Ремизова и Пришвина он оценил, как никто из критиков» (ИРЛИ. Ф. 185. Ед. хр. 739. Л. 19). Летом 1909 года Пришвин еще не был знаком с Ивановым-Разумником и знал о нем скорее понаслышке, от Ремизова. Вероятнее всего, он читал в это время книгу Иванова-Разумника «О смысле жизни. Ф. Сологуб. Л. Андреев. Л. Шестов» (СПб., 1908).

<sup>21</sup> Пришвин-Алпатов Лев Михайлович (1906—1957) — старший сын Пришвина.

<sup>22</sup> Ремизов находился в Москве с 21 августа по 11 сентября 1909 года (см.: *Ремизов А. М. Адреса его и маршруты поездок. Л. 12*).

<sup>23</sup> Пришвин упорно продолжал кампанию по восстановлению репутации Ремизова, пытаясь поместить свое «письмо в редакцию» во всех известных газетах, и прежде всего в газете «Биржевые ведомости», ставшей источником обвинений Ремизова в плагиате. Эта публикация не состоялась.

## 7

27 марта (19)10 г(ода)

Дорогой Алексей Михайлович,

сейчас только добрался из Лебедяни в деревню. Все по-весеннему: плывет, расплывается и как-то ничего не остается. Вчера видел в Лебедяни на Тяпкиной горе спящего на солнышке монаха. Сегодня думаю, вот и монах, должно быть, утек в Дон. Удивительно, знаете, как это у нас любят глазеть на ледоход. И боятся разлива ужасно: вчера у брата<sup>1</sup> в больнице мужик услышал, что Дон разлился, испугался, что отрежет от деревни, и прямо в рубашке, в страшнейшем тифу побегал к Дону. Поймали и водворили. Туманы, дожди, сыро, в доме пахнет дохлыми крысами.

Ну, ладно, этот пессимизм пройдет, скоро — весна!

Слушайте: какую Вам ерунду наговорил Шестов<sup>2</sup> о Ил(ье) Ник(олаевиче),<sup>3</sup> будто бы он хочет Вас разгромить.<sup>4</sup> Ничего подобного. Напротив, он сказал, что Лимонарь<sup>5</sup> «прекрасная книга». Больше Вашего он ничего не читал. Не пишет о Вас, по(тому) что Вы не доставили в редакцию книг. Надо прислать: Лимонарь, Посолонь<sup>6</sup> и Рассказы.<sup>7</sup> Последнюю книгу очень одобряет, даже в восторге, дочь Ил(ьи) Ник(олаевича) Тоня — девица весьма философская. Если Вам почему-либо не хочется прислать книги Илье Ник(олаевичу) (как я послал Разумнику),<sup>8</sup> то почему бы Вам не прислать хотя бы в Редакцию.<sup>9</sup> Ведь это и для издания важно. Когда пошлете, напишите мне, а я напишу И(лье) Н(иколаевичу), чтобы он сделал фельетон, а не заметку. И пусть восходит Ваша заря. Мои шансы в Русск(их) Вед(омостях) повысились, писать просят очень, но деньгами очень и очень скупы.<sup>10</sup>

«Арапа» приняли в Русск(ую) Мысль.<sup>11</sup> Будет печататься в мае. Я решил придать этому произведению описательный характер и назвать «Степные очерки».<sup>12</sup> Теперь мне нужно за месяц написать листа два этих очерков. Вот и сижу за письменным столом целый день.

Варв(ара) Григ(орьевна)<sup>13</sup> сказала, что корректуру Вам пришлют.<sup>14</sup> Она тоже хочет ехать с нами в Лапландию.<sup>15</sup> Напишите: ничего это?

Аполлонический гонорар очень прошу Вас, Алексей Михайлович, передать Коноплянцеву, а его попрошу послать поскорее Афросинье (Так. — Е. О.) Павловне

со чадами.<sup>16</sup> Клянюсь низко Серафиме Павловне, да не забудет она о моей просьбе (корректурa). До свиданья. Хорошо, что есть на Руси Алексей Ремизов. Ваш М. Пришвин.

г. Елец (Орловс(кая) г(уберния)), с. Хрущево. М. М. Пришвину.

<sup>1</sup> Пришвин Александр Михайлович (1868—1911).

<sup>2</sup> Шестов Лев Исаакович (наст. фам. Шварцман; 1866—1938) — философ, близкий друг Ремизова. Подробнее об их взаимоотношениях см.: *Ремизов А. Встречи*. С. 267—269; *Секе К. «Апофеоз беспочвенности»: Лев Шестов и Алексей Ремизов. Точки соприкосновения двух типов художественного мышления в русской литературе начала XX века // Dissertationes slavicae*. XV. Szeged, 1984. S. 105—120; *Данилевский А. А.* М. Ремизов и Лев Шестов (Статья первая) // Учен. зап. Тартуск. ун-та. 1990. Вып. 883. С. 139—156; Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым / Вступ. заметка, подг. текста и прим. И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // *Русская литература*. 1992. № 2. С. 133—169; № 3. С. 158—197; № 4. С. 92—133; 1993. № 1. С. 170—181; № 3. С. 130—140; № 4. С. 147—158; 1994. № 1. С. 159—174; № 2. С. 136—185.

<sup>3</sup> Игнатов Илья Николаевич (1858—1921) — журналист, публицист, литературный критик, сотрудник газеты «Русские ведомости»; двоюродный брат Пришвина; в семье Игнатова воспитывался сын Л. Шестова. О взаимоотношениях Пришвина с Игнатовым Ремизов, посвященный в личные и творческие дела Пришвина, писал в своих воспоминаниях: «Пришвин, сотрудник „Русских Ведомостей“, автор „В стране неуганых птиц“ и только что вышедшей книги „За волшебным колобокком“, у брата был только неудавшийся журналист, постоянные недоразумения, а как старался Пришвин писать под Игнатова, да не выходит» (*Ремизов А. Встречи*. С. 23).

<sup>4</sup> Несомненно, на Ремизова произвела впечатление фраза из письма к нему Л. И. Шестова по поводу отзывов на произведение писателя в газете «Русские ведомости»: «С Игнатовым о рецензии говорил. (...) Он же обещал напечатать рецензию. Только сочувствие у него не встретилось» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // *Русская литература*. 1992. № 3. С. 196). Игнатов написал статью о творчестве Ремизова только в 1912 году. Анализируя его повесть «Пятая язва», критик, хотя и отмечал художественные достоинства этого произведения, рассмотренного им в сравнении с «Заложниками жизни» Ф. К. Сологуба, все же не удержался от следующей инвективы: «(...) движение, мелькание, утомительное верчение, напоминающее кинематограф (...) до такой степени утомительно, что после нескольких страниц хочется бросить книгу (...)» (*Игнатов И.* Литературные отголоски. Федор Сологуб «Заложники жизни» — Алексей Ремизов «Пятая язва» // *Русские ведомости*. 1912. 31 окт. № 251. С. 2).

<sup>5</sup> Имеется в виду книга апокрифов и легенд «Лимонарь, сиречь: Луг Духовный», вышедшая в 1907 году в издательстве Вяч. Иванова «Оры».

<sup>6</sup> См. прим. 19 к п. 6.

<sup>7</sup> Подразумевается книга Ремизова «Рассказы», выпущенная в свет издательством «Прогресс» (СПб., 1910); об истории ее издания см.: *Ремизов А. Встречи*. С. 55.

<sup>8</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>9</sup> Имеется в виду редакция газеты «Русские ведомости».

<sup>10</sup> См. прим. 5 к п. 4, а также прим. 3 к наст. п.

<sup>11</sup> «Русская мысль» — ежемесячный научный, литературный и политический журнал либерального направления; выходил в Москве в 1880—1918 годах; в 1912 году контора журнала была переведена в Петербург. Редакторы: В. А. Гольцев (1880—1906), А. А. Кизеветтер (1907—1910), П. Б. Струве (1910—1918). См.: *Никитина М. А.* «Русская мысль» // *Русская литература и журналистика начала XX века: 1905—1917: Буржуазно-либеральные и модернистские издания*. М., 1984. С. 26—47.

<sup>12</sup> Речь идет о рассказе Пришвина, напечатанном в журнале «Русская мысль» (1910. № 1. С. 89—118) под названием «Черный араб. Степные эскизы».

<sup>13</sup> Малахьева-Мирович Варвара Григорьевна (1869—1954) — писательница, поэтесса, литературный критик. В начале 1909 года сотрудничала в литературно-критическом отделе журнала «Русская мысль», автор рецензии и критических статей о произведениях Ремизова. В 1910 году в «Русской мысли» была напечатана ее рецензия на книгу Ремизова «Рассказы» (*Русская мысль*. 1910. № 1. С. 1—3).

<sup>14</sup> Во время длительных отъездов Пришвина из Петербурга Ремизов нередко оказывал своему коллеге дружеские услуги, контролируя его литературные дела в петербургских и московских издательствах. В данном случае речь идет о корректуре рассказа «Черный араб» (см. прим. 12 к наст. п.). 1 (14) октября 1910 года Ремизов писал В. Я. Брюсову: «Посылаю гранки Пришвинского произведения „Черный араб“. Я исправил их» (*Брюсов В. Я.* Переписка с А. М. Ремизовым (1902—1912) / Вступ. статья и комм. А. В. Лаврова. Публ. С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // *Лит. наследство*. 1994. Т. 98. Кн. 2. С. 208).

<sup>15</sup> Подразумевается план совместной поездки на Север для сбора фольклора, очевидно возникший благодаря устным рассказам Пришвина и его книге «За волшебным колобокком» (СПб.,

1908) о путешествии в Карелию, Лапландию и Норвегию. Мечты об этой поездке очень занимали Ремизова. Готовясь к ней, писатель делился своими планами с М. А. Волошиным в письме от 24 марта (6 апреля) 1910 года: «Напишите мне, Максимилиан Александрович, кто такие лопари. В конце мая едем с Пришвиным в Лапландию. А мне Белкин (Верхотурский) сказал, что Вы о лопарях знаете. Я о них знаю, что колдуны они, знаю, что Ивану Грозному привозили лопаря — нойда, знаю о некоторых нойдах — что делали при жизни и по смерти, знаю, что русских лопарей 2000, так считают, но их больше — есть такие умерли, а ходят по Лапландии, ищут, кому бы ключи передать. Напишите, Максимилиан Александрович, я поеду и буду смотреть» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1020. Л. 26). Несмотря на то, что этому путешествию так и не суждено было осуществиться, свои книжные познания о лопарях Ремизов использовал в сказке «о нойдах — северных колдунах лапландских», введенной в рассказ «Глаголица» (Ремизов А. Весеннее порошье. СПб., 1915. С. 223—227).

<sup>16</sup> Пришвина Ефросинья Павловна (урожд. Бадькина; в первом браке Смогалева; 1883—1953) — первая жена Пришвина. Их сыновья: Лев (см. прим. 21 к п. 6) и Петр (р. 1909).

## 8

12/IV (19)10.

Дорогой Алексей Михайлович,

рад был Вашему письму и вообще, знаете ли, как-то рад, что можно с Вами взять да и посоветоваться и как-то попросту.

Слово, выражающее полет по воздуху, нашел и, думаю, его в литературе нет, а если и есть, то и то ничего: знаете, как в цирках называют человека, летающего с трапецией (Так. — Е. О.) на трапеции? — Хорошее слово: «полётчик». <sup>1</sup> Эти господа полётчики получают громадное жалованье за риск. Не есть ли это то же, что и авиатор? <sup>2</sup>

Вышла беда с лягушкой-турлушкой: с детства думал, что турлушка есть лягушка, а вот оказалось, что это не лягушка, а *медведка* (насекомое, мохнатое, длиной в половину этой строки). Турлушка-то есть турлушка, но не лягушка, а вот эта, живущая в земляных норах козявка. Поэтому в моем рассказе надо написать не лягушка-турлушка, а просто турлушка. <sup>3</sup>

Название «Черный Араб» <sup>4</sup> мне нравится, хотя я назвал было «Степной оборотень» <sup>5</sup> — что тоже хорошо. С этими арабами вышла беда: узнав о согласии Русс(кой) Мысли его печатать, я принялся, несмотря ни на что, писать, работал три недели без отдыха и вот теперь вдруг все перестало нравиться и не хочу печатать. Подал прошение отложить печатание на несколько месяцев (авансы получены: по-купечески). <sup>6</sup>

Если бы я мог теперь хоть на один день Вас вытащить в настоящее поле! Весна удалась, самая ранняя, зацветают фиалки, птицы звенят, коровы мычат, черт знает что делается, подумаешь-подумаешь, да и перекувыркнешься. Изучаю типологию гусей и попов. <sup>7</sup> Делю и укрепляю тещу <sup>8</sup> — все как Вы советуете. Словом, считаю так: не зря же это все торчит перед глазами, и у них тоже есть свое что-то.

Очень меня огорчило, что Вы не пошлете книги в Русские Ведомости. <sup>9</sup> Скоро после Пасхи я поеду в Петербург через Москву и снова подниму вопрос о рецензировании книги. Боюсь только там не будет И. Н. Игн(атов)а: он очень заболел и собирается переселиться в санаторию.

Кланяюсь и кланяюсь Серафиме Павловне.

Всего хорошего, М. Пришвин.

<sup>1</sup> Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Пришвиным.

<sup>2</sup> Вопрос о точном русском эквиваленте неологизма «авиатор» интересовал Пришвина в связи с работой над очерком, посвященным «Неделе авиации», которая состоялась весной 1910 года в окрестностях Петербурга. Его начало было построено на репликах наблюдателей авиационных состязаний: « — (...) Попов (...) Первый летун! Мы критикуем слово и предлагаем лучшее: „полётчик“, означающее в цирках человека, летающего с большим риском с трапеции на трапеции» (Пришвин М. М. Авиаторы и полётчики. (Впечатления авиационной недели) // Русские ведомости. 1910. 7 мая. № 103. С. 2—3). Любопытно, что ремизовский пересказ

народной сказки, записанной Пришвиным в Олонецкой губернии, «Лопарь на небе» (№ 199 в сб. «Северные сказки»), был назван Ремизовым «Летчик» (впервые: Огни. СПб., 1910).

<sup>3</sup> Пришвин спешит внести исправления в рассказ «У горелого пня» (Аполлон. 1910. № 7), наблюдение за публикацией которого он поручил перед отъездом из Петербурга Ремизову. Речь идет о многочисленных упоминаниях «лягушки-турлушки», например: «Лягушки-квакушки стихи, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь» (Там же. С. 34). Вероятно, Ремизов немедленно отреагировал на просьбу Пришвина, но, судя по письму секретаря редакции «Аполлона» Е. А. Зноско-Боровского от 14 апреля 1910 года, все попытки устранить эту неточность были безуспешными. Последний сообщал Ремизову, что «рассказ Пришвина давно уже напечатан и корректуры держали мы в редакции очень тщательно. № выйдет сейчас после Пасхи (...)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 112. Л. 3). Вероятно, именно благодаря этому энтимологическому недоразумению в знаменитой ремизовской коллекции игрушек появился персонаж под названием «лягушка-турлушка». Описывая коллекцию Ремизова, П. Кожевников отмечал, что в его сказочном царстве имеются «две лягушки: царевна-квакушка и „турлушка”» (см.: *Кожевников П.* Коллекция А. М. Ремизова (Творимый апокриф) // Утро России. 1910. 7 сент. № 243. С. 2). Каждая игрушка или экспонат природного происхождения в коллекции Ремизова связаны с определенным сказочным сюжетом, народным мифологическим представлением или реальной историей, имевшей для писателя значение мифологемы. Тем самым действительность переносилась в систему координат, свойственных легенде, которая, по Ремизову, обладает способностью тверже, чем исторический факт, укореняться в человеческой памяти. Таким образом и создавался миф о современниках в его автобиографических произведениях. Думается, что не без вмешательства писателя, склонного ко всякого рода мистификациям, в следующем произведении Пришвина, корректуру которого держал все тот же Ремизов, — «Крутоярский зверь», — «лягушка-турлушка» была окончательно «легализована»: «Пела лягушка-турлушка о покое вечном» (Альманах издательства «Шиповник». 1911. Кн. 15. С. 169). Тем более что слово *турлу(ы)каты* означает напевать, ворковать (см.: *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1882. Т. 4. С. 444).

<sup>4</sup> См. прим. 14 к п. 7.

<sup>5</sup> В рассказе «Черный араб. Степные эскизы» название «Степной оборотень» получила четвертая глава.

<sup>6</sup> См. прим. 14 к п. 7. История публикации «Черного араба» в журнале «Русская мысль» нашла отражение в письмах В. Я. Брюсова к П. Б. Струве, содержащих отчеты о деятельности литературно-художественного отдела этого журнала (см.: *Брюсов В. Я.* Письма к П. Б. Струве / Подг. А. Н. Михайловой // Литературный архив. М., 1960. Т. 5. С. 283—284).

<sup>7</sup> Подразумевается подготовительный этап работы над рассказом, впоследствии озаглавленным «Птичье кладбище» (впервые: Русская мысль. 1911. № 7. С. 131—150). Процесс обработки фольклорного материала, на котором основан этот рассказ, ретроспективно описан Пришвиным в дневнике 1941 года: «Для этого рассказа я собирал слова и поверья в районе Брыни, записывал все на клочках. А когда приехал в Петербург, то снял себе на Золотоношской улице (р-н Алекс.-Невской лавры) комнату без мебели и стал жить на полу. Там мне было очень удобно работать, потому что массу листков можно было разложить в порядке. Чтобы заучить тысячи слов и сотни поговорок, поверий, я разрезал лист на тонкие полоски в огромную длинную ленту, списал материал на ленту и скатал два ролика. Перематывая ленту с ролика на ролик, я мог всюду заучивать свой материал: на коньках, в амбулатории, в приемных, на полустанке при ожидании поезда». Однажды за этим занятием его застал А. Н. Толстой, впервые в 1911 году посетивший Пришвина: «В своей отличной шубе он остановился на пороге моей комнаты... изумленный. (...) В совершенно пустой комнате, на полу, подстелив под себя пальто, на животе лежал среди бумаг, записок и длинных лент... этот самый „Пришвин”. (...) Я стал рассказывать ему о „Птичьем кладбище”, о том, как поп должен улететь с гусями. Толстой, по-своему как-то мигая, строил серьезную мину и в то же время, явно сдерживая смех, спросил: — А ленты-то для чего? Я скатал ролики и, перекачивая один на другой, показал. Тут он не мог не расхохотаться и сказал: — Ну, так написать рассказ невозможно. — А вот напишу, — сказал я. — Не напишете, не напишете, — повторил он со смехом, уходя от меня» (*Пришвин М.* Собр. соч. Т. 4. С. 705—706).

<sup>8</sup> Пришвин имеет в виду цикл очерков «Как я укреплял тещу Никифора» (см. прим. 14 к п. 6), вошедший впоследствии в собрание его сочинений (*Пришвин М.* Собр. соч. Т. 4. С. 19—42).

<sup>9</sup> Ср. в письме Л. И. Шестова к Ремизову от 22 февраля 1910 года: «С Игнатовым о рецензии говорил. Он утверждает, что ты в „Р(усские) В(едомост)и” книжки не прислал. Возможно ли это? Я спорил, говорил, что невозможно» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 3. С. 196).



Брынь

12 мая (19)10 г(ода)

Дорогой Алексей Михайлович,

Вы себе и вообразить не можете, как пахнуло на меня подлинной Россией здесь, в этих Брынских лесах. Устроился до того удобно (без признаков клопов и тараканов), что просто завидую самому себе. Если у Вас с санаторией будет плохо, приезжайте ко мне: уход будет лучше, чем в санатории.<sup>1</sup>

Пишу Вам наскорях, прямо после приезда, чтобы дать Вам адрес для присылки Аполлона<sup>2</sup> и чтобы Вы зна(ли) вообще о мне и о том, что Вы для меня существуете прочно.

Если у Вас негде будет занять денег, то займите у меня гонорар с Аполлона — я как-нибудь потеснюсь: здесь, если не ездить, дешево.

Ваши книги, особенно Стратилатова,<sup>3</sup> жажду по-настоящему прочесть, вышлите *поскорее*, если не затруднит, поправьте.

В Лимонаре,<sup>4</sup> если не будет поправок, пусть останется какой-нибудь след от Вас: что книга у Вас была в руках.

Последнее время со мною выходит много курьезов: вот, например, как странно, что в одной из комнат снятого мной дома происходят собрания людей союза русского народа. И разве не странно, что мой «перепел»<sup>5</sup> (которого с удовольствием слушают в чтении мужики) попал не в Русское Богатство,<sup>6</sup> а в Аполлон, рядом с котелком рассуждающего молодого поэта Гумилева.<sup>7</sup>

Перед моим окном огромное озеро, ловят рыбу. За озером лес, страшный, «немыслимый», как здесь говорят, — тянется за сотню верст, переходит в Брянские леса, где живут настоящие бродяги, настоящие медведи и волки; как хорошо будет переплыть озеро на ялике, поймать по пути здоровенную рыбу и подойти к опушке этого леса настоящего. Что там тетеревей и всякой всячины!

Напишите, когда будете свободны. Кланяюсь Серафиме Павловне, Ивану Александровичу.<sup>8</sup>

М. Пришвин

Почт(овая) ст(анция) Брынь (Калужс(кой) губ(ернии))

<sup>1</sup> Весной 1910 года Ремизов тяжело заболел изъязвлением желудка, вследствие чего весь июнь был вынужден провести в санатории М. М. Волковой в Финляндии (деревня Тур-Киля под Уси-Кирко).

<sup>2</sup> «Аполлон» — литературно-художественный журнал (1909—1918). Редактор С. К. Маковский. Сотрудниками журнала были представители символизма и акмеизма (подробнее о нем см.: *Корецкая И. В.* «Аполлон» // *Русская литература и журналистика начала XX века*. С. 212—256). Имеется в виду седьмой номер журнала «Аполлон» за 1910 год, в котором был напечатан рассказ Пришвина «У горелого пня» (С. 32—37). См. также прим. 3 к п. 8.

<sup>3</sup> Подразумевается повесть Ремизова «Неумный бубен» (впервые: Альманах для всех. СПб., 1910. Кн. 1. С. 59—138), главный герой которой — Иван Семенович Стратилатов.

<sup>4</sup> См. прим. 5 к п. 7.

<sup>5</sup> Речь идет о белом перепеле из рассказа «У горелого пня».

<sup>6</sup> «Русское богатство» (1876—1918) — первоначально либерально-народнический, а после революции 1905 года полукadetский журнал. Его первым редактором был Н. К. Михайловский. Модернистами «Русское богатство» оценивалось как оплот буржуазного, закоснелого литературного ретроградства. Так, например, в «Аполлоне» была дана следующая оценка этому изданию: «Вне литературы стоит „Русское Богатство“» (Аполлон. 1911. № 5. С. 59).

<sup>7</sup> Пришвин справедливо относил появление рассказа «У горелого пня» в журнале «Аполлон» (1909. № 7. С. 32—39) к примечательным событиям своей творческой жизни, расценивая эту публикацию как начало приобщения к ведущей литературной школе того времени. Значительно позже, анализируя свое положение в литературе начала века, он писал в дневнике: «Я не был декадентом-эстетом, но презирал народническую беллетристику, в которой искусство и гражданственность смешивались механически. И потому я искал сближения с теми, кого вначале называли декадентами, потом модернистами и, наконец, символистами. Можно раз-

ными глазами смотреть на эту чрезвычайно цветистую эпоху нашего литературного искусства, но никто не будет спорить со мной, что эта эпоха была школой литературы, и требования к нашему ремеслу чрезвычайно повысились в это время» (Дневники. 1990. С. 144). Добавим, что сам факт признания творчества Пришвина (как и других писателей-реалистов «новой» волны) журналом, поначалу принадлежавшим к символистскому направлению, был симптоматичен, так как опосредованно утверждал неизбежность перемен, благодаря которым в начале 1910-х годов происходило постепенное переосмысление художественных задач модернизма (см. об этом также: *Корецкая И. В.* «Аполлон». С. 230—242). Ремизов выделял рассказ «У горелого пня» как первое свидетельство состоявшегося писательского дарования Пришвина: «В литературе Пришвин выступил в 1907 году: это первые книги географически-учебного характера — очерки: „В стране непуганых птиц“ (1907) и „За волшебным коlobком“ (1908). Но как писатель Пришвин начинается с рассказа „У горелого пня“, напечатанного в петербургском избранном журнале „Аполлон“ (...)» (*Ремизов А. М. М. Пришвин // Ремизов А. Встречи.* С. 270). Характерно, что именно Ремизову принадлежала инициатива сделать своего рода «прививку» рассказа «У горелого пня» (первоначальное название «Гусек») в журнале «Аполлон». Об этом Пришвин вспоминал в дневнике 1927 года: «Большой хитрец и потешник Ремизов, прочитав мой рассказик „Гусек“, приготовленный для детского журнала „Родник“, сказал мне: „Вы сами не знаете, что написали“. Он устроил из моего рассказа свою очередную потеху, прочитав его среди рафинированных словесников Аполлона. Его интриговало провести земляной, мужицкий рассказ в „сенаторскую“ среду (так он сам говорил). И он был счастлив, когда рассказ там пришелся по вкусу и его напечатали: получился „букет“» (цит. по: Воспоминания о Михаиле Пришвине. С. 67). Рассказ был напечатан в том же номере, что и статья ближайшего сотрудника «Аполлона» Н. С. Гумилева «Жизнь стиха» (С. 5—21), в которой уже прозвучали идеи будущего акмеизма. Котелок, как и вообще изысканный, аристократический стиль одежды, был неотъемлемой деталью образа Н. С. Гумилева.

<sup>8</sup> И. А. Рязановский.

## 10

Брынь. 2(-)е июн(я) (19)10 г(ода)

Я тоже, как и Вы, дорогой Алексей Михайлович, все собираюсь написать и не могу, а чувствую, что давно бы уже следовало поблагодарить Вас и за хорошую надпись,<sup>1</sup> и за поправки, и за присылку не то что Аполлона, а даже и денег к нему (36 р(ублей) 75 к(опеек)). Если бы денег было больше, я стал бы с Вами браниться по случаю их присылки, но такая сумма все равно так растает. Ничего что «капитанская курица» вышла, и с капитанской приятно чувствовать, что вот до чего дописался: в Аполлон попал!<sup>2</sup> Жаль только не перед кем тут хвалиться: прочел мужикам перепелятникам, очень хвалят, а что это Аполлон есть — не понимают.

Прочел два раза «Неуемный бубен»,<sup>3</sup> впечатление осталось какое-то особенное, при чтении не очень увлекает, как-то туговато читается, кое-что кажется лишним, но в общем после чтения, знаете, как выйдешь на улицу из картинной галереи, все вокруг (быт) расположится живописно; это при моей оценке прочитанного имеет большое значение. Вот не понравилось мне только положительно печать с подписью «от он(о)го»,<sup>4</sup> почему — не буду говорить теперь, т(ак) к(ак) тут целое рассуждение и напишу об этом в другой раз. Но как же хорош гнев Ильи!<sup>5</sup> И как я его читаю простым набожным людям! Грешн(ы) как сам Илия, и крестятся, крестятся крещеные люди...

У нас красивые дни. Земляника поспела. Рожь цветет. Тетерева вывелись. Су-дакам в реке тесно — прыгают. Троица на носу, пойдем венки завивать.<sup>6</sup>

У меня отлегло от сердца, когда прочел, что Вы не едете в Лапландию:<sup>7</sup> не хотел вылезать из леса, не поеду и в Петербург до глубокой осени.

Когда же и Вы, наконец, выберетесь из Петербурга? И как это скверно выходит с Вашей книгой<sup>8</sup> и даже жутко становится... Трудно быть русскому в России, хоть бы Вы чуть чуточку на немца переделались: и Вам бы потеплело, и Вашим приятелям и почитателям.

Рассказы, о которых Вы пишете, я привезу, сейчас пока идет плохо, т(ак) к(ак) очень уж я близко стою теперь к жизни, а вот книги как-нибудь и выйдут.<sup>9</sup>

Всего хорошего. Низкий поклон Серафиме Павловне.

М. Пришвин

Если не удастся устроиться по вкусу<sup>10</sup> — приезжайте в Брынь. Тут очень здорово и все... но страшно Вам и Сераф(име) Павлов(не) будет скучно: ни одного образованного человека.

<sup>1</sup> Вероятно, Пришвин благодарит Ремизова за присылку «Лимонаря» (см. прим. 5 к п. 7, а также п. 9).

<sup>2</sup> См. прим. 3 к п. 8, прим. 2 и 7 к п. 9. Ср. в рассказе «У горелого пня»: «А в избе у него всякие птицы: тут и петух-дракун, и курица капитанская, и скворец-говорец» (Аполлон. 1910. № 7. С. 33).

<sup>3</sup> См. прим. 3 к п. 9.

<sup>4</sup> Имеется в виду печать главного героя повести «Неуемный бубен» Ивана Семеновича Стратилатова, «изображающая как бы некий перст, окруженный надписью: *от оного свое начало все восприяло*» (Альманах для всех. СПб., 1910. Кн. 1. С. 117).

<sup>5</sup> Подразумевается притча «Гнев Ильи Пророка, от него же сокрыл Господь день памяти его», которая вошла в книгу Ремизова «Лимонарь» (СПб., 1907. С. 33—62).

<sup>6</sup> Народный обычай завивать венки, т. е. повязывать ленты на березе, совершался на Русальной неделе, предшествующей Троице, и был связан с дохристианскими представлениями о целительной и животной силе этого дерева.

<sup>7</sup> См. прим. 15 к п. 7.

<sup>8</sup> Отчаянно пытаюсь поправить свое финансовое положение, Ремизов изыскивал всевозможные пути для издания сборника собственных произведений. В сложившейся ситуации его поддержал С. Городецкий, писавший 17 мая 1910 года: «Прямо и не знаю, что Вам и посоветовать. Время теперь невозможное для изданий. (...) Попробуйте обратиться в „Просвещение“ к Цейтлину. Или уж прямо в Литературный Фонд, я только не знаю к кому» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 95. Л. 11). Другой вариант предложил ему Иванов-Разумник. Этот замысел Ремизов подробно излагал своему старому товарищу П. Е. Щеголеву 24 мая (6 июня) 1910 года: «Дорогой Павел Елисеевич! До сих пор сижу в Петербурге. На Страстной неделе простудился и опять пришлось с лекарствами возиться. Так из беды не выхожу. Сейчас дела с издателями. Необходимо издать сборник и получить аванс. Сборник выйдет пестрый, но уж поделаться ничего не поделаешь. Сегодня был у нас Разумник Иванов и надоумил меня с этим делом к Вам обратиться. Есть такой господин Николай Николаевич Михайлов (Кн<sup>2</sup> Прометей), что Вы не можете ли на него воздействовать. Воздействие Ваше будет вот в чем: я сейчас напишу Вам содержание моего сборника и Вы увидите, какие вещи туда войдут и будет у Вас мнение о книге, это-то мнение и надо будет ему втолковать, затем сказать сумму, какую я от него *получить должен* и про *аванс сказать*. В Сборнике будет 12 листов (1 лист) — 40.000 б(укв)). Когда я предлагаю сам, то пишу за 1000 эк(земпляров) — 200 р(ублей), печать — 3000. Из этого в последнее время ровно ничего не выходит и последняя книга „Рассказы“ пошли у меня за 200 руб(лей) (3.000 эк(земпляров)). Ну вот. Так, говорят, нельзя делать. Надо просить больше. Разумник Иванов толкует, что требовать 1.200 руб(лей), ну а потом спустил на 800 руб(лей) все-таки. Это все хорошо, если бы можно было печатать мои книги в большом количестве экземпляров, а издателям известно, что книги мои идут очень медленно и больше, как 30 000 эк(земпляров) печатать нельзя. Если Вы можете подействовать на Михайлова, то сообразите сами, как быть. Мне аванс надобен min. 400 р(уб(лей)), чтобы поместиться на 2 мес(яца) в санаторию. Если Вы надумаете написать, то пожалуйста, лучше устроить так: Вы пришлете мне письмо Михайлову, а я ему напишу в чем заключается сборник и т(ак) д(алее) и попрошу в случае согласия назначить мне час для личных переговоров. Сборник назову по первому большому рассказу Неуемный бубен («Неуемный бубен и другие рассказы»). Просто „Рассказы“ назвать неудобно, у меня есть такое название...» (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. Ед. хр. 1479—1610. Л. 141). Эта проблема разрешилась только осенью, когда 10 октября 1910 года Ремизов подписал с петербургским издательством «Шиповник» договор об издании собрания сочинений, в первый том которого, выпущенный в свет уже в ноябре 1910 года, вошли рассказы, предполагавшиеся для сборника «Неуемный бубен».

<sup>9</sup> Вероятно, речь идет о рассказе «Черный араб», над которым в это время работал Пришвин (см. прим. 12 к п. 7, а также п. 11).

<sup>10</sup> См. прим. 1 к п. 9.

## 11

Белев в 10 ч(асов) (28 сентября 1910 года)<sup>1</sup>

Извещаю Вас, дорогой Алексей Михайлович, что село Брынь сгорело 23 сентября, я и моя семья спаслись в чем были, мои вещи, лит(ературные) материалы, рукописи и все книги, вообще решительно все сгорело.<sup>2</sup> Я теперь должен начинать все снова. Если «Черный араб» не годится в Рус(скую) Мысль, то и не присылайте, т(ак) к(ак) книги о степи не будет.<sup>3</sup> Сообщите Ваш адрес, мой: г. Белев Тульск(ой) г(убернии) Петропавловск(ого) у(езда) д(ом) Владимирова. Всего хорошего

М. Пришвин

<sup>1</sup> Почтовая карточка. Датируется по штемпелю. Получена в Петербурге 30 сентября 1910 года.

<sup>2</sup> Пожар описан в рассказе Пришвина «Мои тетрадки» (Пришвин М. Собр. соч. Т. 4. С. 524).

<sup>3</sup> См. прим. 12 к п. 7.

## 12

(Петербург. 1911 год)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович,

будете завтра в Шиповнике,<sup>2</sup> подержите в уме следующее: не упоминая о мне, нужно спросить, когда начнут печатать весенний Шиповник.<sup>3</sup>

При возвращении корректуры будет очень удобно попросить и денег.

Рассказ переписываю сам (из экономии). Пришлось на 1/3 сократить охоту гусиную и развить разговор о счастье, чтобы можно было назвать «Птичьим кладбищем».<sup>4</sup> В субботу я к Вам зайду вечером.

Живу что-то плохо. Кишки не болят, как у Вас, но другой раз и подумаешь: уж лучше бы что ли кишки заболели!

Весна начинается, на волю тянет. Скоро уеду.

Вот и всего Вам хорошего

М. Пришвин

<sup>1</sup> Датируется по содержанию февралем 1911 года. Сверху владельческая надпись П. Л. Вакселя чернилами: «пол 11-3-1914 № 3279», рядом карандашом дата рукой Ремизова: «4 III 1911».

<sup>2</sup> «Шиповник» — петербургское издательство, организованное в 1906 году З. И. Гржебиным и С. Ю. Копельманом; выпускало одноименные литературно-художественные альманахи (1907—1917). Подробнее о нем см.: Келдыш В. А. Альманахи издательства «Шиповник» // Русская литература и журналистика начала XX века. С. 257—294.

<sup>3</sup> Речь идет о 15-й книге альманаха «Шиповника», которая вышла в свет в первой декаде июня 1911 года. В ней был помещен рассказ Пришвина «Крутоярский зверь» (С. 137—171).

<sup>4</sup> См. прим. 7 к п. 8. Этот рассказ предназначался для публикации в журнале «Русская мысль». 5 марта 1911 года он был послан Ремизовым редактору литературно-художественного отдела журнала В. Я. Брюсову: «Посылаю Вам на Ваше благоусмотрение рассказ Пришвина „Птичье кладбище“» (Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым. С. 212). Свои соображения по поводу пришвинского рассказа Брюсов излагал в письме к П. Б. Струве от 13 марта 1911 года: «„Птичье кладбище“ — „сельские очерки“ М. Пришвина. Я их прочел. Это интересная и хорошо написанная полубеллетристика, полужизнография, чуть-чуть с примесью „ремизовщины“ (но вполне невинной). Неудобство этих очерков лишь в том, что они велики; в них, думается мне, листа 2 с чем-нибудь: их пришлось бы разделить на две книжки, дать в апреле начало и окончание в мае» (Брюсов В. Я. Письма к П. Б. Струве. С. 336). Рассказ «Птичье кладбище. Сельские эскизы» был напечатан в июльском номере «Русской мысли» за 1911 год (С. 131—150).

(Хрущево. 9 марта 1911 года)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович,

И. Н. Игнатов просит меня передать Вам и Р(азумнику) В(асильевичу)<sup>2</sup> о судьбе рассказа Вашего следующего: редакция согласна напечатать рассказ, но только в Рождественском номере.<sup>3</sup>

Гонорар, сказал Илья Ник(олаевич), Вы можете получить немедленно. Высший гонорар для печатающихся в 1(-)й раз 15 к(опеек) за строчку. Заплатить больше нельзя, ибо это будет против всех правил редакции.

Я сейчас в деревне и как только буду в городе — вышлю свой долг; быть может, это будет через неделю или немного больше — извините за промедление.

Если Раз(умник) Вас(ильевич) у Вас, то передайте, что скоро ему напишу.

Брата я схоронил. Он умер от сыпного тифа, заразившись им на работе во время эпидемии. Это несколько изменяет внешнюю сторону того, что мы предполагали, но сущность остается такая же.<sup>4</sup>

Теперь я живу в печали, но не такой, однако, чтобы потерять себя; быть может, я начинаю путешествие по земной поверхности, как и раньше, но только более трудное, без внешних передвижений.

Вот пока все, что я Вам спешу написать.

Серафиме Павловне посылаю низкий поклон, вспоминаю даже и теперь, в беде, ее и Вас часто.

Всего хорошего

М. Пришвин

Адрес недели на две: Елец, имение Хрущево, а потом: г. Белев (Тульск(ой) губ(ернии)) Жабынь.

9(-)го Марта — жаворонки должны прилететь бы, а 19° мороза!

<sup>1</sup> Датируется по содержанию. Сверху владельческая надпись П. Л. Вакселя: «пол 11-3-1914 № 3280».

<sup>2</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>3</sup> Речь идет о рассказе Ремизова «Рождество Христово. Отреченная повесть», который он послал в газету «Русские ведомости» после того, как тот был отвергнут в журнале «Русская мысль» в январе 1911 года (см. об этом: Брюсов В. Я. 1) Переписка с А. М. Ремизовым. С. 210—211; 2) Письма к П. Б. Струве. С. 312, 315). Намерение «Русских ведомостей» опубликовать рассказ только зимой расстроило планы Ремизова, и он хотел забрать его из газеты, о чем свидетельствует следующий пассаж в письме к Ремизову Р. В. Иванова-Разумника от 15 апреля 1911 года: «(...) я сообщаю Вам, что гонорар из „Русск(их) Вед(омостей)“ Вы получите на днях, а Вы хотите получить обратно „Рождество“. — Конечно, взять следует — по причинам экономическим; но тут уж Вы действуйте сами: мне неловко перед Игнатовым. Советую сделать так: завтра Вы получите из „Р(усских) В(едомостей)“ сто рублей, завтра же и отошлите их Илье Николаевичу Игнатову (...), а на обороте перевода напишите пару строк благодарственных, пару строк извинительных, и третью пару строк — просительных... Так мол и так — нужна рукопись обратно, а я-де пришлю Вам к декабрю другую вещь, тоже-де очень хорошую... Выйдет и им приятно, и Вам необходимо» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 115. Л. 15). Тем не менее рассказ появился в рождественском номере «Русских ведомостей» (1911. 25 дек. № 297. С. 2), а затем вошел в седьмой том собрания сочинений Ремизова (СПб., [1912]. С. 149—164). Его название уточнялось еще за десять дней до выхода в свет. 15 декабря 1911 года М. О. Гершензон писал Ремизову: «Только что И. Н. Игнатов прислал мне записку с просьбою спешно узнать у Вас заглавие Вашего рождественского „рассказа“ (т. е. Рождества), так как в рукописи заглавия нет. Он пишет, что дело спешное, так как рассказ уже набран» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 87. Л. 12).

<sup>4</sup> Жизнь Александра Михайловича Пришвина (см. прим. 1 к п. 7) сложилась драматически. Незадолго до своей преждевременной кончины он полюбил медсестру — красивую женщину, прозванную в семье Марухой (в Орловской губернии так называли «разлучниц»), и ушел из семьи. Но вскоре смертельно заболел и вернулся к законной жене. После смерти брата Пришвин записал в дневнике: «У меня брат умер, и причиной смерти его считаю отчасти и себя. Он умер от сыпного тифа. По свидетельству врачей, роковой исход его болезни зависел от

поселившейся в душе его нравственной борьбы, обессилившей его нервную систему. Одной из причин этой нравственной борьбы я считаю себя. Вот как это было. Брат хотел уйти из семьи к другой женщине. Жена его превосходная женщина, которую он не мог не любить и не ценить. Но она была для него Марфой, она смотрела на него как на ребенка, ходила за ним как за маленьким, избаловала его. Она устроила ему превосходную внешнюю жизнь, но душу его упустила. Он опускаться стал: небрежное отношение к своим обязанностям врача, играл в карты, пил. Другая женщина, которую он встретил в таком состоянии и увлекся ею, хотела спасти его, и, судя по первому времени, он сильно изменился в лучшую сторону. Так вот, когда он принимал решение оставить семью, то решил посоветоваться со мной (...). Я сказал ему так: „Если эта женщина для тебя будет Марией, то иди“. Он мне показал ее и спросил: „Хороша?“ я сказал: „Хороша“. К этому я, впрочем, прибавил: „Есть еще исход — ты когда-то уже был на таком же пути, но подавил в себе зарождавшееся чувство, никому об этом не сказал и почему-то стал выше в моих глазах. Вероятно, есть и другой исход: не уходить, а быть тут же, но уже другим человеком“. Но когда он мне ее показал и спросил: „Хороша?“, — я сказал: „Хороша“. И это было решающим словом» (цит. по: Пришвина В. Путь к слову. С. 17—18).

## 14

Жабынь 26 марта 1911 г(ода)

Дорогой Алексей Михайлович,

как Ваше здоровье?

Не доходили ли до Вас вести о судьбе Птичьего кладбища? Мне ничего не ответили пока. Кто-то, однако, прислал на мое имя в Петербург 200 руб(лей), которые я не могу вытребовать сюда, не зная отправителя. Вот и подумываю на Русск(ую) Мысль. А с другой стороны, без сопроводительного письма от журнала не пошлют.<sup>1</sup>

В Шиповник я написал, что если корректуру неудобно просить сюда, пусть пришлют Вам. Вы не забыли: мы с Вами говорили по поводу этого.<sup>2</sup>

Романову<sup>3</sup> я написал то, что Вы мне сказали: что рассказ его приняли в Русск(ое) Бог(атство). Он возликовал. А на другой день после моего письма рассказ приходит к нему обратно и без всяких объяснений.<sup>4</sup> Написал об этом Иванову-Разумнику.

Я сейчас, чтобы добраться до почты, прошел краем разлива 15 верст и потому не в состоянии написать Вам как следует. Деньги я Вам послал из Ельца. Теперь Вы наверно получили. Не мог никак раньше: просить их нужно было у матери, а у ней сделался разрыв легочной артерии, боялись за нее очень и, конечно, ничем не беспокоили. Теперь, Слава Богу, она поправляется.

Беда наша семейная все осложняется: на днях отравилась та, с которой брат мой убежал<sup>5</sup>... Такая трагедия вышла, что вся моя литература улетучилась, как будто никогда и не начинал писать.

Так напишите о себе: как Ваше здоровье? Что стена? Как могла каменная стена гореть?<sup>6</sup> Ничего не понимаю.

Серафиме Павловне кланяюсь. Вот, наверно, она-то перепугалась. Надеюсь, что теперь Вы ее послушались и очки не сняли.

Всего хорошего

М. Пришвин

Белев (Тульск(ой) губ(ернии)) Жабынь. Мих(айлу) Мих(айловичу) Пришвину.

<sup>1</sup> Речь идет о рассказе Пришвина «Птичье кладбище», отправленном в редакцию журнала «Русская мысль» в марте 1911 года (см. прим. 7 к п. 8 и прим. 4 к п. 12).

<sup>2</sup> Подразумевается рассказ Пришвина «Крутоярский зверь», принятый к публикации в альманахе «Шиповника» (см. прим. 3 к п. 12). По предварительной договоренности корректуру этого рассказа читал Ремизов, принимавший активное участие в литературных делах Пришвина (см. прим. 3 к п. 8). 3 марта 1911 года он сообщил И. А. Рязановскому: «Альманах 15-й Шиповника с Пришвиным выйдет к 1 мая. Корректуру ему и я и С(ерафима) П(авловна) сделаю» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 31. Л. 14).

<sup>3</sup> Романов Пантелеймон Сергеевич (1884—1938) — писатель, знакомый Ремизова. См. недатированное письмо Романова к Ремизову (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 185).

<sup>4</sup> Первый рассказ Романова «Отец Федор» был напечатан в седьмом номере «Русской мысли» за 1911 год. Возможно, подразумевается именно это произведение.

<sup>5</sup> Речь идет о трагическом завершении семейной драмы брата Пришвина Александра (см. прим. 4 к п. 13), после смерти которого покончила с собой его возлюбленная.

<sup>6</sup> Об этом пожаре в своей квартире на Таврической ул. (д. 3<sup>а</sup>, кв. 23) Ремизов писал И. А. Рязановскому 13 марта 1911 года: «Я опять захворал. Сейчас поправляюсь. Пожар у нас случился. В комнате, где я спал, сгорела стена. Я только что встал и сел заниматься (поправлял Крестовые сестры), да зачем-то вышел в столовую, а дым так и валит. Возни много было. Залили, успокоились. А через час опять кричат: пожар. От нервного подъема я себя все хорошо чувствовал, а в субботу сразу и слег» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 31. Л. 19, об.).

## 15

Белев 6(-)е Апреля (1911 года)

Дорогой Алексей Михайлович,

уж и не знаю, как мне добыть такой лисий хвост, чтобы он мог удовлетворить Вас за труд. И не знаю даже: есть ли такие хвосты!<sup>1</sup>

Пишу Вам сейчас в трактире, чернила водяные, перо не пишет...

От Брюсова получил письмо; по памяти передам его содержание.

«Мне очень бы хотелось сохранить Ваш рассказ для Русск(ой) Мысли. Но Апрельская книжка, когда получена была рукопись, уже набрана, я постараюсь напечатать в *майской*,<sup>2</sup> но и тут обещать не могу...» Далее пространное объяснение и просьба назначить предельный срок.

«Лично я, — пишет Брюсов, — с величайшим интересом прочел Вашу рукопись. Вы с обычным мастерством даете нам, горожанам, картины совершенно неведомой жизни...»

В ответ на письмо я поставил предельный срок Август и жду ответа, который, судя по письму, будет, вероятно, удовлетворительный.<sup>3</sup>

Алек(сей) Мих(айлович), весна! Тяга вальдшнепина, тетеревиные тока́. Река вошла в берега. И я тоже: не пишу, не читаю, а целый день, даже ночью иногда, в лесу. И будет мне когда совсем худо, и заболит кишки — придет весна, на четвереньках приползу в лес.

Больше ничего не могу написать. Не пишет перо. Напишу из Жабыни.

Посылаю марки для нового тома Ваших сочинений.<sup>4</sup> Жду его в Жабыни.

Серафиме Павловне кланяюсь низко пренизко и благодарю ее за корректуру «Зверя».<sup>5</sup>

М. Пришвин                      Спасибо, Алек(сей)  
Мих(айлович), за все.

Белев. Жабынь.

(а — не е)

200 руб(лей) были от родни, а в Русс(кой) Мысли — пишет Брюсов — Струве<sup>6</sup> мне заплатит 100 р(ублей) за лист.<sup>7</sup> И то, Слава Богу!

<sup>1</sup> Несомненно, Пришвин отвечал на шуточный вопрос Ремизова о вознаграждении за чтение корректуры пришвинского рассказа «Крутоярский зверь» (см. прим. 3 к п. 8, прим. 3 к п. 12 и прим. 2 к п. 14). Обозначенный в качестве мзды лисий хвост (равно как и обезьяний) в одном из своих символических значений являлся для Ремизова атрибутом «иногo» человека — творчески свободной, не ограниченной тривиальными условностями жизни личности. Ремизовское тайное общество «Обезьянья Великая и Вольная палата» объединяло именно таких людей. Подробнее об Обезвелволпале Ремизова см.: Ремизов А. 1) Взвихренная Русь. С. 272—297; 2) Кукха. С. 38—43; 3) Встречи. С. 187—189; Гречишкин С. С. Архив А. М. Ремизова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975 год. Л., 1977. С. 32—34; Морковин В. Приспешники царя Асыки // Československa rusistika. 1969. XIV. № 4. S. 178—186; Флейшман Л. С. Из комментариев к «Кукхе». Конкретор Обезвелволпала // Slavica

Hierosolymitana. Jerusalem, 1977. Vol. 1. S. 185—193 и др. Реликвией Обезьяньей палаты считался хвост ее верховного правителя царя Асыки. Ремизов утверждал, что царь Асыка «собственнохвостно» подписывал все важнейшие документы общества: манифесты, указы и грамоты. В соответствии с этим законоположение Обезвелволпала предусматривало «права вельмож носить хвосты где угодно» (*Ремизов А. М. Обезьянья Великая и Вольная палата. Л. 39, 55*). Кроме того, хвост для Ремизова — это символическое выражение детской беспечности, а также мечтательности взрослого человека, противостоящей прагматизму обывателя. Так, один из героев его повести «Канава», наделенный автобиографическими чертами, вывел весьма оригинальное определение счастья: «(...) отпусти ему Бог хвост и обеспечь покойную жизнь, да он, поверите ли, сумел бы обернуться, примостившись где поудобнее, и тихо и смиренно помахивал бы он хвостом день и ночь» (цит. по: *Ремизов А. М. Избранное. Л., 1991. С. 422*). Наконец, упоминание в письме о лисьем хвосте являлось отзвуком инцидента, случившегося с Ремизовым на новогоднем маскараде в доме у Ф. Сологуба в январе 1911 года (подробнее об этом см.: *Обатнина Е. Р. От маскарада к третейскому суду. («Судное дело об обезьяньем хвосте» в жизни и творчестве А. М. Ремизова) // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 3. С. 448—465*). Эта история стала предметом различных пересудов и слухов, немалую долю которых распространял сам Ремизов, подменяя в соответствии с «жанром» сплетни фактические детали вымышленными. Таким образом, обезьяний хвост превратился в лисий. Как вспоминал Вл. Пяст, Ремизов «любил распространять слухи о каких-нибудь действительных или мнимых ссорах из-за какого-нибудь нелепейшего „лисьего хвоста”» (*Пяст Вл. Встречи. М., 1929. С. 31*).

<sup>2</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Пришвиным.

<sup>3</sup> См. прим. 4 к п. 12 и прим. 1 к п. 14. Приняв к сведению условия Пришвина, Брюсов все же, по-видимому, сомневался в необходимости этой публикации и в письме от 16 апреля 1911 года сообщил П. Б. Струве: «(Пришвин) пишет, что его вещь он может представить нам для печатания лишь в мае, июне, июле и „самое крайнее” августе. Как я писал Вам, это полурассказ, полуэтнография, вещь, не лишенная интересности и художественности, хотя отнюдь не что-либо исключительное. По размерам она вряд ли уместится в одной книжке (...) Можно ли принять условия Пришвина и взять на себя обязательства напечатать его рассказ до августа или должно „с глубоким сожалением” вернуть ему рукопись?» (*Брюсов В. Я. Письма к П. Б. Струве. С. 338*).

<sup>4</sup> К апрелю 1911 года издательством «Шиповник» были выпущены в свет два первых тома собрания сочинений Ремизова; готовился к печати и третий том, появившийся в августе.

<sup>5</sup> См. прим. 1 к наст. п.

<sup>6</sup> Струве Петр Бернгардович (1870—1944) — экономист, политик, редактор и издатель журнала «Русская мысль».

<sup>7</sup> См. прим. 1 к п. 14.

## 16

Новгород. 18 сентября 1911 (года)

Дорогой Алексей Михайлович, я потому не ответил Вам, что дожидался своих вещей из Белева, в которых находится и рукопись Лундберга.<sup>1</sup> Сейчас я их получил и сегодня же отправлю Лундбергу его рукопись.<sup>2</sup>

Жизнь моя в Новгороде наладилась хорошо. Пишу свою повесть;<sup>3</sup> когда не работается — хожу на охоту в лес или плыву по Волхову на Ильмень, после этого на другой день опять начинает работаться. Из знакомых, кроме поозеров, есть только один: художник Манганари;<sup>4</sup> сей человек поселился у меня и прижился совершенно, стал как свой. Человек этот со «дна» и очень мне нравится. Когда-нибудь яведу Вас с ним.

От Разумника<sup>5</sup> получил письмо из «рая земного».<sup>6</sup> Собираюсь я издавать том своих рассказов в «Знании».<sup>7</sup> Не огорчайтесь этим, ибо Кузьмин<sup>8</sup> (Так. — Е. О.) и Муйжель<sup>9</sup> оба существа несовершеннолетние,<sup>10</sup> Шиповник тоже несовершеннолетнее существо и, в конце концов, не все ли равно? А деньги заплатят вероятно приличные.

Лекции Серафимы Павловны я прочел,<sup>11</sup> но не посылаю назад, потому что могут еще мне понадобиться. Если же ей нужны, то напишите, — я пришлю.

Кланяюсь Серафиме Павловне, Вам кланяюсь. Пишите Орлова,<sup>12</sup> выпускайте свой альманах.<sup>13</sup> Если напишите, и я пришлю Вам рассказик.

М. Пришвин



Сверху владельческая надпись П. Л. Вакселя: «пол 11-3-1914 № 3278».

<sup>1</sup> Лундберг Евгений Германович (1887—1965) — писатель, переводчик, критик. В 1900—1910-е годы пользовался дружеским расположением Л. И. Шестова, через которого, нередко при посредничестве Ремизова, устраивались публикации его рассказов и очерков. Так, в письме от 9/22 октября 1910 года Шестов писал Ремизову: «И вообще, подумай, что можешь сделать в смысле произведений Лундберга в каких-либо изданиях, либо насчет переводов» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 4. С. 92). Знакомство Лундберга с Ремизовым относится к 1905 году. О первом впечатлении, произведенном ими друг на друга, узнаем из письма Шестова к Ремизову от 28 февраля 1905 года: «Лундберг, видно, Вам не по вкусу пришелся — это жаль. Он интересный. А Вы ему понравились» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 2. С. 136); см. также: Ремизов А. Кукха. С. 36). Комментируя в 1940-е годы свои письма к жене, Ремизов заметил о творчестве Е. Лундберга: «(...) Лундберг писал рассказы и статьи, да неудачно и расплылся, а даровитый и начитанный» (На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло / Подг. текста и комм. Антонеллы Д'Амелия // Europa Orientalis. 1990. Bd. IX. С. 462).

<sup>2</sup> Вероятнее всего, имеется в виду рукопись Е. Лундберга, отправленная в газету «Русские ведомости» по протекции Ремизова и Пришвина. Установить ее название не удалось. Возможно, это была одна из статей, упомянутых в письме Шестова к Ремизову от 5 сентября 1911 года; не исключено, что речь идет о его произведении под названием «Тринадцатый», судьба которого обсуждалась в том же письме: «Теперь насчет Лундберга. С ним плохо: опять температура 38. Конечно, падает духом. Уже постарайся, что можно сделать. Кому ты сдал его „Тринадцатого“? (...) У него и в „Р(усских) В(едомост)ях“ есть несколько статей — оттуда никакого ответа!» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 4. С. 104). «Тринадцатый» упоминается и в недатированном письме Лундберга к Ремизову (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 141. Л. 8).

<sup>3</sup> Очевидно, подразумевается повесть «Никон Староколенный», напечатанная в альманахе издательства «Шиповник» (1912. Кн. 18. С. 205—231).

<sup>4</sup> Манганари Александр Викторович — художник, в 1910-е годы экспонировал свои работы на московских выставках «Нового общества художников», «Союза русских художников» и «Московского товарищества художников»; иллюстрировал повесть Антония Погорельского «Монастырка» (см.: Искры. 1911. № 6. С. 42).

<sup>5</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>6</sup> Осенью 1911 года Иванов-Разумник жил в Крыму, в поселке Артек под Гурзуфом.

<sup>7</sup> «Знание» — издательское товарищество; возникло в Петербурге в 1898 году по инициативе К. П. Пятницкого. В начале 1900-х годов идейным руководителем «Знания» стал А. М. Горький. В течение 1912—1914 годов это издательство выпустило три тома собрания сочинений Пришвина.

<sup>8</sup> Кузмин Михаил Алексеевич (1872—1936) — поэт, прозаик, драматург, переводчик, критик, композитор. В 1900—1910-е годы Кузмин и Ремизов принадлежали к одному литературному кругу. Письма Кузмина к Ремизову см.: РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 133.

<sup>9</sup> Муйжель Виктор Васильевич (1880—1924) — писатель, в 1910-е годы сотрудничал в журнале «Русское богатство».

<sup>10</sup> Вероятно, пытаясь найти печатный орган для своих произведений, Пришвин по совету Ремизова обращался к Кузмину как ближайшему сотруднику журнала «Аполлон» и к Муйжелю, вхожему в редакцию журнала «Русское богатство». Хотя еще в январе 1911 года Кузмин объяснял Ремизову в одном из писем, каково его положение в журнале: «(...) видите ли в чем дело: с „Аполлоном“ у меня не такие лады, как прежде, я жаловался, что мало времени читать книги, а Серг(ей) Кон(стантин)вич Маковский для облегчения освободил меня от оценки рукописей, это совсем в мои планы не входило. Вообще там новый дух и по-моему никаких альманахов и не будет (...)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 133. Л. 13).

<sup>11</sup> Имеются в виду записи лекций, прослушанных С. П. Ремизовой-Довгелло в Петербургском Археологическом институте. В романе, посвященном жизни Серафимы Павловны, «В розовом блеске», Ремизов писал: «После ссылки она поступила в Петербургский Археологический Институт и окончила с дипломом „действительного члена Института“» (цит. по: Ремизов А. В розовом блеске. М., 1990. С. 724).

<sup>12</sup> В это время Ремизов работал над повестью «Пятая язва», главный герой которой — следователь Бобров, а не Орлов, как пишет Пришвин.

<sup>13</sup> Возможно, подразумевается сборник, идея которого возникла благодаря знакомству Ремизова с Е. Гуро и М. Матюшиным весной 1911 года. Как вспоминал Матюшин, тогда же появился план «издать новый сборник с „молодыми“ и кое с кем из *столлов*» (Матюшин М. М. Рабочая тетрадь. 1925—1931 // ИРЛИ. Ф. 656. Ед. хр. 105. Л. 33). По-видимому, осенью 1911 года этот замысел (сборник предполагалось издать на средства Е. Гуро) был еще актуален. Не случайно Ремизов писал М. Волошину 28 ноября того же года: «Пришлите, пожалуйста, и поскорее одно стихотворение хорошее, и Константину Дмитриевичу (Бальмонту) передайте мою просьбу приложить тоже одно стихотворение хорошее. Я ему однажды писал об этом. Тут сборник один издан будет без гонорара. Сборник будет хороший, ничего такого не

будет, чтобы после жалеть: зачем дал стихи» (ИРЛИ. Ф. 562. Оп. 3. Ед. хр. 1020. Л. 28). Однако к Рождеству этот проект расстроился, завершившись ссорой Гуро с Ремизовым из-за разногласий, касавшихся состава участников будущего сборника (см. об этом: *Матюшин М. М.* Рабочая тетрадь. 1925—1931. Л. 30—33; *Блок А.* Дневники. М., 1989. С. 92).

## 17

Новгород. 28 Октя(бря) 1911 г(ода)

Дорогой Алексей Михайлович!

Большое спасибо за «Пруд».<sup>1</sup> Прочел я его и, к своему удивлению, вовсе не нашел таким таинственно непонятым, как привык считать его, слушая разговоры Ваших читателей. А Манганари, выросший в тех же условиях, что и Вы, узнал в нем себя. С этим Манганари я Вас хочу познакомить, ибо и Вы и он будете друг другу полезны.

Через день или два пошлю Вам лекции Середонина,<sup>2</sup> а вместе с этим письмом посылаю пока нечто для Серафимы Павловны.

Насчет своих именин скажу следующее: все крупные события моей жизни совершаются по 23-м числам и по тому же самому именины мои 23 мая, а не 8 ноября.<sup>3</sup>

Живу дикарем, писание идет очень медленно и уверенности в том, что я напишу когда-нибудь задуманное, — нет совершенно. На этот год мне, однако, не будет совестно промолчать, так как около Рождества выйдет моя книга с рассказами [1) У горелого пня 2) Крутоярский зверь 3) Птичье кладбище 4) Колобок 5) Черный араб]. Эту книгу издает «Знание»,<sup>4</sup> согласившееся мне уплатить 300 руб(лей) сейчас и 50 руб(лей) в месяц до 1500 руб(лей). Благодаря этой комбинации, я стал крошечным рантьером и довольно долго могу не писать из-под палки.

Благодаря изданию книги завязалась у меня хорошая переписка с Горьким.<sup>5</sup> Своими похвалами моих писаний он затмил даже Иванова-Разумника.<sup>6</sup> Вообще с возможностью помещать свои рассказы устроился окончательно и нужно только писать.

От Раз(умника) Вас(ильевича)<sup>7</sup> письма получал из «земного рая»,<sup>8</sup> звал он меня к себе всерьез, но я себе избрал сидение в Новгороде и так и буду сидеть.<sup>9</sup> Много здесь для меня интересного. Вот вчера купил на базаре Николу Угодника за 15 к(опеек); был он вовсе черный, а как протер его луком — Боже мой! — давайте сотни рублей, не отдам, вот какой Никола!

Перед Рождеством предполагаю на неделю появиться в Петербурге. Пока всего хорошего. До свиданья. Серафиме Павловне кланяюсь, прошу у ней извинения, если посылаемая мной ерунда ей не понравится.

М. Пришвин

Сегодня же отправлю лекции. Только палку не посылаю, а привезу сам, ибо что за нее деньги даром платить.

<sup>1</sup> В конце октября 1911 года вышел в свет четвертый том собрания сочинений Ремизова; в него вошла третья редакция романа «Пруд» (впервые был напечатан с редакционными сокращениями в 1905 году в журнале «Вопросы жизни»; затем в 1908 году опубликован петербургским издательством «Сириус» отдельной книгой). Третья редакция романа значительно отличалась от предыдущих, что обратило на себя внимание критиков и близких друзей, таких, как, например, Шестов, который писал по этому поводу: «(...) хотелось (...) прочесть твой исправленный „Пруд“. Вчера окончил чтение — и вот в немногих словах мое впечатление: новый, исправленный „Пруд“ почти неузнаваем» (Переписка Л. И. Шестова с А. М. Ремизовым // Русская литература. 1992. № 4. С. 105). В рецензии на «Пруд» М. Кузмин писал: «О новом издании „Пруда“ Ремизова можно говорить почти как о новом произведении, до такой степени он переработан» (*Кузмин М.* Сочинения А. Ремизова, т. 4. Роман «Пруд». [Рец.] // Аполлон. 1911. № 9. С. 74). Подробнее об истории издания романа «Пруд» см.: *Ремизов А.* разных книгах // Воля России (Прага). 1926. № 8/9. С. 231—232.

<sup>2</sup> Середонин Сергей Михайлович (1860—1914) — профессор; читал лекции по исторической географии в Петербургском Археологическом институте, в котором училась С. П. Ремизова-Довгелло.

<sup>3</sup> Имеются в виду дни памяти св. Михаила (23 мая) и Архистратига Михаила (8 ноября).

<sup>4</sup> Первый том собрания сочинений Пришвина был выпущен в свет издательством «Знание» в самом конце 1911 года. Его состав был следующим: 1. У горелого пня; 2. Озеро крутоярое: Крутоярский зверь. Птичье кладбище; 3. Черный араб; 4. Из книги «Колобок»; 5. Из книги «О граде Невидимом».

<sup>5</sup> Переписка с А. М. Горьким, начало которой было положено письмом от 13 сентября 1911 года, продолжалась практически до смерти Горького (см.: *Горький М. Собр. соч.*: В 30 т. М., 1948—1955. Т. 29. № 78, 789, 834; Т. 30. № 1120; Горький и советские писатели. Неизданная переписка // Лит. наследство. 1963. Т. 70. С. 319—362).

<sup>6</sup> Имеются в виду статьи Иванов-Разумника, в которых была дана чрезвычайно высокая оценка творчества Пришвина. См.: *Иванов-Разумник*. 1) Великий Пан (О книгах М. Пришвина) // Речь. 1911. 24 янв. № 23. С. 2; 2) Молодые силы (о XV альманахе «Шиповника») // Русские ведомости. 1911. 21 мая. № 115. С. 3. Один из ранних восторженных отзывов Горького о произведениях Пришвина прозвучал в его письме к А. В. Амфитеатрову от 9—10 ноября 1910 года: «Вчера ночью взял книжку — „Р(усской) М(ысли)“ и на полчаса забылся в глубоком восхищении, — то же, думаю, будет и с Вами, когда Вы прочтете превосходную вещь Пришвина „Черный араб“. Вот как надо писать путевое, мимо идущее. Этот Пришвин вообще — талант» (*Горький М. Собр. соч.*: В 30 т. Т. 29. С. 140—141).

<sup>7</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>8</sup> См. прим. 6 к п. 16.

<sup>9</sup> 1 декабря 1911 года Иванов-Разумник писал Ремизову: «А о Пришвине вот что знаю: писал он мне, что 21-го ноября уже будет в Петербурге, а через неделю написал, что-де заложил велосипед и остался в Новгороде» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 115. Л. 39).

## 18

(1911 год)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович!

Хочу я приехать в этот понедельник в П(ете)рб(ург) ругаться со Знанием: денег не дают и ни черта с ними не выходит.<sup>2</sup>

Остановлюсь я у Алекс(андра) Мих(айловича) Коноплянцева, с к(ото)рым, если он будет свободен, вечером часов так в 8—9 толкнусь к Вам.

Хочу между прочими делами достать «Пруд» прежней редакции. Я помню, читал часть Пруда в журнале и впечатление было совершенно другое. Хочу я проверить: что же это? — я так изменился, или Пруд не тот?<sup>3</sup> Читал в газетах, что «Пóсолонь» вышла<sup>4</sup> и надеюсь у Вас ее получить.

Мои дела идут, но медленно, очень медленно.

Читал книгу Иванова-Разумника, вышло у него, благодаря подчеркнутой субъективности автора, гораздо лучше, чем в газетах, ибо не абсолютно взят, а с точки зрения нашего хорошего единственного Разумника Васильевича.<sup>5</sup>

Ну, пока всего хорошего. До свидания

М. Пришвин

<sup>1</sup> Датируется по содержанию, предположительно декабрем 1911 года. Сверху владельческая надпись П. Л. Вакселя чернилами: «пол 11-3-1914 № 3281»; рядом карандашом, возможно, рукой Ремизова: «1911».

<sup>2</sup> См. прим. 7 к п. 16 и прим. 4 к п. 17. Первого декабря 1911 года Иванов-Разумник сообщил Ремизову о Пришвине: «Продался он „Знанию“, а те ему денег не шлют и книги не печатают. Уж лучше в „Шиповник“» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 115. Л. 39).

<sup>3</sup> См. прим. 1 к п. 17.

<sup>4</sup> См. прим. 19 к п. 6. Недоразумение, так как «Посолонь», в своем расширенном виде составившая шестой том собрания сочинений Ремизова, вышла в свет лишь в феврале 1912 года. В ноябре 1911 года был выпущен пятый том, включавший в себя рассказы. Возможно, эта неточность закралась в печать потому, что по предварительному плану издательства «Шиповник» в пятый том должны были войти «Лимонарь» и «Посолонь». Об этом Ремизов писал И. А. Рязановскому в январе 1911 года: «Поправлял — готовил и приготовил, в конце концов, V т(ом) (Лимонарь, Посолонь, К-Морю-Океану, Разные сказки)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 31. Л. 41, об.).

<sup>5</sup> Имеется в виду том критических статей Иванова-Разумника «Творчество и критика» (СПб., [1912]. Т. II), в который вошла в расширенном варианте статья о Пришвине «Великий Пан» (С. 42—79), а также статья, посвященная творчеству А. Н. Толстого, но содержащая сравнительный анализ произведений Толстого и Пришвина, — «Алексей Толстой № 2-ой» (С. 71—79; первоначально она называлась «Молодые силы»). Ранее обе статьи были опубликованы в газетах (см. прим. 6 к п. 17). Сюда же был включен критический разбор произведений Ремизова «Творчество А. Ремизова» (С. 80—109). В статье «Великий Пан» Иванов-Разумник писал о Пришвине: «Пора понять, что М. Пришвин вовсе не „этнограф“, вовсе не объективный наблюдатель, вовсе не „эпик“, наоборот, он интимнейший из поэтов — и притом поэт космического чувства, поэт вселенского чувства, призванный бард светлого бога, Великого Пана» (С. 79).

(декабрь 1911 года)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович!

Посылаю для Сераф(имы) Павловны несколько моих снимков. Если они ей понравятся, то отпечатаю потом и пришлю много. Вам посылаю зевающего Нептуна с Левушкой.<sup>2</sup>

Очень и очень жалею, что не удалось нам с Вами в этот приезд основательно потолковать. И уехал я опять-таки без «Пруда» в старой редакции.<sup>3</sup> Вероятно, теперь по случаю выхода собр(ания) соч(инений) его можно дешево купить. Если это так и если случай подойдет и деньги будут, купите для меня. Я вам уплачу. В конце концов мне хочется установить причину перехода Вашего к «эпосу» в связи с общим поворотом в эту сторону. Для моего дневника<sup>4</sup> это очень важно.

Ефрос(инья) Пав(ловна), жена моя, шлет Вам свою глубочайшую признательность за то, что Вы обрезали усы Ивану Александровичу.<sup>5</sup> Много смеемся по этому поводу: Прометей остриженный.<sup>6</sup>

Получил сейчас письмо от Раз(умника) Вас(ильевича),<sup>7</sup> что вот-вот приедет в Царское.<sup>8</sup> Радуется, что двинулось у меня дело с повестью. Это будет, однако, не роман, как он думает, а раз в пять, десять увеличенный «Крут(оярский) зверь». В основе его — «Иван Осляничек обидяющий» и, быть может, заглавие дам такое же.<sup>9</sup>

Ну, будет! Взятся послать снимки и черкнуть пару слов и дошел уже до Осляничка.

Сераф(име) Павловне кланяюсь. Открыл для нее *залежи*<sup>10</sup> старинного бисера<sup>11</sup> и думаю *как бы* его извлечь.

М. Пришвин

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Фотография сына Пришвина Льва (см. прим. 21 к п. 6) с собакой Нептуном хранится среди писем к Ремизову (см.: РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 175. Л. 21).

<sup>3</sup> См. прим. 1 к п. 17.

<sup>4</sup> Дневники Пришвина, охватывающие в общей сложности полвека, являются неотъемлемой частью творчества этого писателя: «Наверное, это вышло по литературной наивности (я не литератор), что я главные силы свои писателя тратил на писание дневников» (Дневники. 1990. С. 400). Его раздумья о литературном ремесле нередко связаны с оценкой личности и произведений Ремизова. Не являясь каждодневной фиксацией событий, эти записи отражают духовный рост писателя, становление его художественного мастерства; об их значении Пришвин писал: «Сила и слава таких дневников в том, что они ищутся по необходимости роста сознания и только для этого. Я лично не уничтожаю их только потому, что, кроме самопознания, учусь в них просто писать и написанное мне часто потом годится» (Там же. С. 409).

<sup>5</sup> И. А. Рязановский.

<sup>6</sup> Должно быть, реакция на юмористический рассказ Ремизова о его парикмахерском искусстве, «всегда оканчивавшемся скандалом». «Жертвами» парикмахерского «мастерства» Ремизова, по рассказам самого писателя, были Ф. И. Щеколдин и Ю. Н. Верховский. Эти случаи описаны в его автобиографических книгах «Подстриженными глазами» (Ремизов А. Под-

стриженными глазами. Париж, 1951. С. 107—113) и «Иверень» (Berkeley, 1986. С. 187). История о «Прометее остриженном» в произведениях Ремизова не описана. Впрочем, возможно, что образ героя романа «Пруд» Дмитрия-Прометеев Мирского — обладателя усов, похожих на «крысиные хвостики», как и многие другие персонажи ремизовской прозы, представлял собой контаминацию некоторых черт характера, портретных описаний, принадлежавших конкретным людям из близкого окружения писателя, одним из которых был И. А. Рязановский.

<sup>7</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>8</sup> С 1907 года Иванов-Разумник жил в Царском Селе под Петербургом (см.: Основные даты жизни и творчества Иванова-Разумника / Сост. Я. В. Леонтьев // Литературное обозрение. 1993. № 5. С. 38—40).

<sup>9</sup> Повесть «Иван-Осляничек. (Из сказаний Семибратского кургана)» была напечатана весной 1912 года в журнале «Заветы» (№ 2. С. 5—30; № 3. С. 5—29). Ее название восходит к неканонической иконе «Иван Осляничек обидяющий», апокрифическое происхождение которой Пришвин объяснял в комментарии к первой публикации: «Об иконе „Иван-Осляничек“ записано мною в с. Брыни, Калужск. губ. со слов Татьяны-Одинокой: „Иван Осляничек обидяющий снимает обиды человеческие“. После я узнал, что существует икона св. Христофора с ослиным лицом и сказание о нем: св. Христофор, прекрасный лицом, смиряя себя перед Господом, выпросил себе звериную голову. По моему предположению, Иван-Осляничек и св. Христофор — одно и то же: св. Христофор у русского народа превратился в Ивана» (Заветы. 1912. № 2. С. 5).

<sup>10</sup> Здесь и далее слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Пришвиным.

<sup>11</sup> С. П. Ремизова-Довгелло была обладательницей большой коллекции вышивок из бисера, которая украшала ее комнату в Петербурге, а затем, в годы эмиграции, берлинские и парижские квартиры Ремизовых: «В углу, перед иконами, горела лампадка, освещающая розовым светом бисер, развешанный по стенам. Большая часть бисера вывезена из родного дома Серафимы Павловны Ремизовой, урожденной Довгелло (литовский дворянский род). Мать ее — Самойлович, они потомки гетмана. Бисерные изделия — искусная работа бабушек, теток, крепостных девушек: тончайшее рукоделие иглой или крючком: кошельки («бисерные кошельки» в сказке из *Посолони*), картинки, шкатулка, чубук» (Резникова Н. В. Огненная память. С. 23). В 1906 году интерес к этой коллекции проявил журнал «Золотое руно», о чем свидетельствует письмо редактора журнала С. А. Соколова к Ремизову: «Мы слышали, что у Вас есть несколько интересных старинных вышивок. А „Руно“ как раз подбирает в этом направлении материал для одного из №» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 207. Л. 1). Однако публикация снимков с раритетов из коллекции С. П. Ремизовой-Довгелло в журнале «Золотое руно» нами не обнаружена.

## 20

(конец декабря 1911 года)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович,

приходил ко мне некий человек из Новгор(одских) деятелей и рассказывал, что был он у Блока и узнал от него о Вашей предполагаемой поездке в Новгород. Сему человеку пришла мысль просить Блока прочесть в Новгороде о символизме, а Вас и меня рассказы для какой-то пользы. Денег они не дают, а хотя просто воспользоваться случаем (: ) посещением Вами Новгорода.<sup>2</sup>

Что им ответить?

Мне больше не хочется, чем хочется, но если это нужно будет, прочту. А как Вы? Если нет, то и нет, и хорошо, а если да почему-либо, то напишите немедленно.

Вздумаете Вы ехать в Новгород, то надо выезжать в пятницу с Никол(аевского) Вокз(ала) в 1 ч(ас) ночи, приедете в субботу утром, в семь. Если с дороги пожелаете основательн(о) отдохнуть, то поезжайте в Соловьевскую гостиницу (а мне напишит(е), когда прийти, или лучше сами явитесь); если же отдыхать не нужно, то останетесь у меня, Вас примет Лев.<sup>3</sup>

Вечером в Софийском соборе знаменитая всенощная (в субботу) и заглянуть туда будет хорошо. Днем же можно съездить в Спас-Нередицу<sup>4</sup> и Юрьевский монастырь.<sup>5</sup> Останется целое воскресенье для Антоневского монастыря<sup>6</sup> и проч(его). Сие примите к сведению на случай, (если) живот поправится совсем (с больным живо-

том и не думайте: наша узкоколейная трясушка препротивная).<sup>7</sup> Назад в Воскрес(енье) ночью, утром в Петерб(урге).

А насчет Ослинычека — эх Вас! Основного вреда в этом, конечно, нет,<sup>8</sup> а только удовольствие, но в смысле практическом есть неудобство: и так уже пишут, что Пришвин подражает Ремизову<sup>9</sup> и... А. Толстому.<sup>10</sup> Что Вы с этим поделаете?

Но я думаю, у Вас в рассказе нет самой легенды, а только слово и потому ничего.<sup>11</sup> А у меня эта икона повторяется в рассказе тысячу раз. Ну, оставим это: пустяки! Расстройте это меня и мои планы совершенно не может.

Три листа моей книги уже отпечатаны (1. У Горел(ого) пня. 2. Крут(оярский) зверь), недели через три пришло и я Вам свой том.<sup>12</sup>

Кланяюсь Сераф(име) Павл(овне). Залежи старин(ного) бисера у Карасевой!<sup>13</sup> Через Алекс(андра) Михайловича можно извлечь. Извлечем.

М. Пришвин.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Ср. в письме А. Блока к А. А. Кублицкой-Пиоттух от 5 декабря 1911 года: «Мама, я все забываю тебе сказать, что почти все твои книги ушли в библиотеку в Новгород, за ними приходил ко мне очень милый новгородский интеллигент (...). Кажется, недурно было бы уехать на несколько дней, но не знаю куда, да и не решаюсь (...). В Новгороде заставят читать стихи или лекцию» (Письма Александра Блока к родным. Т. 2. С. 187). Предполагаемая поездка в Новгород не состоялась.

<sup>3</sup> Л. М. Пришвин (см. прим. 21 к п. 6).

<sup>4</sup> Имеется в виду небольшое село Новгородской губернии, известное своей древней церковью Спаса Преображения, построенной в 1198 году князем Ярославом Владимировичем. Церковь расписана уникальными фресками XII и XIII веков.

<sup>5</sup> Юрьев-Георгиевский или Егорьевский мужской монастырь, расположенный под Новгородом, на левом берегу р. Волхов, основан в 1030 году великим князем Ярославом Владимировичем, в святом крещении Юрием (Георгием).

<sup>6</sup> Антониевский монастырь в Новгороде основан св. Антонием в 1106 году, по преданию, приплывшим на камне из Рима.

<sup>7</sup> Имеется в виду обострение язвенной болезни у Ремизова (см. прим. 1 к п. 9).

<sup>8</sup> Вероятно, узнав о желании Пришвина написать повесть, в качестве ключевого мотива которой должна была выступить апокрифическая икона Ивана Ослинычека обидящего (см. прим. 9 к п. 19), Ремизов предупреждал его о том, что использовал название этой иконы в своем рассказе «Петушок», который появился в печати уже в первой половине декабря 1911 года (Альманах издательства «Шиповник». СПб., 1911. Кн. 16. С. 205—221).

<sup>9</sup> Действительно, в силу общего интереса к фольклору у этих писателей, а также единства принципов использования этнографического материала в художественных произведениях, бытовало расхожее представление о зависимости творческой манеры Пришвина от стиля Ремизова (см., например, мнение В. Я. Брюсова о рассказе «Птичье кладбище», приведенное в прим. 4 к п. 12). Индивидуальность прозы Пришвина отставив в своих критических статьях Иванов-Разумник. Однако и он, прочитав повесть «Иван-Ослинычек», отметил в ней влияние Ремизова: «Люди, лишенные художественного слуха и не умеющие различать полутонов, часто считают стиль А. Ремизова и М. Пришвина тождественным. Это грубая ошибка. М. Пришвин, конечно, прошел через Ремизова; и там, где он старается быть чрезмерно хитрым и нарочито тонким в своем творчестве, там, где он хочет писать „завитушками“, — там, действительно, он иной раз очень близок к Ремизову. Так было, например, в „Иване Ослинычке“, известном читателям „Заветов“ (см. №№ 2 и 3). Но там, где Пришвин находит свойственный себе строгий и четкий тон, там, где он перестает стараться, где перестает писать завитушки в стиле „московского рококо“, — там у него свое лицо, свой запах, свой творческий уклад» (Иванов-Разумник. Черная Россия («Пятая язва» и «Никон Староколенный») // Заветы. 1912. № 8. С. 40—58).

<sup>10</sup> Подразумевается рецензия С. Ауслендера на пятнадцатую книгу альманаха издательства «Шиповник» (СПб., 1911), в которой соседствуют рассказ Пришвина «Крутоярский зверь» и повесть А. Толстого «Две жизни». В этой рецензии было сделано следующее наблюдение: «Близко, очень близко к Толстому примыкает Пришвин в своем рассказе „Крутоярский зверь“. Тот же быт, те же ухватки, и даже в языке есть много близкого. Но слабее, скучнее, без той остроты и забавности, что у Толстого» (Ауслендер С. Альманах «Шиповник», книга XV. СПб., 1911 // Речь. 1911. 23 мая. № 139. С. 3).

<sup>11</sup> В первой редакции рассказа Ремизова «Петушок» (см. прим. 8 к наст. п.) название иконы Ивана Ослинычека обидящего употреблено дважды в заключительном фрагменте: « — Пошла я, батюшка, — тихо еще тише, рассказывала бабушка, — пошла я свечечку поставить Ивану Ослинычеку обидящему, хочу поставить, а рука не подымается. (...) сжимала она све-

чечку Ивану Осляничку обидящему, угоднику Божию, который обиды принимает безвинные, горькие, смертельные, все...» (С. 221). Но показательно то, что уже во второй редакции рассказа, вошедшего в ремизовский сборник «Подорожие» (СПб., 1913. С. 11—42), эта икона была заменена на «Божью Матерь обидящую» (Там же. С. 41).

<sup>12</sup> См. прим. 4 к п. 17.

<sup>13</sup> Неустановленное лицо. См. также прим. 11 к п. 19.

## 21

(Новгород) 26/II (19)12<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович!

Сарматской карты (?)<sup>2</sup> собственной у меня нет, а просить неудобно: тому господину нужна она. В пр(о)даже стоит рублей десять.

Посылаю Вам привет свой из любезного мне Новгорода и Серафиме Павловне глубокий поклон. С радостью у(з)нал от Раз(умника) Вас(ильевича)<sup>3</sup> о ее выздоровлении. — Адрес мой: Нов(город). Тихвинская, д. Ушакова.

<sup>1</sup> Открытое письмо; на штемпелях: Новгород. 27. 2. 12; Петербург. 28. 2. 12.

<sup>2</sup> Предположительно речь идет об издании: Кулаковский Юл. Карта Европейской Сарматии по Птоломею. Киев, 1899. Эта карта могла понадобиться С. П. Ремизовой-Довгелло, изучавшей историческую географию в Петербургском Археологическом институте.

<sup>3</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

## 22

40 мучеников (1912 год)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович!

Вот такая просьба к Вам. Алекс(андр) Мих(айлович) Коноплянец просится в журнал,<sup>2</sup> что-нибудь ему там бы делать такое небольшое, лишь бы зарабатывать немного и попривыкнуть к журн(альному) труду. Очень это ему нужно. Не годится ли он Вам в помощники при чтении рукописей: вкус у него литературный есть, трудоспособность и аккуратность огромные. Разумн(ику) Васильев(ичу)<sup>3</sup> я о нем говорил, и Вы тоже скажите. Пусть он не боится его черносотенства (из-за Леонтьева).<sup>4</sup> Придет Алекс(андр) Мих(айлович) к Вам, и Вы поговорите с ним об этом,<sup>5</sup> сам-то он не начнет. Ну, вот, пожалуйста! Я ему сообщал, что буду писать Вам о нем, значит, он рта еще не раскроет, а Вы скажите, как тут дело обстоит.

Досадная вышла история в последний приезд мой: собрался к Вам, да в «Знании» задержали до поезда и никак нельзя было навестить Вас.

Был у Гершензона<sup>6</sup> и узнал у него, что я роман пишу, «как Война и мир и даже больше: из четырех поколений». А романа-то никакого у меня и не вышло — всего-навсего повесть пока листа в три. Скоро (на той неделе) приеду устраивать ее.<sup>7</sup>

Надеюсь получить от Вас при близком свидании «Посолонь».<sup>8</sup>

Живу в Новгороде хорошо.

До свидания. Серафиме Павловне пожелайте всех пятерок на экзаменах<sup>9</sup> и низкий поклон.

М. Пришвин

<sup>1</sup> День памяти свв. сорока мучеников севастиийских при Ликинии в 320 году отмечается православной церковью 9 марта. По содержанию письмо может быть датировано серединой марта 1912 года.

<sup>2</sup> Подразумевается журнал, о проекте которого сохранилась следующая запись Иванова-Разумника: «В конце 1911-го и начале 1912 года шли переговоры между издательством „Шиповник“, с одной стороны, и Ивановым Разумником и Ал. Бенуа, с другой, - об издании в Петербурге ежемесячного художественного, литературного и критического журнала. Бли-

жайшее участие в литературном отделе должны были принимать Леонид Андреев, А. А. Блок, А. М. Ремизов, в отделе художественном — К. С. Петров-Водкин и группа „левых мир-искусственников“, имея „теоретиком“ Конст. Эрберга. Политического и общественного отделов не было, — литературно-художественная „левизна“, вплоть до нарождавшегося тогда футуризма, определяла собою лицо и направление предполагавшегося журнала» (*Иванов-Разумник Р. В.* «Письма А. М. Пешкова к Иванову-Разумнику (краткие комментарии) // ИРЛИ. Ф. 79. Оп. 1. Ед. хр. 100. Л. 1). Этот замысел так и не был осуществлен. Отчасти идея подобного издания реализовалась с созданием в апреле 1912 года журнала «Заветы». Иванов-Разумник, в сентябре 1912 года возглавивший в «Заветах» отдел «Литература и общественность», немало содействовал тому, чтобы Ремизов стал ведущим автором этого журнала (см.: Письма Иванова-Разумника В. С. Миролюбову // ИРЛИ. Ф. 185. Оп. 1. Ед. хр. 563).

<sup>3</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>4</sup> Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — русский писатель, публицист, литературный критик, философ; автор одной из программ «спасения России» от разрушительных для национального самосознания революционных потрясений и капитализма, которая заключалась в возрождении византийской культуры, сильной монархической власти и церковномонархического христианства, а также в укреплении национальной самобытности. А. М. Коноплянцев, занимавшийся литературной деятельностью «для души», был искренним приверженцем идей Леонтьева. В 1911 году его стараниями был подготовлен литературный сборник «Памяти Константина Николаевича Леонтьева» (СПб., 1911), в который, в частности, вошли публикации Коноплянцева: «Жизнь К. Н. Леонтьева, в связи с развитием его мирозерцания» (С. 1—142) и «Сочинения К. Н. Леонтьева и литература о нем (библиографические данные)» (С. 403—424).

<sup>5</sup> Устроить Коноплянцева на работу в какой-либо журнал, по-видимому, не удалось, но все же осенью 1912 года Ремизов пытался помочь ему, оказывая протекцию в новую газету «Русская молва», редактором которой по его же рекомендации стал Б. А. Садовской (см. письмо А. М. Ремизова Б. А. Садовскому от 18 ноября 1912 года: РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Ед. хр. 113. Л. 6; его фрагмент см.: Блок в неизданной переписке и дневниках современников // Лит. наследство. 1982. Т. 92. Кн. 3. С. 406). Тем не менее и эта попытка закончилась лишь ссорой Садовского с главным редактором «Русской молвы» С. А. Адриановым (см.: Садовской Б. А. Записки // РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 1. Л. 126; фрагмент опубл.: Лит. наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 406).

<sup>6</sup> Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк русской литературы и общественной мысли; владелец, вместе с С. Ю. Копельманом, издательства «Шиповник», охотно печатавший произведения Ремизова и Пришвина в одноименном альманахе. Пристально следил за творческим ростом Пришвина, о чем свидетельствует содержание его письма к Ремизову от 3 марта 1911 года: «Михаилу Мих(айловичу) скажите, что я с наслаждением читаю его книги, что больше всего мне нравится „В краю непуганых птиц“, а Черный араб, как ни хорош, кажется мне слабее, как и Колобок, который я впрочем еще только читаю. — Мне кажется, что вся сила его в наивности, т. е. когда он радостно рассказывает, что видел и слышал в царстве „Великого Пана“ (как говорит Р(азумник) В(асильевич)). Что Пан рассказывает человеку, это можно только пересказать, — т. е. не всякий может, а М(ихаил) М(ихайлович) может; но извлечь из того философию нельзя, тут, как в искусстве, вся философия — в самых образах и в способе их изображения. И мне кажется, что М(ихаил) М(ихайлович) на опасном пути: он хочет осмыслить Пáнову мудрость, может быть испорченный Петербургом, Мережковским, Шестовым и пр(очими). У него глаза открыты на природу, как редко у кого, и то, что он так радостно видит, он умеет и рассказывать чудесно (это одно и то же). Еще зорче смотреть, еще глубже погружаться в вещи природные, сделатьсь весь — глаз, весь — жадность зрения, слуха, обоняния, — вот его путь, и чем сильнее будет в нем эта жадность, тем больше мудрости, но несказуемой, будет в его книгах. Очень понятно, что, как человек, он хочет *понять* то, что, войдя через глаза, дымными волнами клубится в его душе. Но *понять* умом — не ценно, *поняв*, он обедняет и сам, и для других; а есть другой путь — убить себя как личность и воскреснуть как художник, а именно, как я сказал, — не стараться *понять*, а стараться еще лучше видеть: тогда душевный туман — не родит из себя жалкую человеческую философию, а просто весь поднимается, пронизанный солнцем, и станет в душе — солнце и солнце, радостный безмысленный свет» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 87. Л. 8—8, об.).

<sup>7</sup> Повесть «Никон Староколенный» (см. прим. 3 к п. 16).

<sup>8</sup> Речь идет о шестом томе собрания сочинений Ремизова (см. прим. 4 к п. 18).

<sup>9</sup> Весной 1912 года С. П. Ремизова-Довгелло сдавала выпускные экзамены в Археологическом институте. По окончании экзаменов, 10 (23) июня 1912 года, Ремизов писал И. А. Рязановскому: «Во первых строках Вам поклон и благодарность от Серафимы Павловны за книги археологические. Археолог(ический) институт она кончила, действит(ельного) члена получила, а книги Ваши в порядке лежат у меня, в одну грудку сложенные» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 34. Л. 27).



6-го Окт(ября) 1913 г(ода)

Алексей Михайлович, я вчера не успел Вас с Ангелом поздравить,<sup>1</sup> кроме родных, никого не поздравляю и не чувствую в этом греха, а вот за Вас меня совесть грызет. Так что, хоть и поздно, а все-таки я поздравляю Вас с Ангелом, хороший мой Алексей Михайлович, первый и единственный (да еще Разумн(ик) Васил(ьевич)),<sup>2</sup> кто встретил меня в литературе душой.<sup>3</sup> Это ничего, что я у Вас теперь редко бываю — Вы для меня точка постоянная. Привет мой Серафиме Павловне.

М. Пришвин

P. S. Вчера на лекции<sup>4</sup> узнал от Чуковского,<sup>5</sup> что знаменитый сборник «Садок Судей», который мы вместе с Вами распространяли, 1(-)е его издание стоит теперь 50 руб(лей) экземпляр. А у меня их еще порядочно<sup>6</sup> — вот еще как разбогатеть-то можно!

Ропшинская 30 А, кв. 17.

<sup>1</sup> 5 октября православной церковью отмечается день Святителя Алексея.

<sup>2</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>3</sup> В очерке «Охота за счастьем» Пришвин писал о начале своего творческого пути: «Мои писания имели успех прежде всего в высших литературных кругах. Ремизов с Ивановым-Разумником взяли о мне говорить, — первый в своем многочисленном петербургском литературно-художественном обществе, второй написал большую статью» (*Пришвин М. Собр. соч. Т. 4. С. 248*; см. также прим. 6 к п. 17 и прим. 5 к п. 18). Один из первых похвальных отзывов Иванова-Разумника о Пришвине встречается в письме критика к Ремизову от 26 сентября 1910 года, в котором идет речь о рассказе «Черный араб»: «(...) посылаю Вам гранки со статьей Пришвина. Да где он сам, кстати? Когда увидите его — поклонитесь от меня и скажите, что сильно мне понравился этот его рассказ (— положим не рассказ, а что-то «путевое» — и очень «путевое», пусть извинит за неудачный каламбур). А еще скажите, что очень рад был бы его у себя почитать (...) И, наконец, — что, мол, не забыл ли он своего обещания выслать мне свою первую книгу («В стране непуганых птиц»)» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 115. Л. 29).

<sup>4</sup> 5 октября 1913 года в Тенишевском зале (Моховая, 33) состоялась лекция К. И. Чуковского «Искусство грядущего дня. Русские поэты-футуристы». Содержание этого выступления подробно пересказано в статье, подписанной «В.», «Лекция К. Чуковского о футуризме» (Речь. 1913. 7(20) окт. № 274. С. 3).

<sup>5</sup> Чуковский Корней Иванович (наст. имя: Корнейчуков Николай Васильевич; 1882—1969) — литературный критик, переводчик, детский писатель, автор статей о символистах, в том числе и о Ремизове (см., например, статью Чуковского «Веселое кладбище» (Речь. 1909. № 72. 5(28) марта. С. 2); см. также письма Чуковского к Ремизову (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 237)). В начале 1910-х годов Чуковский читал публичные лекции о футуризме (см. прим. 4 к наст. п.). Нередко его совместные выступления с футуристами заканчивались скандальными происшествиями. См. об этом: «Среди футуристов» // *День*. 1913. 8 нояб. № 303. С. 3; *Чуковский К. Футуристы (1914)* // Чуковский К. Собр. соч.: В 6 т. М., 1969. Т. 6. С. 234.

<sup>6</sup> Подразумевается первый футуристический сборник «Садок судей», который был напечатан в 1910 году в петербургской «Типографии Кюгельгена и К<sup>о</sup>» тиражом 300 экземпляров. Второй сборник «Садок судей» вышел в 1913 году в издательстве «Журавель». В анонсе, помещенном в конце этой книги, сообщалось о том, что первый сборник уже распродан, но, тем не менее, «оставшиеся в небольшом количестве» экземпляры продавались в магазине И. И. Митюрникова (Литейный, 31). Сведения о распространении сборника «Садок судей». 1» Ремизовым и Пришвиным мы не располагаем. Лишь в качестве предположения приведем здесь недатированное письмо А. Н. Толстого к Ремизову, в котором, возможно, речь идет о части тиража этого сборника: «За присылку книг постараюсь устроить Вам такую же какую-нибудь гадость. Пришвин пешком их тащил с Таврической, думал, говорит, ценные рукописи или еще что, а как развернул, изругал Вас куриным словом» (РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 217. Л. 1). Это письмо можно соотнести с дневниковой записью Пришвина, воссоздающей события конца 1910 года: «Случилось однажды, Ремизов попросил меня занести какие-то книги А. Н. Толстому, который жил недалеко от меня» (*Пришвин М. Собр. соч. Т. 4. С. 706*). Несомненно, сам прецедент распространения «Садка судей» имел место благодаря давнему знакомству Ремизова с участниками этого сборника В. Д. и Д. Д. Бурлюками, которое состоялось в Херсоне в 1903 году, когда Ремизов с женой снимали комнату в их доме (см.: *Ремизов А. Кукха. С. 77*; На вечерней заре. Переписка А. Ремизова с С. Ремизовой-Довгелло. С. 493; *Бурлюк Д. Воспоми-*

нания отца русского футуризма / Публ. Е. Чижова и Д. Ксенина // *Минувшее: Исторический альманах*. Париж, 1988. Вып. 5. С. 7—53). Формировавшийся в начале 1910-х годов русский футуризм интересовал Ремизова своими экспериментами в области книжной графики и словесного творчества. В 1910 году писатель впервые экспонировал образцы своего каллиграфического искусства на выставке «Треугольник — Венок» вместе с В. и Д. Бурлюками, В. Каменским и Е. Гуро, а в 1915-м выступил вместе с футуристами в сборнике «Стрелец» (Пб.). О Ремизове и футуристах см.: *Баран Х. К типологии русского модернизма: Иванов, Ремизов, Хлебников* / Пер. М. А. Кронгауза // *Баран Х. Поэтика русской литературы начала XX века*. М., 1993. С. 192—193; *Ремизов А. Неизданный «Мерлог»* / Публ. А. Д'Амелия // *Минувшее: Исторический альманах*. М., 1991. Вып. 3. С. 210; *Маркадэ Ж. К. Ремизовские письма* // *Approaches to a protean world*. Columbus, 1987. P. 123—125; *Гурьянова Н.* Ремизов и «будетляне» // *Алексей Ремизов: Исследования и материалы*. С. 142—150. Указывая последнюю статью, считаем необходимым внести небольшую поправку. В статье Н. Гурьяновой утверждается, со ссылкой на А. Е. Парниса, что само название сборника — «Садок судей» — является изобретением Ремизова. В личной беседе с А. Е. Парнисом все же выяснилось, что это недоразумение, и факт не имеет подтверждения. В этой же статье знакомство Ремизова с В. и Д. Бурлюками ошибочно отнесено к 1905 году.

## 24

(30 декабря 1913 года)<sup>1</sup>

Серафиму Павловну и Алексея Михайловича с Новым Годом поздравляет Осман.

<sup>1</sup> Почтовая карточка. На обороте фотография «Носильщик курбана» из серии «Типы Бахчисарая». Датируется по штемпелю: Петербург. 30. 12. 13. Сверху, над текстом письма, — владельческая надпись П. Л. Вакселя чернилами: «№ 3576»; внизу рукой Ремизова: «Пришвин Мих(айл) Мих(айлович)». Выбор открытки, по-видимому, был связан с воспоминаниями Пришвина о поездке в Крым в июле 1913 года.

## 25

Пересыльная тюрьма. (Казачий плац)

3(-)го января (1918 года)<sup>1</sup>

1(-)е письмо в Новом году.

Дорогой Алексей Михайлович! арестовали нас кучей:<sup>2</sup> (и Розов тут!)<sup>3</sup> и тот некий,<sup>4</sup> который пришел купить Волю Народа.<sup>5</sup> Из этого заключаю, что должны ж выпустить; но, говорят, что может быть сидение будет и долгое.<sup>6</sup> Прошу Вас сотворить легенду: например, позвоните Семену Афан(асьевичу) Венгерову<sup>7</sup> — председат(елю) литер(атурного) общ(ества) и пошиборшите. Я не член редакции,<sup>8</sup> к партии не принадлежу; у меня отобрали портфель со многими рукописями (и Вашими), в том числе и стихи Верховского «о некоем монахе». Я требовал портфель со стихами и согласно с говорившими: я — Член Учр(едительного) Собр(ания), говорил: «А я русский писатель!» На это получил ответ: «После 25-го октября это не считается!»<sup>9</sup>

Сижу в общей с чиновниками-саботажниками, все хорошие люди, весь состав редакции Воля Народа со мной, Аргунова<sup>10</sup> и Сорокина<sup>11</sup> услали в Петроп(авловскую) крепость. Вам кланяются: Чернов<sup>12</sup> и Фрид.<sup>13</sup>

Перехожу к просьбам. Для свидания нужно разрешение на Гороховой 2<sup>14</sup> и приходиться во вторник и пятницу (от 12 до 4(-)х) причем, как говорят, настойчивая дама может добиться разрешения свидания во все дни и по этому разрешению ходить могут все. Попросите Марию Михайловну, как мою родственницу,<sup>15</sup> немедленно проделать это и открыть дорогу Вам посетить меня в хороший день.

Посылки принимаются каждый день и вот о чем попросите Марию Михайловну немедленно: пусть она сходит к Ефрос(инье) Антон(овне),<sup>16</sup> которая доставит мне следующее:

Полушубок и брюки<sup>17</sup>  
 Наволочку чистую и две простыни  
 Две смены белья  
 1 фунт) масла (отвешенный, за окном)  
 Сыр с окна  
 Высокая круглая коробка на столе с трубочным табаком  
 Красная ручка и перья. Высокие сапоги  
 Желтый карандаш  
 Купить десть бумаги

И больше ничего и уложить в корзинку, чтобы, когда выпустят, я мог унести ее сам.

Точный адрес: Пересыльная Тюрьма, Казачий плац, Константиноградская 6, ехать трамвай (Так. — Е. О.) на Николаевс(кий) вокз(ал) и потом пешком.

Если посылка для переноса окажется слишком тяжела, то сапоги можно не брать.

Мой привет и низкий поклон Марии Михайловне и Ефрос(инье) Антон(овне), (на) которых со смущением навязываю это хлопотливое дело.

Прошу Марию Михайловну доставить Вам фунт табаку, имею (кроме трубочного) 1/4 ф(унта), к чему необходимо купить несколько листов или книжек папиросной бумаги.

Если через несколько дней не выпустят, и Воля Народа попадет в положение безнадежное, хорошо Вам кого-нибудь командировать в типографию для извлечения Голубого знамени, Леонида Семенова и проч(его) (в корректуре) для напечатания<sup>18</sup> и извлечения нужных денег.

Пишу в присутствии 20-ти человек и потому затрудняюсь сказать что-нибудь о своем настроении: мне кажется все несерьезным, хотя если бы и такую взять крайность, как смертоубийство, — то и это как-то несерьезное дело. А еще, что тюремное сидение есть точное изображение тому состоянию духа, которое мы все испытываем теперь дома.

Кланяюсь низко Серафиме Павловне, которой сидение в тюрьме хорошо знакомо: сидим и сидим!<sup>19</sup>

Если увидите Разум(ника) Вас(ильевича),<sup>20</sup> то поклонитесь ему и скажите ему, что мои слова сбываются, я говорил ему: я — не действую в политике и непременно попадусь, а он действует и хочет попасть, но не попадет.<sup>21</sup> А значит, за мной и правды больше.

До свидания, М. Пришвин

<sup>1</sup> Сверху красными чернилами рукой Ремизова помета: «4 I 1918 8 ч(асов) в(ечера)». Под текстом письма наклеен фрагмент конверта; на штемпелях: Петроград. 3.1. 18.

<sup>2</sup> 5 января 1918 года в редакционной статье «Воли страны» (бывшей «Воли народа») сообщалось, что 2 января в редакции и конторе газеты был произведен арест всех граждан, среди которых находились «не только ответственные редакторы газеты, в том числе члены Учредительного Собрания А. А. Аргунов и П. А. Сорокин, но и служащие конторы и типографий: экспедиторы, управляющий типографией, секретарь редакции М. Е. Аргунов, и весь штат хроникеров, пришедших за получением гонорара. Арестован заведующий хроникой С. Б. Фрид, редактор литературного отдела, известный писатель М. М. Пришвин, и лица, зашедшие в помещение редакции и конторы по тем или иным мотивам» (От редакции «Воля Народа» // Воля страны. 1918. 5 янв. № 1. С. 1). Ср. с записью в дневнике З. Н. Гиппиус: «Третьего дня разгромили редакцию „Воли Народа“ (эсеры), арестовали Пит. Сорокина, Аргунова, Гуковско-го и еще сотрудииков, даже Пришвина!» («Черные тетради» Зинаиды Гиппиус / Подг. текста М. М. Павловой. Вступ. статья и прим. М. М. Павловой и Д. И. Зубарева // Звенья. М.; СПб., 1992. Вып. 2. С. 41). Отчасти арест был инспирирован покушением на Ленина 1 января 1918 года.

<sup>3</sup> Розов Борис Александрович (? — 1941) — писатель, сотрудник журнала «Русская мысль». В архиве Ремизова хранится письмо Розова от 10 июня 1912 года (РНБ. Ф. 634. Оп. 1.

Ед. хр. 184). Он упоминается в статье С. Г. Фрида, бытописующей дни заключения в Пересыльной тюрьме: «А из смежной камеры хороший баритон молодого беллетриста Розова одиноко тоскует: „Люблю ли тебя, я не знаю, / Но кажется мне, что люблю...”» (*Фрид С. Записки «рецидивиста»*. (Из Пересыльной тюрьмы) // *Воля страны*. 1918. 18 янв. № 3. С. 2).

<sup>4</sup> Подразумевается присяжный поверенный Яков Яковлевич Селюк, арестованный по ошибке. Ср. в статье «Обыск и аресты в редакции и конторе „Воля Народа”»: «Тут и прис. пов. Я. Ф. (Так. — Е. О.) Селюк, зашедший случайно в редакцию (...)» (*Воля страны*. 1918. 5 янв. № 1. С. 1).

<sup>5</sup> «Воля народа» — ежедневная, литературно-политическая газета, издававшаяся правыми эсерами под редакцией А. А. Аргунова, И. А. Гуковского, В. С. Миролюбова (выбыл из состава редакторов с сентября 1917 года), П. А. Сорокина, Е. А. Сталинского. Газета, первый номер которой появился 29 апреля 1917 года, выходила регулярно до конца ноября. В ночь с 25-го на 26 ноября «Воля народа» в первый раз подверглась репрессиям со стороны большевиков: редакция была насильственно закрыта, а очередной номер газеты арестован. Вследствие этого в период с 26-го ноября по 1 декабря газета каждый день меняла свои названия: «Воля Вольная», «Вольная», «Народная», «Воля свободная». С января 1918 года преследования большевиков ужесточились (см. прим. 2 к наст. п.), выход этого издания (уже под названием «Воля страны») был чрезвычайно затруднен политической ситуацией; последний номер вышел 19(6) февраля. Попытка реанимировать «Волю народа» после ее закрытия Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов 19 февраля выразилась в выпуске единственного номера под названием «Воля земли» (1918. 21(8) февраля). В апреле «Воля народа» возродилась к жизни в виде еженедельника с литературным отделом «Россия в слове», но просуществовала только до 19 мая. Первая публикация Пришвина в «Воле народа» относится к сентябрю 1917 года (*Пришвин М. Земля и власть* // *Воля народа*. 1917. 10 сент. № 115. С. 2); с этого времени его имя упоминалось в списке ближайших сотрудников газеты вместе с Б. В. Савинковым, Ф. А. Степунуном, П. Витязевым, Вяч. Шишковым и др. Именно на страницах «Воли народа» Пришвин выступает в роли хроникера петроградской жизни революционных лет. Непосредственно после Октябрьского переворота он практически ежедневно помещает в газете очерки открыто антибольшевистского характера, которые составили цикл с подзаголовком «Из дневника» (републикацию наиболее ярких из них см.: М. М. Пришвин и революция. (Из публицистики 1917—1918 гг.) / Публ. В. Фатеева // *Новый журнал*. 1994. № 4. С. 80—92). Став редактором литературного приложения «Воли народа», Пришвин пригласил к сотрудничеству Ремизова, разделившего с ним взгляды на октябрьские события и эксцессы революционного времени. Таким образом, одно из самых сильных произведений Ремизова, написанных в этот период («Слово о погибели земли русской»), увидело свет на страницах «Воли народа» (см.: *Иезуитова Л. А. Указ. соч.* С. 67—80).

<sup>6</sup> Пришвин находился в заключении со 2-го по 17 января 1918 года. По выходе из тюрьмы он опубликовал в «Воле страны» ряд очерков, посвященных этому: «Капитан Аки» (20 янв. № 5. С. 2), «Станок соглашений (Письмо узникам)» (23 янв. № 7. С. 2), «Суд есть сила греха (Из тюремного опыта)» (24 янв. № 8. С. 2). См. также упоминание о Пришвине во «Взвихренной Руси» Ремизова: «— Пришвина так же грешно в тюрьме держать, как птицу в клетке!» (С. 365).

<sup>7</sup> Венгеров Семен Афанасьевич (1855—1920) — историк литературы, библиограф, профессор Санкт-Петербургского университета.

<sup>8</sup> Свое положение в газете «Воля народа» Пришвин всегда объяснял уклончиво. Так, в октябре 1917 года он отмечал в дневнике: «Одно из сит демократии — „Воля Народа”, в которой я теперь по недоразумению пребываю, исповедует чистую наивную веру в русскую демократию. Это самый невинный орган и чистый от искуательства „демонов”» (*Дневники*. 1991. С. 375). 29 ноября 1917 года Пришвин писал Александре Чеботаревской о собственной роли в «Воле народа»: «Прятого, что вы сочувствуете воленародцам, которым я влезал помогать (...)» (*ИРЛИ. Ф. 189. Ед. хр. 140. Л. 1*; на бланке редакции «Воли народа»). Между тем ко времени его ареста при газете вышло три выпуска литературного приложения «Россия в слове», официальным редактором которого являлся Пришвин (подробнее об этом см. прим. 6 к п. 27).

<sup>9</sup> Ср. в статье «Обыск и аресты в редакции и конторе „Воли народа”»: «В числе „подозрительных” оказался писатель М. М. Пришвин. — Ваша фамилия? — Писатель Пришвин. — Как? — Пришвин, если бы вы были грамотным человеком, вы бы знали мое имя. — Вы, товарищ, пишете в „Воле Народа”? — Я вам, сударь, не товарищ. Люди, производящие такие безобразия, чинящие насилия, не могут быть моими товарищами. Взволнованный М. М. долго и горячо говорит с комиссаром и солдатами. Ни за что не хочет расстаться с портфелем рукописей, среди которых имеются рассказы Ремизова и др., требует опечатания портфеля» (*Воля страны*. 1918. № 1. С. 1). См. также: *Дневник*. 1994. С. 6, 22. Вероятнее всего, подразумеваются рукописи, первоначально предназначавшиеся для новогоднего выпуска литературного приложения «Россия в слове» (см. прим. 6 к п. 27), среди которых были «Россия в письмах» Ремизова (см. прим. 3 к п. 27) и стихи Ю. Н. Верховского. Возможно, именно они были опубликованы 17 января 1918 года:

Горит звезда багровая  
 Над нашей головой.  
 Без пищи и без крова я —  
 Не мертвый, не живой.  
     Дрожа, за подаaniem  
     Не тянется рука;  
     Звезда томит сиянием,  
     Колюча и близка.  
 Лежу под твердью пламенной —  
 Да близкой чередой  
 Восстану с волей каменной  
 И в сердце со звездой.  
     Пускай же тусклой тучею  
     Не тмится твердь моя: —  
     Под той звездой колочкою  
     В дремоте забытья.

(Воля народа. 1918. 17 янв. № 2. С. 1)

<sup>10</sup> Аргунов Андрей Александрович (1867—1939) — деятель русского революционного движения, эсер, редактор газеты «Воля народа».

<sup>11</sup> Сорокин Питирим Александрович (1889—1968) — активный деятель правого крыла эсеровского движения, один из редакторов газеты «Воля народа» (о его публицистике в этом издании см.: *Иезуитова Л. А. Указ. соч. С. 72—76*); крупнейший русский и американский социолог (см. об этом: Об одном неосуществленном издательском замысле (Письма П. А. Сорокина к П. Витязеву) / Вступ. заметка и публ. С. А. Батюто // *Русская литература. 1993. № 1. С. 182—190*).

<sup>12</sup> Чернов Владимир Михайлович — поэт; печатался на страницах «Воли народа» и ее литературного приложения «Россия в слове»; под впечатлением тюремного заключения написал статью «История повторяется (В Пересыльской тюрьме)» (Воля страны. 1918. 23 янв. № 7. С. 2).

<sup>13</sup> Фрид Самуил Борисович — журналист, заведующий хроникой в газете «Воля народа». По выходе из тюрьмы Фрид опубликовал статью «Записки „рецидивиста“ (Из Пересыльской тюрьмы)» (Воля страны. 1918. 18 янв. № 3. С. 2).

<sup>14</sup> На Гороховой, 2 находилась Петроградская ЧК.

<sup>15</sup> Имеется в виду Мария Михайловна Раздольская — знакомая Пришвина. Ср. запись в его дневнике: «Тюремной невестой мне досталась барышня из обсерватории» (Дневник. 1994. С. 5). В архиве Ремизова хранится постоянный пропуск в Пересыльную тюрьму за № 606 от 8 января 1918 года на имя М. М. Раздольской для посещения арестованного Пришвина (ИРЛИ. Ф. 182. Оп. 4. Ед. хр. 4).

<sup>16</sup> Подразумевается хозяйка квартиры Пришвина на Васильевском острове.

<sup>17</sup> Здесь и далее текст, выделенный нами курсивом, подчеркнут Пришвиным.

<sup>18</sup> Речь идет о рукописях, предназначенных для публикации в несостоявшемся новогоднем выпуске литературного приложения «Россия в слове» (см. прим. 4 и 6 к п. 27). В состав этого выпуска был включен рассказ Пришвина «Голубое знамя», автограф которого находится в архиве ИРЛИ (Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 346); см. также черновой набросок этого рассказа в дневнике Пришвина (Дневники. 1991. С. 394—395). «Голубое знамя» было напечатано в «Воле страны» вскоре после выхода Пришвина из тюрьмы (Воля страны. 1918. 19(6) февр. № 17. С. 2). В отличие от рассказа Пришвина, анонимная статья «О Леониде Семенове» так и не была опубликована. Вероятно, она была написана под впечатлением известия о трагической гибели поэта в декабре 1917 года (см.: *Ремизов А. Дневник 1917—1921. С. 472*).

<sup>19</sup> Речь идет о «тюремном опыте», который был получен С. П. Ремизовой-Довгелло, Ремизовым и Пришвиным в пору их юношеского увлечения марксизмом, что было характерно почти для всего поколения интеллигенции, к которому они принадлежали. Ремизов писал о юности С. П. Ремизовой-Довгелло: «И начинается самая счастливая ее жизнь: наука и „революция“. Конец — окончание Курсов, одиннадцать месяцев одиночной тюрьмы, и сылка — три года в Вологодской губернии: Усть-Сысольск, Сольвычегодск, Вологда. (...) Она прошла путь русской интеллигенции — явление единственное и едва ли понятное в Европе» (*Ремизов А. В розовом блеске. С. 724*). О революционном прошлом Ремизова см. в его книге «Иверень», а также: *Морозов В. На рассвете. Исторический очерк об образовании и деятельности первых социал-демократических кружков в Пензе в 1894—1897 гг. Пенза, 1963. С. 29—37; Грачева А. М. Революционер А. Ремизов: миф и реальность // Лица: Биографический альманах. М.; СПб., 1993. Вып. 3. С. 419—447. Пришвин находился в одиночном заключении в Митавской тюрьме в 1897 году; этому предшествовала активная деятельность в рижском марксистском кружке (см.: *Пришвина В. Путь к слову. С. 53—72*).*

<sup>20</sup> Р. В. Иванов-Разумник.

<sup>21</sup> В 1917—1918 годах Иванов-Разумник сблизился с левыми эсерами, хотя с марта по июль 1917 года возглавлял литературный отдел центрального органа партии эсеров «Дело народа»; после июльских событий стал редактором литературного отдела левозерской газеты «Знамя труда» и журнала «Наш путь». В дни Октябрьской революции как журналист находился в Смольном. Пришвин, вероятно, несколько преувеличивал значение для Иванова-Разумника какого-либо политического статуса. Действительно, он идеалистически воспринял задачи и цели Октябрьской революции, поддерживал политические взгляды левых эсеров как наиболее отвечающие идеям «духовного максимализма», или «скифства». Сотрудничество с ними Иванов-Разумник объяснял следующим образом: «Наша „скифская“ группа соединилась не на политической платформе (...) Правда вот в чем: левые эсеры были тогда единственной политической партией, понявшей все глубокое значение культуры вне всякой политики, партией, предоставившей нам экстерриториальность в своих органах (весь «нижний этаж» газеты, весь литературный отдел журнала был в нашем распоряжении)» (Выступление на XXXIII открытом заседании Вольной философской ассоциации 28 августа 1921 г. // Памяти Александра Блока: Андрей Белый. Иванов-Разумник. А. З. Штейнберг. Пб., 1922. С. 58—59). В революционные годы границы между литературой и политикой фактически не существовало. Заметим, что и Пришвин не оказался в стороне от политики. Его публикации в «Воле народа» вполне соответствовали платформе правых эсеров. Различная политическая ориентация привела к тому, что в конце 1917 года между Пришвиным и Ивановым-Разумником возникли трения, которые значительно усугубились после того, как в январе 1918 года в «Воле народа» была напечатана статья, подписанная псевдонимом Ип. Трилесов, резко осуждающая политическую позицию Иванова-Разумника. В этой статье он был назван «правительственным революционером» и обвинялся в тенденциозной (уже в то время не безопасной) интерпретации ремизовского «Слова о погибели русской земли», которое после первой публикации в «Воле народа» было перепечатано в альманахе «Скифы» (1918. № 2. С. 194—200) и сопровождалось статьей Иванова-Разумника «Две России» (Там же. С. 201—231) (см.: *Трилесов Ип. Подкальватель // Воля страны. 1918. 24 янв. № 8. С. 1—2*). Не вызывает сомнений, что статья «Подкальватель» появилась при содействии Пришвина. Тем не менее, политические разногласия не смогли разрушить того взаимного расположения, которое существовало между ними долгие годы. Об этом Иванов-Разумник писал Пришвину 19 сентября 1919 года: «Дорогой Михалмихалыч, поздней осенью 1917 года (два года назад!) мы разошлись с Вами в разные стороны. С год тому назад получил я от Вас несколько строк и ответил несколькими строками. Еще год прошел — теперь я пишу: думаю, что острота прошла, а осталось то, что крепче и глубже случайного и временного. В чем разошлись — в том и не сойдемся, а в том не расходились, что за пределами и „политического“ и „социального“. Песочки 1916-го года — крепко сидят во мне — не знаю как в Вас. И хотя два года назад Вы подняли на меня целые армии, но и тогда это меня не задевало и теперь тем паче вспоминаю без всякой неприятности. Одним словом — по-прежнему очень люблю Вас прежним Михалмихалычем и „сердечно желаю всего лучшего в жизни“, по старозаванному выражению», и далее о Ремизове: «(...) С ним (Ремизовым. — Е. О.) мы слились внешне — не внутренне; с Вами же я и внутренне не расклеивался, не знаю как Вы (...)» (РГАЛИ (Фонд М. М. Пришвина); сообщено Я. В. Леонтьевым). К тому же «пророчество» Пришвина не сбылось, так как в 1919 году большевики расправились и с левыми эсерами. По сфабрикованному делу о заговоре левых эсеров в феврале 1919 года Иванов-Разумник был арестован вместе с Ремизовым, Блоком, К. Петровым-Водкиным, А. З. Штейнбергом и др. (см.: *Иванов-Разумник. Тюрьмы и ссылки («По тюрьмам на родине» / Публ. и комм. В. Г. Белоуса // Мѣра. 1994. № 1. С. 163, 191; Ремизов А. Взвихренная Русь. С. 274—292*).

26

Казачий плац  
Константиноградская 6  
Пересыльная тюрьма  
9-го января (1918 года)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович,

(...) <sup>2</sup> напишите! пришлите (...) <sup>3</sup> зубную щетку, гребешок, порошок в ванной. <sup>4</sup>

Положение неважное, каждый день ожидаем бунта уголовных, которые грозят нас перебить за то, что нам полит(ический) Красный Крест присылает обеды.

Нас просто забыли: ни допроса, ничего. Необходимо найти кого-нибудь, кто будет регулярно ходить на Гороховую 2 и требовать допроса. При настойчивости можно всего добиться. Так вчера добилась жена одного из наших (пришел в редак-

цию купить газету) свидания, а то просто напишут: «немедленно отпустить». Гороховая недалеко, поэтому попросите Марию Михайловну хоть раз сходить и узнать. Свидания добиваться не стоит: очень уж далеко и затруднительно путешествие.

Сидеть в одной комнате в обществе из 25 человек — можете себе представить, как это убийственно — за что? уж не спрашиваем: за что сидит адвокат Селюк, который зашел в редакцию купить Волю народа?

Какую-нибудь хорошую книжку нужно прислать, а то читать нечего. Еще пришлите мне три хорошо сделанных обезьяньих знака<sup>5</sup> 1) Михаилу Ивановичу Успенскому,<sup>6</sup> иконографу, хорошему русскому человеку знак 1й степени с палицей или епанчой (боевой).

(2)) Сергею Георгиевичу Ручу,<sup>7</sup> который начал у нас декаден(т)ство и специально изучает Вас — знак 1й степ(ени) с золотым пером.

(3)) Владимиру Михайловичу Чернову — зн(ак) 1й ст(епени) с хоботком.

В двух камерах сидит нас интеллиг(ентных) людей 50 человек, которых я развлекаю рассказами из Обезьяньей Палаты.<sup>8</sup> Больше делать ничего нельзя, потому что хроникеры двух газет (Воля Нар(ода) и Дня<sup>9</sup>), корректоры, экспедиторы и прочие то поют, то свистят, то мычат и теснота такая, что не скоро и к свече протолкаешься.

Жаль, что рассказ мой Голубое Знамя<sup>10</sup> пропал: рукопись отобрали с портфелем на Гороховой, а корректуры в типографии (Невский 106) — конечно, пропадут.

Принесли Вечерний Час с моей статьей, а Вашей нет — почему?<sup>11</sup>

Жду от Вас в пятницу известий, глубоко кланяюсь Сераф(име) Павловне, как-то Вам живется, слухи вообще доходят нехорошие.

Кн(язь) обез(ьяний) М. Пришвин.

<sup>1</sup> Сверху синим карандашом рукой Ремизова помета: «1/2 2 д(ня—?) 10 I».

<sup>2</sup> Пять слов стерто.

<sup>3</sup> Одно слово стерто.

<sup>4</sup> Слова, выделенные нами курсивом, подчеркнуты Ремизовым синим карандашом.

<sup>5</sup> Обезьяньи знаки, в сущности, знаки «отличия», как и обезьяньи грамоты, являлись важными элементами символики и эстетики созданного Ремизовым тайного общества Обезвелволпал (см. прим. 1 к п. 15). В соответствии с принятой в обществе номенклатурой (князя, кавалеры и другие звания) Ремизов награждал ими членов Обезвелволпала, отмечая тем самым индивидуальность каждого участника этой жизнетворческой игры. Кроме того, обезьяньи знак, по-видимому, выполнял функцию амулета либо талисмана, поскольку был выдержан в единой системе символов и обычно представлял собой небольшой рисунок с изображением мифологического существа. Необходимой деталью знака была обрамляющая рисунок надпись с определением «достоинства» награды, нередко глаголическая, что подчеркивало сакральность этого документа. Под рисунком всегда ставились подписи Ремизова — глаголическая литера. О природе обезьяньих наград Ремизов писал: «Именины, рождение, Пасха, Рождество или юбилей, или свадьба, или кто мне добро сделал, и хочется как выразить человеку — со всякими завитками я писал „обезьяньи грамоты“: жалованье обезьяньего царя о возведении в кавалеры обезьяньего знака, украшенного виноградом, турецкими бобами, лисьим хвостом, египетской пирамидой, все по человеку, и разрисовывал обезьянью печать, и каждый раз по-другому» (Ремизов А. Пляшущий демон. Париж, 1949. С. 57—58). Например, Блок был обладателем обезьяньего знака «1 степени с защитным глазом» (опубл.: Лит. наследство. 1981. Т. 92. Кн. 2. С. 115). Как князь и кавалер Обезьяньей Великой и Вольной палаты, Пришвин, вероятно, также имел свой знак; однако его местонахождение нам неизвестно.

<sup>6</sup> Успенский Михаил Иванович (1866 — ?) — ученый-археолог.

<sup>7</sup> Руч Сергей Георгиевич — лексикограф, автор-составитель «Орфографического словаря с обозначением ударений и указанием корней слов русского происхождения» (СПб., 1900), а также учебников русского языка. В дневнике Пришвина назван «музыкантом» (см.: Дневник. 1994. С. 13, 53—54). В статье, напечатанной в «Воле народа», в списке арестованных 2 января названа должность Руча на тот момент — начальник управления сберегательных касс (см.: В пересыльной тюрьме // Воля народа. 1918. 17 янв. № 12. С. 1). Судя по воспоминаниям его «сокамерника» С. Б. Фрида, Руч обладал живым, общительным характером и нередко скрашивал своими увлекательными рассказами томительные дни заключения: «Понемногу становится оживленнее, и наш литературный митинг уже похож на флорентийский вечерок, на пир во время чумы. Руч вливает в обмен мнений немного мистики, он вспоминает о вечерах, проведенных им в обществе Александра Михайловича Добролюбова, не критика До-

бродяжничества, а — известного декадента, впоследствии сектанта. Добролюбов в характеристике Руча рисует нам человеком толка Достоевского, в действиях Добролюбова много от Николая Ставрогина. Добролюбов жил в комнате, задрапированной черным, причем формой своей комната напоминала гроб. У одной из стен помещался иконостас. Руч долго беседовал с Добролюбовым о мистике, о Боге, о тайнах неба (...) и т. д.» (Фрида С. Записки «рецидивиста» (Из Пересыльной тюрьмы). С. 2).

<sup>8</sup> См. прим. 1 к п. 15. Ср. также в «Записках „рецидивиста“» С. Фрида: «(...) кучка невольников, сгрудившись за столом, начинает понемногу освобождаться от кошмара событий дня и беседует уже на отвлеченные темы. Говорят о Станиславском, о „Моцарте и Сальери“, об искусстве вообще, М. Пришвин передает личные впечатления от встреч с Мережковским, Гиппиус» (Там же).

<sup>9</sup> Редакция меньшевистской газеты «День» была арестована большевиками 2 января, как и редакция «Воли народа».

<sup>10</sup> См. прим. 18 к п. 25; прим. 4 к п. 27.

<sup>11</sup> В связи с выходом в самом конце 1917 года «Декрета о государственной монополии на издания всех русских классиков», ущемлявшего авторские права писателей, в газете «Новый вечерний час» начала публиковаться специальная рубрика «Опрос писателей», в которой ведущим литераторам была предоставлена возможность высказаться на эту тему. На предложение газеты отозвались В. Немирович-Данченко, Тэффи, Ан. Чеботаревская, А. Куприн, А. Амфитеатров (см.: Новый вечерний час. 1918. 2 янв. № 1. С. 4; 4 янв. № 3. С. 3; 5 янв. № 4. С. 4). Свои статьи приготовили Ремизов и Пришвин. Об этом Ремизов сообщил 1 января 1918 года Ф. Сологубу: «Звонил Пильский написать ему для В(ечернего) Ч(аса) о декрете, уничтож(ающем) авторс(кое) право (Пильский сказал мне, что с Вами разговаривал о этой анкете. Я написал, написал и сосед наш Пришвин. Завтра 1/2 9<sup>го</sup> утра придет Пильский ко Пришвину за рукописями (...))» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 3. Ед. хр. 580. Л. 24). В своем дневнике Ремизов в тот же день записал: «Русская литература всегда стояла на стороне угнетенных и по заветам ее никогда не может стать в ряды торжествующей обезьяны» (Ремизов А. Дневник 1917—1921. С. 472). Статья Пришвина была напечатана в «Новом вечернем часе» 5 января (1918. № 4. С. 4), а ремизовский ответ на анкету так и не увидел свет. Его наборная рукопись хранится в архиве писателя (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 40). Причины, по которым ответ Ремизова так и остался неопубликованным, кроются, возможно, в самом тексте. Начинающийся словами «Вонючая торжествующая обезьяна...», ремизовский ответ по своему характеру был приближен к обличительной речи, а по политической ориентации — сугубо антибольшевистским, что, в принципе, не противоречило взглядам редакции «Нового вечернего часа». Но содержание этого текста было гораздо шире задуманной темы и разрасталось до панорамного изображения событий и явлений жизни революционных лет (см. подробнее: *Обатнина Е.* «Вонючая торжествующая обезьяна» А. Ремизова // Новое литературное обозрение. 1995. № 11. С. 142—153). Добавим, что сама тема этого ремизовского выступления и интерпретация образа обезьяны, несомненно, возникли в духовной атмосфере газеты «Воля народа» и ее литературного приложения «Россия в слове», что подтверждается сопоставительным анализом рукописи Ремизова и публикаций Пришвина, В. Пяста, И. Соколова-Микитова и Вяч. Шишкова.

27

(1918)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович!

Досылаю вам до 250 — деньги: пятьдесят рублей. Номер «Воля Народа» выйдет самое позднее во вторник,<sup>2</sup> самое позднее нужно сдать в субботу рукопись.<sup>3</sup> Если желаете мою прочесть<sup>4</sup> — известите посредством Ивана Сергеевича,<sup>5</sup> если не действует телефон.

Подумайте о том, чтобы после моего отъезда взять на себя редакторство России в слове.<sup>6</sup>

М. Пришвин

<sup>1</sup> Под текстом письма имеется дата, проставленная карандашом, возможно, рукой Ремизова: «26 / 13 III». Судя по содержанию, письмо было написано во второй половине февраля (по ст. ст.) — в самом начале марта (по н. ст.) 1918 года, т. е., по крайней мере, на неделю раньше обозначенной даты.

<sup>2</sup> «Воля народа», переименованная с января 1918 года в «Волю страны», уже в феврале выходила крайне нерегулярно в связи с политическими и экономическими трудностями. Так,



№ 16 датирован 3(16) февраля (суббота), а следующий за ним (в подшивке из собрания газет РНБ) № 17 вышел только 19(6) февраля (марта), во вторник. Вероятно, именно о нем (№ 17) и идет речь в данном письме.

<sup>3</sup> Атрибутировать эту рукопись не представляется возможным, так как в предполагаемый нами временной отрезок (февраль — начало марта 1918 года), к которому относится это письмо, произведения Ремизова в газете «Воля народа» не публиковались. Но обращает на себя внимание объявление, напечатанное 30 января 1918 года в «Воле страны»: «В ближайшее время будут помещены рассказы М. М. Исаева „Курд Ибрагим“, М. М. Пришвина „Голубое знамя“, А. М. Ремизова „Кому нести наказание“ (Курсив мой. — Е. О.). Вследствие технических затруднений в ближайшее время литературное приложение „Россия в Слове“ выходить не может. Соответствующий литературный материал под редакцией М. М. Пришвина будет распределен в текущих номерах» (№ 13. С. 1). Произведение Ремизова под таким названием не появилось ни в «Воле народа», ни в других известных нам периодических изданиях. Впрочем, не исключено, что в анонсе приведено первоначальное название вскоре опубликованного «Слова к матери-земли» (Воля страны. 1918. 3(16) февр. № 16. С. 2). В газете «Воля народа» («Воля страны») Ремизов печатался всего четыре раза. В воскресном номере от 28 января 1918 года была опубликована сказка «Заяц благодетель» (№ 12. С. 2), которая впоследствии вошла в книгу сказок «Е. Тибетский сказ» (Берлин, 1922). Затем, в предпоследнем номере «Воли страны» появилось «Слово к матери-земли» (1918. 3(16) февр. С. 2). Весной того же года в литературном отделе (который назывался «Россия в слове») возобновленной в виде еженедельника «Воли народа» были напечатаны «Заповедное слово русскому народу» (1918. 12 апр. № 1. С. 17—19) и «Письмо запечатленное. Судьба Петрова» (1918. 28 апр. № 3. С. 13—14). Последнее произведение, возможно, было анонсировано еще 30 декабря 1917 года в «Воле народа» и предназначалось для новогоднего выпуска литературного приложения «Россия в слове» (см. прим. 6 к наст. п.). Другие четыре публикации были осуществлены в литературном приложении «Россия в слове». Ввиду отсутствия указаний на день выхода в заголовках номеров приложения, их датировка весьма затруднительна и выясняется только путем сопоставления содержания «России в слове» с теми анонсами, которые помещались на страницах «Воли народа». В первом выпуске «России в слове» было напечатано знаменитое «Слово о погибели земли русской» Ремизова; фактический выход этого номера исследователи по одной версии относят к 29 октября 1917 года (см.: *Иезуитова Л. А.* Указ. соч. С. 79), по другой — к 28 ноября 1917 года (см.: *Субботин С. И.* К атрибуции псевдонимных сочинений из «Простой газеты» // *Русская литература.* 1992. № 1. С. 211). Подробно изучив подборку «Воли народа» в газетном фонде РНБ, где все три выпуска «России в слове» расположены в конце подшивки за 1917 год, мы считаем, что, с меньшей вероятностью, первый выпуск приложения действительно вышел 28 ноября, если опираться на анонс в «Воле народа», на тот момент переименованной в «Волю вольную» (Воля вольная. 1917. 26 нояб. № 1. С. 1), а также на статью Пришвина «В защиту слова» (Там же. С. 1). При этом нужно учесть, что положение газеты с 26-го по 30 ноября было чрезвычайно шатким из-за преследований большевиков. Но с большей вероятностью можно сказать, что первый выпуск «России в слове» увидел свет 1 декабря, так как 12 декабря в «Воле народа» было дано объявление о подписке на газету, в котором сообщалось, что литературное приложение «Россия в слове» выходит с 1 декабря 1917 года (№ 191. С. 1). Во втором выпуске «России в слове» была опубликована еще одна сказка Ремизова под названием «Что нам за наш грех выйдет? Николина притча», впоследствии включенная в книгу «Николины притчи» (Пг., 1917) под названием «Никола — Судия» (С. 69—73). Дату выхода в свет этого выпуска проясняет объявление, уведомляющее читателей «Воли народа» о том, что № 196 от 17 декабря сопровождается литературным приложением (см.: Воля народа. 1917. 17 дек. № 196. С. 1). В третьем и последнем выпуске «России в слове» напечатаны сразу две вещи Ремизова: «Из зашпной книжки о разных зайцах ребятишкам на елку. Сказка тибетская» (см. также: Ремизов А. Е. Тибетский сказ) и рассказ «Ошибки», подписанный псевдонимом Ольга Ильменева (см.: Ремизов А. В поле блажитном. Берлин, 1922; Ремизов А. Оля. Париж, 1927). На единственный случай употребления псевдонима Ольга Ильменева, восходящего к имени героини указанных книг Ремизова, прототипом которой была С. П. Ремизова-Довгелло, — обратил внимание в своей статье С. И. Субботин (см.: *Субботин С. И.* Указ. соч. С. 211). Третий выпуск «России в слове», по-видимому, вышел в свет 24 декабря 1917 года (см. уведомление о приложении: Воля народа. 1917. 24 дек. № 202. С. 1).

<sup>4</sup> Возможно, рассказ Пришвина «Голубое знамя», который первоначально предполагалось поместить в новогоднем выпуске «России в слове» (см. прим. 6 к наст. п., а также прим. 18 к п. 25). Наборная рукопись «Голубого знамени»; хранящаяся в ИРЛИ (Р. I. Оп. 25. Ед. хр. 346), несомненно, была просмотрена Ремизовым, так как на первом и последнем листах имеется его правка красными чернилами, в частности, зачеркнута фраза Пришвина: «Рассказ Михаила Пришвина»; сверху, над текстом, обозначено: «Михаил Пришвин»; поставлена цифра первой части: «I»; в конце, под текстом, написано: «Михаил Пришвин».

<sup>5</sup> Соколов-Микитов Иван Сергеевич (1892—1975) — писатель, печатался в «Воле народа» и приложении «Россия в слове» (см. прим. 6 к наст. п.); в конце 1917 — начале 1918 года вместе с Ремизовым публиковал под псевдонимами политические сказки в езеровской «Простой га-

зете» (см.: *Субботин С. И.* Указ. соч. С. 205 — 215). В 1917 году вошел в ближайшее окружение Ремизова (см. упоминание о нем в книге Ремизова «Взвихренная Русь», а также письма Соколова-Микитова к Ремизову (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 3. Ед. хр. 195)).

<sup>6</sup> «Россия в слове» — литературное приложение к газете «Воля народа», редактором которого был Пришвин. Это издание существовало недолго: в течение декабря 1917 года вышло лишь три выпуска (о датах выхода в свет см. прим. 3 к наст. п.). Замысел «России в слове» возник в октябре, тогда же в «Воле народа» было опубликовано объявление: «С воскресенья, 29-го октября, при нашей газете будет выходить литературное приложение РОССИЯ В СЛОВЕ под редакцией М. М. Пришвина, с участием Е. В. Аничкова, Ю. К. Балтрушайтиса, К. Д. Бальмонта, Ю. Н. Верховского, Вяч. Иванова, М. М. Исаева, А. М. Ремизова, Ивана Соколова-Микитова, В. Я. Шишкова, гр. А. Н. Толстого и др.» (Воля народа. 1917. 26 окт. № 154. С. 1). Тем не менее, издание приложения было сопряжено с большими трудностями, о которых Пришвин писал месяц спустя в статье «В защиту слова»: «(...) вот уже месяц я хожу ежедневно в редакцию „Воля Народа“ с целью выпустить в свет редактируемое мной литературное приложение „Россия в Слове“ — давно собран превосходный материал, набрано, сверстано, исправлено все, а пустить в печать не могу: то сумятица в редакции по случаю ареста редактора, и мне говорят, что „не до литературы теперь“, то явились ночью в типографию красновардейцы, расплавили стереотипы и газета вовсе не вышла, то не выпустят потому, что вперед надо объявить, но как можно теперь что-нибудь объявить?» (Пришвин М. В защиту слова. С. 1). Эта статья была напечатана на одной странице с новым анонсом литературного приложения: «Во вторник, 28 ноября, при нашей газете будет дано литературное приложение „Россия в слове“, под редакцией М. Пришвина. Содержание: Стихотворения — Соловьиный сад А. Блока, \*.\* Ю. Верховского, В казарме В. Пяста, К морю (из Верхарна) Вл. Чернова; рассказы: Крест белый, из тополя срубленный М. Исаева, Слово о гибели русской земли Алексея Ремизова; статьи: Искусство в армии П. П. Гайдебурова, Руки (О Родэне) А. К.» (Воля вольная. 1917. 26 нояб. № 1. С. 1). О содержании второго выпуска «России в слове» было объявлено в «Воле народа» 12 декабря 1917 года, хотя вышел он, вероятно, только 17 декабря (см. прим. 3 к наст. п.): «В четверг, 14 Декабря, при газете „Воля Народа“ будет дано литературное приложение „Россия в Слове“ под редакцией М. М. Пришвина. Содержание: Стихотворения: Георгия Маслова, В. Пяста. Рассказы: „Медведь“ В. Шишкова, „Что нам за наш грех будет“ (Так. — Е. О.) Алексея Ремизова, „Мать-Земля“ Михаила Пришвина, „Степка“ Соколова-Микитова. Статьи: „Записки врача“ Петра Венда, „Искусство в армии“ П. Гайдебурова. Библиография: (Воля народа. 12 дек. № 191. С. 1). Содержание третьего выпуска было сообщено 23 декабря: «О детях и детям. От редакции. Стихотворения Александра Блока (I. Тишина в лесу после ночной метели; II. Сочельник в лесу. — Е. О.), „Ребятишкам на елку“ Алексея Ремизова (см. прим. 3 к наст. п.), „Жукушкины дети“ Шишкова, „Про зверя ужасного вида“ Михаила Пришвина, „Ошибки“ Ольги Ильменской (Так. — Е. О.; см. прим. 3 к наст. п.), „Прощай, родина“ Петра Венда, „Легенда“ Михаила Исаева» (Воля народа. 1917. 23 дек. № 201. С. 1). В редакционном портфеле Пришвина имелся и подготовленный к печати новогодний выпуск «России в слове», которому так и не суждено было увидеть свет; его содержание было опубликовано накануне: «В новогоднем литературном приложении „Россия в Слове“ будет напечатано: „О критике“, \*.\* „Голубое знамя“ рассказ Михаила Пришвина, „Россия в письмах“ (Так. — Е. О.) Алексея Ремизова (см. прим. 3 к наст. п.), „Курд Ибрагим“ рассказ Михаила Исаева, стихи Юрия Верховского (см. прим. 9 к п. 25), „О Леониде Семенове“ (см. прим. 9 к п. 25), стихи М. Пришвина и В. Пяста» (Воля народа. 1917. 30 дек. № 205. С. 1). Еще в первых числах января 1918 года Пришвин надеялся наладить издание «России в слове», об этом он писал в дневнике: «2-го числа Нового Года трамваи не ходили, я колебался, идти мне в редакцию хлопотать о выпуске Литературного приложения к „Воле Народа“ или махнуть рукой: кому теперь нужно литературное приложение!» (Дневник. 1994. С. 7). Даже последовавший в тот же день арест в составе редакции «Воли народа» не смог окончательно разрушить планы Пришвина. Не случайно, в конце января «Воля народа», переименованная в «Волю страны», все еще помещала объявления о литературном приложении, состав участников которого несколько отличался от первоначального: «С 1 декабря 1917 г. при газете выходит еженедельное приложение „Россия в Слове“, под редакцией М. М. Пришвина, с участием А. Блока, А. М. Ремизова, В. Я. Шишкова, И. С. Соколова-Микитова, В. Пяста, М. М. Исаева, Георгия Маслова, А. А. Ахматовой, Ю. Н. Верховского, Д. А. Крючкова, Е. Г. Лундберга, М. М. Пришвина, Е. В. Аничкова и др.» (Воля страны. 1918. 20 янв. № 5. С. 1). Наконец, 30 января 1918 года редакция «Воли страны» напечатала объявление, в котором официально оповещала о прекращении «России в слове» «вследствие технических затруднений» (Воля страны. 1918. 30 янв. № 13. С. 1; см. также прим. 3 к наст. п.). В апреле «Россия в слове» возобновилась на страницах еженедельника «Воля народа» как литературный отдел и просуществовала до 19 мая, т. е. до закрытия и этого издания. Естественно, что Ремизов, единомышленник Пришвина и постоянный автор «России в слове», был тем, кому бы тот мог доверить редактирование своего «детства» на время весеннего отъезда к родным в Хрущево. Из дневника Пришвина следу-

ет, что 13 апреля он выехал из Петрограда (см.: Дневник. 1994. С. 62), однако сведениями о передаче полномочий редактора «России в слове» Ремизову мы не располагаем.

28

(конец июня 1918 года)<sup>1</sup>

Дорогой Алексей Михайлович, жить (...) <sup>2</sup> стало совершенно в моем родном углу, а потому я перебрался в Москву.

Думаю, что наступает время и Вам сюда перебраться — здесь все-таки жить еще можно. На эту тему разговариваем с Гершензоном,<sup>3</sup> и он то же думает: пора перебираться, вернее, подготавливаться к этому.

В Раннем Утре<sup>4</sup> случайно слышал какой-то разговор о Вас: там очень обиделись, что Вы им в денежных делах не доверяете.<sup>5</sup> Я вмешался в разговор и просил их послать к Вам Кугеля<sup>6</sup> для мирных переговоров — в чем дело, не могу ли я чем Вам помочь?

Мне бы хотелось завязать отношения с газетой Утро России,<sup>7</sup> нет ли у Вас там связей?

Еще вот что прошу: наведайтесь в мою квартиру, цело ли там все мое добро и существует ли племянница моя София Васильевна.<sup>8</sup> Она писала мне, что хочет покончить с собой из-за голода, я ей послал уже месяц тому назад записку к Кугелю на получение 200 р(ублей), но с тех пор писем от нее не имею. Не думаю, чтобы из-за голода она могла что проделать: с ней мать и брат, и не такого склада девица. Но все-таки надо же знать, в чем тут дело — узнайте и напишите.

Шестов<sup>9</sup> неделю тому назад уехал в Киев, Бунин — в Одессу<sup>10</sup> — многие уезжают на Украину. Сераф(има) Павл(овна) — тоже украинка,<sup>11</sup> Вы как? Но по-моему в Москве жить можно хорошо и печататься тут есть где, множество мест. Кроме того, Ал. Толстой, говорят, тут всем кинематографом заведует,<sup>12</sup> всех заставляет писать сценарии и платит деньги — тоже хлеб.

На первых порах можно поселиться в комнате где-нибудь, или в временно покинутой квартире. Если решите — я начну подыскивать.<sup>13</sup>

Кланяюсь низко Серафиме Павловне.

Ваш М. Пришвин.

Москва. Пречистенка. Нащокинский пер. д. 6, кв. 16 Левину<sup>14</sup> для меня.

<sup>1</sup> Датируется по содержанию.

<sup>2</sup> Зачеркнуто одно слово.

<sup>3</sup> М. О. Гершензон.

<sup>4</sup> «Раннее утро» — московская политическая, общественная и литературная газета. Возникла в 1907 году. Редакторы: Н. П. Прединский, Н. Л. Козецкий. Издатель: И. Д. Сытин. Закрыта 26 октября 1918 года Московским военно-революционным комитетом. В мае—июне 1918 года Пришвин напечатал в этой газете цикл очерков под общим названием «От земли и городов».

<sup>5</sup> Весной 1918 года Ремизов опубликовал в московской газете «Раннее утро» «Заповедное слово русскому народу», несколькими днями раньше напечатанное в петроградской «Воле страны», (Раннее утро. 1918. 16 апр. № 65. С. 1; см. также прим. 3 к п. 27) и произведение под названием «Россия в письмах. Откуда и как пошло. Письмо начальное» (1918. 26 мая. № 95. С. 1). См.: *Lamp H. Bemerkungen und Ergänzungen zur Bibliographie A. M. Remizovs* (Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov, Établie par Hélène Sinany. Paris, 1978) // *Wiener Slavistischer Almanach*. 1978. Bd. 2. S. 316.

<sup>6</sup> Кугель Александр Рафаилович (1864—1928) — публицист, драматург, театральный критик, сотрудник журнала «Театр и искусство», печатался под псевдонимами Н. Негорев, Номо повус. Руководитель театра «Кривое зеркало» (1908—1928). В январе—мае 1918 года редактировал газету «Новый вечерний час».

<sup>7</sup> «Утро России» — московская общественная, политическая и литературная газета; выходила в 1907 году, а затем с 1909-го по 1918 год. Редакторы: И. Ф. Родионов, В. К. Садков. Издатель (в 1917—1918 годах): П. П. Рябушинский. Закрыта 26 октября 1918 года Московским военно-революционным комитетом. В 1907—1910 годах Ремизов опубликовал в этой газете

шесть произведений: (см.: *Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov / Ét. par Hélène Sinany. Paris, 1978. P. 120—121*).

<sup>8</sup> Ефимова Софья Васильевна — сестра И. В. Ефимова, соседа Пришвина по петроградской квартире. Пришвин с заботой относился к этой девушке, называл ее ласковым прозвищем Козочка. На реальном разговоре с ней построен очерк «Подзаборная молитва» (Воля народа. 1917. 12 нояб. № 170. С. 2; ср. также: *Дневники. 1991. С. 387*).

<sup>9</sup> Л. И. Шестов покинул Москву и переехал в Киев 5 июля 1918 года (см.: *Баранова-Шестова Н. Жизнь Льва Шестова. Paris, 1983. Т. I. С. 159*).

<sup>10</sup> И. А. Бунин с семьей уехал из Москвы в двадцатых числах мая 1918 года.

<sup>11</sup> С. П. Ремизова-Довгелло происходила из старинного литовского рода, родилась в Чернигове, детство провела в Берестовце. Ремизовы часто посещали Берестовец, где в семье родственников Серафимы Павловны воспитывалась их дочь Наташа. О родословной С. П. Ремизовой-Довгелло см.: *Ремизов А. В розовом блеске. С. 713—724*.

<sup>12</sup> В неопубликованной хронике жизни и творчества А. Н. Толстого, составленной Ю. А. Крестинским (ИМЛИ. Ф. 43), имеются сведения о письме В. Брюсова к Толстому от 22 июля 1918 года с приглашением принять участие в Кинематографическом комитете Наркомпроса (см. об этом: *Хайлов А. И. А. Н. Толстой и В. Я. Брюсов. К истории литературных отношений // А. Н. Толстой: Материалы и исследования. М., 1985. С. 209*).

<sup>13</sup> Насколько нам известно, переезд в Москву Ремизовы не планировали.

<sup>14</sup> Левин Исаак Ильич — экономист, сотрудник «Русской мысли» и «Русских ведомостей».

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЛАГИАТОР ЛИ А. РЕМИЗОВ?

(Письмо в редакцию)

М. Г., г. Редактор!

В интересах литературной этики не откажите напечатать это письмо. В № 11160 «Бирж. Вед.» помещена статья «Писатель или списыватель?», называющая писателя А. Ремизова вором, экспроприатором и др. именами.<sup>1</sup> Для доказательства приводятся тексты сказок «Мышонок» и «Небо пало» в рассказе народном и г. Ремизова.<sup>2</sup>

Эти сказки взяты из записок Импер. русск. геогр. общества в собирании которых принимал участие и я,<sup>3</sup> почему и позволяю себе сказать несколько слов, насколько основательны утверждения, что сказки, написанные г. Ремизовым, представляют из себя копию с собранных нами сказок.

Иллюзия тождества достигается автором заметки просто: он выпускает то, что добавлено г. Ремизовым. От этого не только рядовой читатель обманывается, но и крупные газеты («Голос Москвы»,<sup>4</sup> «Русское Слово»<sup>5</sup>) перепечатывают заметку.

Можно двумя способами сделать худож. пересказ произведений народной поэзии: 1) развитием подробностей (амплификация), 2) прибавлением к тексту. Работа художника может состоять в прибавлении только одной мастерской черты, в развитии одной подробности. Вот эти-то мастерские штрихи умышленно и опускаются в названной заметке.

Для примера я приведу то, что пропустил, напр., автор заметки в «Мышонке»: «Жил-был старик со старухой, и такие богомольные, что не только ни одной службы не пропускали, а другой раз и нет ничего, а пойдут, хоть так потолкаться около церкви. И все старики и старухи почитали и всякому в пример их ставили. Вышли они раз от обедни — дело было в престольный праздник — и идут себе домой к пирогу посидеть, старуха-то эта, старикова жена, такие пироги пекла — оближешься...»<sup>6</sup>

Вот это-то указание на то, что старик и старуха были богомольные, и превращает сказку из этнографического материала в художественно-законченное произведение, восстанавливает ее подлинный смысл.

Критиковать г. Ремизова очень трудно. Работая над воссозданием народных

мифов и легенд, он оперирует с большим научным багажом. По литературной традиции, начиная от Пушкина, народная поэзия используется у нас без ссылок на источники. А. Ремизов первый ввел у нас примечания.<sup>7</sup> Мы все, следящие за его деятельностью, знаем, что примечания он пишет чуть не под каждым словом, и не только в таких журналах, как «Русск. Мысль»,<sup>8</sup> а даже в маленьких: «Журнал для Всех»<sup>9</sup> и «Всемир. Панорама».<sup>10</sup>

Пишет он эти ссылки, пользуясь заветом средневековых художников: не таить в себе мастерства, облегчать другим трудный путь. Кого же «экспроприировал» А. Ремизов, кто «пал его жертвой»?

«Мышонок», напр., записан мной, пишушим это письмо, «Небо пало» — Н. Е. Ончуковым.<sup>11</sup> Пользуясь указаниями акад. Шахматова беречь при записях народные слова, я часто упускал целое сказок за частностями. Своей обработкой А. Ремизов часто воссоздавал мне не только смысл сказки, но и образы, и быт рассказчиков.

Таким образом, я, как собиратель, не могу считать себя «экспроприированным», и читатели, если слышат подлинные тексты народных сказок и сказок г. Ремизова, не найдут тождества.

Автор «Лимонаря»<sup>12</sup> и «Посолони»<sup>13</sup> не нуждается в моей защите. Если я позволяю себе выступить с настоящим письмом, то делаю это для того, чтобы восстановить истину перед широкой публикой, для которой, как я знаю, наш специальный сборник неизвестен.

Примите и проч.

Член Импер. геогр. общ. М. Пришвин.

(Слово. 1909. 21 июня (4 июля). № 833. С. 5)

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

М. Г. г. редактор. Покорно прошу, не откажите напечатать следующее мое разъяснение в ответ на обвинение меня в плагиате, появившееся в вечернем выпуске *Биржевых Ведомостей* от 16 июня 1909, № 11160 и затем частью перепечатанное, частью стилизованное, частью на все лады пересказанное другими газетами: *Новым Временем*,<sup>14</sup> *Петербургской Газетой*,<sup>15</sup> *Русским Словом*,<sup>16</sup> *Голосом Москвы*,<sup>17</sup> *Ранним Утром*<sup>18</sup> и многими провинциальными.<sup>19</sup> До сего времени я не имел возможности сделать этого разъяснения отчасти по причине чисто личного характера, отчасти потому, что, летние месяцы проводя далеко от центров, в деревне, я волей-неволей очутился в стороне от всяких интересов и жизни литературно-газетного круга.<sup>20</sup>

В целях разъяснения вынужден коснуться некоторых задач и приемов моего творчества. Работая над материалом, я ставил себе задачей воссоздать народный миф, обломки которого узнавал в сохранившихся обрядах, играх, колядках, суевериях, приметах, пословицах, загадках, заговорах и апокрифах. Так вышли две мои книги: «Посолонь» (изд. *Золотое Руно* (М. 1907)) и «Лимонарь» (изд. «Оры». СПб. 1907), так выходит собирающаяся книга «К Морю-Океану»,<sup>21</sup> отдельные главы которой появлялись в периодических изданиях («Верба»<sup>22</sup> и «Ночь у Вия»<sup>23</sup> в *Русской Мысли*, «Каменная баба» — в *Северном Сиянии*,<sup>24</sup> «Ховала» и «Белун» — в *Золотом Руно*<sup>25</sup> и т. д.). Кроме воссоздания народного мифа, — этой первой и главной задачи моего творчества — мне представлялась и другая, когда материал приобретал для меня значение самого по себе: я пытался дать художественный пересказ, укажу на появившиеся в печати сказки: «Ослиные уши»,<sup>26</sup> «Мышонок»,<sup>27</sup> «Мужик-медведь»,<sup>28</sup> «Чудесные башмачки»,<sup>29</sup> «Собачий хвост»,<sup>30</sup> «Лев-зверь»,<sup>31</sup> «Небо пало».<sup>32</sup>

Различные задачи при обработке материала само собой вызвали различные приемы. В первом случае, — при воссоздании народного мифа, когда материалом может стать потерявший всякий смысл, но все еще обращающееся в народе, просто-напросто, какое-нибудь одно имя — «Кострома», «Калечина-Малечина», «Спорыш», «Мара-Марена», «Летавица» или какой-нибудь обычай вроде «Девятой пятницы», «Троецыпленицы»,<sup>33</sup> — все сводится к разнообразному сопоставлению известных, связанных с данным именем или обычаем фактов и к сравнительному изучению сходных у других народов, чтобы в конце-концов проникнуть от бесмысленного и загадочного в имени или обычае к его душе и жизни, которую и требуется изобразить. Во втором случае, — при художественном пересказе, когда по сличению всех имеющихся налицо вариантов какой-нибудь народной сказки материалом является облюбованный, строгоограниченный текст, — все сводится к самой широкой амплификации, т. е. к развитию в избранном тексте подробностей или к дополнению к этому тексту, чтобы в конце-концов дать сказку в ее возможно идеальном виде. Что и как прибавить или развить и в какой мере дословно сохранить облюбованный текст, — в этом вся хитрость и мастерство художника. Насколько удалось мне выполнить поставленные мною задачи, предоставляю судить мастерам.

В целях же разъяснения вынужден сказать несколько слов и о том особенном значении, которое я придаю примечаниям, снабжая ими отдельные мои произведения и мои книги.<sup>34</sup> Надо заметить, что в русской изящной литературе, при допущении самого широкого пользования текстами народного творчества, существует традиция, не обязывающая делать ссылки на источники и указывать материалы, послужившие основанием для произведения. Для примера укажу, начав с верхов нашей литературы, хотя бы на Гоголя, у которого, как известно, наиболее яркие лирические места в «Тарасе Бульбе» состоят из переложения народной песни — малорусской думы — и однако без всяких ссылок на какую-нибудь песню (см. сочинения Н. С. Тихонравова, т. 3-й, ч. 2-я);<sup>35</sup> далее, замечательные легенды и сказания Лескова, как известно, основаны на прологах и однако без всякой ссылки на какой-нибудь пролог; наконец, совсем уже на скромном конце литературы популярны сказки Авенариуса<sup>36</sup> суть бесхитростные переложения народных сказок и однако без всякого указания, что сказки — народные. Такова традиция. И лишь историки литературы показывают нам, как и над чем работал тот или иной писатель, произведения которого стали классическими, а имя — именем России.

Ставя своей задачей воссоздание нашего народного мифа, выполнить которую в состоянии лишь коллективное преемственное творчество не одного, а ряда поколений, я, кладя мой, может быть, один единственный камень для создания будущего большого произведения, которое даст целое царство народного мифа, считаю моим долгом, не держась традиции нашей литературы, вводить примечания и раскрывать в них ход моей работы. Может быть, равный или те, кто сильнее и одареннее меня, пытая и пользуясь моими указаниями, уже с меньшей тратой сил принесут и не один, а десять камней и положат их выше моего и ближе к венцу. Только так, коллективным преемственным творчеством создастся произведение, как создавались мировые великие храмы, мировые великие картины, как написались бессмертная «Божественная комедия» и «Фауст».

Указанием на прием и материал работы, — что достижимо до некоторой степени примечаниями в изящной литературе, а среди художников — раскрытием дверей в мастерские и посвящением, — может открыться выход к плодотворной значительной работе из одичалого и мучительно-одинокого творчества, пробавляющегося без истории, как попало, своими средствами из себя, а попросту из ничего, и в результате — впустую.

Как сказано, из моего опыта применения описанного выше приема художественного пересказа я отдал в печать несколько сказок и, следуя своему правилу, приложил к сказкам примечания: или в виде ссылок на материал, — такое приме-

чание имеется к «Ослиным ушам» (*Нов(ый) Журн(ал) для Всех*, № 3, январь 1909),<sup>37</sup> — или, ставя подзаголовок «Народная сказка», такой подзаголовок имеется к «Чудесным башмачкам» (*Слово*, № 751, 29 марта 1909), к «Собачьему хвосту» (*Всемирная Панорама*, № 2, 1 мая 1909) и «Льву-зверю» (*Журнал Копейка*, Спб, май 1909). Две же сказки, — «Мышонок» (сборник «Италии», изд. «Шиповник», Спб. 1909) и «Небо пало» (*Всемирная Панорама*, № 5, 1909), — появились в печати по совершенно случайной причине без всяких примечаний.<sup>38</sup>

Автор письма в редакцию *Биржевых Ведомостей*, добросовестно выписав текст из этих сказок, совпадающий с текстом народных сказок, из которых одна записана М. М. Пришвиным от старухи Марьи Петровны в деревне Корельские Острова Олонецкой губ., а другая — Н. Е. Ончуковым от неизвестной старухи в Шуньге Олонецкой губ. (сборник Н. Е. Ончукова «Северные сказки» — Записки Имп. геогр. общ. по отделу этнографии, т. XXXIII, Спб., 1908),<sup>39</sup> и опустив в «Мышонке» мне принадлежащую характеристику действующих в сказке старика и старухи,<sup>40</sup> а в «Небо пало» — мне принадлежащую сентенцию, — лисицину мудрость,<sup>41</sup> — именно как раз то, что составляло цель моего пересказа, вывел против меня обвинение в плагиате.

Автор письма в редакцию *Биржевых Ведомостей*, величая меня русским писателем, «успевшим составить себе имя»,<sup>42</sup> а стало быть, зная мои произведения, не мог не знать, какое важное место я отвожу в моих произведениях примечаниям, где наряду с объяснениями старо-русских, почерпнутых из памятников слов и коренных слов, употребляемых среди простого русского народа, и всяких неологизмов я ничуть не скрывал и тех источников и материалов, на которых основывался, а стало быть, не найдя к «Мышонку» и к «Небо пало» никаких примечаний и ссылок, он не имел никакого права заключать об умысле с моей стороны выдавать художественный пересказ очень известных народных сказок за мои собственные. Кроме того, автор письма в *Биржевые Ведомости*, взяв на себя право уличать в таком тяжком и позорном преступлении, каким является плагиат, уж, конечно, прежде всего должен быть осведомлен в истории русской изящной литературы, по традициям которой, повторяю, примечания при пользовании текстом народного творчества необязательны.

Что же касается намеков и утверждений, опорочивающих мое имя и позорящих мою честь, то я считаю невозможным для себя входить в какие-либо рассуждения и оставляю это на совести автора письма.

Примите уверения и проч.

*Алексей Ремизов.*

Москва, 29-го августа 1909 г.

(впервые: Русские ведомости. 1909. 6 сент. № 205. С. 5)

<sup>1</sup> Имеется в виду следующий пассаж из статьи Мих. Мирова «Писатель или списыватель?»: «Позвольте через посредство „Биржевых Ведомостей” рассказать читающей публике, как г. Ремизов экспроприрует (другого выражения не подберешь!) свою славу. Из прилагаемых документов вы убедитесь, что г. Ремизов не писатель, а списыватель» (*Биржевые ведомости*. 1909. 16 июня. № 11160. С. 5).

<sup>2</sup> См.: *Ремизов А. Мышонок. Сказка // Италия. Литературный сборник в пользу пострадавшим от землетрясения в Мессине*. Спб.: Шиповник, 1909. С. 151—152; *Ремизов А. Небо пало. Детская сказка // Всемирная панорама*. 1909. 22 мая. № 5. С. 7. Обе сказки впоследствии вошли в сборник «Докука и балагурье» (Спб., 1914. С. 220, 257).

<sup>3</sup> *Ончуков Н. Е. Северные сказки*. Спб., 1908 (Записки Императорского Русского Географического общества по Отделению этнографии. Т. XXXIII). В этом сборнике помещено тридцать семь сказок в записи Пришвина (С. 412—469; № 166—203). Сказка «Мышонок» является литературной обработкой народной сказки под тем же названием в записи Пришвина (№ 190); текст-источник сказки «Небо пало» — народная сказка в записи Н. Е. Ончукова (№ 216).

<sup>4</sup> В газете «Голос Москвы» была напечатана анонимная заметка «Вскрывшийся источник вдохновения Алексея Ремизова», в которой на основании статьи Мих. Мирова говорилось: «Для сборника „Италия” Алексей Ремизов принес в редакцию „Шиповник” „мышонка”, и

„Мышонок” этот, если называть вещи их настоящими именами, оказался краденым» (1909. 17 июня. № 137. С. 3).

<sup>5</sup> Подразумевается перепечатка из «Биржевых ведомостей» под названием «Плагиат Алексея Ремизова» (Русское слово. 1909. 17 июня. № 137. С. 4).

<sup>6</sup> Италии. С. 151.

<sup>7</sup> Идея подключить к своим художественным текстам справочный аппарат возникла у Ремизова в период, когда он готовил к печати первую книгу сказок «Посолонь» (СПб., 1907; вышла в декабре 1906 года). На эту мысль его натолкнул стихотворный сборник В. Брюсова «Stephanos» (М., 1906), последний раздел которого завершался авторским комментарием к стихотворениям. О своем намерении Ремизов сообщил Брюсову 25 ноября 1906 года: «В конце книги помещу примечание. (Беру за образец издание «Венка»). Боюсь своих несуразностей. Насколько могу, напишу строго» (Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым (1902—1912). С. 203). Этот замысел реализовался только во второй редакции «Посолони», вошедшей в Собрание сочинений Ремизова (СПб., [1912]. Т. 6. «Сказки»). Один из первых авторских комментариев встречается в журнале «Золотое руно», где были напечатаны сказки «Белун», «Нежить» и «Ховала» (1907. № 7—9. С. 73—75). Но эти примечания ограничивались пояснением народных слов, использованных в тексте. В книге же литературных обработок апокрифов «Лимонарь» (СПб., 1907) Ремизов расширил свои сугубо художественные задачи, снабдив все тексты подробными авторскими примечаниями, которые раскрывали не только смысл народных выражений, но суть и календарную последовательность некоторых обрядов и поверий, а также подкрепив свои пояснения указанием на научные этнографические источники, используемые им в работе над книгой. В периодической печати Ремизов использовал жанр примечаний достаточно формально: он взял за правило после названия ставить подзаголовок — «народная сказка», или «сказка, сказанная Алексеем Ремизовым», что должно было указывать на вторичность ремизовской обработки по отношению к фольклорному тексту-источнику; в редких случаях писатель помещал под публикацией примечание, в котором ссылался на издание, где была напечатана запись народной сказки. Например, в журнальной публикации сказки «Ослиные уши», являющейся переработкой народной сказки под тем же названием, записанной Пришвиным в Олоонецкой губернии, Ремизов указал: «Материалом послужили народные сказки из сб. Н. Е. Ончукова „Северные сказки”, изд. Имп. Русск. Геогр. Общ.» (Новый журнал для всех. 1909. № 3. С. 91).

<sup>8</sup> См., например, рассказ «Верба», опубликованный в журнале «Русская мысль» (1908. № 6. С. 191—192) и авторское примечание к нему: «Сказание о вербе основано на литовском предании о женщине по имени Блинда. В древней Литве верба считалась богиней чадородия, ей приносили молитвы и жертвы» (С. 191). Имеется в виду подзаголовок «Детская сказка».

<sup>9</sup> См. прим. 7.

<sup>10</sup> См. прим. 2.

<sup>11</sup> См. прим. 3.

<sup>12</sup> См. прим. 7.

<sup>13</sup> См. там же.

<sup>14</sup> Имеется в виду заметка, помещенная в рубрике «Среди газет и журналов», которая начинается словами: «„Модернисты” сделали крупный шаг в литературной технике (...)» (Новое время. 1909. 20 июня. № 11950. С. 3).

<sup>15</sup> Заметка, написанная в форме диалога, была напечатана в рубрике «Злободневные разговоры» и начиналась репликой: «— Веселенький скандалчик вышел с „известным” писателем из молодых Ал. Ремизовым...» (Петербургская газета. 1909. 18 июня. № 164. С. 3).

<sup>16</sup> См. прим. 5.

<sup>17</sup> См. прим. 4.

<sup>18</sup> Musca [Мускатблит Ф. Г.]. Две памяти // Раннее утро. 1909. 18 июня. № 138. С. 3.

<sup>19</sup> См., например, рубрику «Заметки» (Южный край (Харьков). 1909. 21 июня); заметку в рубрике «О том, о сем и о прочем» (Жало (Харьков). 1909. 5—10 июля. № 27); «Плагиат Алексея Ремизова» (Киевская мысль. 1909. 19 июня. № 167).

<sup>20</sup> Летнее путешествие Ремизова началось во второй половине июня: с 16-го по 23 июня он провел в Куоккале, затем с 24-го июня по 7 июля — поездка по Волге; с 9-го по 16 августа находился в имении Гриневич в Полтавской губернии; навестил родственников жены в Берестовце, и 21 августа прибыл в Москву, откуда 12 сентября вернулся в Петербург (см.: Ремизов А. М. Адреса его и маршруты поездок. Л. 14).

<sup>21</sup> О замысле отдельной книги под названием «К Морю-Океану» узнаем из анонса, помещенного в газете «Свободная мысль» (1908. № 52): «А. Ремизов уезжает на лето в Соловки. Наряду с изучением Беломорской старины писатель займется подготовкой к печати новой книги „К Морю-Океану”, которая явится продолжением „Посолони”. Книга выйдет осенью и будет заключать в себе сказки и мифы, для взрослых и детей». Этот проект осуществился в рамках Собрания сочинений (Т. 6), где к первой части «Посолонь» был присоединен новый цикл «К Морю-Океану».

<sup>22</sup> См. прим. 8.

<sup>23</sup> Русская мысль. 1909. № 4. С. 46—50.



- 24 Северное сияние. 1909. № 4. С. 44—45.  
 25 См. прим. 7.  
 26 См. там же.  
 27 См. прим. 2.  
 28 Тропинка. 1909. 1 апр. № 7. С. 282—283.  
 29 Слово. 1909. 29 марта. № 751. С. 3.  
 30 Всемирная панорама. 1909. № 2. С. 10—12.  
 31 Имеется в виду сказка «Хмель», опубликованная в иллюстрированном журнале «Копейка» (1909. 21 мая. № 20. С. 2), текстом-источником для которой послужила одноименная сказка № 161 из сборника Ончукова. Впоследствии Ремизов включил эту сказку в состав своей книги «Доюка и балагурье», дав ей название «Лев-зверь» (С. 222—224).  
 32 См. прим. 2.  
 33 Художественное раскрытие этих древних мифологических образов и обрядов, связанных с ними, см. в книге Ремизова «Посолонь».  
 34 См. прим. 7, а также гл. «Использование примечаний» в работе Х. Барана «К типологии русского модернизма: Иванов, Ремизов, Хлебников» (С. 194—198).  
 35 Тихонравов Н. С. Соч.: В 3 т. М., 1898.  
 36 Авенариус Василий Петрович (1839—1923) — автор многочисленных книг для детей и юношества, в которых фольклорные тексты были представлены в адаптированном виде. См., например: Авенариус В. П. Детские сказки. СПб., 1901. Изд. 4-е.  
 37 См. прим. 7.  
 38 В книге воспоминаний «Встречи» Ремизов, восстанавливая ситуацию, в которой возникли основания для обвинения его в плагиате, писал, ошибочно называя вместо журнала «Всемирная панорама», где была напечатана сказка «Небо пало», журнал «Скетинг-ринг»: «Для меня загадка: третий год печатает Котылев мои сказки, почему же только теперь Измайлов обратил внимание на мою воровскую природу, обличает публично и требует по справедливости возмездия? Я пересмотрел все колтылевские листки, программы, приложения, до последнего номера „Скетинг-ринга“ с моими сказками, и вдруг понял: везде под заглавием сказки подзаголовок „народная сказка“ и только под „Небо пало“ никаких объяснений, непосредственно текст. Как это получилось, не могу придумать» (С. 21).  
 39 См. прим. 2.  
 40 См. текст статьи Пришвина «Плагиатор ли Ремизов?».  
 41 Имеется в виду концовка сказки: « — Что курица, что волк — с мозгами голова! — облизывалась лиса, и подъела все кушанье, выбралась из ямы и побежала в лес» (С. 7).  
 42 Цитата из первого абзаца статьи Мих. Мирова: «Русский писатель г. Алексей Ремизов успел составить себе имя. „Молодые“ вообще скоро делают себе имя...» (С. 5).

А. Л. Дмитриенко

## К ИСТОРИИ СОДРУЖЕСТВА ПОЭТОВ «ОСТРОВИТЯНЕ»

(МАШИНОПИСНЫЙ АЛЬМАНАХ)

В июле 1921 года четыре молодых петроградских поэта объединились, основав содружество «Островитяне». Члены этого содружества — К. К. Вагинов, П. Н. Волков, С. А. Колбасьев и Н. С. Тихонов, — по словам вскоре присоединившейся к ним В. И. Лурье, поставили своей целью «подлинную интенсивную работу» и стремились «сгруппировать вокруг себя все мало-мальски деятельные, молодые силы Петрограда». <sup>1</sup> Говоря о деятельности островитян, необходимо иметь в виду следующее важное обстоятельство: вхождение в литературный мир каждого из членов группы происходило под знаком личного общения с Н. С. Гумилевым. Островитяне сохранили внутреннюю связь со своим учителем, что в значительной степени и определило лицо группы и ее место в литературной жизни того времени.

Основателем и наиболее активным членом содружества был Николай Семенович Тихонов (1896—1979), раннее творчество которого развивалось под явным воздействием акмеистической традиции. <sup>2</sup> Тихонов появился на небосклоне петро-

<sup>1</sup> Лурье В. Петроградское // Дни (Берлин). 1923. 5 авг. № 232. С. 12.

<sup>2</sup> Близость поэзии Тихонова акмеизму, и прежде всего творчеству Гумилева, неоднократно подчеркивалась критиками начиная с 1920-х годов. См., например: *Боженко К.* Николай

градской литературной жизни в конце 1920 года. Поселившись в Доме Искусств, он особенно сблизился с Вс. Рождественским, который познакомил его «почти со всеми литераторами и поэтами Петербурга».<sup>3</sup> По словам самого Тихонова, кратковременное личное знакомство с Гумилевым заставило его «сильно сосредоточиться и задуматься над своей работой».<sup>4</sup> Осенью 1920 года Гумилев дал положительный отзыв о стихах Тихонова, представленных в приемную комиссию Петроградского отделения Всероссийского Союза Поэтов.<sup>5</sup>

Кроме Тихонова в инициативную группу «Островитян» вошел Сергей Адамович Колбасев (1898—1937?) — поэт, морской офицер, познакомившийся с Гумилевым в Крыму в июне 1921 года. «На нем лежала тогда еще некоторая тень таинственности, — вспоминал Николай Чуковский, — его привез и привел в Дом Искусств Гумилев перед самой своей гибелью. (...) Его дружба с Гумилевым и сам гумилевский покров его первых стихов открывал перед ним двери „Цеха поэтов“. И действительно, Георгий Иванов, Адамович, Оцуп отнесли к нему весьма благосклонно. Но в „Цех поэтов“ Колбасев не пошел. Осенью 1920 года он избрал себе нового бога вместо Гумилева и шел туда, куда вел его новый бог. Этот новый бог был Николай Тихонов».<sup>6</sup>

В четверку островитян вошли также два бывших студийца Гумилева, члены «Звучащей Раковины» и «Цеха Поэтов» Петр Николаевич Волков (1894—1979) и Константин Константинович Вагинов (1899—1934).

В 1918 году Петр Волков был призван в Красную Армию, воевал на фронте в составе 6-ой Стрелковой дивизии. В конце 1920 года служил военным переписчиком в Петроградском Комиссариате<sup>7</sup> и начал посещать студию Гумилева при Доме Искусств. По словам Тихонова, он «писал в стиле не то былин, не то древних песенных сказов стихи про гражданскую войну на юге, иными словами это были события гражданской войны и революции, изложенные языком летописи».<sup>8</sup> Об отношении Гумилева к такого рода поэзии вспоминала И. М. Наппельбаум: «Николай Степанович не сумел или не хотел нас научить пониманию своеобразия этих стихов. Хотя сам интересовался стихами Волкова».<sup>9</sup> В октябре 1920 года Волков был зачислен слушателем исторического отделения факультета общественных наук Петроградского университета, но занятий не посещал до ноября 1921 года, когда, демобилизовавшись, подал заявление о восстановлении. В 1924 году он

Тихонов. Орда // Накануне (Берлин). 1923. № 43. С. 8; Рыкова Н. Николай Тихонов (Поэт и прозаик) // Альманах (Ленинград). 1930. № 1. С. 81. См. также современное исследование, посвященное этой теме: Шошин В. А. Н. Гумилев и Н. Тихонов (фрагменты книги «Повесть о двух гусарах») // Николай Гумилев: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1994. С. 201—235.

<sup>3</sup> Цит. по: Тихонов Н. С. Автобиография... [Б. д.] // РНБ. Ф. 474 (П. Н. Медведев). Альбом № 2. Л. 181. Судя по содержанию, эта автобиография написана в 1922 году. Под названием «Моя жизнь» и с некоторыми разночтениями была опубликована в 1926 году в «Красной панораме» (№ 41 (135). С. 7).

<sup>4</sup> Там же.

<sup>5</sup> Впервые этот отзыв был опубликован В. Лукницкой (см.: Лукницкая В. Так они начинали // День поэзии. Л., 1987. С. 183).

<sup>6</sup> Чуковский Н. Литературные воспоминания. М., 1989. С. 88. Следует отметить, что Колбасев был принят в Петроградское отделение Всероссийского Союза Поэтов. Сохранился его билет действительного члена за № 79, подписанный Н. С. Гумилевым и Н. А. Оцупом (ЦГАЛИ (СПб.). Ф. 399. Оп. 1. Ед. хр. 21. Л. 53). Подробнее о Колбасеве и обстоятельствах его знакомства с Гумилевым см.: Колбасева Г. С. Сергей Колбасев // Жизнь Николая Гумилева. Л., 1991. С. 315—317; Кондрьяненко В. «...Ветер отвечает кораблю» // Лит. обозрение. 1987. № 10. С. 108—109; см. также комментарии Н. М. Иванниковой (прежде всего прим. 23) к «Воспоминаниям о Гумилеве» В. И. Лурье (De visu. 1993. № 6 (7). С. 13).

<sup>7</sup> См. студенческое дело Волкова (ЦГА (СПб.). Ф. 7240. Оп. 4. Ед. хр. 271. Л. 6, 9, 12).

<sup>8</sup> Тихонов Н. С. Устная книга // Тихонов Н. С. Собр. соч.: В 7 т. М., 1986. Т. 6. С. 25.

<sup>9</sup> Наппельбаум И. М. Коротко о членах кружка «Звучащая Раковина». Машинопись. Хранится в собрании Е. М. Царенковой (Санкт-Петербург).

окончил правовое отделение.<sup>10</sup> Однако к этому времени Волков полностью отошел от литературы. Вспоминая студию Гумилева, мемуаристы единодушно отзываются о нем как о поэте, подававшем большие, но так и не сбывшиеся надежды.<sup>11</sup>

Интерес исследователей к группе «Островитяне» возник сравнительно недавно и был связан с изучением творческой биографии К. К. Вагинова.<sup>12</sup> В 1921 году писатель, по собственному признанию, «состоял во всех петербургских поэтических организациях»<sup>13</sup> (Союз Поэтов, Цех Поэтов, Звучащая Раковина, Островитяне, Аббатство Гаеров, Кольцо Поэтов). Вместе с тем его творчество, становившееся все более самостоятельным, не исчерпывалось какими-либо групповыми установками. Достаточно сказать, что книга Вагинова «Петербургские ночи» была анонсирована одновременно «Островитянами» и «Кольцом Поэтов имени К. М. Фофанова»,<sup>14</sup> двумя различными по своим устремлениям литературными объединениями.

«Они — не школа, не партия, связанная какими-либо программами и правилами, ложными или неложными. Четыре „Островитянина” — (...) четыре различных устремления, почти противоположных, четыре стороны света», — писал Давид Выгодский.<sup>15</sup> Действительно, с самого начала островитяне были нацелены прежде всего на практическую творческую работу, на раскрытие собственной индивидуальности — ни программы, ни устава у них не было. В этом отношении обнаруживается типологическое родство участников содружества с Серапионовыми братьями. Недаром современные исследователи Э. Анэмони и И. Мартынов оценивают их творчество как «нечто вроде поэтического дополнения к доминировавшей в то время прозе Серапионовых братьев».<sup>16</sup> Внешне это сближение проявилось в конце 1921 года, когда решался вопрос о вступлении Тихонова и Колбасьева в Серапионово братство. (Принят был только Тихонов.)<sup>17</sup>

Из обширных издательских проектов островитянам удалось осуществить немногое. Осенью 1921 года были подготовлены два машинописных поэтических сборника. Первый из них, датированный сентябрем и сохранившийся в считанном количестве экземпляров, публикуется ниже; второй, напечатанный в октябре—ноябре, вероятно, полностью утрачен.<sup>18</sup> Весной 1922 года были выпущены альманахи

<sup>10</sup> Подробнее об этом см. его студенческое дело (ЦГА (СПб.). Ф. 7240. Оп. 4. Ед. хр. 271. Л. 1—3, 9, 12).

<sup>11</sup> Ср., например: «Вообще, у нас был слабый состав. Вот был К. К. (Вагинов. — А. Д.), и еще подавал надежды Петя Волков (...). Петя был очень добрый, какой-то приятный, спокойный. Но он женился, и жена запретила ему вообще писать стихи» (Ненаписанные воспоминания. Интервью с Александрой Ивановной Вагиновой / Вступит. заметка и публ. С. Кибальника // Волга. 1992. № 7—8. С. 148); «О судьбе Волкова знаю от молодых людей, изучающих 20-е годы. Он стал — управхозом. Охотно вспоминал наши годы. Но сын его был недоволен приходом людей в дом» (*Наппельбаум И. М.* Коротко о членах кружка «Звучащая Раковина»).

<sup>12</sup> См.: *Anemone A., Martynov I.* The Islanders Poetry and Polemics in Petrograd of the 1920 s. // Wiener Slawistischer Almanach. 1992. Bd. 29. P. 107—126. В основу этой статьи положена глава из докторской диссертации Э. Анэмони, посвященной творчеству Константина Вагинова. Авторы анализируют статьи и рецензии начала 1920-х годов, касающиеся деятельности островитян, привлекают мемуарные свидетельства и некоторые неопубликованные материалы, в частности, автобиографию Н. С. Тихонова 1923 года. См. также: *Никольская Т. Л.* К. К. Вагинов (Жанва биографии и творчества) // Четвертые Тыняновские чтения. Рига, 1988. С. 70.

<sup>13</sup> Автобиография Вагинова 1923 года цит. по: *Кибальник С. А.* Материалы К. К. Вагинова в Рукописном отделе Пушкинского Дома // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год. СПб., 1994. С. 63—64.

<sup>14</sup> Анонс помещен в книгах островитян Н. Тихонова «Орда» и С. Колбасьева «Открытое море», а также в альманахе «Островитяне I». «Кольцо Поэтов имени К. М. Фофанова» анонсировало «Петербургские ночи» в «Вестнике литературы» (1922. № 1 (37). С. 23).

<sup>15</sup> *Выгодский Д.* Островитяне // Жизнь искусства. 1922. 23 мая. № 20. С. 2.

<sup>16</sup> *Anemone A., Martynov I.* Op. cit. P. 110. Цитата дана в нашем переводе с английского.

<sup>17</sup> См.: *Чуковский Н.* Литературные воспоминания. С. 89.

<sup>18</sup> См. об этом: *Anemone A., Martynov I.* Op. cit. P. 109.

«Островитяне I» (на титульном листе — «Декабрь 1921 год»), составленный из стихотворений Вагинова, Колбасьева и Тихонова, книга стихов Тихонова «Орда» и поэма Колбасьева «Открытое море». Был подготовлен к печати, но не вышел в свет альманах «Островитяне II», который должен был появиться в феврале 1922 года. В него предполагалось включить стихи Н. Берберовой, К. Вагинова, П. Волкова, С. Колбасьева, Вс. Рождественского, Н. Тихонова и М. Цветаевой.<sup>19</sup> Неудачей обернулись попытки издать книгу Вагинова «Петербургские ночи» (1922).<sup>20</sup> Помещенный в ее наборной рукописи анонс<sup>21</sup> позволяет предположить, что островитяне заручились поддержкой Д. И. Выгодского, располагавшего полиграфической базой в Гомеле. Очевидно, воплощению этих планов помешали финансовые и технические трудности. Помимо издательской деятельности островитяне проводили публичные чтения, в том числе в Доме Литераторов, Вольной Философской Ассоциации и Институте Живого Слова. Но собирались они главным образом на частных квартирах, у кого-нибудь из участников кружка. На этих собраниях происходило чтение и обсуждение стихов, иногда — критических эссе. Так, например, осенью 1922 года Колбасьев и Тихонов читали критические статьи о поэзии Гумилева.<sup>22</sup>

В июне 1922 года островитяне послали письмо И. Г. Эренбургу<sup>23</sup> — «что-то вроде манифеста»,<sup>24</sup> в котором в весьма эмоциональной форме выразили мнение о современной литературе и изложили собственное творческое кредо: «Самый простой рассказ, какой мы должны сейчас рассказать, — это рассказ о земле. Много гнилой крови выпущено из ее жил, много разбитых костей удалено. Мы знаем, что во всех странах есть сейчас островитяне. И мы помним: из островов растут материки».<sup>25</sup> Островитяне открещивались от футуризма, имажинизма, «академизма» (имеется в виду Цех Поэтов) и от пролетарской поэзии, утверждая тем самым свою «беспартийность» и особое место в литературе. Прозвучавший в этом письме девиз — «Из островов растут материки» — объясняет название кружка. Как установили Э. Анэмони и И. Мартынов, в свое время он был девизом журнала «Остров» (1909), издававшегося Н. С. Гумилевым и А. Н. Толстым.<sup>26</sup> Обращает на себя внимание тот факт, что большая часть письма островитян к И. Г. Эренбургу почти дословно приводится в автобиографиях Тихонова 1922 и 1923 годов.<sup>27</sup> Не исключено, что и само письмо целиком принадлежит перу Тихонова — наиболее деятельного члена группы.

В период своего расцвета, в первой половине 1922 года, «Островитяне» сумели серьезно заявить о себе и даже выступили в качестве оппонентов созданного Гумилевым «Цеха Поэтов».<sup>28</sup> Очевидно, что «Цех Поэтов» и «Островитяне» воплощали в то время два главных направления развития гумилевской школы. При этом различие между ними было обусловлено не столько отношением к творческому

<sup>19</sup> Список участников приводится по анонсу, помещенному в книгах Тихонова «Орда» и Колбасьева «Открытое море».

<sup>20</sup> Наборная рукопись этой книги хранится в собрании М. С. Лесмана (в настоящее время принадлежит Н. Г. Князевой).

<sup>21</sup> См.: Неизвестный Вагинов / Вступит. заметка и публ. А. Герасимовой // Театр. 1991. № 11. С. 171.

<sup>22</sup> *Anemone A., Martynov I.* Op. cit. P. 109.

<sup>23</sup> И. Г. Эренбург получил это письмо 21—22 июня 1922 года в Берлине (см.: *Попов В., Фрезинский Б.* Илья Эренбург: Хроника жизни и творчества. СПб., 1993. Т. 1. С. 264).

<sup>24</sup> *Тихонов Н. С.* Устная книга. С. 25.

<sup>25</sup> Цит. по: Из переписки Н. С. Тихонова / Публ. В. Тихоновой и И. Чепик // Дружба народов. 1986. № 12. С. 262.

<sup>26</sup> *Anemone A., Martynov I.* Op. cit. P. 112.

<sup>27</sup> См.: *Тихонов Н. С.* Автобиография. [1923] // ИРЛИ. P. 1. Оп. 27. Ед. хр. 32; *Тихонов Н. С.* Моя жизнь // Красная панорама. 1926. № 41 (135). С. 7.

<sup>28</sup> *Anemone A., Martynov I.* Op. cit. P. 111. Авторы статьи подробно рассматривают конкуренцию «Островитян» с «Цехом Поэтов».

наследию учителя, сколько восприятием пореволюционной России. В 1922 году островитяне писали о себе: «Ясность, точность, веселый поединок творчества, боксирующего со вчерашним днем, — наше сегодня. Семь лет войны и революции — наши Илиада и Одиссея». <sup>29</sup> После смерти Гумилева «Цех Поэтов» быстро утратил значение лидирующего литературного объединения. Один из членов Цеха Сергей Нельдихен вспоминал: «После смерти Гумилева в Цехе равнение пошло на Г. Иванова и Г. Адамовича, как на наиболее старших. Интерес к „исканиям“, „новому“ в Цехе прошел, выдвинут был лозунг „возвращения к Пушкину“». <sup>30</sup> Конечно, линия Цеха, обращенного в академическое прошлое, шла вразрез с жизнеутверждающим пафосом островитян.

С самого начала, очевидно по инициативе Вагинова, островитяне привлекли в свое содружество двух талантливых поэтесс из «Звучащей Раковины» — Фредерику Моисеевну Наппельбаум (1901—1958)<sup>31</sup> и Веру Иосифовну Лурье (р. 1901).<sup>32</sup> Таким образом, в группу вошли почти все наиболее самостоятельные и одаренные поэты, участники гумилевского кружка (Вагинов, Волков, Лурье, Ф. Наппельбаум). Вплоть до отъезда Веры Лурье из Петрограда в октябре 1921 года островитяне часто собирались в ее квартире на Мойке. В 1923 году на страницах берлинской газеты «Дни» она писала об этих встречах: «С гордостью и радостью вспоминаю, как перед моим отъездом за границу у меня в комнате организовывался кружок поэтов, сборник которых был: „Островитяне“ (...) Славные это были встречи: у меня на Мойке собирались поздно, часам к одиннадцати, сидели до двух с половиной часов ночи, (позже трех часов ходьба по городу не разрешалась!). Топили печурку сырыми дровами, курили скверные папиросы, пили без конца чай, очень невкусный; если доставали еще хлеб, масло и сахар, то чувствовали себя совсем на пиршестве. Читали свои произведения, говорили о них и о задачах создаваемого журнала. Часто Колбасьев рассказывал свои фантастические путешествия и приключения. Если читались стихи, то Вагинова просили последним; у него был всегда столь огромный запас произведений, что мы боялись, как бы после него никому уже не осталось времени читать. Костя маленький и уютный садился обычно на полу у чьих-нибудь ног; Колбасьев, довольный собой, своим костюмом моряка и своими рассказами, разваливался в кресле; Тихонов был прям, молчалив и сдержан, оживлялся лишь при чтении стихов, тогда хорошо и просто улыбался всем широким, некрасивым лицом». <sup>33</sup>

Этот период в истории группы, когда были особенно отчетливо видны ее истоки, прежде всего связь с гумилевской поэтической школой, ознаменовался выходом в сентябре 1921 года машинописного сборника «Островитяне. Выпуск первый», состоявшего из шестнадцати стихотворений семи поэтов. Кроме произведений К. К. Вагинова, С. А. Колбасьева, Н. С. Тихонова, П. Н. Волкова, Ф. М. Наппельбаум и В. И. Лурье, в него были включены два стихотворения Kleopatры Сергеевны Левашевой (1901—?), подруги В. И. Лурье по петербургской гимназии

<sup>29</sup> Цит. по: Из переписки Н. С. Тихонова. С. 262.

<sup>30</sup> Нельдихен С. Общественно-литературная жизнь Петрограда // Накануне (Берлин). 1922. 17 нояб. № 188. С. 2.

<sup>31</sup> Подробнее о Ф. Наппельбаум см.: Дмитренко А. «И арф мифическое пенье» // Вечерний Петербург. 1993. 2 дек. № 272. С. 3. Ее стихотворения 1921—1957 годов опубл. в кн.: Наппельбаум Ф. Стихи. СПб., 1993.

<sup>32</sup> О петроградском периоде ее жизни см.: Лурье В. И. Воспоминания о Гумилеве. С. 5—14. Практически полное собрание русских стихотворений В. И. Лурье было выпущено под редакцией Томаса Байера и с его вступительной статьей (см.: Лурье В. Стихотворения. Berlin, 1987). Однако ни в одном из этих источников не упоминается об участии Веры Лурье в деятельности кружка «Островитяне».

<sup>33</sup> Лурье В. Петроградское. С. 12.

Л. С. Таганцевой.<sup>34</sup> Для всех участников (за исключением Тихонова) эта публикация явилась первой в творческой биографии. По своей композиции сборник островитян напоминает вышедший четыре месяца спустя альманах «Звучащая Раковина» (Пб., 1922). Обе книги открываются стихотворением Фредерики Наппельбаум «Над лампою зеленый абажур...» и завершаются стихами Петра Волкова.

Известно о существовании двух экземпляров этого машинописного сборника. Один из них принадлежит Н. И. Харджиеву (который, однако, является не первым его владельцем). Второй — авторский экземпляр Н. С. Тихонова. В 1970-е годы был передан им литературоведу И. Ф. Мартынову, одному из первых, кто проявил интерес к истории содружества «Островитяне». В 1994 году этот экземпляр перешел в собрание публикатора с прилавка известного петербургского букинистического магазина на Невском проспекте.

Экземпляры Харджиева (полностью) и публикатора (частично) представляют собой машинописный текст, отпечатанный под копировальную бумагу. Следовательно, экземпляров сборника было, по меньшей мере, четыре. Тихонов в своих воспоминаниях говорит о 20—30 экземплярах.<sup>35</sup> Однако необходимо учитывать, что тихоновские мемуары писались уже в 1970-е годы и содержат многочисленные искажения фактов и неточности, которые вызваны «ошибками памяти». Как бы то ни было, чрезвычайная редкость сборника наводит на мысль о том, что он не предназначался для распространения. Возможно также, что его «тираж» не превышал числа участников.

Сборник состоит из 16 нумерованных листов (15 × 21,5 см), сшитых в две тетради (экземпляр публикатора) и в четыре тетради (экземпляр Харджиева). На серой обложке из мягкого картона черной тушью от руки проставлены название и выходные данные (те же, что и на титульном листе). Надпись выполнена стилизованным шрифтом, напоминающим тот, который украшает обложку отпечатанного позднее типографским способом альманаха «Островитяне I». На шмуцтитуле помещена эмблема группы, нарисованная черной тушью Н. С. Тихоновым<sup>36</sup> (2 × 5 см): «квадратное» солнце с расходящимися над океаном лучами. Символический смысл этого изображения раскрыть не удалось. Однако следует отметить, что «квадратное солнце» встречается в повести Вагинова «Монастырь Господа нашего Аполлона», которую предполагалось издать под маркой «Островитян».<sup>37</sup>

Известные нам экземпляры сборника несколько отличаются друг от друга. В экземпляре Н. С. Тихонова имеется карандашная правка в тексте и надпись на шмуцтитуле карандашом: «Н. Тихонову. Редактор». В экземпляре Харджиева правка отсутствует. Вероятно, экземпляр Тихонова восходит непосредственно к автографам стихотворений. После его «отпечатания» с помощью карандашной правки была унифицирована пунктуация; кроме того, Тихонов внес ряд исправле-

<sup>34</sup> В письме к автору настоящей публикации от 18 сентября 1994 года Вера Иосифовна Лурье вспоминала о Клеопатре Левашевой: «Я училась с ней в одном классе Таганцевской гимназии и была с ней в большой дружбе. Ее отец был врач, политически крайне правый, она же была напротив крайне левая. В Доме Искусства она не бывала (...) Здесь, в Берлине, много лет тому назад я узнала от одной русской, которая тоже уже умерла, что Левашева жила в Италии, где и умерла (...) Помню, что, будучи еще в гимназии, она писала хорошие стихи». Клеопатра Сергеевна Левашева была дочерью ректора Новороссийского университета (с 1908 года), депутата Государственной Думы от города Одессы Сергея Васильевича Левашева (1856 — ?). См. о нем текст к таблице № 4 в кн.: 4-й созыв Государственной Думы. Художественный фототипический альбом с портретами и биографиями. СПб., 1913 (указано А. В. Коскелло).

<sup>35</sup> Тихонов Н. С. Устная книга. С. 25.

<sup>36</sup> См. об этом: *Anemone A., Martynov I. Op. cit.* P. 109.

<sup>37</sup> Анонс помещен в наборной рукописи книги К. Вагинова «Петербургские ночи» среди прочих объявлений о книгах издательства «Островитяне», готовящихся к печати. Повесть «Монастырь Господа нашего Аполлона» была опубликована в октябре 1922 года в первом выпуске альманаха «Абракада» (Пб., 1922. С. 8—15).

ний в тексты собственных стихотворений. В экземпляре Харджиева, с одной стороны, большая часть этих исправлений учтена, но, с другой стороны, внесены и некоторые другие изменения в тексты стихотворений. Поэтому утверждать со всей определенностью, что экземпляр Тихонова послужил источником для экземпляра Харджиева, нельзя.

В настоящей публикации воспроизводится полный текст авторского экземпляра Тихонова. Варианты разночтений харджиевского экземпляра приведены в комментарии. Некоторые стихотворения, вошедшие в сборник, впоследствии печатались в других изданиях, причем, как правило, в других редакциях. Сведения об этих публикациях также даны в комментарии. Стихотворения К. Левашевой, П. Волкова, Н. Тихонова («Угар» и «Конец путешествия»), С. Колбасьева («Смерть») более нигде не публиковались. Впервые в настоящем виде печатается стихотворение К. Вагинова «Под рожью спит спокойно лампа Аладина...», до сих пор принимавшееся публикаторами за два отдельных текста. Орфография приведена в соответствие с современными нормами. Вместе с тем сохранены особенности пунктуации оригинала.

Публикатор выражает сердечную благодарность М. Д. Эльзону и В. И. Эрлю, оказавшим ему существенную помощь в работе.

## ОСТРОВИТЯНЕ. СТИХИ. ВЫПУСК ПЕРВЫЙ.

Петербург. Сентябрь 1921 г.

ФРЕДЕРИКА НАППЕЛЬБАУМ

\* \* \*

Над лампою зеленый абажур...  
На бронзовых часах заснул амур  
В гирлянде бледно-золотых цветов.  
Заманчивые белые листки  
Хранят невидимые завитки  
Еще не совершившихся стихов.  
И ослепленный слушает Эдип  
Пера еще не прозвучавший скрип.  
Как будто время изменило шаг,  
И стрелкою, хотя не подан знак,  
А в комнате уже разлит волной  
Полуночный нетерпеливый бой.

\* \* \*

Вновь смычок упругий и холодный  
Побежал певучею дорогой,  
Снова, снова думаю сегодня,  
Думаю о чуждом и далеком.  
Я не знаю радости чудесней  
Этим песням явственным не верить,  
И забытые все слушать песни,  
Что приносит из-за моря ветер.  
Думаю сегодня о далеком,  
Потому что здесь в родной пустыне  
Стали скучны и ненужны строки,  
Бывшие еще вчера моими.  
Вспоминать напев чужой и дальний,  
Забывая дорогие песни —

Я не знаю радости печальней,  
Я не знаю горести чудесней.

### Петергоф

Бледнел на небе месяц желторогий,  
И белый мрак разлегся по полям,  
И в темноте пройденные дороги  
С зарею утренней открылись нам.

Поверить утром снова в цвет зеленый  
Высоких трав, берез и тополей...  
А башня розового павильона  
Под синим небом стала розовой.

Идти обратно свежеею дорогой  
И медленно ее запоминать —  
И круглый пруд, и спуск с холма отлогий,  
Откуда моря полоса видна.

Так я привыкла вспоминать часами  
Прозрачность дней и бледность вечеров,  
И тайно их хранить между словами,  
Простыми строками моих стихов.

К. ЛЕВАШЕВА

\* \* \*

В трудах веселых, у огня,  
Часы проходят незаметно,  
И вызвать ропот у меня  
Усилья Провиденья тщетны.

Унылую оставив лень,  
(Жизнь полюбя не потому ли),  
Переставляю целый день  
На полках медные кастрюли,

И узнаю, что для меня  
Исполнены очарований:  
Дыханье шумное огня  
И свежий плеск воды в лохани.

За звоном тлеющих углей,  
За хвойным запахом поленьев,  
В цепи однообразных дней  
Я не считаю грубых звеньев.

Жизнь беспечальна и тиха;  
Ведь Сандрильоне, я слыхала,  
Картофельная шелуха  
Счастливой стать не помешала.

\* \* \*

Приятно, средь докучной смены  
Забот, приличных только нам,  
Прикосновенье мыльной пены  
От стирки розовым рукам.



Я знаю: времена бывали  
Прекраснейшие из времен,  
И над источником видали  
Нежнейших девушек и жен.

И пахли в час перед полуднем  
Соленой влагою морей,  
Покорные высоким будням,  
Ладони царских дочерей.

ВЕРА ЛУРЬЕ

\* \* \*

...А небо вызвездило слишком рано...  
Стою и щип в протянутой руке.  
Я вижу шар земной во мгле багряной  
Стал родинкой на девичьей щеке.

Где заклинанье верное, где слово,  
Как я нарушу силу колдовства.  
Кругом все пусто, никого живого  
И только жутко шелестит листва.

Вдруг в небе туча черная повисла  
И барабанный бой гремит, гремит.  
Неведомые, огненные числа  
Легли дождем на мой склоненный щипт.

КОНСТАНТИН ВАГИНОВ

\* \* \*

Как нежен запах твоих ладоней,  
Морем и солнцем пахнут они.  
Колокольным тихим звоном полный,  
Ладоней корабль бортами звенит.

Твои предки возили пряности с Явы,  
С голубых островов горячих морей.  
Помнишь, кусочек якоря ржавый  
Хранится в узорной шкатулке твоей.

Там же лежат венецианские бусы  
И золотые монеты с Марком Святым.  
Умер корабль, исчезли матросы,  
Волны не бьются в его борты.

Он стал призраком твоих ладоней,  
Бросил якорь в твоей крови  
И погребальным звоном полны  
Маленькие нежные руки твои.

\* \* \*

Под рожью спит спокойно лампа Аладина.  
Пусть спит в земле спокойно старый мир.  
Прошла неумолимая с косою длинной,  
Сейчас наверно около восьми.

Костер горит. Узлы я грею пальцев.  
Сезам. Пусти обратно в старый мир,  
Немного побродить в его высоком зале  
И пересыпать вновь его лари.

Осины лист дрожит в лазури  
И Соломонов Храм под морем синим спит.  
Бредет осел корнями гор понурыи,  
Изба на курьих ножках жалобно скрипит.

В руке моей осколок римской башни,  
В кармане горсть песка монастырей.  
И ветер рядом ласково покашливает,  
И входим мы в отворенную дверь.

Плывут в тарелке оттоманские фелюги  
И по углам лари стоят.  
И девушка над Баха фугой  
Живёт сто лет тому назад.

О, этот дом и я любил когда-то  
И знал ее и руки целовал,  
Смотрел сентиментальные закаты  
И моря синего полуoval.

\* \* \*

С Антиохией в пальце шел по улице.  
Не видел Летний Сад, но видел водоем,  
Под сикоморой конь и всадник мылятся  
И пот скользит в луче густом.

Припал к ногам, целуя взгляд Гекаты,  
Достал немного благовоний и тоски,  
Арап ждет рядом черный и покатыи  
И вынимает город из моей руки.

С. КОЛБАСЬЕВ

### Смерть

...И медленно в комнату вошел,  
Покачиваясь и звеня,  
В железных перьях большой орел.  
...Так медленно в комнату вошел  
И замер около меня.

Камин зашипел и сразу погас,  
Так глухо заворчал рояль.  
Затянусь папиросой в последний раз  
И больше ничего не жаль.

А может быть еще вернусь назад,  
Оттуда, куда летим?  
Железные крылья свистят, свистят  
И воздух стал голубым.

Поля, города, и ленты рек,  
Гранитные скалы, синий снег,  
И кровь на снегу и снова снег,  
Паденье и быстрый бег.

Сорвался и руки хватают тьму,  
А сверху — глаза орла...  
Там, в комнате, телу моему  
Хорошо лежать у стола.

8—21 г.

### В вагоне

О. Н. Кобозевой

...Сразу замолкли соседи,  
Зачем четыре звонка?  
Что-то ищет в портпледe  
Взволнованная рука.

В окне толпа замелькала,  
Огни на сигнальном посту.  
Вылетели из вокзала  
И врезались в темноту.

Град бьет по железной крыше,  
Вот где-то выбил стекло.  
А мы ничего не слышим,  
Здесь весело и светло.

«Профессор, налейте рому.  
Здоровье Вашей жены» .  
Мы кажется все знакомы,  
И кажется все пьяны.

А та, что сидит напротив,  
Совсем склонилась ко мне.  
Эй! кренит на повороте  
И скачет луна в окне.

«Двууглекислая сода,  
Смола, железо и гром» .  
Поет директор завода,  
Размахивая хвостом.

Захлопнул копытом двери,  
Нельзя из купе уйти —  
Через полчаса на Венере,  
Если не лопнем в пути.

9—21 г.

НИКОЛАЙ ТИХОНОВ

### Угар

На стеклах ночная синяя сажа,  
Только печь одна со мной,  
Точно силач от дверей Эрмитажа  
Пришел и встал вниз головой.

• Изо рта великана с чемоданом старым  
Выходит зеленое в полоску пальто —  
Похожий на куклу из слюды и пара  
Он тонет в кресле. Неужели тот?

Впяяны крепко в глазные впадины  
Зеленые, как у змей, очки,  
А в печи всё сверкают стальные градины,  
Раскальваются золотые пяточки.

Его руки спрятаны... Я помню их мало,  
Но круглый, чечевично-застылый взгляд —  
А у ног ярлыки неземных вокзалов  
На черном чемодане горят.

Какая крепкая у него сигара,  
Даже небо открылось в потолке,  
Голубая, голубая ящерица угара  
Пробежала спотыкаясь по щеке.

1921 г.

### Конец путешествия

#### 1.

— Беля загрызла дизентерия,  
И вы усмехаетесь очень скверно,  
Где же гора? Нигде не вижу горы,  
На карте болото — и это неверно.  
Ни ложки спирту и хины ни грамма...  
Куда нам идти, отвечайте? — Прямо.

— Бог не простит вам этой лжи...  
Господин, господин, а белая дама?  
— Джим, молчи, молчи, Джим.  
— Она ночью спала в гамаке,  
Она боится змей и лианы,  
— Черный, запомни: ты только лакей,  
О солнце не говорят павианы.

#### 2.

...Звери опять подходили к стану,  
Луна провалилась как в дыру,  
Милая, я тебя будить не стану,  
Подойду, поцелую только тени рук.

#### 3.

— Господин, вы не ели — вот бананы...  
Джим вам принес хорошей воды,  
— Отнеси ее той, что боится лианы...  
А что это кружится там за дым?  
— Это наша стоянка, у леса стоянка...  
— Так не стой, я сказал: ступай и делай...  
— Господин, вы же знаете: она была иностранка.  
Зной... болота... вы сами вчера ее тело...

— Джим, тебе часто снится нехорошее,  
Так же часто, как нам, белым?  
Сядь рядом, брось свою ношу,  
Достань-ка мой парабеллум.

Мой отец умер за Библией,  
Мать плакала над словом: Бог,  
А дети, дети, негр, другое любили:  
Дьявол ручается за итог.

Я привык с детства быть точным,  
Я уйду туда, где дым —

Ты вернешься — к тем остальным —  
 Расскажешь, что нечаянно, ненарочно...  
 Ну, ты что-нибудь расскажешь, Джим.  
 1921 г.

### Медиум

Качается девочка на плетеном стуле,  
 Голосом мужчины говорит глухим:  
 — Я — авиатор, я умер в полдень в июле,  
 А ночью летели мы вместе с ним.

— С кем? Я не знаю, я не отвечаю.  
 Вся тяжесть неба в пяти стенах,  
 Это не голос человеческий,  
 Это звучащий осколок сна.

Кажется, в яму летит без скрипа  
 Земля, как сбитый аэроплан,  
 Из которого давно авиатор выпал,  
 Грузным ядром просвистел в туман.

А девочка смотрит на лунные Ганги,  
 Трудно молчать, не дышать, не курить —  
 Как будто пришел заблудившийся ангел  
 И страшно и сладостно ему говорить.

Крикнул и криком подрезало голову,  
 Руки лежат тяжелей быков,  
 А в горле бьется горячее олово  
 Остановившихся диких слов.

Вспыхнули лампы — и все неизменно —  
 Только девочка да легкая боль.  
 Пыльная бабочка бьется о стены,  
 Осторожно снимаю — но это моль.

### Наследия

Хрустят трущоб валежником медведи,  
 Обсасывая с лапы кровь и мед —  
 У нас от солнца, от вина и меди  
 Звенящих жил, качаясь мир плывёт.

Вскочить, отдавливая ноги спящих  
 И женщин спутанные волосы,  
 Зовут, зовут угаром дымным чащи,  
 Сквозь прадедов глухие голоса.

Шатаясь коней бесценных вьючим,  
 Сшибаем топорами ворота,  
 И ветер стонет под ногой могучей  
 Отскакивая зайцем вдоль куста.

Берложный бой, где в хрипоте упорной  
 Душа ломает кости и ревет.  
 Не избежать мне этой правды черной  
 Косматых лап, впивавших кровь и мед.

1921 г.

### Вступление в планетарную оперу

«Тише... тише...» Оркестр замер.  
 Псалтирь... флейта... виола... фагот...  
 Давид... Моцарт... Шуман... Вагнер... —  
 Оркестр композиторов знака ждет.  
 Душа Бетховена в черном фраке  
 Махнула палочкой вниз.  
 Синей искрой в сером мраке  
 От палочки свет над зрителями повис.  
 Голоса: «Слушайте прелюдию  
 Девятая симфония началась».  
 Под театром, в каменной клетке, грудью  
 Заколотилось море, бьется взъярясь.  
 Девушка с песенкой Руже де'Лилля,  
 В фригийской шапочке, из окна  
 Занавес железный взвила.  
 Крики: «Море... Спасайтесь... Рухнула стена».  
 Паника, паника. В зале давка.  
 «Горе. Море затопит нас».  
 Море до суфлера. На железные лавки  
 Садилась обратно, обратно, смеясь.  
 Из партитуры композитора Бога  
 Торжественно пели виолы сны, —  
 Трио пели о горних стогах,  
 Не замечая силуэта сатаны.  
 На горизонте моря плавал,  
 Покачиваясь, шар земной.  
 Неподвижный на полюсе дьявол, —  
 В красном плаще рулевой.  
 Ближе, резче и ближе Европа  
 В синем очертании материков.  
 Голос в конце: «Садися, растрепа, —  
 Что застишь плешью своей, философ».  
 Женщина визгнула: «Не обманешь, провокатор».  
 На галерке заплакал в тоске режиссер.  
 Слышите.... ветер запел в вентилятор —  
 Арию запел первый актер:  
 «Ай ты, горе, горе-гореваньце, —  
 Всё-то ненасытная тоска.  
 Ну, запищешь нынче в поминаньце,  
 Костлявая, не одного-то мил-дружка.  
 Эх! и разгуляться что-ли по лесу,  
 Али по дорогам с кистенём...  
 Завернуть ли глухоморье колесом,  
 С посвистом и гиком под селом, —  
 И ударить кистенём разбойницким, —  
 Уж ударю кряжистого — в лоб  
 Приготовьте-ка вы для покойничка,  
 Приготовьте-ка на завтра гроб.  
 Разгуляй, ломай, гуляй — привольная...»  
 И понёсся... издалёка-далека:  
 «Ай ты воля, воля ты привольная —  
 И везде смеретушка... тос... ка...»  
 Море внезапно пропадает.  
 Вырастает упавшая стена.  
 На сцене лачуга, лучина пылает,  
 Плешивый Фауст у окна:

«Кто там с черепом раскроенным  
 Гунькою кабацкою накрыт.  
 Кто там у ворот лежит растворенных, —  
 Маргарита ль потеряла стыд?...»  
 Эка ноченька. Ливень, что комоней  
 Полчища татарские бегут.  
 Ну, развеет неутешный ноне  
 Бурелом всю печаль-тугу.  
 Ишь как взморье под ножом разбойника,  
 Взморье бьётся, девкою кричит...  
 Вот и вихрем вырвало пробой, никак,  
 И разбило мой оконный щит...  
 Хорошо в поселке бы рыбачьем  
 В кабаке глухом сидеть сейчас  
 Слышать ясно с моря зовы с плачем:  
 «Помогите...о, спасите нас...»  
 Подходит и склянку на полочке ищет  
 Откапал, разбавил водою и пьет.  
 А ветер опять в вентиляторе свищет,  
 О вселенской тоске арию поет:  
 «Эх ты, горе, горе-гореваньице,  
 Залегла в груди змея тоска.  
 Приготовьте люди поминаньице,  
 Занесёт костлявая рука».  
 Пауза. Фауста нет в лачуге.  
 Молния изломом мелькнула в стекле,  
 Обрисовала в зенитном полукруге  
 Каменные зубцы и тень его на Кремле.  
 В посёлке слышны набатные звуки:  
 «На помощь, в Поволжье, спасайте людей...»  
 Фригийская шапочка, девичьи руки.  
 Занавес ржавый и — море огней.  
 Голос в антракте: «Бог, Бог со свитой».  
 Величавый старик, с шевелюрой седой,  
 Переутомленный композитор маститый,  
 Самодержец вселенной прошёл над толпой.  
 И души у царской столпились ложи —  
 «Гимн. Гимн. Хвала Тебе, Боже,  
 Зиждитель миров, хвала Саваоф...»  
 Крик: «Долой тирана-паразита».  
 Закачалась хищная плешь на стенах.  
 Чьи-то бледные губы из свиты:  
 «Проклятый философ...» — тишина.

В комментариях приняты следующие сокращения:

ЗР — Звучащая Раковина: Сб. стихов. Пб., 1922.

экз. Харджиева — Островитяне: Стихи. Пб., 1921. Вып. 1 (машинописный сборник). Экземпляр из собрания Н. И. Харджиева. Публикатор использовал копию экз. Харджиева, любезно предоставленную В. И. Эрлем.

Ф. Напельбаум

«Над лампою зеленый абажур...» — с вариантом 11 строки: «А в темной комнате разлит волной...», опубл. в кн.: ЗР. С. 11; *Напельбаум* Ф. Стихи. Л., 1926. С. 39 (датируется здесь мартом 1921 года).

«Вновь смычок упругий и холодный...» — опубл. в кн. Ушкуйники. Пб., 1922. С. 6; *Напельбаум* Ф. Стихи. С. 42 (датируется здесь 1921 годом).

«Петергоф» — опубл. (с разночтениями): ЗР. С. 12. *Розовый павильон* — имеется в виду павильон «Озерки» в Петергофе (1845—1848; арх. А. И. Штакеншнейдер), не сохранившийся до наших дней (указано Д. Ю. Шерихом).

К. Левашева

«В трудах веселых, у огня...» — *Сандрильона* (от фр. Cendrillon) — Золушка.

В. Лурье

«...А небо вызвездило слишком рано...» — под названием «Земной шар» и с вариантом 3 строки: «И вижу шар земной во мгле багряный...» опубли.: *Лурье В. Стихотворения*. С. 55.

К. Вагинов

«Как нежен запах твоих ладоней...» — опубли. в кн.: *Вагинов К. Путешествие в Хаос*. Пб., 1921. С. 20; включено также в наборную рукопись книги «Петербургские ночи» (1922). Основная тема стихотворения получила развитие в другом поэтическом тексте Вагинова «Покрыл, прикрыл и вновь покрыл собою...» (ЗР. С. 75). ...золотые монеты с Марком Святым... — чеканы (золотые дукаты), широко распространенные вплоть до XIX века монеты, первоначально чеканившиеся в Венеции (с 1280 года). На их лицевой стороне изображен Святой Марк, вручающий дожу знамя в форме креста.

«Под рожью спит спокойно лампа Аладина...» — до сих пор публиковалось в виде двух самостоятельных стихотворений. Отчасти это недоразумение можно объяснить его расположением в сборнике. В. И. Эрль, например, разделяет текст в месте переноса на другую страницу, между 3 и 4 строфами (см. публикацию «второй половины» стихотворения со слов «В руке моей осколок римской башни...»: *Вагинов К. Неопубликованное и малоизвестное / Вступит. ст. и публ. Т. Л. Никольской*, подг. текста В. И. Эрля // *Звезда*. 1992. № 2. С. 170). Между тем каждое новое стихотворение в сборнике начиналось с середины страницы. Если же оно не помещалось на ней, то продолжалось на следующей странице в верхнем поле. Именно так и расположено данное стихотворение в нашем машинописном сборнике. В то же время совершенно непонятными остаются мотивы Л. Черткова, который «разбивает» его в другом месте, между 4 и 5 строфами (см.: *Вагинов К. К. Собр. стихотворений*. Munchen, 1982. С. 77—78).

«С Антиохией в пальце шел по улице...» — вошло в наборную рукопись книги Вагинова «Петербургские ночи» (1922). Опубликовано в кн.: *Вагинов К. К. Собр. стихотворений* С. 45. Ср. с другим стихотворением из «Петербургских ночей», посвященным Вере Лурье: «Каждый палец мой — исчезнувший город, / А ладонь — океан тоски. / Оттого, может быть, мне дороги / Руки твои» (цит. по наборной рукописи из собрания М. С. Лесмана; впервые в искаженном виде опубли. в кн.: *Вагинов К. К. Собр. стихотворений*. С. 47). Оба стихотворения стоят в одном ряду со многими другими произведениями Вагинова, отражающими представление о человеческом теле, как микрокосмосе, в котором буквально воспроизведены атрибуты прошедших эпох. Заслуживает внимания остроумная гипотеза В. И. Эрля, согласно которой семантика образа пальца у Вагинова связана с техникой употребления кокаина. *Антиохия* — город на Ближнем Востоке, центр раннего христианства. *Геката* — в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений и чародейства, к ней обращались за помощью, совершая магические действия; является также лунной богиней, подобной Селене (поэтому можно предположить, что «взгляд Гекаты» — лунный луч). *Арап* — своего рода демон вагиновской мифологии, близок по семантике хаотической стихии. Ср. в цикле «Путешествие в Хаос»: «Хаос — арап с глухих окраин / Карты держит, как человеческий сын» (*Вагинов К. «Тает маятник, умолкает...» // Вагинов К. Путешествие в Хаос*. Пб., 1921. С. 16). В таком контексте соотносится с космологическими представлениями древних греков об эфиопах (опаленноликих) — людях, живущих на краю земного диска, у самого Океана, и потому близких Хаосу (также как и гипербореи).

С. Колбасьев

«Смерть» — аллюзия на стихотворение Гумилева «Птица» (1912; указано М. Д. Эльзоном). Стихотворение является откликом на смерть Гумилева, об этом свидетельствуют его содержание и дата.

«В вагоне» — под названием «Вагон» и без посвящения опубли. в кн.: *Островитяне* I. Декабрь 1921 год. Пб., [1922]. С. 17—18. *О. Н. Кобозева* — неустановленное лицо. *Через полчаса на Венере, / Если не лопнеш в пути* — парафраза заключительных строк стихотворения Гумилева «Путешествие в Китай» (1910; указано М. Д. Эльзоном), а также, возможно, намек на его стихотворение «На далекой звезде Венере...».

Н. Тихонов

«Конец путешествия» — вариант 3 строки в экз. Харджиева: «Где же гора? Нигде не вижу горы я».

«Медиум» — в другой редакции вошло в кн.: *Тихонов Н. Орда*. Пб., 1922. С. 57—58. В экз. Харджиева 9 строка имеет вариант: «В длинную яму легит без скрипа»; 19 строка — вариант: «Пыльно-белая бабочка бьется о стены,».

«Наследия» — в другой редакции под названием «Наследие» вошло в кн.: *Тихонов Н. Орда*. С. 40. В экз. Харджиева имеется тот же вариант названия «Наследие».

П. Волков

«Вступление в планетарную оперу» — в экз. Харджиева имеются незначительные различия. Использованы отдельные мотивы стихотворения Волкова «Уж ты горюшко, соломенная доля...» (ЗР. С. 93—94). Известен и другой подобный опыт Волкова — поэма «Первое отречение (Из симфонии)» (Альманах Цеха Поэтов. Пг., 1921. Кн. 2. С. 43—45).



В. П. Крючков

**«МАСТЕР И МАРГАРИТА» И «БОЖЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ»:  
К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЭПИЛОГА РОМАНА М. БУЛГАКОВА**Луна властвует и играет,  
луна танцует и шалит.М. Булгаков.  
Мастер и Маргарита

Роль литературных реминисценций и аллюзий в романе «Мастер и Маргарита» чрезвычайно велика, а круг произведений отечественной и мировой классики, привлекаемых для сопоставления, широк и многообразен: от «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (М. Чудакова) до «Божественной комедии» Данте (И. Бэлза, М. Чудакова).<sup>1</sup> Обращение к Данте представляется особенно оправданным и плодотворным. Дантовские реминисценции в романе носят последовательный характер, на что первым обратил внимание И. Бэлза в статье «Дантовская концепция „Мастера и Маргариты“». Однако ныне необходим иной угол зрения на эстетическое освоение Дантовой космологии Булгаковым, и он, по нашему мнению, заключается в актуализации иного характера связи романа М. Булгакова и «Божественной комедии»: связи не только по принципу притяжения, но прежде всего по принципу «притяжения — отталкивания», «утверждения — отрицания», эстетической игры. Т. е. можно утверждать, что булгаковский роман полемичен по отношению к «Божественной комедии» и той философско-поэтической традиции, которую она представляет.

«Мастер и Маргарита» — роман трагический и в то же время фарсовый, с ярко выраженным ироническим, игровым началом в современных главах и в Эпиллоге.

Особенно важен для уяснения художественного своеобразия, для более точного жанрового определения романа Эпиллог, который невозможно более или менее верно понять вне дантовского, на наш взгляд, интерпретирующего контекста. В Эпиллоге Ивану Николаевичу Поныреву, ставшему профессором истории, раз в месяц, в полнолуние, снится один и тот же сон: «является непомерной красоты женщина», выводит к Ивану за руку «пугливо озирающегося обросшего бородой человека» «и уходит вместе со своим спутником к луне».

В рукописной же редакции роман заканчивался иначе: «Мастер одной рукой прижал к себе подругу и погнал шпорами коня к луне, к которой только что улетел прощенный в ночь воскресения пятый прокуратор Иудеи».<sup>2</sup> Окончательный вариант финала, как мы видим, приобретает иной характер — загадочный, амбивалентный. Изменение было неожиданным и для Елены Сергеевны Булгаковой, жены писателя: «Мне так нравились последние слова романа! — говорила она. — Я не понимала, зачем что-то добавлять после них».<sup>3</sup>

Действительно, Эпиллог кажется немотивированным, а символика, и в первую очередь символика луны, — непонятной. В последних работах о Булгакове символика луны и лунного света в финале романа получила следующее объяснение: «...один из главных символов в романе М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“ — луна, символ вечной, духовной жизни. Луна становится как бы индикатором,

<sup>1</sup> 1) Чудакова М. О. Евгений Онегин, Воланд и Мастер // Возвращенные имена русской литературы: Аспекты поэтики, эстетики, философии: Межвуз. сб. / Отв. ред. В. И. Немцев. Самара, 1994. С. 5—10; 2) «И книги, книги...» // «Они питали мою музу»: Книги о жизни и творчестве писателей. М., 1986. С. 219—247; Бэлза И. Ф. Дантовская концепция «Мастера и Маргариты» // Дантовские чтения. 1987. М., 1989. С. 58—90.

<sup>2</sup> Чудакова М. О. Жизнеописание Михаила Булгакова. М., 1988. С. 450.

<sup>3</sup> Там же. С. 463. Одновременно с Эпиллогом была продиктована та страница романа, где появляется Левий Матвей с окончательным решением судьбы Мастера — с просьбой наградить его покоем.

выявляющим сущность героев, понимание (или непонимание) ими вечных истин. Поэтому способность героев увидеть истинный свет (а символ его — свет луны) является критерием авторского отношения к ним».<sup>4</sup>

Вряд ли можно согласиться с утверждением, что луна является лишь «символом вечной, духовной жизни» в романе. Это противоречит логике романа и литературно-мифологической символике луны. Исследователи мифологии характеризуют луну прежде всего как «мифологический символ, используемый при гаданиях, в магических обрядах и т. п. (традиция, продолженная в западноевропейском искусстве от романтизма и постромантизма, вплоть до символизма...)», с «луной связывались разные теории в астрологии и демонологии».<sup>5</sup>

Символика луны на протяжении романа не остается неизменной. Критики писали о луне как о тревожном предвестии гибели и средстве катартического разрешения финала;<sup>6</sup> Н. П. Утехин сожалел, что за рамками исследований остались «праздничная ночь новолуния» и колдовской «обманчивый лунный свет».<sup>7</sup> Помочь расшифровать колдовскую, обманчивую символику луны в финале романа может также «Божественная комедия».

Новый финал романа М. А. Булгакова содержит явную параллель с 3-й частью «Божественной комедии» — «Рай». В Раю путеводительницей Данте является женщина необыкновенной красоты — его возлюбленная Беатриче, которая утрачивает свою земную сущность и становится символом высшей божественной мудрости. В Раю, в его центре — Эмпирее (эмпирей в переводе с греческого значит «огненный») струятся потоки лучезарного света, исходящие из ослепительной Точки. В Эмпирее живут Бог, ангелы и блаженные души.

В Эпilogue булгаковского романа мы встречаем многое из того, что было у Данте: в романе есть женщина «непомерной красоты» — Маргарита, есть ведомый к свету — Мастер, есть свет, потоки света. Но все это представлено в странном виде и является как бы противоположным, зеркальным отражением финала Дантовой поэмы.

Булгаковская «Беатриче» — Маргарита — женщина «непомерной красоты». «Непомерной» — в словарном значении «чрезмерной». Избыточность, чрезмерность красоты настораживает, воспринимается как неестественная, ассоциируется с демоническим, сатанинским началом. Мы помним, что в свое время Маргариту преобразил крем Азazelло. Проводя параллель между Маргаритой М. Булгакова и Беатриче Данте, М. Л. Андреев формулирует: «Начавшись ангелом, классическая литература заканчивается ведьмой».<sup>8</sup> Но ведь, если вдуматься, эта констатация должна служить формулой, выражающей различие двух моделей, двух концепций: начала классической традиции у Данте и завершения ее у Булгакова. В чем это различие заключается, мы попытаемся далее показать.

В Эпilogue булгаковского романа главный герой тоже восходит к свету, но образ Мастера, «пугливо озирающегося обросшего бородой человека», также сниженный, даже безобразный в сравнении с жаждущим мудрости Данте в «Божественной комедии». Иначе и не могло быть, ведь путь Данте — это путь нравственно-религиозного прозрения, путь Мастера — это путь творческого, художнического подвига, но не христианского просветления («не заслужил света»).

<sup>4</sup> Бессонова М. И. Символ луны как форма выражения образа автора в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» // Межд. юбилейная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения акад. В. В. Виноградова. Тезисы докладов. М., 1995. С. 260.

<sup>5</sup> Мифы народов мира. М., 1992. С. 80, 79.

<sup>6</sup> Бэлза И. Ф. Генеалогия «Мастера и Маргариты» // Контекст-1978. М., 1978. С. 244.

<sup>7</sup> Утехин Н. П. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова (об источниках действительных и мнимых) // Русская литература. 1979. № 4. С. 108.

<sup>8</sup> Андреев М. Л. Беатриче Данте и Маргарита Булгакова // Дантовские чтения. 1990. М., 1993. С. 154.

Далее. Свет в романе, в отличие от «Божественной комедии», лунный, явно не свет божественной мудрости и высшей истины. Лунный свет в романе связан с Воландом, ср., например, характерную деталь: «Тогда черный Воланд, не разбирая никакой дороги, кинулся в провал, и вслед за ним, шумя, обрушилась его свита. Ни скал, ни площадки, ни лунной дороги, ни Ершалаима не стало вокруг». Исчез Воланд — исчезла лунная дорога. Именно в потоке лунного света «складывается непомерной красоты женщина». Это шалости луны, шутки Воланда (при всей его нетрадиционности в романе): «Луна властвует и играет, луна танцует и шалит». В то же время символика лунного света у Булгакова неоднозначна. По Данте, Луна, сфера Луны — это первое небо Рая. В сфере Луны Данте встречает духов любви, которым скорее место в Чистилище. Это те, кто дал обет безбрачия, но нарушил его не по своей воле. Шествие к луне может быть интерпретировано как шествие героев-любowników к первому небу Рая, как возможность полного прозрения и очищения в трансцендентном мире, реализованная, однако, в Эпилоге не без сомнения и иронии.

Обращаясь к структурному аспекту сюжетной линии Маргариты и Мастера, М. Л. Андреев в статье «Беатриче Данте и Маргарита Булгакова» не без основания утверждает, что линия Мастера и его возлюбленной «складывается во вполне твердо очерченную „дантовскую” ситуацию, которая к тому же и развивается по дантовской модели», и «Мастер с Маргаритой обретают вечный приют в булгаковском Лимбе, царстве не света, но покоя».<sup>9</sup>

Однако необходимо отметить, что содержание этих двух моделей не тождественно не только потому, что в одном случае герою открывается свет, а в другом «он не заслужил света, он заслужил покой» (Левий Матвей). Сама реальность «покоя» оказывается под сомнением, в частности, потому, что структурное сходство, сходство ситуаций «герой и его возлюбленная» у Булгакова и у Данте носит *внешний* характер, но не «внутренний». Нельзя оставлять без внимания форму повествования в том и другом произведении: если в «Божественной комедии» повествование носит «достоверный» характер, ведется от лица автора-героя и возможность коррекции его точки зрения не предусмотрена, то в финале булгаковского романа повествование как бы двойится и даже тройится. Форма повествования — разделение голосов автора и его персонажей — приобретает у Булгакова содержательное, концептуальное значение:

1) «покой» обещан Воландом и дан в восприятии Маргариты. И он слишком прекрасен и литературен в философско-ироническом, фантазмагорическом романе, чтобы его можно было принять всерьез;

2) шествие к луне дано в сне Ивана Николаевича. И сам сон его носит болезненный, бредовый характер: смутные полнолунные грезы являются к Ивану Николаевичу после успокоительного укола («ампула с жидкостью густого чайного цвета»). Сон заведомо неоднозначен;

3) утверждение же о потухающей памяти и о бездне (см. финал 32-й главы) — это утверждение автора. Характер повествования в последнем абзаце последней главы объективирован, речь автора, вступающего в свои права после Маргариты, четко обозначена и лексически, и интонационно: «Так говорила Маргарита...». Тем самым последнее слово остается за автором, знающим больше, чем его герои, скептически настроенным к «свету» и даже к «покою» и отказывающимся, в противоположность Данте, давать завершённую картину мира и патетический финал. От финальной фразы романа (речь идет о 32-й главе) веет холодом небытия, как бы отменяющего умиротворенность «покоя». В финале говорится о Пилате и Мастере, идущем по пути своего героя. Напомним, что прокуратор был язычником и к истинному свету причастен быть не мог. «Этот герой ушел в *бездну* (курсив

<sup>9</sup> Там же.

мой. — В. К.), прощенный в ночь на воскресенье сын короля-звездочета, жестокий пятый прокуратор Иудеи, всадник Понтий Пилат». Мотив бездны, безвозвратности, придающий финалу патетическую двойственность, появился в последней редакции романа. Булгаков последовательно шел к неоднозначному игровому Эпilogу, являющемуся логическим завершением всего романа.

И. Бэлза считает, что философская концепция Булгакова восходит «к зашифрованной доктрине „Божественной комедии“». <sup>10</sup> Может быть, правильнее было бы сказать: *дантовская концепция и модель мира, а также патетический финал «Божественной комедии» являются предметом эстетической игры М. Булгакова в романе «Мастер и Маргарита».*

Идея игрового начала, преобладания философской иронии в булгаковском романе уже была заявлена. Представляется очень плодотворной мысль А. П. Казаркина о ведущем характере философской иронии в романе, которая «предполагает постоянное опровержение взглядов и дел героев, а главное — остранение привычного мировоззрения: доказательство его односторонности, недостаточности или ненормальности». <sup>11</sup> «Божественная комедия» и философско-религиозный поэтический контекст, ею представляемый, вовлекаются в зону действия иронии, причем это касается и таких понятий, как «покой», «свет». Правомерно также говорить о том, что это качество романа М. Булгакова находится в русле известной тенденции искусства XX века — секуляризации евангельских образов и мотивов, «демистификации» культуры.

Говоря о позиции Булгакова-художника, О. Запальская писала: «В произведении „Мастер и Маргарита“ автор выступает с позиции „чистого художника“, воспроизводящего мир как своего рода театр». <sup>12</sup> Таким образом О. Запальская оправдывает М. Булгакова, отказываясь утверждать, что писатель «совершил свой выбор в ином направлении», нежели христианское. Она считает невероятным, чтобы сын профессора духовной академии изменил христианской традиции. Но идея «отвлеченной художественной игры» поддержки не получила, была опротестована. Т. Г. Юрченко в своем обзоре русской критики за рубежом утверждает: «Для настоящего художника, а Булгаков был им, нравственный выбор всегда принципиален; не идущий до конца в этом выборе „чистый художник“ — такая же фикция, как и чисто художественная истина; если — „чистый“, то — не художник». <sup>13</sup>

Создается впечатление, что критики говорят не совсем об одном и том же. Одно дело — нравственный выбор Мастера, его подвиг художника, они для Булгакова сомнению не подлежат, хотя все-таки оцениваются автором не так высоко, как жертвенный подвиг Иешуа. И другое дело — посмертная судьба Мастера в трансцендентном мире, призрачном, неизвестном. В пределах этого мира, т. е. за пределами мира земного, автор отказывается утверждать что-либо намерное, давая скептический амбивалентный финал вместо торжественно-патетического у Данте. Можно утверждать, что само понятие «света» («рая») в этом романе Булгакова, как и в «Белой гвардии» (вспомним райский сон Алексея Турбина), трактуется не в христианской ортодоксальной традиции. Е. С. Булгакова свидетельствует: «Ве-

<sup>10</sup> Бэлза И. Ф. Дантовская концепция «Мастера и Маргариты». С. 58.

<sup>11</sup> См.: Казаркин А. П. Истолкование литературного произведения (Вокруг «Мастера и Маргариты» М. Булгакова). Кемерово, 1988. С. 51. Мысль о всепронизывающей философской иронии в романе М. Булгакова соседствует с жанровым определением романа (подтверждая его жанровый синтетизм) как мениппеи, данным А. Вулисом и развернутым И. С. Приходько в статье «Традиции западноевропейской мениппеи в романе М. А. Булгакова „Мастер и Маргарита“». См. сб. «Замысел и его художественное воплощение в произведениях советских писателей» (Владимир, 1979. С. 41—67).

<sup>12</sup> Запальская О. Выбор и покой // Выбор. М., 1988. № 3. С. 360.

<sup>13</sup> Юрченко Т. Г. Булгаков в русской критике за рубежом // Михаил Булгаков: Современные толкования. К 100-летию со дня рождения. 1891—1991. М., 1991. С. 99.

рил ли он? Верил, но, конечно, не по-церковному, а по-своему. Во всяком случае, в последнее время, когда болел, верил — за это я могу поручиться».<sup>14</sup>

Если Булгаков в конце жизни был верующим человеком, то ему, кажется, можно посочувствовать: долг христианина должен был вступить в противоречие с невозможностью его в романе реализовать, вступал в противоречие с логикой романа. Действительно, для писателя-христианина такой роман, как «Мастер и Маргарита» («Евангелие от Воланда»), с таким двусмысленным, если не сказать кощунственным, игровым финалом — опасная игра. Думаю, М. Булгакова это не могло не беспокоить. Вспомним Коровьева—Фагота, в последней главе романа предстоящего в своем истинном обличье темно-фиолетового рыцаря с мрачнейшим и никогда не улыбающимся лицом. На вопрос Маргариты Воланд отвечает: «Рыцарь этот когда-то неудачно пошутил... его каламбур, который он сочинил, разговаривая о свете и тьме (I), был не совсем хорош. И рыцарю пришлось после этого прошутить немного больше и дольше, нежели он предполагал». Но теперь «рыцарь свой счет оплатил и закрыл». О «шутке» темно-фиолетового рыцаря мы можем только догадываться. И. Л. Галинская, например, объясняет этот образ альбигойскими ассоциациями, видит в нем анонимного автора «Песни об альбигойском походе».<sup>15</sup> Л. М. Яновская связывает происхождение загадочного рыцаря с «Шестикрылым Серафимом» (или «Азраилом») М. Врубеля, картину которого М. Булгаков мог видеть в Ленинграде в 1933 году. Фиолетовый рыцарь впервые появился в рукописях Булгакова в 1934 году и, по мнению исследовательницы, стал для автора духом ночи, вечным спутником Воланда.<sup>16</sup>

«Шутка» темно-фиолетового рыцаря — вне сюжета, за рамками романа. Л. М. Яновская придерживается того мнения, что «каламбур Коровьева, намеченный, но так и не сложившийся окончательно, — след незаконченности романа».<sup>17</sup> Вряд ли это так. Во-первых, потому, что загадочный рыцарь, появившийся в черновиках еще в 1934 году, вполне мог быть автором при необходимости расшифрован, а во-вторых, Булгаков намеренно шел к «приподнятому финалу»,<sup>18</sup> но в то же время неоднозначному. Словом, необходим код для расшифровки этого образа.

Как известно, в своей художественно-философской модели вселенной Данте определил место и для себя: он отнес себя к гордецам, очищение которых происходит в Чистилище. По Данте, гордость, гордыня, выражающаяся, в частности, в стремлении к полному знанию — это и порок, но и качество, достойное уважения. Не имеем ли мы дело с аналогичной ситуацией в «Мастере и Маргарите», намеренно зашифрованной? Роман с его двойственным, скорее сатанинским финалом — это и есть каламбур на тему «света» и «тьмы». В рыцаре, не имеющем имени, с мрачнейшим лицом, никогда не улыбающимся, вероятно, имеющим земное прошлое («неудачно пошутил»), не угадывается ли нечто сокровенное, близкое самому автору романа-шутки — романа-комедии, «божественной комедии» XX века?

<sup>14</sup> Лакшин В. Я. Мир Михаила Булгакова // Булгаков М. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989. Т. 1. С. 65.

<sup>15</sup> Галинская И. Л. Загадки известных книг. М., 1986. С. 105.

<sup>16</sup> Яновская Л. М. Треугольник Воланда и Фиолетовый рыцарь: о тайнах романа «Мастер и Маргарита» // Таллин. 1987. № 4. С. 108.

<sup>17</sup> Там же. С. 107.

<sup>18</sup> М. А. Булгаков в письме Елене Сергеевне от 15 июня 1938 года писал о своем романе: «Суд свой над этой вещью я уже завершил, и, если удастся еще немного приподнять конец...» (цит. по: Яновская Л. М. Указ. соч. С. 107).

## ЖИВОЕ НАСЛЕДИЕ УЧЕНОГО

(К СТОЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ЯКОВЛЕВИЧА ПРОППА)

Сто лет — дата особенная, в чем-то определяющая для посмертной судьбы ученого ли, писателя, художника: уже остыли страсти, некогда кипевшие вокруг живого, слетело все наносное, отстоялось и упорядочилось творческое наследие, приобрел законченные формы облик личности, определилось его место в истории культуры.

Владимир Яковлевич Пропп ушел от нас 25 лет назад. Давно уже стали историей и получили достойную оценку бесконечные нападки на ученого со стороны догматической критики, коллективные проработки, сопровождавшиеся набором обвинений — в формализме, идеализме и т. п.

Уже при жизни к нему пришла слава: его «Морфология сказки» (1928) пережила второе рождение, была переведена на многие языки, нашла подражателей и продолжателей, а автор ее единодушно был признан одним из основоположников структурно-типологического метода в изучении нарративных текстов. Освоение и осмысление трудов В. Я. Проппа за рубежом продолжается, выходят переводы других его книг. В Японии, например, изданы почти все сочинения ученого.

Научное наследие В. Я. Проппа, можно сказать, полностью нам известно. Его составляют шесть монографий: «Морфология сказки» (2-е изд. — 1969), «Исторические корни волшебной сказки» (1946; 2-е изд., посмертное, — 1986), «Русский героический эпос» (1955; 2-е изд., дополненное, — 1958), «Русские аграрные праздники: опыт историко-этнографического исследования» (1963), изданные посмертно «Проблемы комизма и смеха» (1976) и «Русская сказка» (1984); две крупные антологии: «Былины в двух томах» (1958, совместно с автором этих строк) и «Народные лирические песни» (1961); цикл статей по сказкам, эпосу и теории и поэтике фольклора (большая часть их издана посмертно в сборнике «Фольклор и действительность» — 1976). В архиве ученого (рукописный отдел ИРЛИ, фонд 721) есть материал, который представляет безусловный интерес для науки и будет опубликован.

Скажу с полной убежденностью: в перечисленном наследии В. Я. Проппа нет почти ничего такого, что сохраняло бы лишь историографическую или биографическую ценность. Разумеется, есть положения устаревшие, требующие пересмотра, есть спорные высказывания, есть то, что стоит отнести на счет времени, когда работал ученый. Время это для нас уже «другое», и мы стремительно удаляемся от него, расставаясь с его стереотипами, предрассудками и ложными понятиями. И при всем том наследие В. Я. Проппа остается живым, активно действующим: его книги — на наших столах, его идеи продолжают питать современную фольклористику, его методы и подходы по-прежнему актуальны и продуктивны. Остается живым непосредственное воздействие В. Я. Проппа на несколько поколений здравствующих и действующих ученых. В. Я. Пропп полностью развернулся как *учитель* в 50—60-е годы: его университетские лекции, спецкурсы и спецсеминары по русскому фольклору, по сказке, эпосу, исторической песне, обрядовому фольклору составили блестящую страницу в истории вузовского преподавания фольклора. Несколько поколений ленинградских студентов прошло через эту школу — и среди

тех, кто усвоил его уроки, не только будущие фольклористы, но и будущие историки литературы, лингвисты, этнографы, поэты, учителя, деятели культуры.

Школа Проппа — это, конечно же, прежде всего его аспиранты, которых он пестовал внимательно и строго. Большинство их сегодня — маститые ученые; назову здесь А. А. Горелова, В. И. Еремину, Ю. И. Юдина, И. П. Лупанову, Н. А. Криничную, И. И. Земцовского, А. Ф. Некрылову, А. Н. Мартынову, М. П. Чередникову, Л. М. Ивлеву, К. Е. Корепову, О. Н. Гречину... К ним надо добавить тех, кто формально учениками считаться не могут, не слушали его лекций и не были его аспирантами, тем не менее с полным основанием числят В. Я. Проппа среди своих учителей: Е. М. Мелетинского, Б. Н. Путилова, С. Ю. Неклюдова, Е. С. Новик, П. А. Гринцера, Г. Л. Пермякова... И этот далеко не исчерпывающий список позволяет без преувеличения утверждать, что в современной отечественной фольклористике школе В. Я. Проппа (в широком ее понимании) принадлежит господствующее место. Нетрудно заметить, что ее составляют ученые разных интересов, пристрастий, стилей. И это, в частности, потому, что В. Я. Пропп был учителем необыкновенным: никогда он не подавлял учеников и последователей своим авторитетом, не стремился подчинить своим взглядам, но пробуждал и поощрял самостоятельность мыслей и позиций, ожидал не подражания, но собственных творческих поисков. Он давал крылья, которые позволяли каждому лететь своим путем. Помимо собственно научных заветов и традиций в сознании и в памяти его учеников и последователей сохраняются и поддерживаются принципы, составлявшие нравственный кодекс Учителя.

Труды В. Я. Проппа в главной своей совокупности — это корпус исследований русского классического фольклора. В смысле широты охвата (жанрового, сюжетного, тематического) его творчество не знает себе равных в истории русской науки. Сказки, былины, исторические песни, баллады, обрядовый фольклор, народная лирика — т. е. почти весь основной жанровый фонд русской народной словесности получил в работах В. Я. Проппа монографическое освещение. Что особенно существенно, ему удалось объединить разработку проблем генезиса, содержания и поэтики жанров, чего, пожалуй, до него никому сделать не удалось. В. Я. Проппу принадлежит заслуга открытия определяющей роли *структуры*, которой, по его убеждению, обладает каждый жанр традиционного фольклора и обнаружение и исследование которой должно лежать в основе (и в начале) генетического, исторического и функционального изучения жанров. В. Я. Пропп как-то признался, что ему свойственна «несчастливая способность» — «видеть форму». Это означало — видеть одновременно и структуру, и ее красоту. Увлеченно занимаясь анализом структуры — будь то волшебная сказка, былина или обрядовая песня, — он открывал мир прекрасного, в этой структуре заложенного. Отсюда особенная тональность, особенный эмоциональный настрой некоторых страниц его книг и статей: оставаясь строгим аналитиком, систематизатором, он не боялся дать волю своему восхищению поэтической красотой открывшегося ему художественного явления и как бы звал читателя пережить вместе с ним это эстетическое волнение. В то же время, как никто другой, В. Я. Пропп обладал способностью обнаруживать генетические корни и семантическую наполненность жанровой структуры и в исторически сложившихся сюжетах, мотивах, образах фольклорных произведений видеть их связь с традицией, их преемственность по отношению к традиции. В беседах и устных выступлениях он постоянно подчеркивал, как важно для фольклориста владеть «чутьем» на традицию, на архаику — без него невозможно понять анализируемые тексты.

Здесь как раз впору сказать, что В. Я. Пропп по ходу своих занятий жанрами народной словесности (преимущественно русской) разработал собственную оригинальную концепцию фольклора как феномена художественной культуры. Он не мог удовлетвориться той концепцией, какая сложилась в советской науке к началу

30-х годов и считалась почти что официальной, во всяком случае излагалась в учебниках, вузовских курсах, разделялась большинством. Правда, в одном отношении В. Я. Пропп не противоречил ей: под фольклором он понимал творчество народных низов, т. е. ограничивал его в социальном плане; он также склонен был трактовать фольклор как словесное художественное творчество (в наши дни оба эти ограничения подвергаются принципиальному пересмотру: мы готовы теперь рассматривать фольклор как универсальное, не знающее социальных, профессиональных и иных границ явление традиционной культуры, отнюдь не замыкающееся в рамках искусства).

Главное же, что выделяло Проппа, — это его убеждение в глубокой специфичности фольклора, которая находит свое выражение не в каких-то внешних признаках, но в самом существенном — в законах его создания, исторического развития, функционирования, в его социальной роли, в его отношении к действительности. В. Я. Пропп считал принципиально важным разграничить по этим признакам фольклор и литературу, хотя вовсе не воздвигал между ними стены. Признавая важность филологического подхода к анализу фольклорных явлений, В. Я. Пропп настаивал на том, что у фольклористики есть свои методы и задачи, свой предмет, и потому она, пользуясь достижениями литературоведения, не может в то же время оставаться в его рамках.

Основное расхождение обозначалось в вопросе о том, *как* рождается фольклорное произведение. В статье «Специфика фольклора» (1946) он писал: «Воспитанные в школе литературоведческих традиций, мы часто еще не можем себе представить, чтобы поэтическое произведение могло возникнуть иначе, чем возникает литературное произведение при индивидуальном творчестве. Нам все кажется, что кто-то его должен был сочинить или сложить первый. Между тем возможны совершенно иные способы возникновения поэтических произведений, и изучение их составляет одну из основных и весьма сложных проблем фольклористики... Генетически фольклор должен быть сближаем не с литературой, а с языком, который также никем не выдуман и не имеет ни автора, ни авторов. Он возникает и изменяется совершенно закономерно и независимо от воли людей везде там, где для этого в историческом развитии народов создались соответствующие условия».<sup>1</sup> Исходя из этого базового положения, которое и до сих пор кажется многим парадоксальным и далеко не у всех встречает понимание и поддержку, В. Я. Пропп дал свое истолкование таким специфическим особенностям фольклора, как устность, изменяемость, вариативность, жанровая дифференциация, явление всемирного сходства.<sup>2</sup>

Особенный интерес представляют и сохраняют свою актуальность размышления ученого об отношении фольклора и действительности. Догматическая марксистская теория требовала искать в фольклоре прямое отражение народной жизни, реалии быта, классовой борьбы и т. д. В фольклористике тех лет нередко провозглашались идеи реализма в фольклоре, на первый план выдвигались (или искусственно находились) разного рода реалии — бытовые, психологические и т. д. В. Я. Пропп противопоставил этим конъюнктурным и вульгаризаторским опытам принцип строго дифференцированного подхода к явлениям фольклора с обязательным учетом их жанровой специфики. Для целого ряда классических жанров — сказок, былин и др. — он показал решающую роль условности, фантастики, художественного вымысла, исключаяющего внешнее правдоподобие и эмпирику жизни как сердцевину содержания. Методологическое значение имела критика позиций исторической школы В. Я. Проппом, доказавшим, что былины возникают не из

<sup>1</sup> Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избр. статьи. М., 1976. С. 21—22.

<sup>2</sup> См. там же статьи «Принципы классификации фольклорных жанров» и «Жанровый состав русского фольклора».



исторических песен конкретно-исторического содержания и не отражают каких-то конкретных событий, но изначально представляют собою эпическое воспроизведение истории в формах вымышленных сюжетов и образов путем трансформации предшествующей архаической эпике. При этом В. Я. Пропп показал, что эти особенности эпоса вовсе не лишают его исторического содержания и смысла, только и то и другое надо понимать сообразно с характером жанра и, главное, с характером исторического сознания народа. Что касается фольклора в целом, то, с точки зрения В. Я. Проппа, стремление «изображать реальную действительность» — это тенденция, которая появляется в фольклоре сравнительно поздно и постепенно пробивает себе дорогу.<sup>3</sup>

В. Я. Пропп оставил нам завет: искать связи фольклора, его сюжетов, мотивов, образов, поэтических элементов с действительностью не на поверхности текстов, не в отдельных реалиях, а в глубинном их содержании, в подтексте, во взаимодействии их с традицией, в способах и характере трансформаций этой традиции, в скрытых этнографических корнях. Именно В. Я. Проппу принадлежит великая заслуга — преодоление привычного поверхностного, иллюстративного прочтения фольклорных текстов и проникновение в их глубину. Здесь он продолжил и развил лучшие традиции отечественной и мировой науки о фольклоре, представленной трудами А. А. Потебни и А. Н. Веселовского, Дж. Фрэзера и Бр. Малиновского, но и внес свой значительный и характерный вклад, встав тем самым в ряд классиков фольклористики.

\* \* \*

Предлагаемый читателю этюд кажется неожиданным и необычным для творчества В. Я. Проппа. Он становится более понятным, если мы примем во внимание тот реальный контекст, в котором этот этюд возник и сохранился. Среди архивных материалов находится уникальный по-своему документ: «Дневник старости. 1962—196...» (ИРЛИ. Ф. 721. Оп. 1. Ед. хр. 189). Название дневника точно определяет его характер, сюжеттику, настрой, содержание записей. Вот несколько выдержек, позволяющих в какой-то мере приблизиться к пониманию того, что представляет собою дневник, и приоткрыть состояние души его владельца: «Моя жизнь вступает в свою последнюю фазу. Все дело теперь в том, чтобы эту фазу прожить достойно... В старости у меня делается обостренное восприятие и усиливается впечатлительность. Рецепция есть вид продуктивности. Если так, моя жизнь продуктивна, ибо я живу в мирах высокого».

Страницы «Дневника» удивительным образом передают «обостренное восприятие» Владимиром Яковлевичем жизни природы, различных ее состояний, перемен. Запись от 23 декабря 1967 года: «Солнцеворот. Горизонт светлый. Мороз. И на светлой полосе неба — радуга. Первый раз в жизни вижу радугу зимой. Смотрю как на мистерию. Любуюсь. Хватает за самые глубины». 2 января 1968 года: «Сегодня небо молочно-серое, но если смотреть внимательно, то на краях оно розовеет, так слабо, что сперва ничего не видно, и только всмотревшись, открываешь красоту».

Столь же обостренно восприятие жизни, текущих дней и прошлого: «Я вижу все не так, как видел раньше. Нет великих и малых событий: есть события только великие». О работе над переизданием «Морфологии сказки»: «Было 4 месяца счастья умственной деятельности. Были дни и часы подъема».

Неожиданный пассаж о далеком: «22 марта 1918 года был для меня одним из лучших в моей жизни. Была Пасха. Самая ранняя, какая может быть. Я смотрю на огни Исаакия с 7-го этажа лазарета в Новой Деревне.<sup>4</sup> Тогда я любил Ксению Н.

<sup>3</sup> См. там же статьи «Фольклор и действительность» и «Об историзме фольклора и методах его изучения».

<sup>4</sup> В. Я. Пропп служил братом милосердия.

Она ходила за ранеными. Было воскресение в природе, и моя душа воскресла от признания не только своего „я”. Где другой — там любовь... Я сквозь войну и любовь стал русским. Понял Россию».

И вот еще: «Круг моей жизни замыкается. Я вновь возвращаюсь к воздуху, которым я дышал в юности. Перечитываю Владимира Соловьева:

Земля-владычица, к тебе чело склонил я,  
И сквозь покров благоуханный твой  
Родного сердца пламень ощутил я,  
Улышал трепет жизни мировой.

Как волновали эти строки 50 лет назад, как забылись потом и как теперь опять составляют то, чем я живу.

Мир представляется мне озаренным...»

«Озаренный мир» — это в значительной мере мир художественных переживаний. Рядом со строчками из Владимира Соловьева — Врубель, русские храмы и иконы, любимые композиторы — Моцарт, Шуман, русские классики — Гоголь, Л. Толстой... Суждения автора «Дневника» нередко категоричны, иногда безжалостны, иногда, напротив, подчеркнуто возвышенны (о кижских церквях: «Можно плакать от счастья. Только люди *на земле* могли создать такое. Ни один город это не может»; о Врубеле: «Вдруг я увидел связь с глубинами народа»; о композиторах: «Искусство музыки кончилось с Шуманом... Под Шостаковича я скучаю. Ничего не могу с собой поделатъ. Не цепляет. А Моцарт — непрерывное счастье»; о литературе: «Я „высокомерен” по отношению к писателям, в буквальном смысле этого слова — меряю на высокую мерку. Это выдерживают самые великие писатели, и только их и стоит читать... Литература сильна тем, что вызывает острое чувство счастья... А счастье облагораживает, и в этом значение литературы...»).

Очевидно, что в авторе «Дневника» нет ничего от историка литературы, от ее исследователя. Он — *читатель*, меряющий прочитанное собственной «высокой меркой» и, конечно же, глубоко переживающий это чтение (как и слушание музыки, и рассматривание репродукций икон и храмов), соотносящий его со своим душевным миром «в последнюю фазу жизни». При всем том его суждения об искусстве, людях и произведениях искусства необычайно интересны и значительны.

В этом контексте стоит подходить и к этюду о Пушкине.

Имя Пушкина несколько раз появляется на страницах «Дневника». Пронзительная запись летом 1970 года, за несколько недель до смерти: «Купил для дачи однотомник Пушкина. Я не могу прожить недели, не прикоснувшись к Пушкину».

«Прикасаясь» к стихотворению «Жил на свете рыцарь бедный», Владимир Яковлевич выступает исследователем пушкинского текста, но исследователем оригинальным, мало чем напоминающим пушкинистов. Меньше всего мне хотелось бы противопоставлять В. Я. Проппа ученым, специально посвящающим свое творчество Пушкину, — просто хочется подчеркнуть непривычность его подхода. Он видит свою задачу в постижении «глубины и совершенства» стихотворения, в осознании его «сперва как эпического, потом как лирического».

В. Я. Пропп как бы использует свой обширный и эффективный опыт последовательного, неторопливого чтения былинных текстов — с обязательным подключением всех известных вариантов и разночтений, чтобы вникнуть в замысел, в содержание стихотворения в целом и в деталях. По ходу чтения он ставит вопросы, ему не все ясно, что-то он оставляет на будущее. Он не комментатор, но читатель, стремящийся понять текст во всей его глубине. Одна особенность чтения, однако, у В. Я. Проппа для него новая: в работе над былинами, как и над сказками и песнями, он оперировал на уровне сюжетов, мотивов, формул, «типических мест», фразовых отрезков. Фольклорный текст, как правило, не требует проникновения

в *отдельное слово*, поскольку в большинстве случаев оно может быть заменено рядом синонимов и текст не претерпит изменений; работа с пушкинским текстом потребовала именно самого пристального внимания к *каждому слову*. В этом смысле анализ «Рыцаря бедного» для Владимира Яковлевича — дело новое, непривычное. Читателю судить, как он справился с этой новой для него задачей. Я же ограничусь еще одним замечанием. В. Я. Пропп выступает в роли своеобразного критика пушкинского текста. Он не только хочет понять Пушкина — он преисполнен желания видеть пушкинский замысел в его совершеннейшем воплощении. Отсюда неожиданные замечания по поводу отдельных поправок поэта («видел он» — «значительно хуже»), но и «оправдания» других поправок («на дороге» вместо «на пути»), и всякий раз — потребность уяснить «изнутри», отчего поэт предпочел то или другое слово, отчего произвел замену. И главное — умение «критика» постигнуть через пушкинское слово или стих глубину смысла целого, красоту идеи и ее воплощения.

Я думаю, что этюд В. Я. Проппа о стихотворении «Жил на свете рыцарь бедный» вносит свой вклад в наше понимание этого произведения, не говоря уже о том, что он с новой стороны освещает нам личность ученого, чей столетний юбилей мы нынче отмечаем.

## ИЗ ДНЕВНИКА В. Я. ПРОППА

(ПУБЛИКАЦИЯ А. Н. МАРТЫНОВОЙ)

Личный фонд В. Я. Проппа хранится в рукописном отделе ИРЛИ (фонд 721) и содержит рукописи его научных работ и учебно-методических пособий, литературных трудов, документы к биографии, обширную переписку.

Среди материалов к биографии — дневник В. Я. Проппа последних девяти лет его жизни. На первой странице надпись «Дневник старости. 1962—196...» (ед. хр. 189) и изображение горящей свечи и перегоревшей, поникшей веточки над ней. Рукопись состоит из 165 страниц, записи велись в основном на русском языке, реже — на немецком. Владимир Яковлевич вел дневник нерегулярно, иногда заполнял страницы дневника каждый день, чаще — с большими перерывами.

Публикуемый фрагмент «Дневника старости» содержит анализ стихотворения А. С. Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный». В. Я. Пропп сопоставляет три редакции стихотворения: первую, предназначавшуюся к печати,<sup>1</sup> основную редакцию<sup>2</sup> и сокращенный вариант стихотворения, вошедший в неоконченную драму «Сцены из рыцарских времен».<sup>3</sup>

При подготовке рукописи к печати сохранен курсив автора, перевод латинских и немецкого текстов дан под строкой, авторские сокращения слов восстановлены в угловых скобках, редакторские сокращения текста отмечены многоточием в угловых скобках.

30.I.1965.

Пушкин. Медленно, медленно проникаю в эту великую душу. «На холмах Грузии»:

Печаль моя полна тобою,  
Тобой, одной тобой.

<sup>1</sup> Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. 2-е изд. М., 1957. Т. III. С. 462—464.

<sup>2</sup> Там же. С. 116—118.

<sup>3</sup> Там же. Т. V. С. 481—482.

Но в черновике было: «без надежд и без желаний». Любовь без желаний есть глубочайшая мужская любовь. Физическое общение без любви отвратительно мужчине. Пушкин любил святой любовью, как с детства этой любовью всегда любил Лермонтов. И такая любовь всегда бывает поругана изначально. Отсюда лермонтовский цинизм, скрывающий ту сторону души, которая создает колыбельную, у Пушкина — «Бедный рыцарь». Это — мужская трагедия. Она создает несбываемую мечту о непорочном зачатии, которая покорила мир. Я надумал сравнить три редакции «Бедного рыцаря» из слова в слово и продумать все. (...)

31.I.1965.

Я перепечатал параллельно все три редакции «Бедного рыцаря». Все стало видно. Я постигаю глубину и совершенство. Бонди<sup>4</sup> утверждает, что изменения внесены ради цензуры. Какая глупость! Он очень хорошо знает, в каком месте рукописи что стоит, и это нужно, и за это спасибо ему, но Пушкина он не читал. Читал как пушкинист. «На холмах Грузии» написано тогда, когда он, оторвавшись от своей великой любви и глубоко ее захоронив, уехал. И в поэзии, кроме этого стиха, нет следов этого. И это вызывает у меня самое глубокое и восторженное уважение. Свою святыню надо прятать от всех, даже от себя, а тем временем жить продуктивно.

31.I днем.

Передо мной три версии «Бедного рыцаря».

Я сперва сравню первую со второй безотносительно к тому, кто писал, без Пушкина. Потом изучу третью, потом все в целом относительно Пушкина. Т. е. буду сперва воспринимать их как эпическое, потом как лирическое.

Пушкин считал эту вещь эпической и назвал ее «легендой». Этим от отвел глаза: не о себе. Думаю, что эта вещь насквозь лирическая и фикция «легенды» есть дань особому пушкинскому целомудрию. Не о себе.

Стр(офа) 1. «Был» изменено на «жил». Он не просто *был*, он *жил*, в этом все дело.

Рыцарь «бедный» сохраняется во всех трех версиях. По первой строке можно думать, что «бедный» означает материальную бедность. Думаю, что это не так. Бедность здесь надо понимать в другом, высшем смысле, но и не в смысле жалости к нему. «Бедный» — отрешенный вообще от материального мира, как Франциск Ассизский проповедовал бедность. «Молчаливый как святой» переделано на «молчаливый и простой». Святость снята, потому что весь замысел — не о религиозном человеке, не о святом.

«Духом смелый и простой» — нехорошо, так как это совсем разные качества. Заменено через «смелый и прямой» — через одно качество в разных аспектах. Все три направления очень глубоки, профессионально удачны. Из святого сделан смелый и прямой рыцарь, с простой душой, отрешенный от мира, «молчаливый», «бедный».

Стр(офа) 2. Во всех трех версиях совершенно одинакова, выношенная заранее, центральная и важнейшая. Он имел *видение*. Здесь вспоминается: «Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты».

Последующие строки подтверждают эту догадку. Он увидел женщину во всем сиянии, во *внутреннем* блеске и свете.

Стр(офа) 3. Не понимаю, откуда Женева и почему. Надо спросить у пушкинистов или историков — маршруты крестовых походов. У креста он увидел Марию, Марию-деву. Это не икона. Сперва я думал, что речь идет об иконе на подорожном кресте. Нет, она сама явилась ему и для него из воздуха, она видение. Она без Христа на руках. Такое видение не неожиданно после первой строфы. «Молчали-

<sup>4</sup> Бонди С. Из пушкинских тетрадей. М., 1934. С. 105 и др.

вый» — ушедший в себя, в свой внутренний мир, этот внутренний мир проецируется наружу. Здесь начинается безумие.

«На пути» исправлено в «На дороге», ибо путь есть понятие абстрактное, а дорога — предмет, видимый глазами. Для этого пришлось ритмически ломать строку. Пушкин это сделал, из чего видно, что это исправление он считал важным. Но ломка обошлась дорого. Было «он увидел» — это совершенно точно соответствует всему событию. Стало «видел он», что значительно хуже. «Увидел» есть начинательный вид, «видел» — дезративный. Зато убрано «на пути».

Строфа 4. «Заснув душою» заменено через «сгорев». «Заснув» никак не подходит, так как он, наоборот; пробудился. Но и «сгорев» я не совсем понимаю. Он не сгорел, а зажегся, загорелся. Может быть, можно было бы сказать «горя». Но может быть, я и не понимаю Пушкина. «Сгорев» сохраняется и в третьей версии. Сгорев для всего земного? Что же он увидел? Он увидел такое воплощение женской красоты, чистоты, совершенства, по сравнению с которым все другие, т. е. земные, женщины перестают существовать. Это не религиозная экзальтация. Важно, что она является без Христа на руках. Если бы Пушкин хотел изобразить со Христом, он бы это сделал, как это сделано в стихотворении «Мадонна», где говорится: «Она с величием, он с разумом в очах».

Строфа 5. «Никогда не подымал» заменено через «с той поры не подымал» — что гораздо лучше, так как до этой встречи рыцарь, конечно, забрало подымал. Почему он теперь не подымает решетки? Чтобы не показывать своего лица? Но это не имеет никакого смысла. Это *символический* жест. Забрало спускают перед боем, идя на бой, во время своего воинского служения. Опущенное забрало есть знак служения, постоянного, всегдашнего своего служения той, кого он видел.

Теперь о четках. У меня они не вяжутся со всем образом бедного рыцаря. Четки служат для отсчитывания молитв. Но молящимся мы его себе не можем представить. Если четки носили только монахи (это нужно узнать), то четки — *знак обета*, т. е. имеют такое же символическое значение, как и всегда спущенное забрало. Что это так, видно по тому, что эпитет «святые» четки в новой редакции был убран. Они не святые. Святыми считались четки, привезенные из Иерусалима. Еще изменение. Сперва значилось: четки навязаны на грудь. Так всегда (или часто) носили четки, как это видно на картинах и скульптурах средневековья. Они с шеи свисали на грудь. Так четками можно пользоваться, держа руки на груди и перебирая их. Но во второй версии вместо «на грудь навязал» появилось «на шею привязал». Так пользоваться четками нельзя, тем более что они «*привязаны*» — неясно только, к чему. Итак, четки — только знак своего служения, своего *духовного* смирения, как спущенное забрало есть знак служения воинского. Слова «вместо шарфа» подсказывают, что служение здесь отнюдь не церковное.

6-я стр(офа). Об этом же говорит и следующая, 6-я строфа. Он весь ушел в свою *любовь*, и эта *любовь* и есть служение. В первой версии было «тлея девственной любовью». Но «*девственный*» не подходит к мужской любви. Это слово означает непорочность любви, но эпитет этот вызывает нежелательные ассоциации, и Пушкин заменяет: «полон верой и любовью». Слово «*девственной*» исчезает. Заменено и слово «тлея». Любовь рыцаря — не тление без огня, это, наоборот, пожирающий огонь. «Полон любовью» не выражает огня и принадлежности огню, но оно обозначает «полноту», наполненность, насыщенность, а огненность уже была дана выше: «сгорев душою».

Теперь замена, которую я не понимаю. Ave, sancta virgo<sup>5</sup> «святая дева» заменено через Mater Dei — Матерь Божья. Это не случайно, но смысла этого не понимаю; Мария является ему как *дева*, а не как *мать*, что видно из третьей строки «увидел... Марию Деву». Теперь мать. Возможно, что этим видение поднято

<sup>5</sup> Радуйся, святая дева (лат.).

на еще большую высоту. Эта дева (так в обеих версиях) есть вместе Мать Божья. Возможно, что так. Mater Dei сохранена и в третьей версии, и следовательно, Пушкин этим дорожил.

7-я строфа. Смысл ее состоит в том, что он не воздаст молитв ни Отцу, ни Сыну, ни Святому Духу. Резкое отграничение от церковной догмы. В первой версии было «*Петь псалмы*» Отцу и Сыну... не случилось паладину. Но псалмы даны в Псалтыри Давида — они не представляют молитв, и Пушкин заменяет «несть мольбы Отцу и Сыну», что гораздо яснее: рыцарь не молится ни Отцу, ни Сыну, ни Святому Духу.

Строфа 8. Кому же он молится? Об этом говорит 8-я строфа. Он проводит ночи перед ликом пресвятой. Но это не молитва, а *созерцание*. «Тихо слезы лья рекой» — может быть, самая прекрасная строка всего стихотворения. Это не слезы горя, а слезы счастья перед красотой. Впрочем, «страстные очи» заменены через «скорбны» очи. Слово «страстные» напоминает обычные человеческие страсти и здесь не вполне уместно. Но «скорбны очи» тоже не подходит. По-видимому, это означает не сущность, а *выражение глаз*.

Во второй версии последовательность строф изменена. В первой так: забрало и четки — любовь, надпись на щите — не молитва Отцу и Сыну — ночи перед ликом пресвятой. Во второй после забрала и четок сразу идет строфа о том, что он не молится Отцу и Сыну, потом — о ночах перед ее ликом, потом строфа о щите. Почему такие перестановки? Легко увидеть логичность второй версии, здесь противопоставление: он не молится Отцу и Сыну, а проводит ночи перед ликом пресвятой, и *потому* на щите написал ее имя. Это же дает переход к следующему: надпись на щите есть то, во имя чего рыцарь бросается в бой.

Строфы 9—10. «Мчались грозно ко врагам» заменено через «Встречу трепетным врагам». Замена несомненно неудачная. «Трепетный» у Пушкина имеет особое значение. «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». «Трепетный» должно означать «полный страха». Но оно не подходит к сарацинам, которые не знали страха. Это изменение в последней версии будет снято. Строка «Мчались грозно ко врагам» ритмически неудачна, —U // —U стопа соответствует слову, что создаёт какую-то разрубленность. «Мчаться ко врагам» тоже нехорошо. Предлог «ко» здесь не подходит. Нападают на. Все это объясняет, почему Пушкин произвел замену. Нехорошо также «именуя нежных дам». Я не знаю, чем нехорошо, но нехорошо. Немножко смешно. Пушкин отбрасывает этот эпитет. Рыцарь восклицает *Lumen coeli, sancta rosa*<sup>6</sup> во всех трех версиях, и, значит, это имеет какое-то особое значение. Почему *sancta rosa*, что значит «святая роза»? Инстинктивно понимаю, что роза есть символ любви, притом чувственной любви. Но надо узнать, нет ли тут следов розенкрейцерства. Вряд ли. Но соединение розы с небесным светом есть знак небесного освящения любви. Это — по-латыни, но это не церковный лозунг. С этим идет в бой. Идет в бой во имя любви. Что он кричит «всех громче», конечно, нехорошо. Сила не во внешней громкости, и поэтому заменено через «воскликнул в восторге» он.

11 (строфа). «Жил он *будто* заключен» исправлено в *строго* заключен. Иллюзия заключения заменена подлинным заключением, что усиливает значение. «Влюбленный» заменено через «безмолвный». Влюбленность не то же что любовь. Рыцарь не влюблен в Марию, а охвачен глубочайшей любовью. И опять ритм: вместо «и влюбленный и печальный» — «все безмолвный, все печальный» — темп замедляется, все усиливается.

12 (строфа). «С кончиной сражался» нехорошо потому, что только что была речь о сражении с мусульманами. Умирая, он не сражается. Насколько лучше «Между тем как он кончался». Вм(есто) «бес лукавый» теперь «дух лукавый».

<sup>6</sup> Свет небес, святая роза (лат.).

Опять ослаблено все, что касается церковной стихии и терминологии. Впрочем, бес дальше все же остался. Получается хорошо: дух, а этот дух есть бес. Идея: вся любовь рыцаря есть любовь греховная, что видно дальше. Так думает бес. Пушкину не нравится «утащить он в свой предел». «Утащить» звучит слегка вульгарно. Заменено на «сбирался бес тащить уж в свой предел». Ритмически строфа пострадала. Слово «уж» совсем недостойно Пушкина. Словесная затычка.

13 (строфа). Грех рыцаря в понимании лукавого духа: любовь к Божьей Матери внецерковная и нерелигиозная. И другое: не постился и не молился. Пушкин всюду подчеркивает этот внецерковный характер, внецерковный характер любви рыцаря.

14 (строфа). Конец напоминает Фауста: греховный человек осужден с точки зрения логики дьявола: *ist gerichtet*. И голос с неба: *ist gerettet*.<sup>7</sup> Пречистая принимает своего паладина в царство вечно. Рифма «сердечно» заменена словом «конечно». По-моему, и то и другое нехорошо. «Сердечно» напоминает «но муж любил ее сердечно». Пушкин убирает это, но «конечно» придает концу какой-то земной, обычный смысл — «Конечно!»

2. II. 1968.

Я думаю о Пушкине и его эротических стихах.

Любовь есть данное природой противоядие против нечистой, только животной сексуальности. Поэтому, если мужчина полноценен как человек, любимая женщина представляется чистой и святой.

Это именно переживал Пушкин в зрелые годы.

Такова есть любовь к невесте.

У Пушкина это достигает такой силы, к которой способен только очень значительный и глубокий человек: «гений чистой красоты», «тебя, моя Мадонна, чистейшей прелести чистейший образец».

В «Бедном рыцаре» сила эта так велика, что сексуальность исключается навсегда — это святость, доведенная до безумия.

Но природа осторожно сводит влюбленных, разъединенных чувством святости любви. Она доводит их до своих целей мягко и как бы любя. Тогда создается прочная семья, и материнство, и любимые дети. А потом в браке сексуальность опять начинает отступать, терять силу. Тогда появляется деятельная дружба и человеческая любовь. Так Пушкин всегда заботился о своей жене и своих детях, что видно по его письмам.

<sup>7</sup> Осужден. Спасен (нем.). Полуцитаты из заключительной сцены 1-й части «Фауста» Гете.

Ю. И. Юдин

## ПРОПП И ПОЭТИКА АРИСТОТЕЛЯ. К ОПРЕДЕЛЕНИЮ МЕТАФОРЫ

Во второе издание «Русского героического эпоса» В. Я. Пропп включил главу «Поэтический язык былин».<sup>1</sup> Ранее эта глава монографии была опубликована в виде отдельной статьи.<sup>2</sup> В ней Пропп пересматривает широкоизвестное аристоте-

<sup>1</sup> Пропп В. Я. Русский героический эпос. 2-е изд. М., 1958. С. 519—542.

<sup>2</sup> Пропп В. Я. Язык былин как средство художественной изобразительности // Учен. зап. Ленингр. ун-та. 1954. № 173. Сер. филол. наук. Вып. 20. С. 375—403. Название статьи было предложено редактором; у самого автора, по его словам, статья первоначально называлась так же, как и глава монографии.

левское определение метафоры, которое в последнем издании «Поэтики» на русском языке звучит так: «Переносное слово (*metaphora*) — это несвойственное имя, перенесенное с рода на вид, или с вида на род, или с вида на вид, или по аналогии».<sup>3</sup>

Такое определение нужно признать сугубо лингвистическим. Действительно, речь у Аристотеля идет о назывании одного предмета именем другого. Но такое явление он определяет, во-первых, не как иноназывание, но как перенос названия одного предмета на другой, который этим именем не называют. При иноназывании акцент делается на новом имени предмета, при переносе — на названии того предмета, у которого заимствуется его имя для другого. Во-вторых, из дальнейшей характеристики поэтической речи видно, что перенос с рода на вид, с вида на род или с вида на вид осуществляется на том основании, что слово, свойственное предмету, и подмененное имеют обобщающее значение (например, слова «вычерпать» и «отсечь» означают в общем смысле у Аристотеля «отъять» (С. 669)). Случай переноса по аналогии трактуется с точки зрения не только семантики, но и синтаксиса: если в высказываниях щит относится к Аресу так же, как чаша к Дионису, то вместо «щит» можно сказать «чаша», и наоборот (С. 669). В-третьих, умение пользоваться переносными словами признается самым важным среди прочих словоупотребительных умений, так как «только это нельзя перенять у другого, это признак [лишь собственного]<sup>4</sup> дарования» (С. 672).

Вместе с тем бросается в глаза, что лингвистическое рассмотрение Аристотель осуществляет средствами логического анализа, путем определения отношений рода и вида, а также атрибутивных отношений.

Однако и определение Аристотеля, и его анализ нельзя признать последовательным логико-лингвистическим рассмотрением. Дело в том, что Аристотель при характеристике метафоры выходит за пределы лингвистических значений слов и обращается параллельно к образным внеязыковым представлениям. Замечая, что загадка состоит из переносных слов (метафор), он тут же переводит характеристику метафоры в план образных представлений: «Действительно, в загадке сущность состоит в том, чтобы говорить о действительном, соединяя невозможное, — сочетание [общеупотребительных] слов этого сделать нельзя, [сочетанием же] переносных слов можно, например: „Видел я мужа, огнем прилепившего медь к человеку” и тому подобное» (С. 670—671). Ведущим здесь выступает «невозможное» соединение действительных самих по себе образных представлений. Переносные слова при этом оказываются вторичным отражением подобных представлений средствами языка. То же отношение между словом и образным представлением наличествует и в следующем высказывании Аристотеля: «... [чтобы] хорошо переносить [значения, нужно уметь] подмечать сходное [в предметах]» (С. 672).

Эта непоследовательность, будучи недостатком с точки зрения логики, отмечает достоинство анализа, не уклоняющегося от характеристики противоречивого явления: перенос слов с их значениями идет в параллель с переносом образных представлений, который осуществляется на основе предметного сходства (отличного от сходства лексических значений) и путем соединения того, что невозможно соединить в действительности.

Указание на параллельный языковому перенос в метафоре образных представлений привел к переакцентровке аристотелевского определения метафоры в последующей истории литературной и искусствоведческой мысли. Действительно, отталкивание от аристотелевского языкового определения метафоры и приближенность к понятию переноса образных представлений видны, например, в такой характеристике М. В. Алпатовым живописной манеры А. Матисса: «В поэтике жи-

<sup>3</sup> Аристотель. Поэтика // Соч.: В 4 т. М., 1984. Т. 4. С. 669. (Перевод М. Л. Гаспарова). Далее ссылки на это издание даются в тексте.

<sup>4</sup> Добавление к греческому тексту слов в квадратных скобках можно считать излишним. Их отсутствие усилит значение, придаваемое Аристотелем метафоре.



вописи Матисса большую роль играет *метафора*. Метафору в изобразительном искусстве, конечно, не следует отождествлять с метафорой словесной. Между ними есть только известная аналогия. Метафора в искусстве — это такое изображение предмета, при котором помимо его прямого сходства с соответствующим предметом угадывается еще его сходство с другими предметами... Метафора обогащает язык живописи, благодаря ей изображение расширяет свое значение. Этим устанавливается внутреннее родство между различными явлениями жизни. Изображение приобретает подтекст, расширяет свои рамки. Искусство приобретает возможность обнять чуть не весь мир. Ж. Кассу справедливо разграничивает метафоры у Матисса и Пикассо. У Пикассо, как у первобытного анималиста, фигуры — это настоящие оборотни, люди легко превращаются в сказочных животных, в чудовища. В отличие от него Матисс никогда не решается прямо утверждать, что человек может превратиться в зверя, а глиняная кружка — в женскую голову. Матисс всего лишь намекает на то, что стройная фигура женщины похожа на стройный ствол дерева». <sup>5</sup>

Подобное понимание метафоры стало обычным наряду с пониманием метафоры как языкового тропа. Оно находит место и в расхожем словоупотреблении, и в научных определениях. Последнее может хорошо проиллюстрировать обращение к современным энциклопедиям с их краткостью и четкостью дефиниций. «Краткая литературная энциклопедия» (1967): «Метафора... — вид *тропа*, образованного по принципу сходства; одно из средств усиления изобразительности и выразительности речи». <sup>6</sup> «Литературный энциклопедический словарь» (1987): «Метафора, метафоричность... вид *тропа*, перенесение свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой по принципу их сходства в к.-л. отношении или по контрасту». <sup>7</sup> Из второго определения видно, несмотря на употребление речевого понятия «троп», что метафоризация в литературе может вполне обходиться без переносных слов, ее выражающих, а в живописи, музыке, кино, танце, архитектуре и прикладном искусстве — и вовсе без слов. Так, например, в басне или пословице, когда они обходятся без словесных метафор («Лучше маленькая рыбка, чем большой таракан»; «Умный любит учиться, дурак любит учить»), второй смысл создается не словесной, но образной ассоциацией.

Имя одного предмета можно перенести на другой, так как при этом сами предметы остаются «на месте». Но трудно представить, как одно образное представление можно перенести на место другого, когда сами предметы, породившие эти представления, остаются в первоначальном положении. Ведь имя отделено от предмета, образное же представление с предметом слито. «Перенесение» в чисто образном понимании невозможно осуществить буквально. Поэтому в образной своей ипостаси аристотелевское определение метафоры постепенно, по мере практического приложения к материалу искусства, преобразуется и превращается в перенесение *свойств* и *признаков* одного предмета на другой, как мы это видели в определении «Литературного энциклопедического словаря» (1987). Такая трансформация особенно характерна бывает для вузовской и школьной учебной литературы, <sup>8</sup> и это приводит к тому, что ученики старших классов и студен-

<sup>5</sup> Алпатов М. В. Матисс. М., 1969. С. 31.

<sup>6</sup> Корольков В. И. Метафора // Краткая литературная энциклопедия. М., 1967. Т. 4. С. 794.

<sup>7</sup> Сквозников В. Д. Метафора // Литературный энциклопедический словарь. М., 1987. С. 218.

<sup>8</sup> Например, в вузовском «Введении в литературоведение» Г. Л. Абрамович пишет о тропе и о метафоре: «В ряде случаев путем перенесения признаков с одного предмета на другой можно более конкретно, ярко и точно подчеркнуть существенную особенность характеризуемого предмета, чем каким-либо прямым определением его... Метафора — троп, основанный на *сходстве* двух явлений... Особым видом метафоры является олицетворение. Олицетворение основано на перенесении признаков *живого существа на явления природы, предметы и понятия*» (Абрамович Г. Л. Введение в литературоведение. М., 1956. С. 155, 157). Л. В. Щепилова, на-

ты-гуманитарии нередко затрудняются изложить неясное им самим понимание метафоры.

Именно к области образных представлений в понятии метафоры и обращается в своем определении В. Я. Пропп. Он имеет в виду параллельную логико-лингвистической образную структуру метафоры, которую затрагивает в «Поэтике» Аристотель. И в том и в другом понимании метафоры в ее основе, по Аристотелю, лежит «перенесение». Против этого и направлено возражение Проппа. «Под „метафорой“, — пишет он, — обычно понимается „перенесение признаков с одного предмета на другой“. Возможно, что такое определение метафоры окажется плодотворным для изысканий собственно лингвистических; для целей же изучения художественного языка оно непригодно. Творческий акт создания художественного образа не состоит в перенесении признаков. Такое определение исходит не из анализа творческого акта художественного образа, а из этимологии унаследованного еще от Аристотеля термина, который означает „перенесение“. Здесь нет возможности пересмотреть этот вопрос. Для изучения народной поэзии понятие „перенесения признаков“ оказывается бесплодным. Более плодотворным окажется определение метафоричности народной поэзии как некоторого вида *иносказания*, как замены одного зрительного образа другим. Так, образ плачущей девушки может быть сам по себе поэтическим, но может им и не быть. Но если образ плачущей девушки будет заменен образом березы, опустившей ветки к воде, он будет восприниматься поэтически. В этом смысле русская народная лирика метафорична в высшей степени, причем большинство образов почерпнуто из окружающей певцов природы».<sup>9</sup>

Как видим, Пропп касается вопроса об определении метафоры под углом зрения того, что дает такое определение для характеристики поэтического языка и образности фольклорных жанров. Пересмотр аристотелевской традиции в связи с другими целями не делается, но указывается на его возможность, а также дается конечный вывод из подобного пересмотра, вынесенного за рамки опубликованной работы. Этот конечный вывод есть определение метафоры, отличное от аристотелевского. Резко очерчен фольклорный вариант такого определения, что касается других литературных вариантов — они должны дать ту же замену одного образа другим с разной степенью законченности и доведения до конца: от смутного намека до подтекстового сюжетного удвоения (иносказания).

Может показаться, на первый взгляд, что дело сводится лишь к другому названию того же самого: вместо перенесения с одного образа на другой свойств и признаков — замена одного образа другим в качестве разновидности иносказания. На самом деле речь идет о чем-то большем. Ясно, что понятие «иносказание» появилось потому, что речь в конкретном случае касается поэтического языка. Более общий смысл имеет определение метафоры как «замены» одного образа другим. Помимо того, что такое определение относится не только к литературе, но и к любому виду искусства, имеющему дело с образами, не менее важно другое. Аристотель определяет метафору как логик, подвергающий анализу языковые категории, в то время как творческий акт в искусстве внелогичен. Поясним этот известный, хотя и не общепринятый, взгляд примером того же жанра, к которому обращался Аристотель. Возьмем загадку: «В мясном котле железо кипит» (отгадка: железные удила во рту разгоряченной лошади). Ее логико-языковая структура подтверждает определение Аристотеля: ротовые органы лошади — вид, относящийся к роду «мясо»; лошадиная морда и котел соединены по аналогии с понятием

против, пытается снять затруднение путем полного приравнивания в поэтическом сознании первоначального и подмененного образов: «В метафоре одно явление представлено полностью уподобленным другому, чем-либо сходному с ним» (Щепилова Л. В. Введение в литературоведение. М., 1956. С. 128).

<sup>9</sup> Пропп В. Я. Русский героический эпос. С. 520.

«предмет с углублением»; «кипит» аналогично тому, что бурлит и выделяет пену. Но метафору в целом порождает не анализ с последующим переносом названий, а замена одной образной картины другой по ассоциации, вызванной не логической операцией, а сопереживанием: насильственное напряжение, которое терпит лошадь, напомнило обжигающее клокотание кипящего котла. Синтез опережает анализ, общее опережает видение частных, картина опережает слово. Подходя к загадке со стороны образного видения, Аристотель оказывается прав: «... в загадке сущность состоит в том, чтобы говорить о действительном, соединяя невозможное» (С. 670—671). Такое соединение — вне логики, хотя и сохраняет ее отношения. В целом же в метафоре алогизм оказывается важнее логики.

Определение Проппа в отличие от аристотелевского захватывает более широкий круг явлений: перенесение носит одномоментный характер с возвратом перенесенного на свое место, замена может оказаться долговременной. В действительности так оно и бывает. Например, в народной лирической песне одномоментных метафор, предполагающих употребление их только в данном месте и только в данном тексте, почти нет. Они по большей части носят устойчивый характер иносказаний, переходящих из песни в песню и составляющих общепесенный метафорический фонд. Это те природные образы, за которыми стоят человеческие переживания, обстоятельства и отношения, в самой песне не названные в качестве расшифровки. «В таком случае, — пишет В. Я. Пропп, — мы будем иметь метафорический образ или символ, чистое иносказание, значение которого надо разгадать. Русская народная лирика чрезвычайно богата метафорическими образами».<sup>10</sup> То, что перед «или» в вышеприведенной цитате не стоит запятая, не должно обманывать. Она пропущена явно по недосмотру. Что между метафорическим образом и символом песни ставится знак равенства, а не разделительный союз, видно из дальнейшего. «Эти и многие другие образы песни, — продолжает В. Я. Пропп, — для крестьянина, знающего весь песенный мир, не требуют раскрытия, и с этой стороны безразлично, дается их раскрытие или нет. Современный читатель также в большинстве случаев понимает значение поэтических символов».<sup>11</sup>

Таким образом, по Проппу, метафора, воссоздающая образ, т. е. метафора опять же не в лингвистическом, а в образотворящем смысле, метафорический образ, может превращаться в новую разновидность, а именно в *символ*. Символ, как следует из сказанного Проппом, есть *устойчивая, постоянная, застывшая метафора*. То, что данный вывод делается на ограниченном материале и ввиду прагматических целей, нисколько не ограничивает его значения. Более широкий художественный материал, привлеченный для его проверки, способен подтвердить сделанные наблюдения. Показательно, что эти наблюдения так или иначе соотносятся с ходом мысли создателя эволюционной (исторической) поэтики А. Н. Веселовского, авторитет которого в глазах Проппа был всегда очень велик. В одной из позднейших, не изданных при его жизни работ А. Н. Веселовский писал так: «... простейшая ассоциация образов между собою — источник символа и метафоры...»<sup>12</sup>

В его общем смысле вывод Проппа равно относится и к фольклору, и к литературе. Различия в самом характере фольклорной и литературной символики при определении общих ее истоков роли не играют. Например, фольклорный символ может происходить из допесенной области обряда (береза — девушка, женщина; пить воду, поить коня, замутить воду, рыть колодец — символ разделенной любви

<sup>10</sup> Пропп В. Я. О русской народной лирической песне // Народные лирические песни. Л., 1961. С. 55. (Библиотека поэта. Большая сер.).

<sup>11</sup> Там же. С. 56.

<sup>12</sup> Неизданная глава из «Исторической поэтики» А. Веселовского / Предисл. и комм. В. М. Жирмунского // Русская литература. 1959. № 3. С. 103.

и т. д.). Литературный же символ, как неоднократно замечено, чаще творится в самом произведении путем многократного повторения одного и того же образа в разном окружении, в разных ситуациях, мотивах, в связи с разными действующими лицами («чайка» в одноименной пьесе Чехова). Здесь не место касаться этой специальной темы. Скажем только, что в силу его метафорического характера символ присущ как словесным, так и бессловесным искусствам. В общем виде важны не его разновидности, а постоянный контраст предметного наполнения символического образа с предметной реальностью и действительностью других, несимволических образов, его окружающих.

Снежки белые пушисты  
 Покрывали все поля,  
 Одного лишь не покрыли —  
 Горя лютого мово,<sup>13</sup> —

поется в народной песне. И на наших глазах зимний снег становится снегом забвения и холодного успокоения, которых не дано испытать горящей женщине. Естественный, природный, материальный образ, принимая метафорический, символический смысл, оказывается не совсем в своем окружении, дематериализуется, одухотворяется, ускользает из пространства рядоположенных реальных образов. Примеры из народной лирики вовсе не означают, что метафора и символ не характерны для песенного героического народного эпоса. Для языка былины, как показал В. Я. Пропп, они действительно не характерны, но они присутствуют в мире эпических образов, как и в других фольклорных и литературных жанрах. Только там они имеют свою специфику и поэтическую структуру.

Что касается самого по себе языка и речи, в них происходят сходные с языком художественным процессы закрепления метафор (ножка стула, щечки станкового пулемета и т. п.), но закрепление, устойчивость в подобных метафорах осуществляются на иных путях, нежели те, на которых возникает символ в фольклоре или профессиональном искусстве. Первоначальная образность в постоянной речевой метафоре при закреплении в языке, в отличие от художественного символа, со временем истончается до полной стертости. Это, как известно, одна из важнейших сторон пополнения словарного запаса национального языка, но не средство расширения возможностей художественной речи.

Поэтому, например, попытка увидеть в семантике фольклорного слова «тот своеобразный конденсатор, который вбирает в себя и трансформирует смысловые нюансы, рождаемые „вибрацией чувств” исполнителя и слушателя»,<sup>14</sup> в целом неправомерна, поскольку неправомерно распространение лингвистических методов на тот объект, который объектом науки о языке не является. В то же время учет семантики фольклорного слова, создание словарей фольклорной жанровой лексики незаменимы и при лингвистическом, и при содержательном анализе фольклорных текстов. Больше того, без такого анализа само фольклорное исследование текста может «повиснуть в воздухе». Здесь мы снова сталкиваемся с необходимостью разграничения словесного и образного толкования явлений художественного текста. При всем своеобразии фольклорной метафоры и символа в их общем значении и смысле они сходны с таковыми же в профессиональном искусстве. Принципиальный разрыв не позволил бы фольклору вращаться в качестве культурного наследия в профессиональное творчество, непрерывно подпитывая и обогащая последнее. Уже одно это говорит о неисчерпанном в течение веков смысловом богатстве фольклорных поэтических памятников. Лингвистический же подход к их пониманию, переступающий свои границы, невольно приводит к выводу о том,

<sup>13</sup> Линева Е. Э. Великорусские песни в народной гармонизации. СПб., 1905. Вып. I. № 10.

<sup>14</sup> Хроленко А. Т. Семантика народно-песенного слова в аспекте эволюции // Семантика слова в диахронии: Межвуз. тематич. сб. научн. тр. Калининград, 1987. С. 118.

что «текст фольклорного произведения аскетически прост»,<sup>15</sup> что для народной поэзии характерна «внешняя простота, если не сказать бедность, отдельного фольклорного текста».<sup>16</sup> При неразграниченности литературного и фольклорно-поэтического понятия «текст» с понятием лингвистическим подобное впечатление может оказаться неизбежным. В первом случае речь идет о словесно-образном тексте, во втором — о словесно-языковом.

На самом деле уже в фольклоре символ дает возможность такого расширения смысла и содержания текста, которое далеко выходит за пределы лексических значений слов. Это происходит потому, что песенный контекст состоит непосредственно не из слов, как это ни покажется странным, а из метафорических образов, передаваемых словами, композиционных приемов сближения несовместимых в действительности образных представлений и пр. Подобно этому от музыканта можно услышать, что музыка заключена не в нотах, а «между нот».

Сравним для примера две песни. Лексическое значение слов, рисующих символический образ, здесь совпадает (поить коня, черпать воду красной девице, ставить ведра с водою):

Как у ключика у гремучего,  
У колодезя у студеного  
Добрый молодец сам коня поил,  
Красна девица воду черпала;  
Почерпнув, ведра поставила,  
Как поставивши, призадумалась,  
Призадумавшись, заплакала,  
А заплакавши, слово молвила:  
«Хорошо тому жить на сем свете,  
У кого как есть отец и мать,  
И отец, и мать, и брат-сестра,  
Ах, брат-сестра, что и род-племя!  
У меня ль, у красной девицы,  
Ни отца нету, ни матери,  
Как ни брата, ни родной сестры,  
Ни роду, ни племени,  
Ни того ли то мила друга,  
Как мила друга полюбовника!»<sup>17</sup>

Молодой майор тут коня поил,  
Красна деушка воду черпала.  
Красна деушка воду черпала,  
Воду черпала да ведры ставила,  
Ведры ставила, ну, с милым баила:  
«Молодой майор, ты согуби жену,  
Ты сгуби жену, ну, за тея пойду,  
Ты сгуби ее да со полуночи,  
Когда все люди (а) спать улягутся,  
Малы детушки, ну, успокоятся».  
Как большая дочь (э) просыпалася,  
Родной мамыньки она хваталася:  
«Ты родимый наш (а) сударь-батюшка,  
А (г)де наша-то да родна матушка?» —  
«Ваша матушка, ну, в зеленём саду,  
В зеленём саду да загулялася,  
В зеленём саду (ё) загулялася.  
Розных пташечков (а) заслушалася». —  
«Ты н'убманывай (а), н'уговаривай,  
Наша матушка-то в зеленём саду,  
В зеленём саду да в дубовём гробу». —  
«Вы не плачьте-ка (я), малы детушки,  
Я вам горенку сострою новую,  
Возьму мамыньку вам я хорошую». —  
«Ты умри-умри, (но) ты лихая мать...  
Ты восстань-восстань родна мамынька, —  
Ты прижми-ка нас (а) ко своему сердцу,  
Ну, не давай-ка нам горя мыкати,  
Не давай-ка нам (а) горя мыкати (я),  
Не давай-ка нам слезно плакати».<sup>18</sup>

Одинаковая лексика начала передает совершенно разное содержание. В первой песне речь идет о том, что встреча у колодца по смыслу символических действий напоминает героине о желанной, близкой, но не встреченной любви, поманившей

<sup>15</sup> Там же. С. 117.

<sup>16</sup> Там же. С. 116.

<sup>17</sup> Великорусские народные песни / Изданы А. И. Соболевским. СПб., 1896. Т. 2. № 1.

<sup>18</sup> Песни и сказки Пушкинских мест: Фольклор Горьковской области. Л., 1979. Вып. I. № 25.

миражем, и о ее полном одиночестве. Во второй — символ говорит о внезапно вспыхнувшей любовной страсти, за которой последовало убийство жены и попытка оправдаться перед детьми. Между тем мы встречаемся с одним и тем же любовным символом в одном и том же словесном оформлении.<sup>19</sup> Все дело в том, в какие отношения он поставлен и какой словесно-образный контекст тем самым создается. Песня, и это всегда подтверждала сочувственно внимавшая ей аудитория, поражает неизменным богатством поэтических поворотов однотипных фольклорных формул в передаче самых тонких оттенков чувств и мыслей.

Подводя некоторые итоги тем последствиям, которые проистекают из полемики Проппа с Аристотелем, можно заметить следующее. Формальное отличие образа в общепсихологическом смысле от образа в искусстве состоит в том, что первый служит промежуточным средством, в то время как второй является конечной целью. Первый поэтому не фиксируется вовне и исчезает в конечной цели, между тем как второй фиксируется в виде материального предмета для зрения, слуха или вербального воспроизведения представления о таком предмете. В психологическом образе сдвиги осуществляются непроизвольно или совершаются в ходе воображаемых манипуляций на путях познавательной или поведенческой ориентации. В художественном образе осуществляется намеренная деформация реальной предметности как самоцель.

Формальные различия указывают на различия сущностные. Художественный образ может более или менее адекватно воспроизводить видимую и слышимую предметность. Это первичный слой художественной образности, связанный с отбором и экспонированием наиболее важной, затрагивающей воображение и ценностные представления предметности.<sup>20</sup> На более высокой ступени художественное воспроизведение в образе приводит к деформации предметности как способу запечатлеть в предметном изображении след человеческого переживания. Например, когда фотография становится произведением искусства? Это происходит на путях продуманной, нарочитой или случайно схваченной компоновки предметов, с помощью ракурса, игры теней и светом, слома, смещения пропорций и другого преобразования фигур. Однако деформация направляется не слепым искажением, но таким преобразованием, преобразованием, когда одна предметность заслоняется, заменяется другой.

Принципиальной и сущностной стороной такой замены является совмещение человеческого и природного, поскольку лишь природа, в отличие от плодов деятельности самого человека, относительно противопоставлена человеку. Таким образом, в художественном образе заложена не просто метафора как образная замена, но антропема как замена человеческого или очеловеченного природным, и наоборот, как взаимопроникновение того и другого (например, любое воспроизведение природы в литературе и искусстве). Остальные способы художественной метафоризации могут рассматриваться как производные и надстроенные над изначальным. Высшим уровнем художественной образности выступает устойчивая, повторяющаяся метафора — символ.

Образ при этом не обязательно является образом-отражением, он может быть результатом деформации — преобразования самой предметности, а не ее отражения

<sup>19</sup> «Поить коня = предлагать любовь» (*Потебня А. А.* О некоторых символах в славянской народной поэзии. Харьков, 1860. С. 136). Подробнее о песнях см.: *Юдин Ю. И.* Обращенные символы народной лирики и их восприятие в литературе // *Фольклорные традиции в русской и советской литературе: Межвуз. сб. научн. тр. М., 1987. С. 11—14.*

<sup>20</sup> Ср. первые ступени в эволюции наскальной живописи, когда «еще не изображение, а сам зверь являлся для коллектива своего рода фокусом его духовной энергии» (*Столяр А. Д.* Происхождение изобразительного искусства. М., 1985. С. 173). В позднем искусстве это достаточно широкий слой пейзажной, портретной живописи, фактографической литературы и т. п.

(здание в архитектуре, предметы прикладного искусства и т. п.). Тут возможны явления «отдаленного», малоузнаваемого отражения в соединении с предметной деформацией — преобразованием самим по себе (танец, музыка, мелодия которой «питается» человеческой речевой интонацией, а с другой стороны, является организованным миром звуков).<sup>21</sup>

Художественный образ принципиально не служит инструментом понятийного познания. Как метафора природно-человеческого он преодолевает грань между внешним (природным, общественным) и индивидуально освоенным, внутренним. Художественный образ «согревает» и очеловечивает внешние условия бытия. Его метафоризация представляет природное и общественное продолжением личного. Она включает человека в мир и способствует деятельному отношению к миру. Все это ведет к универсализации человека и его поведенческой активности.

В науке господствует принцип причинно-следственных связей (или их модификаций в микромире). В мире художественных образов, который шире мира искусства, их место занимают связи метафорические. Здесь нарушается всеобщность причинно-следственных отношений, но это дает искусству, в частности, возможность овладеть опережающим прогнозом относительно человеческих возможностей в силу объединительных связей «человек — природа», заложенных в художественном образе (примеры осуществления в жизни того, что художнику поначалу представляется плодом его свободной фантазии и вымысла).

Метафорические и символические образы искусства приобретают тем более значительный смысл, что представляют собою лишь часть и разновидность того символического мира, которым человек окружен и «сквозь» который он общается с природой. Умение, благодаря этому, быть не только самим собой, но и «всем» не только способствовало человеческому выживанию, но и создало то, что мы именуем культурой. К подобному выводу склоняется ряд современных философов, опирающихся на работы таких известных предшественников, как Э. Кассирер и М. Шерер.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> В «Племяннике Рамо» Д. Дидро герой говорит своему собеседнику-философу: «...я где-то прочел: „Musices seminarium accentus” — интонация есть питомник мелодии» (*Дидро Д. Монахиня; Племянник Рамо; Жак-фаталист и его хозяин. М., 1973. С. 235*).

<sup>22</sup> См., например: *Гуревич П. С. Куда идешь, человек? М., 1991. С. 40—46.*

# ЗАМЕТКИ, УТОЧНЕНИЯ

## ПОЛЬСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ К «РИФМЕ» А. С. ПУШКИНА

У Пушкина есть две весьма схожие между собой версии происхождения рифмы. Первая завершает стихотворение «Рифма, звучная подруга...» (1828). Родословная рифмы здесь такова.

Феб однажды у Адмета  
Близ тенистого Тайгета  
Стадо пас, угрюм и сир.  
.....

Помня первые свиданья,  
Усладить его страданья,  
Мнемозина притекла.  
И подруга Аполлона  
В темной роще Геликона  
Плод восторгов родила.<sup>1</sup>

Вторая версия изложена в антологической эпиграмме «Рифма» (1830):

Эхо, бессонная нимфа, скиталась по берегу  
Пенея.

Феб, увидев ее, страстию к ней  
воспылал.  
Нимфа плод понесла восторгов влюбленного  
бога;  
Меж говорливых наяд, мучась,  
она родила  
Милую дочь. Ее приняла сама Мнемозина.  
Резвая дева росла в хоре богинь-аонид,  
Матери чуткой подобна, послушна памяти  
строгой,  
Музам мила; на земле Рифмой зовется  
она.<sup>2</sup>

Исследователи согласно утверждают, что «Пушкин сам сочиняет древнегреческий миф о рифме. Миф этот измышлен весь целиком самим Пушкиным, но сюжетом своим отвечает с изумительной точностью типу аналогичных этиологических легенд античной Греции».<sup>3</sup> Кажется, только Т. Г. Мальчукова

подчеркнула оксюморонность содержания эпиграммы «Рифма», в которой «нерифмованным стихом рассказано о рифме и об этом отсутствующем в античной поэзии „единогласном краесловии“ сочинен миф в античном вкусе».<sup>4</sup> Поэтому непосредственно к античной поэзии предложенная Пушкиным родословная рифмы восходить никак не может. Более того, возможно, что сюжет пушкинской эпиграммы восходит к европейской поэзии новейшего времени.

Дело в том, что десятилетием ранее схожая легенда о происхождении рифмы уже появилась в русской печати. В 1819 году в журнале «Украинский вестник» было опубликовано стихотворение А. В. Склабовского «Происхождение рифм», в том же году перепечатанное с незначительной стилистической правкой в его сборнике «Опыты в стихах».<sup>5</sup> Начало стихотворения излагает родословную рифм:

Там, где младенчества покрыта пеленой,  
Природа юною всегда блестит красой,  
Где Пада берега кустарники венчают,  
Где с легким веяньем зефирным сливают  
Цветы свой аромат на бархатных лугах,  
Средь них, как зеркало, в зеленых берегах  
Сияя, катит в даль Пад волны голубые;  
Там, в рощах и скалах, близ Мантуи, младые  
Две рифмы-близнецы, как тихий день  
весной,

Прелестные божки приют имеют свой.  
Четыре века там их мирная столица.  
Там, Каллиопа, ты, божественна девица,  
Первейшая из Муз, блуждала по лугам,  
По рощам, по траве душистой, по цветам,  
Чуть робкою тех мест касаяся стопою...  
Там — на ковре долин — волшебных струн  
игроу  
Бог света, Аполлон, твой нежный слух  
пленил

И, очарованну, сном тихим усыпил.  
Плененный прелестью красавицы  
стыдливо,  
Он тайной сладостью любви неизъяснимой  
Умножил сладость сна. И Рифмы, двух  
божков,

<sup>4</sup> Мальчукова Т. Г. Античность и мы. Петрозаводск, 1991. С. 157.

<sup>5</sup> См.: Украинский вестник. 1819. Кн. 8. Август. С. 223—227; Склабовский А. Опыты в стихах. Харьков, 1819. С. 152—156.

<sup>1</sup> Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; Л.], 1948. Т. 3, [ч.] 1. С. 121.

<sup>2</sup> Там же. С. 240.

<sup>3</sup> Толстой И. И. Пушкин и античность // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. Л., 1938. Т. 14. С. 79. Ср.: Любимудров С. Античные мотивы в поэзии Пушкина. 2-е изд. СПб., 1901. С. 50—51; Кибальник С. А. Русская антологическая поэзия первой трети XIX в. Л., 1990. С. 206—208.



Плод тайны любви, в священну сень лесов  
Парнасской высоты принес с собой  
безвестных  
И Музам поручил воспитывать прелестных.<sup>6</sup>

Далее рифмы отправляются в путешествие по Европе: из Италии они перелетают в Германию, посещают Ферней (Франция вообще не упоминается), Англию, Польшу и, наконец, попадают в Россию. В журнальной публикации стихотворение снабжено подзаголовком «Подражание польскому». Источник Склабовского известен: это стихотворение «*Powstanie gumów*», опубликованное в одном из варшавских журналов в 1819 году.<sup>7</sup> Стихотворение анонимно, автор его до сего дня не установлен,<sup>8</sup> возможно, что это перевод. Под пером Склабовского история рифм значительно разрослась: в переводе 70 строк против 44 оригинала. Понятно, что упоминание произведений Ломоносова, Державина, Жуковского и Батюшкова в заключительной части введено в стихотворение уже русским переводчиком.

<sup>6</sup> Склабовский А. *Опыты в стихах*. С. 152—153.

<sup>7</sup> См.: *Tygodnik polski*. 1819. Т. 1. № 5. С. 131—133. См.: *Николаев С. И.* О нескольких польских стихотворениях в русских журналах 1819 года // *Русская литература*. 1992. № 2. С. 78—79.

<sup>8</sup> См.: *Pusz W.* «*Nowy Parnas*» przedromantycznej Warszawy: Bruno Kiciński i grono jego współpracowników. Wrocław, 1979. S. 224.

Сходство двух родословных рифм — у Пушкина и в польском стихотворении, переданном Склабовским, — разительно и в доказательстве не нуждается. В обоих речь идет о том, что рифма — дочь Аполлона, а матерью была нимфа или Мнемозина (в двух версиях Пушкина) или муза поэзии Каллиопа, дочь Мнемозины (в польском стихотворении). В обоих родословных после рождения рифму воспитывали музы. Различия родословных сводятся к месту действия (Греция и Италия), числу (одна рифма у Пушкина и «близнецы» в польском стихотворении), а также полу. Последнее объясняется тем, что в польском языке «рифма» (*gum*) — мужского рода, а Склабовский в своем «подражании» не придал значения этой несообразности («рифмы — двух божков»).

Может ли «подражание польскому» Склабовского претендовать на нечто большее? То есть можно ли рассматривать его не только как параллель, но и как возможный источник пушкинской родословной рифмы? Это вполне вероятно, хотя в библиотеке поэта не было ни «Украинского вестника», ни книжки Склабовского, а само его имя ни разу не упоминается в сочинениях и письмах Пушкина. Осторожнее все же будет предположить, что у польского неизвестного автора и у Пушкина был один общий источник (итальянский или французский). Обнаружение такого источника позволит уточнить историю творческого замысла Пушкина.

С. И. Николаев

## ОБ ОДНОЙ СЦЕНЕ В «ГОРЕ ОТ УМА»

Как неоднократно уже отмечалось исследователями, Чацкий представляет в «Горе от ума» позицию ума. В ее силе и в ее слабости. Как приверженец и знаменосец ума, Чацкий противопоставит людям фамусовского лагеря, возвышается над ними — и зачисляется ими в «безумные». Указаниями ума руководствуется он во всех своих выводах и заключениях. Исключительно ума.

И вот, убедившись, что Софья Молчалина явно не уважает, Чацкий решает, что, значит, она и не может его любить. А когда затем выясняется, что избранник Софьи — все же Молчалин, Александр Андреевич станет обвинять Софью в том, что его, Чацкого, она «надеждой завлекла». Последнего, однако, не было. Напротив, Софья на наших глазах, в сущности, почти только то и делала, что старалась показать Чацкому свое нынешнее, иное к нему отношение. А Чацкий словно бы нарочно не хотел ничего ни видеть, ни понимать.

Выкладки и построения ума оказываются средством, по меньшей мере, недостаточным, когда встречаешься с реальностью жизни, с ее многообразием, подвижностью, живым непредвидимым движением. Такова одна из важных сторон содержания «Горя от ума», сторона, во многом обуславливающая собою *комедийную* природу конфликта пьесы, отводящая Чацкому место в этом именно, комедийном конфликте.

Но коль скоро позиция умозрения, умозрительного подхода к жизни предстает в ее несостоятельности или, во всяком случае, недостаточности и ей противопоставляются прихотливость, неумещаемость в логические конструкции самой жизни, то естественно допустить, что Грибоедов мог тут коснуться и сферы бессознательного. По меньшей мере, коснуться.

Вот Чацкий попытается у Софьи, «кто ей мил». Она, отвечая, рисует портрет своего избранника и, как верно замечает Л. Д. Хи-

хадзе, и хочет, и не хочет, чтобы он, Чацкий, понял, о ком идет речь. «Все в этом разговоре, — продолжает Л. Д. Хихадзе, — наполнено значением гораздо большим, чем прямое... автор привлекает здесь внимание к лежащей за пределами рассудка сфере. Внесознательное — здесь — такая же характеристика личности, как в других случаях анализ сознания».<sup>1</sup>

«Внесознательное» (т. е., другими словами, подсознание) тут уже прямо названо как предмет непосредственного внимания Грибоедова. И даже поставлено в этом смысле в один ряд с «сознанием», что, думается, уже некоторый перебор: ведь Грибоедов все же и непосредственно, впрямую наследовал идеологии Просвещения, и ум для него отнюдь не сводился к рассудку, но, напротив, прорастал достаточно широким историческим содержанием. (Об этом уже многократно писалось.)

Готов допустить, что пример, анализируемый Л. Д. Хихадзе, может, и безусловен: не исключено ведь, что Софья *сознательно*, в пику Чацкому, наделяет своего избранника чертами, противоположными, в ее представлении, главным свойствам его антагониста.

Но вот та знаменитая сцена в комедии, где после первых эскапад Чацкого против старой Москвы Фамусов садится с Петрушкой и диктует тому расписание своих «занятий» на ближайшую неделю. Чацкого рядом нет. Петрушка совершенно безгласен. И в самом буквальном смысле тоже. Говорит один Фамусов. И по видимости, так создается картина московских нравов, драматическое действие словно бы прервалось и уступило ей место, как это бывало в пьесах Шаховского или Загоскина.

На самом деле все не так. Чацкий ведь, как только что сказано, произнес уже первые свои обвинения, начал уже свою атаку на Москву, на неподвижность и неизменность ее жизни. И Фамусов сейчас, сам того не сознавая, и даже не зная, собственно, уже отвечает Чацкому — выстраивает против неожиданно объявившегося противника эти самые неподвижность и неизменность как главные свои силы. Он как бы утверждает: так было, так есть и так будет и впредь. Сегодня, завтра,

всю неделю, всегда. Вот и в календаре все уже записано. Что называется, топором не вырубись. И сколькими воспоминаниями, историями, судьбами подкреплено и поддерживается!

Через фамусовские речи идет, развертывается *таким образом* дальше драматическое действие. И, значит, если мы всерьез воспринимаем «Горе от ума» как *пьесу*, как великое *драматическое* создание с непрерывностью драматического действия, дать фамусовскому монологу с Петрушкой принципиально иное толкование вряд ли возможно. Следовательно, бессознательное (то бишь подсознание) входит в самую структуру «Горя от ума». Входит как органический ее элемент, никак не выделяясь, но *растворяясь в ней вполне*. При этом подсознание здесь никак не тяготеет к тому, чтобы быть непосредственно и впрямую воссозданным, не притязает ни на какое *определяющее* художественное значение. Тем не менее оно входит в *метод* автора.

Есть основание заключить, что и возникла-то подобная структура драматического действия в немалой степени подсознательно. Во всяком случае, в своих объяснениях собственного создания, развития драматического действия в нем, анализируемой здесь сцены Грибоедов никак не затронул.

Если теперь вспомнить, что *прямое* уже воссоздание подсознательной сферы появилось в русской литературе едва ли не впервые в «Что делать?» Чернышевского, где Вере Павловне в третьем ее *сне* открывается, что она любит не Лопухова, а Кирсанова, то напрашивается вывод: очевидная попытка выстроить художественный мир исключительно с позиций разума обнаруживает, по меньшей мере, недостаточность такого основания и сама собой, так сказать, «изнутри». Что, в свою очередь, говорит и о самой природе искусства.

По всей видимости, в процессе же художественного развития присутствует и такой момент: то, что с течением времени становится решающей характеристикой искусства, подспудно, на иных совсем ролях может как-то давать о себе знать в художественных созданиях исподволь очень задолго «до того».

Да, Чехов, утвердивший подсознание в искусстве, не только «преодолевал» предшествующую ему литературу, о чем мы часто говорим в последнее время, но и многим обнаруживал ее долговременнейшие накопления.

Я. С. Билински

<sup>1</sup> Хихадзе Л. Д. У истоков русского психологического романа // Проблемы творчества А. С. Грибоедова. Смоленск, 1994. С. 79, 80.

# ХРОНИКА

## ПЯТЫЙ И ШЕСТОЙ ПЛАТОНОВСКИЕ СЕМИНАРЫ

Каждый год осенью отдел новейшей литературы Пушкинского Дома проводит традиционный научный семинар, посвященный изучению жизни и творчества А. П. Платонова. Журнал «Русская литература» уже рассказывал о первых четырех Платоновских семинарах.<sup>1</sup> Очередные заседания семинара состоялись 27—28 октября 1993 года и 26—27 октября 1994 года.

V Платоновский семинар (27—28 октября 1993 года) был посвящен проблемам эволюции творческого сознания Андрея Платонова. В обращении к участникам семинара напутственным словом доктор филол. наук Н. А. Грознова напомнила о необходимости поиска целостного подхода к творчеству Платонова, тем более что литература о писателе огромна и изобилует разными, подчас взаимоисключающими, суждениями и точками зрения. Призвав рассматривать художника не только в горизонтальной связи с окружающими его явлениями жизни, но и как «вертикальную силу космоса», Н. А. Грознова сравнила Платонова с тремя другими русскими мыслителями XX века, родственными ему по силе открытий человеческого бытия и по тем истинам, которые они принесли в мир: В. И. Вернадским, А. Ф. Лосевым и Л. Н. Гумилевым.

Семинар открылся докладом доктора филол. наук Н. В. Корниенко (ИМЛИ, Москва) «Вопросы эволюции в свете текстологии А. Платонова». Н. В. Корниенко подчеркнула важность вопросов эволюции при изучении творческой истории любого текста Платонова. В частности, необходимо видеть, как писатель переводит свои неопубликованные художественные тексты на язык статей, рецензий, чтобы донести до читателя ту или иную запрещенную тему.

Сам Платонов оставил нам много свидетельств об этапах своей эволюции. Основываясь на автобиографии (характеризующей первый период творчества Платонова), сборнике «Епифанские шлюзы» (второй период), дневниковых записях (третий период), до-

кладчица сделала вывод: для Платонова, художника философского склада, вопрос об эволюции и рефлексия по поводу этапов собственного пути — естественны.

Н. В. Корниенко подчеркнула, что вопросы эволюции Платонова интересовали еще его современников. Особо был отмечен вклад критика А. Гурвича, который в своей известной статье «Андрей Платонов» (1937) предложил анализ сквозных мотивов творчества писателя. В концепции Гурвича эволюция мотивов, а также стабильность философского и психологического содержания предстали как основные характеристики мировоззренческого поля Платонова.

Далее докладчица предложила собственную периодизацию творчества писателя: вронезский период (внутри которого тоже есть дробление); 1927—1928 годы, время создания романа «Чевенгур»; постчевенгурский период, лишенный четких хронологических границ и определяемый целым циклом произведений (повести «Котлован», «Ювенильное море», «Инженеры», «Техническая повесть», ряд рассказов и — как центральный текст периода — неизвестный роман о Стратилате); 1933—1937 годы (рывок к третьему роману — «Счастливая Москва»); и наконец, пятый период, начавшийся в 1937 году, когда после трех неопубликованных романов появились новые по своей поэтике рассказы из сборника «Река Потудань» и была сделана заявка на новый роман — «Путешествие из Ленинграда в Москву», который «держит» все творчество писателя до 1941 года. Тогда же создаются новые рассказы, сказки, произведения для детей; а кроме того, Платонов пытается воплотить те же идеи и сюжеты в драматической форме. Особое место в эволюции писателя занимают военный и послевоенный периоды.

Затем Н. В. Корниенко обратилась к принципиально важной для понимания эволюции Платонова проблеме «периодов молчания» и подчеркнула, что именно в эти периоды особенно интенсивно пополняются записные книжки писателя, которые можно рассматривать, таким образом, не только как подспорье для изучения его художественных текстов, но и как самостоятельный жанр.

Отметив, что литературоведами пока не освоены драматургия и киносценарии писателя, докладчица указала на взаимосвязь

<sup>1</sup> См.: Харитонов А. А. 1) Платоновский семинар в Пушкинском Доме // Русская литература. 1992. № 1. С. 224—226; 2) Андрей Платонов в контексте своей эпохи (материалы IV Платоновского семинара) // Русская литература. 1993. № 2. С. 243—251.

между драматургическими и прозаическими жанрами у Платонова, а также на жанрово-родовые трансформации внутри каждого из периодов платоновского творчества. В заключение Н. В. Корниенко остановилась на вопросе о цензуре и на конкретных примерах показала, что она часто становилась фактором развития художника, поскольку многие новые тексты Платонова появились в результате запрета предыдущих произведений.<sup>2</sup>

По завершении доклада Н. В. Корниенко ответила на вопросы участников семинара, которые касались как затронутых ею проблем (темы Стратилата, романа «Путешествие из Ленинграда в Москву», правомерности исследовательских периодизаций), так и других сторон творчества Платонова (сборника «Голубая глубина», «покаянных писем» писателя, темы «Платонов и Булгаков», а также «Платонов и Шолохов»).

Продолжая дискуссию, развернувшуюся вокруг доклада Н. В. Корниенко, доктор филол. наук Н. М. Малыгина (МПУ, Москва) предложила свое понимание ответа на вопрос о том, применимо ли вообще понятие эволюции к платоновскому творчеству. По мнению Н. М. Малыгиной, — неприменимо, как и принцип монолога вообще. Все абсолютные идеи даны у Платонова в диалоге. Что бы ни утверждал любой из его героев, в том же произведении обязательно есть прямо противоположное мнение, высказанное другим героем. Основной принцип творчества Платонова, сказала Н. М. Малыгина, — это принцип всеединства, предложенный В. С. Соловьевым, что не раз отмечалось исследователями. Творчество Платонова — целостное явление, единая книга. Каждое произведение — сжатый конспект всего творчества писателя. Так, в частности, можно сказать о сборнике «Голубая глубина». Платонов пришел в литературу со сложившейся внутренней программой, которую он воплотил в стихах, помещенных в этом сборнике, а на другом «языке» изложил в брошюре «Электрфикация». О том же и «Рассказ о многих интересных вещах», и опять Платонов использует новый язык. Докладчица высказала убеждение в том, что мы никогда не сможем до конца понять мир Платонова, сколько бы новых текстов для себя ни открывали, хотя о структуре этого мира можно говорить уже сейчас.

Основной темой доклада Н. М. Малыгиной была типология платоновских героев, ее истоки, принципы создания образов. Элементы этой типологии встречаются уже на раннем этапе творчества писателя. Большинство персонажей наделяется автобиографическими чертами. Наиболее близким из них Плато-

нову Н. М. Малыгина считает Александра Дванова. Писатель сам мог «раздваиваться» и наделять героев разными сторонами собственного «я». В этом мы видим линию развития, идущую от Достоевского к художественному авангарду (и прежде всего, конечно, близость к Филонову с его эстетикой элементов и частей). Кроме того, отдельные элементы сюжета выполняют в платоновской прозе функцию сквозных мотивов и переходят из «Голубой глубины» в другие произведения.

По мнению докладчицы, специфика эволюции Платонова заключается в том, что общая картина мира писателя, который в разных своих произведениях может выдвигать на первый план разные ее аспекты, существует изначально. Причем то, что в одних носило эпизодический характер, в других становилось главным. Та или иная тема или проблема исследуется более подробно, а затем как бы возвращается обратно в общую картину. Значит, и мы должны изучать Платонова таким же образом: от целого — к части — и обратно к целому. Появление новых интерпретаций давно известных исследователям сюжетов и коллизий связано не только с цензурой, но и с принципами самого платоновского творчества. Ему хотелось и то, и другое явление показать с разных сторон. А значит, отметила в заключение Н. М. Малыгина, мы можем говорить о периодах, но в строгом смысле слова эволюции в творчестве Платонова не было.

Канд. филол. наук А. А. Харитонов (ИРЛИ) представил вниманию участников семинара доклад «Эпилог „Котлована“ как свидетельство исканий Платонова на рубеже 20—30-х годов». Опираясь на анализ сохранившихся в архивах автографов «Котлована», докладчик охарактеризовал известный по существующим изданиям текст повести как искаженный. Одно из самых значительных искажений — отсутствие публицистического эпилога повести. Выяснению художественно-философских причин его появления в тексте произведения был посвящен предложенный А. А. Харитоновым краткий анализ идейного содержания повести.

Весь «Котлован» — это непрерывный поиск истины, причем истины, чаемой как земная данность. Но герои «Котлована» не обретают так страстно искомого ими Царства Земного. Завершение повести — обрыв текста, резкий и по первому читательскому впечатлению неожиданный на всех структурных уровнях произведения. Однако ретроспективная оценка некоторых подспудно звучавших на протяжении всей повести мотивов показывает: текст «Котлована» почти с самого начала наполнен предвестиями подобного финала («случайные» обмолвки персонажей; ритуал похорон Юлии, матери Насти; эпизод с гробами; некоторые авторские отступления). Котлован — как пропасть — вот итог произведения.

Повесть оказывается трагедией поколения сирот революции, а не гимном его грядущ-

<sup>2</sup> Подробнее об основных положениях доклада см.: *Корниенко Н. В.* Вопросы эволюции в свете текстологии А. Платонова // Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы. Библиография. СПб., 1995. С. 4—23.

щему триумфу. Платоновские строители Царства Земного исповедуют веру в то, что само соиздание его имеет смысл лишь постольку, поскольку именно нынешние — «социалистические, пролетарские» — дети унаследуют это царство. Поэтому смерть девочки Насти становится не только гибелью всего «социалистического поколения», но и падением безусловной, религиозной веры в то, что «социализм будет».

Проект Царства Земного, как показывает в «Котловане» Платонов, несостоятелен с точки зрения природно-исторического устройства мира. Природа, которую человек мнил покорить без помощи Бога (ведь и смерть — лишь часть общего миропорядка), сильнее человеческого Земного Царства. Смерть Насти обнажает бессилие человека перед природным ходом вещей, установленным для тварного мира. Основной текст повести завершается как пропашть не только социального, но и трансцендентального отчаяния.

Скорбная безысходность запечатленного в произведении взгляда на мир не удовлетворила Платонова, не желавшего принимать мрачные итоги нарисованной им эсхатологической картины. Неспособность разочаровавшегося в действительности художника отказаться от всякой надежды и неприятные объективного смысла своего произведения заявлены в открыто публицистическом эпилоге повести. Поэтому, по мнению докладчика, его публикация в составе основного текста «Котлована» не только полностью оправдана текстологически, но и является необходимым условием постижения идеи повести и верной интерпретации ее авторского осмысления.<sup>3</sup>

Канд. филол. наук И. В. Савельзон (Оренбург) в докладе «О единстве и эволюции платоновского художественного мира», отталкиваясь от введенного Д. С. Лихачевым понятия о внутреннем мире художественного произведения, отметил, что мы не можем подходить к творчеству Платонова как к постмодернизму, сюрреализму и т. п. Структура внутреннего мира должна быть описана при помощи трех основных понятий: *человек / человечество — природа — космос*. Они применимы к творчеству любого художника, хотя принципы их взаимодействия могут быть различными. У Платонова обращают на себя внимание устойчивые «образы-понятия». Эволюция творчества писателя определяется изменением его отношения к этим образам.

Художественный мир Платонова, доминантой которого является ощущение неродственности всего со всем, пронизывает чувство ненормальности подобного состояния. По Платонову, все должно когда-то вновь обрести изначальное родство. Писатель не сомневается в возможности достижения этого иде-

ала. Ощущение неродственности проявляется на разных уровнях текста; причем для Платонова не важно, как можно преодолеть это состояние, ему важен конечный результат. Любой сюжет в платоновском мире, сказал в завершение своего выступления И. В. Савельзон, обречен быть неразрешенным и как бы брошенным, неразвитым, если он не направлен на воссоздание утраченных родственных связей.

Доктора филол. наук А. И. Михайлов и Н. В. Корниенко не согласились с прозвучавшим тезисом о том, что у Платонова отсутствует система сюжетов. Отвечая оппонентам, докладчик указал на отличие прозы Платонова от сюжетных видов литературы. Сославшись на предшественников (М. Дрозда), он подчеркнул, что поступки героев часто лишены сюжетной мотивировки. Канд. филол. наук В. С. Федоров обратил внимание участников семинара на принципиальную важность прозвучавшего доклада и, поставив платоновские поиски всеединства в контекст движения человеческой мысли к раскрытию загадки мира как единого целого (Ж. Линней — Ж. Кювье — В. И. Вернадский), указал на необходимость учитывать взгляды Ф. Ницше при изучении философии Платонова.

С докладом «К вопросу о мировоззренческой эволюции А. Платонова» выступила канд. филол. наук Е. И. Колесникова (ИРЛИ). Докладчица отметила, что платоновское творчество по сути своей являет картину духовной эволюции русского народа в первой половине XX века. Сложность и неоднородность этой эволюции выразились в открытом конфликте двух основных типов мирозерцания — «горизонтального», антропоцентрического, и «вертикального», теоцентрического.

Е. И. Колесникова предложила рассматривать взгляды Платонова в их развитии: от юношеской веры в бесконечные возможности человека («человечество — художник, а глина для него — Вселенная»), через многочисленные попытки отыскать свой путь, минуя и Бога, и Дьявола (записные книжки), проникнуть сквозь телесно-душевные слои к сокровенной, духовной сердцевине человека, — к православному постановке вопроса о добре и зле. Докладчица проследила эволюцию взглядов Платонова в направлении православной онтологии; были рассмотрены такие бытующие в художественном мире писателя понятия, как тоска, юродство, сиротство, любовь, с учетом смысловых отклонений от их традиционно-православного содержания.

Пронизанность платоновского творчества библейскими реминисценциями и соотносительность художественных конфликтов с христианской традицией не были для писателя только лишь набором эстетических приемов. Они возникли как следствие напряженных мировоззренческих поисков, которые, хотя и не привели его к воцерковлению, обозначили

<sup>3</sup> См. об этом: Харитонов А. А. Эпилог «Котлована» как свидетельство исканий Платонова на рубеже 20—30-х годов // Там же. С. 82—90.

совершенно определенную тенденцию движения к православию.

Выявлению христианских и антихристианских тенденций в творчестве Андрея Платонова 1910—1920-х годов было посвящено и сообщение канд. филол. наук И. А. Спиридоновой (Петрозаводск).

В начале своего творческого пути Платонов понимал Христа как первого сознательного человека, пролетария. Революция была для него прежде всего духовным актом. В сборнике «Голубая глубина» автор усомнился в возможности достигнуть Земного рая, который сам же воспевал. Платоновская трактовка Христа отмечена сосредоточенностью на его человеческой природе. Писатель исповедовал антропоцентризм, «антропотехнизм» и делал ставку на человека, который сам должен сотворить Земной рай. Напротив, в более поздних произведениях именно эта идея приводит весь мир к гибели. В публицистических статьях 10—20-х годов Платонов соединял религиозные и социальные мотивы, однако собственно христианства здесь нет. Скорее, это период крайних «антихристианских» настроений в его творчестве, младенческое упоение диалектикой.

Пик платоновского сомнения в самодостаточности разумного человека приходится на 1926—1927 годы (повести «Эфирный тракт» и «Сокровенный человек»). Платонов обращается к идеалам христианской морали: совесть как счастье, любовь как наиболее полноценная форма связи между людьми. Все то, что он декларирует в 30-е годы, свидетельствует о возвращении к традициям христианства. В частности, писатель вновь и вновь размышляет в своих произведениях о Нагорной проповеди.<sup>4</sup>

Н. А. Грознова не согласилась с трактовкой сборника «Голубая глубина», предложенной И. А. Спиридоновой, и обратила внимание на трехчастную композицию книги, в которой лишь первая часть действительно является «пролеткультовским маршем», вторая же и третья наполнены подлинно христианским содержанием. Канд. филол. наук Т. М. Вахитова (ИРЛИ) выразила сомнение в том, что рабочая свобода начала века была кладезем христианской мудрости, и сослалась на мемуары современников, которые описывают это время как эпоху деградации церкви и духовности. Последнее мнение оспорила Н. В. Корниенко, кратко проанализировавшая реальное место христианской веры в детских впечатлениях писателя (глубокая религиозность матери; место Ямской слободы на Воронежско-Задонском богомольном тракте).

<sup>4</sup> Подробнее об этом см.: Спиридонова И. А. Христианские и антихристианские тенденции творчества Андрея Платонова 1910—1920-х годов // Евангельский текст в русской литературе XVIII—XX веков: Цытата. Рецензия. Мотив. Сюжет. Жанр. Петрозаводск, 1994. С. 348—360.

Доклад на тему «Монолингвистическое сознание и язык героев А. Платонова» был сделан аспирантом В. А. Колотаевым (Ставрополь). Он отметил, что для выражения своего видения мира персонажи Платонова пользуются «чужим» языком, коим, по сути, является «язык революции», прежде всего насыщенная неологизмами лексика революционной эпохи. Она насаждается на митингах, в печати, ликбезе, по радио и таким образом проникает в сознание героев.

Механизм усвоения новых слов и понятий был продемонстрирован на примере мыслей Полубезьева по поводу статьи Ленина «О кооперации». Процесс адаптации «чужих» слов обусловлен особой логикой сознания Полубезьева. Понимание слова происходит за счет отождествления предмета с другим предметом, без какой-либо интерпретации. Так, например, призыв «ликвидировать кулаков как класс» воспринимается буквально: их расстреливают. Подобная «языковая экспансия» ведет к вытеснению не только исконной лексики, но и к уничтожению ее носителей. Происходит упрощение культуры и, в конечном итоге, ее полное уничтожение. Сначала коренных чевенгурцев убивают, на их место сгоняют «прочих»; затем истребляется и сам ландшафт.

Причина этого — люди, являющиеся носителями особой ментальности. Герои Платонова из лагеря большевиков обладают мифологическим сознанием негативного, жизнеотрицающего типа, которое ориентировано на снятие оппозиции жизнь / смерть путем исключения первой части (жизнь) и, таким образом, не выполняет своих медиативных функций.

В докладе «Тема самоубийства в романе Андрея Платонова „Чевенгур“» канд. филол. наук В. Ю. Вьюгин (ИРЛИ) обратился к анализу доминантного финального мотива произведения — самоубийства его главного героя. Докладчик попытался выявить противоречивый смысл этого поступка, исследуя фабулу романа, т. е. установленные в нем причинно-следственные отношения. В. Ю. Вьюгин обнаружил, что характерной чертой Александра Дванова является его постоянная близость к смерти. По мнению докладчика, заслуживают внимания не только те «внешнесюжетные» столкновения героя со смертью, которые постоянно присутствуют на страницах романа, но и внутренне присутствующая Дванову зависимость от нее. Образ отца Дванова является тем звеном, на котором держится внутренняя связь героя с мотивом смерти. Автор постоянно указывает на заранее предуготованное сходство судеб этих персонажей.

История города Чевенгура и роман «Чевенгур» завершаются, казалось бы, общей и личной катастрофой. Однако Платонов лишает апокалиптические мотивы значения всеобщности. Он неоднократно подчеркивает, что мир Дванова и тех, кто его окружает

временном и пространственном плане, — еще не весь мир, не вся Россия. Писатель стремится избежать категорических выводов.

Докладчик отметил, что мотив самоубийства относится к числу повторяющихся в творчестве Платонова (например, сопутствует героям его научно-фантастической прозы). С этой точки зрения самоубийство Дванова оказывается явлением, закономерным для художественного мира Платонова. Оно предопределено отнюдь не одновременно возникшим желанием писателя «изобразить» таким способом отказ от своих идей и юношеских идеалов, павших под ударами горькой действительности.

Т. М. Вахитова посвятила свое сообщение техническим идеям Платонова. Она отметила, что до сих пор не выявлены документы, относящиеся к инженерной деятельности писателя: что именно он изобретал, какие у него есть патенты. Не раскрыто соотношение платоновских идей с конкретными научными представлениями его времени.

Докладчица отметила эволюцию технической темы в платоновском творчестве: в ранний период технические идеи выполняют важные функции при формировании сюжета; позднее становятся периферийными мотивами. Классифицируя научные идеи Платонова, Т. М. Вахитова выделила три сферы: транспорт (паровоз, самолет, трактор), промышленность (турбины, двигатели), быт. Причем особо подчеркнула, что философская и нравственная проблематика входит в творчество писателя именно через технические идеи. В роли объединяющей выступает идея «электрофикации», которая «просвечивает» сквозь все технические изображения. Докладчица остановилась на отдельных положениях популярной в 1920-е годы теории эфира, а также на ее трансформации в повести Платонова «Эфирный тракт». Т. М. Вахитова отметила, что в своей трактовке эфира писатель вернулся назад, к механической теории, более того, «оживил» электроны. Значит, «Эфирный тракт» — это не научная фантастика, поскольку здесь Платонов идет не впереди науки, а как бы возвращается назад. Обратившись к повести «Впрок», докладчица проанализировала художественное преломление в этом произведении идеи электрического возделывания почвы, существовавшей в 1920-е годы.

Во время дискуссии по этому докладу Н. В. Корниенко заметила, что затронутая Т. М. Вахитовой тема огромна, но должна быть осмыслена прежде всего не гуманитариями; соответствия между изобретениями писателя и техническими идеями, отраженными в его художественных произведениях, позволяют уточнить их датировки. В. Ю. Вьюгин в своей реплике подчеркнул, что к художественному произведению не следует подходить так же, как к научному. А Н. А. Грознава поддержала тезис о том, что литературоведы должны осмысливать в первую очередь ху-

дожественную сторону творчества Платонова.

Канд. филол. наук В. В. Перкин (СПБУ, Санкт-Петербург) в сообщении «Платонов и Запад» рассмотрел преломление в творчестве Платонова одного из важнейших принципов романтической эстетики — романтической иронии. Ее суть — утверждение свободы личности, игрового отношения человека к миру, что соответствует духовным устремлениям Платонова в 1930-е годы. Оттолкнувшись от конкретной литературной аллюзии — упоминания в «Чевенгуре» книги Л. Тика, которую читает Александр Дванов, — исследователь показал, что роман пронизан романтической иронией, источником которой является игровое начало. По мнению В. В. Перкина, проявления скрытой иронии мы находим и в поздних художественных произведениях писателя (рассказ «Бессмертие»), и в его литературной критике (статья о Пришвине).

Завершило программу V Платоновского семинара выступление Д. Кудри (Москва), редактора журнала «Здесь и Теперь», который посвящает значительную часть своей печатной площадки публикации текстов Платонова и исследований о его творчестве. Д. Кудря рассказал о планах редакции и пригласил к сотрудничеству заинтересованных исследователей.

26—27 октября 1994 года в Пушкинском Доме состоялся VI Платоновский семинар «Итоги и проблемы изучения творчества А. П. Платонова». Открывая заседание семинара, доктор филол. наук Н. А. Грознава представила собравшимся вышедшие за последний год книги о Платонове и новых участников Платоновского семинара; поделилась планами платоноведческих изданий Отдела новейшей литературы Пушкинского Дома; обозначила некоторые спорные вопросы, которые по-прежнему стоят перед исследователями творчества писателя, такие, например, как его отношение к соцреализму или к христианству.

Канд. филол. наук А. А. Харитонов (ИРЛИ) выступил с информационным сообщением о научных симпозиумах, прошедших в связи с 95-летием со дня рождения Платонова: Вторых Платоновских чтениях в Воронеже (7—8 октября 1994 года) и Международной научной конференции «Андрей Платонов и русская культура XX века» в Москве (17—19 октября 1994 года), а также о создании и планах деятельности Общества Андрея Платонова.

Канд. филол. наук Г. В. Филиппов (ИРЛИ) в своем докладе «Три финала „Котлована“» обратился к источникам текста повести (рукописи и машинописи, хранящиеся в ИРЛИ, и публикации в «Новом мире»). Докладчик утверждал, что вопрос о том, кому принадлежат вымарки и купюры, сделанные в тексте (как восполненные, так и не восполненные в журнальной публикации), остается откры-

тым и, возможно, так никогда и не будет решен. По мнению Г. В. Филиппова, Платонов мог убрать наиболее смелые куски текста из конъюнктурных соображений или под воздействием редакционного нажима. Докладчик предложил решать проблему последней авторской воли дифференцированно, учитывая, насколько свободен был художник в своих решениях и какими соображениями он руководствовался. Ограничив свою задачу определением подобных соображений применительно к финалу «Котлована», Г. В. Филиппов предостерег от формального подхода к этой проблеме. Необходимо проследить, к чему ведет логика повести, истолковать произведение в целом и уже затем пытаться ответить на вопрос о каноническом тексте финала.

Первый финал, отвергнутый еще в рукописи — «Настя была бережно опущена, чтобы даже мертвое семя будущего сохранялось навсегда». Ассоциация ясна: Достоевский, слезинка ребенка, цитата из Евангелия от Иоанна, являющаяся эпиграфом к «Братьям Карамазовым», — мертвое семя, которое должно умереть, чтобы потом дать плод. Но Платонов отказался от этого финала — возможно, не удовлетворившись его идейной стороной, однако не исключено, что и художественной.

Второй финал, который сейчас считается каноническим, обычно интерпретируется как полное разуверение художника в идеях коммунизма. Нет иллюзий, нет веры в будущее; роют могилу для всего народа и человечества. Этому соответствует общая тональность повести: если взять сюжетные линии, связанные с главными персонажами, то к финалу нагромождается порядочная гора трупов, чего нет в других произведениях Платонова. И общая концепция «Котлована», и финал кажутся совершенно безнадежными.

Однако почему во всех вариантах правки сохраняется выражение «утро второго дня»? Это, несомненно, отсылка к Книге Бытия (на второй день творения происходит отделение воды от тверди). И, как заметил Г. В. Филиппов, все идет через смерть Насти, через преступление — к возрождению. Идея возрождения неизменно присутствует в творчестве Платонова. Так возникает проблема третьего, окончательного финала, дописанного при правке машинописи.

Этот финал совершенно проясняет авторскую позицию, он снимает состояние трагизма, сказал в завершение докладчик, а потому этот текст и является каноническим — хотя, конечно, впоследствии Платонов мог вновь вычеркнуть или дополнить его.

Доклад Г. В. Филиппова вызвал оживленную дискуссию. Канд. филол. наук В. С. Федоров (ИРЛИ) полностью поддержал позицию докладчика, добавив, что рассматриваемый финал не может быть прочитан вне контекста учения Н. Ф. Федорова, ибо его

идеи патрофикации оказали заметное влияние на эпизод похорон Насти. Доктор филол. наук А. И. Павловский (ИРЛИ) и канд. филол. наук М. А. Дмитриевская (Калининград) оспорили последнее утверждение. Они настаивали на полном отсутствии федоровских мотивов (как идеи патрофикации, так и идеи музея) в финале «Котлована». В ряды сторонников мнения о неорганичном и вынужденном характере последней приписки к тексту повести встал И. И. Долгов (ИРЛИ), подчеркнувший, что снятие трагизма в «Котловане» невозможно.

Несогласие платоноведов вызвала сама методология, использованная Г. В. Филипповым для решения текстологических проблем. Канд. филол. наук В. Ю. Вьюгин (ИРЛИ) выразил сомнение в корректности интерпретационного подхода при установлении канонического текста произведения и подчеркнул, что никакие интерпретации и толкования не могут определять тактику и стратегию научной текстологии. А. А. Харитонов напомнил о фактическом соотношении сохранившихся автографов повести (черновая рукопись и три правленных экземпляра машинописи, находящиеся в ИРЛИ, РГАЛИ и семейном архиве писателя) и сформулировал ряд текстологических выводов, которые позволяют сделать исследование *всех* известных источников печатного текста «Котлована». В частности, совершенно определено можно судить о том, какая правка принадлежит автору, а какая — другому лицу; какой экземпляр машинописи готовился к отправке в издательство (и потому может содержать «вынужденную» правку), а какой был оставлен Платоновым для себя; какова генеалогия редакций и автографов и, следовательно, какой текст является окончательным и должен быть признан каноническим.

Доктор филол. наук А. М. Минакова (РАТИ, Москва) предложила вниманию участников семинара доклад «Мифопоэтика в повести А. Платонова „Котлован“». Докладчица использовала метод структурно-семантического анализа. Свообразие платоновского текста она увидела в том, что к первобытному мифу и архетипам (по К. Г. Юнгу) восходит не только глубокий народно-мифологический слой, но и социально-актуальный, который мифологизирован в повести дважды. На определенном этапе философская проза Платонова трансформируется в текст-миф («Чевенгур», «Котлован», «Счастливая Москва»). Мифологическая модель мира придает единство и цельность собственно художественной, которая, в свою очередь, генетически восходит к космогоническому мифу. Перед нами — воссоздание действительности с точки зрения мифологического сознания человека из народа.

В докладе были рассмотрены традиционные мифологемы: *жизнь / смерть, верх / низ, свет / тьма*; и отмечено, что у Платонова они не утрачивают своей амбивалентности



(это было показано на примере мифологемы *дом*). Как установила А. М. Минакова, кроме традиционных, в повести есть и собственно авторские мифологемы: *покой, пустота*.

Докладчица указала на то, что в «Котловане» отсутствует стихия народного смеха, однако повесть пронизана наводящим ужас комизмом, из которого рождается мифологема *страха*, а затем и *смерти*. Причем у Платонова страх носит экзистенциальный характер; это становится очевидным при сопоставлении с мифологемой страха у М. Булгакова. В докладе были также проанализированы мифологемы *свои / чужие, истина* и др.

Отметив несомненные достоинства доклада А. М. Минаковой, канд. филол. наук Т. М. Вахитова (ИРЛИ) в то же время напомнил об опасности, заключенной в отказе от конкретно-исторического понимания текста, отрицании его социально-актуального содержания, столь важного для Платонова. Далее она поделилась собственными наблюдениями над запечатленными в тексте знаками тех реальных проблем жизни, которые мучили Платонова — почти единственного из советских писателей, который не *изображал* народ, а *жил* вместе с ним.

Материалом для доклада доктора филол. наук А. А. Газизовой (МПГУ, Москва) «Красота и душа в ранней прозе А. Платонова» послужили записные книжки, письма и художественные произведения, созданные до 1930 года. К. Леонтьев писал, что славянство наиболее полно проявляет себя в мышлении отвлеченными идеями. А это значит, что и сегодня требуется познание отвлеченных идей Платонова, которые определяют своеобразие его прозы. Присутствие *души* в мире этого художника не вызывает сомнения у исследователей, так как само это слово часто употребляется в его произведениях. Напротив, *красота*, — возможно, наиболее потаенная идея платоновского творчества.<sup>5</sup>

В докладе «Смысл точных цифр (К вопросу о текстуальных проявлениях автобиографизма в творчестве А. Платонова)» канд. филол. наук А. А. Харитонов (ИРЛИ) остановился на одной частной детали платоновских текстов — цифрах, обозначающих сроки «земного существования» человека. Они нечасты у писателя, но тем более важными представляются те случаи, когда точно указывается возраст героев.

Обратившись к роману «Чевенгур», А. А. Харитонов проанализировал отмеченное Е. А. Яблоковым противоречие между косвенно обозначенным при помощи указания на возраст Александра Дванова временем действия романа (1929 год) и изображаемым временем (1921 год). Докладчик предложил собственную трактовку: возраст героя — од-

новременно и возраст его ровесника-автора, а потому указывает не на время действия, а на момент создания произведения. Первая фраза другого платоновского текста — «Котлован» («тридцатилетие личной жизни») позволяет предположить, что начало работы над этой повестью относится к сентябрю 1929 года, ибо творческим импульсом к его созданию послужило осмысление писателем собственного тридцатилетия как определенного жизненного рубежа.

Докладчик обратил внимание на то, что в сцене погребения матери Насти, Юлии, возраст героини отмечен особо: «Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла: 32-х лет и 3-х месяцев». С точки зрения сюжета подобная «эпитафия» никак не мотивирована, а в ряду других — всегда приблизительных — платоновских указаний на молодость героя представляется просто избыточной. В таком случае, не относится ли этот пассаж к самому автору, являясь знаком его присутствия в тексте, указанием на его возраст, и следовательно, — своего рода автоэпитафией? Если принять подобное допущение, мы должны будем признать, что Платонов возвращался к работе над повестью в конце 1931 года.

Подобное же точное указание на возраст героя (Александра Спиридоновича Титова, «отца») встречается и в пьесе «Молчание (Голос отца)»: «жития его было 38 лет и 3 месяца». Мы видим здесь ту же формулу возраста (годы и месяцы прожитой жизни), ту же функцию (надгробная эпитафия), те же мотивы, что и в рассмотренном выше фрагменте «Котлована». Докладчик подчеркнул, что проблема датировки пьесы «Молчание» до сих пор остается нерешенной, и перечислил существующие точки зрения. Затем он высказал предположение, что названная хронологическая деталь носит, как и другие, ей подобные, автобиографический характер и указывает на декабрь 1937 года как время работы Платонова над пьесой «Голос отца». А. А. Харитонов отметил, что доказательство истинности предложенной в докладе гипотезы могло бы оказать немалую помощь в датировке текстов писателя. Однако оно имеет отношение не только к проблемам текстологии, но и к мировоззренческим основам поэтики Платонова, который, подобно художникам эпохи Возрождения, осознает себя творящей личностью на фоне немолчающей толпы, но смиренно отходит в тень, дает *непрямое* указание на свое авторство и время работы над произведением, помещая его в тексте наподобие картуша, некоей эмблемы. Важно и то, что эти цифры, эти точно отмеренные сроки прожитой жизни, — эпитафии. Они — свидетельство присущего Платонову особого чувства времени, остроты переживания им «смертности» уходящего мига жизни, высокой внутренней ответственности художника за каждый прожитый день, и наконец, постоянной готовности подвести итог — не только

<sup>5</sup> См. также расширенный вариант этого доклада: Газизова А. А. Красота и душа в ранней прозе А. Платонова // Творчество Андрея Платонова. С. 53—62.

в день тридцатилетия, на перевале жизненного пути, но и на каждой остановке. Это ощущение «смертности» бытия роднит платоновское отношение к жизни с евангельским каноном бодрствования и приуготовления к вечности.

А. А. Кретинин (Воронеж), выступивший с докладом «Трагическое в художественном мире А. Платонова и Б. Пастернака», подчеркнул, что подобное сопоставление двух художников вполне закономерно, поскольку для них обоих особенно значима категория трагического; с другой стороны, можно предположить поляриность, а значит, взаимодополняемость ряда характеристик трагического у Платонова и Пастернака.

Единство самых разнообразных вещей — одна из главных характеристик пастернаковского мира. Условие истинного познания для Пастернака — тождество, «свойство» субъекта и объекта. Но обладание даром неизбежно ведет художника к катастрофе, к той или иной личностной потере. Трагическое у Пастернака совпадает с должным, истинным и прекрасным и означает «совпадение» человека с собственной сущностью, реализацию им своего предназначения.

Источником трагического у Платонова является отчуждение смысла жизни, истины от мира, человека, самой жизни. Обратившись к анализу статьи «О любви», докладчик показал, что в художественном мире писателя человек, призванный быть жизнью, не становится ею, так как, обретая мысль, не узнает смысла. Удовлетворить мысль может только истина. Законмерно, что поиск счастья и истины обычно сопряжен у Платонова с тоской и скорбью. Потребность в единстве мира и мысли проявляется в тоске, грусти и т. д. Эти черты не закрепляются за конкретными лицами, и потому в произведениях писателя действуют не трагические герои, а трагический мир. Платоновские герои претерпевают несчастье вместе со всем миром, в то время как пастернаковские страдают индивидуально. Различны и формы проявления трагического пафоса: «античный» трагизм Платонова — боль, душевная болезнь.<sup>6</sup>

Доктор филол. наук В. А. Шошин (ИРЛИ) в своем сообщении «А. Платонов и его современники» попытался ответить на вопрос: каким был круг общения Платонова, непосредственно влиявший на его творчество. Материалом для доклада послужили письма Платонову, хранящиеся в Пушкинском Доме, которые в определенной степени дают представление об этом круге. Чтение писем В. Кольцова, В. Келлера, Л. Гумилевского, В. Гроссмана, А. Леонова, а также размышления над некоторыми полуполюгендарными свидетельствами позволили докладчику сфор-

мулировать ряд вопросов, остающихся пока, к сожалению, без ответа.<sup>7</sup>

Внимание участника семинара привлек доклад канд. филол. наук Е. И. Колесниковой (ИРЛИ) «Из архива А. Платонова: „Македонский офицер“». В нем был впервые представлен и глубоко проанализирован хранящийся в Рукописном отделе Пушкинского Дома платоновский автограф «Македонский офицер: Роман из ветхой жизни». Докладчица предложила убедительную датировку произведения, проследила развитие его основных тем и их место в творческой эволюции писателя 30-х годов.<sup>8</sup>

Доктор филологии А. Г. Лысов (Вильнюс), известный исследователь творчества Л. Леонова, назвал свое выступление «Ветхозаветные коллизии в творчестве А. Платонова». Он призвал поставить проблему исследования наследия Платонова в контекст целостного изучения литературы XX века. По мнению А. Г. Лысова, с точки зрения жанра его творчество определить невозможно. Это не сюрреалистическая былина, а роман-жизнь, который воплощает в себе сущностные, национальные категории. Л. Толстой выдвинул идею витальности; Платонов принял от него эстафету.

Произведения Платонова можно рассматривать как явление религиозного кризиса, сказал А. Г. Лысов. По своей натуре Платонов не учитель, как Толстой, а правдоискатель. Он обобщает идейно-религиозные поиски русской литературы. Платонов увидел соответствие того, что реально совершается в СССР, событиям, которые описаны в Библии как «день первый» и «день второй». Ветхозаветным по своему происхождению является и мотив коллективной ответственности, воздаяния всем за одного. Ветхий Завет воспринимается Платоновым как «формула Бога большого числа людей». Очевидно, перед нами — ветхозаветная коллизия, в которой в едином потоке народных судеб выделяется одна конкретная судьба. В конце 20-х — начале 30-х годов писатель подвел итог ветхозаветным исканиям. Он предложил собственное решение вопроса о современном местонахождении Бога: Христос ходит внутри всего этого страшного мира; Христос — на земле. Платонов измерил действительность христианским взглядом. В этом — его роль в советской литературе, сказал в заключение докладчик.

Кандидат филологии А. Мёрк (Осло) в докладе «Понятие „безотцовщины“ в свете антиутопической стратегии Платонова» охарактеризовал *безотцовщину* как одну из центральных тем «Чевенгура», в прямую связанную с антиутопической тенденцией романа.

<sup>6</sup> Подробнее об этом см.: Кретинин А. А. Трагическое в художественном мире А. Платонова и Б. Пастернака // Там же. С. 63—69.

<sup>7</sup> См.: Шошин В. А. А. Платонов и его современники // Там же. С. 163—206.

<sup>8</sup> Публикацию текста см.: Там же. С. 245—264.

У Платонова можно найти такую приметную утопию, как разложение семьи (общий стол, воспитание детей в государственных учреждениях). Общественный строй, который основан на подобных принципах, порождает синдром, определяемый писателем как *безотцовщина*.

Чевенгурское утопическое общество — особое. Автор характеризует его именно с точки зрения безотцовщины («прочие» не имеют родителей). Без отца ребенок находится вне истории, вне культуры («прочие» потеряли свою национальность). Но без этих ценностей человек перестает быть человеком, он возвращается к животному состоянию.

Этимологически *культура* связана с обработкой земли. Чевенгурцы едят траву, т. е. и в этом смысле они потеряли культуру. Другими словами, основная часть чевенгурского общества — люди, не умеющие жить в обществе. Они сами отрываются от всего отцовского, от всей культуры. В этом мире нет и Отца — Бога. Его отсутствие связано с отсутствием родного отца. Отношение к христианству — одна из основ культуры. Безотцовщина непосредственно связана со смертью. «Прочие» не могут жить с женщиной нормально, т. е. сироты не могут иметь своих детей. У Александра Дванова три приемных отца. Все они подталкивают его к женитьбе, но у Дванова отсутствует необходимый для этого инстинкт. Вся жизнь от ищет своего родного отца и не может иметь собственного сына. В конце концов Дванов соединяется с отцом, — но уже в смерти.

Итак, сирота у Платонова умирает без наследников, полностью и навсегда. Чевенгурская утопия — идеология безотцовщины. Эта идеология нежизненна, у нее нет будущего.

Выступление В. Ю. Вьюгина «Андрей Платонов и анархизм. По материалам романа „Чевенгур“» стало дальнейшей разработкой темы, уже заявленной докладчиком на одном из предшествующих семинаров. В. Ю. Вьюгин отметил, что интерес писателя к анархизму отразился не только в его раннем публицистическом творчестве, но и в произведениях более позднего времени — в частности, в повести «Строители страны» и в романе «Чевенгур». В докладе был поднят вопрос о том, почему Платонова, открыто заявлявшего о своей приверженности идеям социализма и коммунизма, не могла удовлетворить социалистическая теория в ее «ортодоксальном» виде. Платоновская рефлексия (обостренное ощущение трагичности человеческого бытия) очень часто оказывалась первичной по отношению к другим проблемам, связанным с существованием человека и общества. В. Ю. Вьюгин высказал предположение, что писатель готов был в том или ином виде воспринимать (разумеется, переосмысливая и по-своему перерабатывая) самые разнообразные и разноплановые идеи, которые могли бы помочь в преодолении «последнего врага» человечества — Смерти. С этих позиций до-

кладчик попытался проанализировать и отношение Платонова к проблеме свободы. Для решения проблемы смерти и бессмертия недостаточно одной социальной свободы (освобождения от «капиталистического рабства»), тем более в формах, предложенных становящимся социалистическим государством. Преодоление власти природы над человеком расширило само понятие свободы.

В докладе были рассмотрены и другие основания, позволявшие писателю совмещать интерес к социализму Маркса и к идеологии анархизма. Нельзя забывать, что оба направления, несмотря на открытое противостояние друг другу, существовали в общем русле социалистических учений. Важно и другое. При всей противоречивости своей натуры Платонов всегда оставался человеком, сосредоточенным на поиске истины и раскрытии тайн природы с помощью позитивной науки. Той самой, к которой постоянно обращаются за подтверждением своих выводов и анархисты.

В заключение докладчик остановился на текстуральных и тематических параллелях, обнаруживающихся при сопоставлении произведений Платонова с сочинениями анархистов (в первую очередь Кропоткина и Штирнера).

Аспирантка СПбГУ Д. В. Колесова в докладе «Роль А. Платонова в развитии русского литературного языка», суммировав все высказанное лингвистами о языке писателя, выделила три основные точки зрения. Первая из них: платоновский язык — это нарушение нормы. Безусловно, сравнение с общезыковой нормой — естественная для лингвиста потребность; проблема кроется в отношении исследователей к ненормативным явлениям. Нельзя забывать, что норма — понятие подвижное. Между тем авторы многих работ о языке Платонова сводят анализ его особенностей к описанию и классификации погрешностей писателя против кондиционированного языка.

С другой стороны, некоторые исследователи видят в платоновском языке свидетельство возвращения к мифологическому сознанию. Удивительно, что обычно эта концепция доказывается при помощи *анализа речи персонажей* Платонова. Особенности мышления и выражения крестьян и рабочих воспринимаются и тракуются как характеристики *сознания самого автора*. Сравнивая Платонова и с древнерусскими книжниками, для которых слово было делом. Проанализировав конкретную платоновскую синтагму, Д. В. Колесова показала, что писатель действительно обращается к древнерусской традиции, но при этом, несомненно, творит как мастер XX века: у Платонова художественные средства языка свободны от их языкового субстрата.

Третья точка зрения: язык Платонова — развитие нормы русского литературного языка. Совместными усилиями лингвистов уже

выявлены и описаны многие специфические черты платоновского языка. Закономерно предположить, что перед нами индивидуальное художественное преломление объективной языковой тенденции. И действительно, в основе любого обнаруженного в текстах Платонова отклонения от существующей нормы лежит тенденция, которая имеется и в нормативном языке, но представлена писателем в таком сконденсированном виде, что воспринимается как нарушение нормы (ср., например, нагромождение ряда зависимых имен существительных в родительном падеже, принцип компрессии смысла и др.).

Напомнив об уже звучавших на семинаре призывах изучать эволюцию творчества писателя, докладчица остановилась на проблеме развития языка Платонова.

В заключение Д. В. Колесова сформулировала вывод о том, что язык Платонова — не просто индивидуальное употребление языковых единиц, а развитие русского литературного языка, поскольку он опирается на достижения других мастеров слова и закрепляет в собственном творчестве новые тенденции живой речи. По мнению докладчицы, в настоящее время следует говорить не о *нарушении*, а о *расширении* нормы Платоновым.

В докладе «Семантика пространственной границы у Платонова» канд. филол. наук М. А. Дмитриевская (Калининград) остановилась на причудливом совмещении в текстах писателя двух противоположных тенденций: мифопоэтического восприятия мира (которое проявляется в осмыслении границы как линии между «своим» и «чужим») и экзистенциального восприятия мира (граница — это преграда, которая должна быть преодолена в стремлении к миру). Предложенный в докладе анализ языка писателя не ограничился рамками стилистики. Он был направлен на осмысление философии языка Платонова. М. А. Дмитриевская поставила перед собой задачу реконструировать мирозерцание художника, основываясь на наблюдениях за его словоупотреблением. Были проанализированы лексемы *внутри* — *снаружи*, *окно*, *стена*, *горизонт*, связанные с представлением о границе.

Докладчица отметила, что у Платонова физиологические и психологические процессы, которые происходят в человеке, очень часто локализируются в его *теле*. Эта особенность свидетельствует о мифопоэтическом характере мышления писателя и его знакомстве с архаическими формами языка (последнее положение М. И. Дмитриевская подтвердила примерами из московской картотеки словаря древнерусского языка). Подробное ощущение своего тела героями отражается и в генезисе местоимений. Однако возможны и другие акценты: тело может не только охранять, но и заковать. В этом случае становятся особенно важными понятия *теснота* и *душота*.

Оппозиция *внутри* — *снаружи* распространяется Платоновым и на место обитания

человека, его дом. М. И. Дмитриевская отметила уподобление дома человеческому телу в мифологии. Конструкции, идентичные платоновским, были обнаружены докладчицей в древнерусском языке (пространственные обозначения) и в албанской волшебной сказке (обозначение конкретного абстрактным).

С *окном* как символом преодоления пространственной ограниченности и стремления вовне перекликается семантика *горизонта*. Значимость окна и горизонта в европейской культуре Нового времени отмечалась О. Шпенглером. Горизонт символизирует пространственную даль, глубину.

Особое место в художественной системе Платонова занимает *стена*. Она употребляется как *гносеологическая* метафора — для описания особенностей познания. Но если ранних Платонов верит в безграничные возможности человеческого сознания, то к концу 20-х годов его взгляды меняются. Ограниченность научного познания изображена Платоновым в виде стены, которую чувствует своим «ощущающим умом» инженер Прушевский.

Подводя итоги, докладчица отметила, что, с одной стороны, в художественном мире Платонова наблюдается реконструкция мифопоэтического пространства; с другой стороны, для него значимы экзистенциальные моменты. Категория границы получает у писателя неоднозначную интерпретацию.

Канд. филол. наук А. А. Дырдин (Ульяновск) выступил с докладом «Платонов и апокрифическая традиция».

В работах о Платонове христианская культура рассматривается как один из скрытых ориентиров, а сознание писателя — как хилиастическое, анонимно-религиозное. Докладчик высказал предположение, что оно в значительной степени связано с христианско-эзотерической традицией.

Сопоставление произведений Платонова с широким кругом апокрифов позволяет говорить о глубокой внутренней связи между ними. Так, с точки зрения причастности к теме самопознания человека, торжества знания, а не слепой веры, его художественная мысль лежит в русле гностических представлений. Обнаруживается символическое совпадение основных образов-идей Платонова и таких не известных ему гностических апокрифов, как Евангелие от Фомы и Евангелие от Филиппа (утрата личного начала и расширение его до космических пределов, вопросы о начале и конце бытия, символика воды, земли, воздуха, света и т. д.).

С другой стороны, двоемирие Платонова дает право проводить аналогии с отечественными отреченными сочинениями («Сказание отца нашего Агапия», «Хождение Богородицы по мукам», «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже»). Сам Платонов подчеркивал свою близость «русскому историческому правдоискательству», эсхатологическим устремлениям народа. Есть следы пря-

мого влияния упомянутых выше текстов на структуру и качество платоновской прозы.

Апокрифические евангелия, жития и «хождения» составляли, как известно, основу жанрового репертуара калек переходных, бродячих сказителей. Их отличает свобода в трактовке канонических сюжетов. Ту же вольность в обращении с новозаветными источниками мы наблюдаем у Платонова, литературную позицию которого можно сравнить с духовным странничеством. В его прозе христианская идеология переосмыслена. Так, например, снижен пафос эпизода «второго пришествия» в повести «Впрок». Особую роль играют апокалиптические образы и мо-

тив ангела-хранителя в «Чевенгуре». В незавершенном «Техническом романе» Платонов перерабатывает легенду о Христе и Лазаре.

Сближение с апокрифической традицией делает платоновские тексты сокровенными, зашифрованными. Без изучения этой связи трудно понять поэтику Платонова, сущность его творческой личности.

Заседание, как обычно, завершилось обсуждением докладов и общей дискуссией. С заключительным словом выступила Н. А. Грознова, которая вела и все предыдущие Платоновские семинары, первый из которых состоялся в 1990 году.

*А. А. Харитонов*

## ЮБИЛЕЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 95-ЛЕТИЮ ЛЕОНИДА МАКСИМОВИЧА ЛЕОНОВА

30 мая 1994 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН состоялась юбилейная конференция, посвященная 95-летию Леонида Максимовича Леонова. Конференция проводилась еще при жизни художника, поэтому многие слова, произнесенные ее участниками, теперь, после ухода писателя, звучат и воспринимаются иначе, может быть с большей весомостью и глубиной.

Перед началом конференции выступил директор ИРЛИ, доктор филол. наук Н. Н. Скатов. Он остановился на общих проблемах изучения русской литературы и, в частности, на тех сложностях, которые возникают в наше время перед исследователями литературы XX века, литературы советского периода.

В Пушкинском Доме, отметил Н. Н. Скатов, проводятся разноплановые конференции. Одни чрезвычайно широки по своей тематике, посвящены глобальным явлениям всей национальной культуры (например, «Православие и русская культура»). Необходимость в них, продиктованная временем, очевидна. Другие более скромны и обычны по проблематике. Однако, по мнению Н. Н. Скатова, конференции второго рода, к числу которых относятся и нынешняя Леоновская, не менее важны и результативны. Пушкинский Дом, сказал Н. Н. Скатов, иногда обвиняют в консерватизме. Но консерватизм, особенно в науке, нельзя рассматривать только как отрицательное явление. Необходимо сохранять внимательное отношение не только к авангардным явлениям в литературе, но и к классике.

Н. Н. Скатов говорил о двух «типах» художников-классиков. Одни видятся монументальными и застывшими фигурами. Леонов — а он, без сомнения, является классиком — не таков. Для этого художника харак-

терны живость восприятия мира, острота мысли. Это человек, не отстающий от времени, от современной действительности. Леонов работает над новым романом, и появление этой книги будет событием в духовной жизни России.

Классика, сказал в заключение Н. Н. Скатов, постоянно актуализируется, приобретая новый смысл. Творчество Леонова в этом отношении не исключение.

Затем прозвучало обращение к участникам конференции доктора филол. наук В. А. Ковалева (Санкт-Петербург) — старейшего исследователя творчества Леонова: «В масштабе столетий (субъективные заметки)».

Хочу упомянуть об удивительном совпадении (с разницей ровно в 100 лет) дат рождения гениального русского поэта, родоначальника новой русской литературы (XIX век) и центрального писателя XX века, одного из зачинателей новейшей русской литературы, — соответственно 26 мая 1799 года и 19 мая 1899 года. Разумеется, это историческая случайность, но знаменательная: сердечный ритм России, знаки ее духовного подъема.

По мысли Ф. Энгельса, «случайность — это только один полюс взаимозависимости, другой полюс которой называется необходимостью». В данном случае подразумеваемая закономерность может определяться прежде всего таким фактором, как расцвет русской классической литературы в XIX и XX веках. М. Горький уже в 20-е годы назвал Леонова продолжателем «дела Пушкина, Грибоедова, Гоголя, Тургенева, Достоевского и Льва Толстого». Тем самым именем Леонова Горький сомкнул движение пооктябрьской литературы с классической литературой начиная с Пушкина.

Другой фактор — это победа социальной революции в России. Появление на литературном небосклоне в 20-е годы нового светила было озарено идеями Октября. Однажды, вспоминая предвоенное десятилетие, Леонов сказал: «30-е годы были для нас годами мечты, громадного устремления вперед. Когда мимо проходит космическое тело, то оно должно или оттолкнуть, или притянуть. Я не мог в те годы как писатель оставаться в стороне от революции. Я жил в этой стране, я был вместе со своей страной».

Леонов, как и все мы в ту пору (я человек того поколения), не мог игнорировать реальной социалистической «пассионарности» народов Советского Союза. Если гений Пушкина и его могучее влияние на развитие русской классики проявились быстро и интенсивно, в краткие сроки жизни, отведенные ему судьбой, то возвышение Леонова во весь свой исполинский рост и воздействие на русский литературный процесс XX века сказались в более поздние сроки, а период «творческого плодотворения» растянулся на многие десятилетия. И сейчас, в 1994 году, в конце века, все мы находимся в состоянии радостного ожидания публикации нового романа Леонова «Пирамида» — итога его почти полувекового напряженного труда. Произведение это, повествующее о человеке на планете Земля, о России и космосе, увенчивает движение русской литературы на пути ее «от Пушкина до Леонова». Оно, по всей видимости, является *главной* книгой писателя и как эстафета передается наступающему третьему тысячелетию... Нам, литературоведам, еще предстоит понять феномен Леонова как связующего звена в цепи времен и поколений России, как зримого элемента наплывающей на современность литературы-будущего, со всеми ее парадоксами и неожиданностями. «Пирамида» — «роман-наваждение», по слову автора.

Главное в творчестве Леонова его романы — поистине энциклопедия русской жизни. Леоновский образ России утвердился в сознании людей. Леонов отчетливо выразил, говоря его словами, «веру нации в свое национальное бессмертие», в «преemptивность в потоке времен». Человек живет у него в стихии сложных духовных конфликтов и противоречий. Метко определил писатель специфику пооктябрьских взрывных перемен в обществе — *пролом*. Он увидел не только отречение в жизнь идеалов социальной справедливости, но и разрушительные, деструктивные процессы, отчего его энциклопедия русской жизни нередко окрашивается в острые драматические и трагические тона. Художественные поиски подлинных героев времени сочетаются с новаторским открытием в нашей жизни подполья, маргинальных натур. Леонов продолжил критическую линию философско-психологической прозы в мировой литературе, в особенности традиции Достоевского — глубокого исследователя ду-

ши и сознания homo sapiens христианской эры.

Мне приходилось не раз беседовать с Леоновым о Достоевском. Вспоминается один эпизод. Однажды я показал Леонову тетрадь со своими записями. Взгляд Леонова задержался на фразе: «У Достоевского я ценю прием». Он тотчас отреагировал на полях тетради: «И не только прием». Я мгновенно вспомнил, что именно Леонов не раз отвергал существовавший долгие годы суженный взгляд на творчество Достоевского как на «школу» художественного психологизма. Он верил универсальности и цельности Достоевского как писателя-гражданина, философа, психолога, публициста-эссеиста... Затем Леонов продолжил начатую запись в тетради: «Нельзя в России любить только „что-нибудь“». Я за Россию, которая бывает всякая!» Последнее слово он дважды подчеркнул. Запись приобрела афористический оттенок. Я невольно вспомнил известные пушкинские слова в его споре с Чаадаевым: «Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам бог ее дал». Переключка мнений явная!

Пушкинское понимание национальной гордости великороссов полно живой непосредственности, не политизировано, не подчинено абстрактной системности. Родина — это целостная реальность, нераздельная в нашем сознании.

Данное сообщение я назвал «В масштабе столетий». Такой масштаб вообще присущ Леонову как художнику и эссеисту. Эта черта творческой индивидуальности писателя ясно выразилась, в частности, во время известной встречи Леонова и генсека М. С. Горбачева в мае 1989 года. Леонов говорил тогда о том, что руководство страны всегда должно знать, как отзовутся его действия в будущем — через сто, двести, а может быть, и триста лет. В обществе накопилось ныне много проблем, которые беспокоят, тревожат людей. Нельзя рассчитывать на успех, если мы не будем заботиться о том, чтобы современники «уже сегодня почувствовали результат перемен... И не только с точки зрения демократии, гласности, но и уверенности, самочувствия человеческого, реального улучшения своей жизни». Но голосу великого художника не вняли. Творческий девиз Леонова «В ответе за будущее» оказался не нужен...

В июне 1993 года появилась статья публициста А. Салуцкого, в которой были приведены отрывки из беседы с Леоновым, которые воспринимаются как крик души. В них прозвучали слова писателя: «Народ за бороду схватили! Схватили за бороду и держат! Понимаете, что это такое?..» В этой реплике — напоминание о фактах трехвековой давности, но, как говорится, *sapienti sat*.

Что касается отмечаемого нами леоновского юбилея, то писатель как бы удвоил его значительность, приурочив к нему публика-

цию своей главной книги. Это нас всех безмерно радует и вдохновляет.

Я очень надеюсь на то, что леоновские торжества, совпадающие с пушкинскими 1999 года, станут временем более глубокого осознания его национального и всемирного значения.

Сопряжение дат Пушкина и Леонова носит вроде бы внешний характер. Но это далеко не так. Сопоставимость с выдающимися русскими писателями была завоевана творческим трудом молодого Леонова уже в 20-е годы. Реальная роль Леонова в литературном процессе тогда выявилась не вполне. Она не выявилась до конца и до сих пор: мы не знакомы с окончательными итогами труда Леонова за последние 40—50 лет. Я бы выразился так: мы живем лишь в начальный период углубленного изучения его произведений, его художественного мастерства, его языка и стиля. До сих пор не развеяны до конца ложные критические истолкования и мифы, зародившиеся в 20—30-е годы. Нужно учитывать и то обстоятельство, что творчество Леонова дискредитировалось в критике целенаправленно в течение многих десятков лет, в том числе и в условиях наступившей гласности. Свидетельством этому служит недопущение Леонова в школьные программы. Показателен такой бесспорный факт: мне, редактору школьного учебника для 10-го класса «Русская советская литература», так и не удалось добиться в свое время включения в учебник главы о Леонове (правда, удалось включить главу о Леонове объемом в 1 печатный лист в массовое издание книги «Краткий очерк истории русской советской литературы. 1917—1980». Книга вышла в 1984 году тиражом 25 000 экз.).

Хочу, во избежание кривотолков, подчеркнуть, что я не стремлюсь уравнивать Пушкина и Леонова. Это сделать невозможно. Кому может прийти в голову такая мысль?! Это — вздор.

Как известно, любое сравнение релятивно, однако сравнения позволяют глубже понять своеобразие больших русских художников. »

В докладе «Леонид Леонов и пути русской литературы» канд. филол. наук А. Г. Лысова (Вильнюс) говорилось о необходимости именно сегодня подводить итоги и намечать новые пути в изучении творчества Леонова. А. Г. Лысов отметил возникшую в последнее время тревожную тенденцию отделять личность Леонова от общего развития литературного процесса или же связывать его творчество с так называемой «служебной литературой». Настало время понять, особенно подчеркнуть докладчик, что Леонов неотделим, неотчуждаем от «большой русской литературы», которая «не споткнулась на пороге Октября 1917 года, но продолжала, несмотря на гонения и физическое уничтожение целых плеяд писателей, вершить то дело, которое ей назначено». Леонов, подобно своим героям, — «заступник России», «воспри-

емник всечеловеческого духовного наследия». Приняв нравственный закон и идеалы Достоевского и Толстого, Леонов всегда оставался самим собой, просто сыном России.

Свой доклад «Грани леоновской метафизики» доктор филол. наук Н. А. Грознова (Санкт-Петербург) начала с размышлений о судьбе русской литературы XX века. Русская литература, рожденная после Октября 1917 года, представляет собой ныне неизведанный материал. Ее подлинное, глубинное содержание еще не прочитано. И это имеет самое непосредственное отношение к творчеству Леонида Леонова. Многие тайны леоновского художественного мира остаются нераскрытыми уже потому, что мы еще не имеем возможности познакомиться с романом «Пирамида» — произведением, которое писатель создавал на протяжении чуть ли не полувека и которое считает самой главной своей книгой. Опубликованные фрагменты из «Пирамиды» свидетельствуют о том, что, создав этот роман, Леонов возвел своеобразный купол над реалиями своего художественного мира.

Н. А. Грознова обратила внимание на особый философский характер творчества Леонова. Опыт леоновских проникновений в глубины бытия предстает особенно значительным. Им пронизана ткань его письма, все его мыслительные, художественные построения. Мотивы бытия, мотивы устройства мира возникали в размышлениях писателя постоянно, а в последние годы они стали настойчивыми, неотступными.

Интересно, что метафизические размышления Леонова не носят мистического характера. Они покоятся на глубоких познаниях писателя в области физики мира. Творческие искания Леонова, по мнению Н. А. Грозновой, удивительным образом перекликаются с современной философской мыслью. Философские мотивы, образы, сюжеты предстают у Леонова как сигналы, как знаки некоей существующей за гранью видимого реальности. Эти сигналы (по словам писателя) появляются помимо его воли.

Если следовать логике метафизического мышления Леонова, то несколько иную интерпретацию может получить постоянная потребность Леонова возвращаться к прежним своим текстам, создавать новые редакции («Вор», «Барсуки» и др.). Не одни только цензурные обстоятельства диктовали эту работу писателю. Испытывая и благоговение, и покорность перед бездной космического бытия, Леонов как художник оберегает сокровенную иерархичность самоорганизующейся жизни Вселенной. Писатель в полной мере осознает трагическую судьбу России, однако его восприятие метафизической парадигмы мира покоится на постоянной созерцании жизни. Вот почему, оценивая как трагическое внешнее положение нации, Леонов стремится отыскать защиту жизни именно в силах мироздания.

Важно подчеркнуть, сказала в заключение Н. А. Грознова, что прорывы русской литературы советского периода к пониманию миропорядка совершались вместе с Вернадским, Циолковским и другими выдающимися мыслителями XX века.

Доктор филол. наук В. П. Крылов (Петрозаводск) в своем выступлении «К проблеме углубленного изучения текстов произведений Леонова» обратил внимание на необходимость «лучше и эффективнее обращаться с текстами произведений глубоко и серьезно изученного и тем не менее все еще в чем-то загадочного писателя». Главная трудность, с которой сталкивается читатель и интерпретатор творчества Леонова, сказал В. П. Крылов, связана с повышенной метафорической и информативной плотностью текстов писателя.

Образ мира предстает в произведениях Леонова как диалог (или полилог) далеко отстоящих друг от друга культур. Творчеству писателя свойственно драматургическое начало, в нем сосуществуют разные точки зрения, подчас контрастирующие мотивы. Все это выдвигает на повестку дня вопрос о контрапункте в поэтике Леонова, решение которого создаст предпосылку для свежего прочтения его произведений.

Свой доклад «К проблеме углубленного изучения художественных текстов произведений Л. Леонова» доктор филол. наук Л. П. Егорова (Ставрополь) посвятила рассмотрению проблем творческой эволюции Л. Леонова в свете современных концепций историко-литературного процесса. По мнению докладчицы, важнейшими этапами развития русской литературы XX столетия являются первая треть XX века и 30—40-е годы. Рубеж между указанными этапами обусловил особенности развития литературного процесса в большей степени, чем 1917 год. Сопоставляя творчество Леонова 20-х и 30-х годов, Л. П. Егорова подчеркнула необходимость отказать от сложившихся стереотипов, порожденных искренним желанием историков литературы защитить писателя от предъявлявшихся ему обвинений идеологического характера.

Л. П. Егорова остановилась на некоторых ранее нечасто привлекавших внимание исследователей особенностях произведений «Дорога на Океан» и «Половчанские сады». Признавая леоновские романы (в частности, «Дорогу на Океан») философскими произведениями, Л. П. Егорова тем не менее подчеркнула необходимость углубленного рассмотрения и их социальной подоплеки, их «социального» плана. Сопоставляя основной текст «Половчанских садов» с его первоначальным вариантом, докладчица затронула проблему сложных отношений писателя со своей эпохой. Их можно определить как некоторый компромисс и одновременно духовное сопротивление времени.

В докладе доктора филол. наук В. В. Бузник (Санкт-Петербург) «Современное прочте-

ние. О повести „Evgenia Ivanovna”» говорилось о том, что в настоящее время литературоведы столкнулись с необходимостью заново открывать художественный мир Леонида Леонова. На крутом повороте отечественной истории возникла потребность рассмотреть и осмыслить творчество старейшего писателя не только в ретроспективе минувших десятилетий, но и, главное, в свете умонастроений общества, резко меняющего свои ценностные ориентации. В сложившихся обстоятельствах историков литературы подстерегает опасность новомодного нигилизма по отношению к недавнему прошлому. Тем не менее филологическая наука уже не может развиваться без определенной переоценки ценностей, в первую очередь без отказа от господствовавших в ней долгие годы жестко политизированных социально-классовых приоритетов. Восприятие литературы как своего рода эстетического средоточия прежде всего духовных первоначал бытия — вот что, по мнению докладчицы, является необходимым условием истинно современного прочтения произведений Леонова, в особенности таких, как повесть «Evgenia Ivanovna» с ее богатым нравственно-философским подтекстом. Здесь исследовательское внимание к метафизическим горизонтам сочинения помогает не просто увидеть в знакомом произведении нечто, ранее не замеченное, но по-новому понять, истолковать его общее содержание. Вот почему, вопреки сложившейся версии, «Evgenia Ivanovna» меньше всего воспринимается сегодня как история горестных мытарств эмигрантки. Эмигрантская тема, как она развита у Леонова, вообще утратила с годами свою первоначальную новизну. Зато насущную жизненность обнаруживает все, что заключено в недоступных социологизированному взгляду онтологических глубинах леоновского письма. Наиболее живой интерес вызывает воссозданная писателем нетленная драма сложных человеческих отношений. Окажется, читателю важнее всего знать, как автор, скрупулезно исследуя «мускулатуру движущих мир страстей», показывает, из чего состоит сама Жизнь, рассказывает о непрестанной борьбе Добра и Зла, Бога и Дьявола в душах людей, духовная состоятельность которых испытывается такими атрибутами Вечности, как Любовь, Предательство, Раскаяние, Прощение. И едва ли не самой актуальной выглядит облагораживающая эту борьбу идея человеческого достоинства, которое даже в неимоверно жестоких, унижительных обстоятельствах ставится ее участниками превыше всего, расценивается дороже земного существования. Именно с этой гуманистической идеей, а не с одной лишь эмигрантской темой, соотносит В. В. Бузник крайне важные для современного прочтения повести даты: сначала возникновения ее замысла в 1934 году, затем написания начального варианта в 1938 году и, наконец, первой публикации в 1963 году, знаменательно сов-



павшей с выходом из печати рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Нетрудно заметить, что все три даги приходятся на годы, когда вопрос о Человеке, его внутренних силах и правах трагически остро стоял перед страной, государством, обществом: отвлеченно философский смысл произведения оказывается, таким образом, связан с суровой реальностью конкретного бытия.

Канд. филол. наук Т. М. Вахитова (Санкт-Петербург) в своем выступлении «Леонов и Набоков. 20-е годы (к постановке проблемы)» обратила внимание на ряд неожиданных литературных, философско-эстетических и биографических совпадений в судьбах двух художников, столь различных по образу жизни, политическим взглядам и связям с родной почвой. Эти совпадения носят как частный характер (близость первых рассказов «Нежить» и «Бурьга», романов «Соглядатай» и «Вор», использование аналогичных художественных приемов, образов, тем), так и общий — отношение к творчеству, выстроенность и организованность художественного мира, философская и эстетическая многозначность содержания.

Область подобных совпадений имеет достаточно четкие границы. За ее пределами остаются весьма существенные различия, полярные константы, «запретные» темы. Главное, что разделяет художественные миры Леонова и Набокова, — образ народа, воплощенный в мощном символическом аспекте у Леонова и существующий у Набокова «лишь в образе горничной». И вместе с тем очевидные факты близости творческих индивидуальностей писателей свидетельствуют об общем художественном архетипе, принадлежности их к одной плеяде, заставляют задуматься о генетическом родстве «советской» литературы и литературы русского зарубежья.

Доклад канд. филол. наук О. А. Разводовой (Воронеж) назывался «Федор Степун о Леониде Леонове (к проблеме концепции курса «Истории русской литературы XX века)». Творчество Л. Леонова анализировалось в нем на фоне тех оценок, которые давал ему выступавший в качестве его критика Федор Степун. Ф. Степун высоко ценил раннее творчество Леонова («Бурьгу», первую редакцию «Вора»), к позднему же относился как к творчеству писателя, сломленного временем.

Обратив внимание на то, что творчество Леонова заняло центральное место в программной статье Степуна «Советская и эмигрантская литература 20-х годов», О. А. Разводова практически выразила свое принципиальное согласие с высказанной в ней позицией: советская литература и коммунизм — два разнокачественных и во многом исключających друг друга явления. Советская литература создавалась и жила вопреки идеологии коммунизма. Докладчица считает важным, что, обосновывая эту точку зрения, критик

прежде всего опирается на творчество Л. Леонова.

С точки зрения О. А. Разводовой, Степун прав и в том, что литературы в эмиграции по сути дела просто не существовало. Именно поэтому она считает целесообразным отказаться от определений «литература эмиграции», «литература внутренней эмиграции» и «советская литература» как ненаучных, не несущих сущностной информации и вносящих хаос в представление о литературном процессе. Следует обратиться к опыту изучения литературы XIX века. Ведь никто не называет Герцена и Огарева писателями русской эмиграции, а в творчестве Пушкина и Льва Толстого никто не выделяет произведения внутренней эмиграции. Надо идти от мысли о единстве русской литературы.

Доклад В. В. Перхина (Санкт-Петербург) «Дискуссия о пьесе Л. Леонова „Метель“ (1940)» был построен на основе материалов, впервые вводимых в научный оборот. Докладчик проанализировал критические оценки газетной периодики и архивную стенограмму обсуждения пьесы в Союзе писателей СССР. Он показал, что в дискуссии о «Метели» столкнулись два противоположных направления критики: критика гуманитарная (преимущественно провинциальная), утверждавшая необходимость правдивого изображения той действительности, когда люди «боятся собственной тени и слов», и критика официальная, отвергавшая подобный подход, старавшаяся, в частности, доказать, что «Метель» является пьесой клеветнической, пьесой о неверии в социализм (А. А. Фадеев).

Дискуссия явилась столкновением представителей официального патриотизма, с одной стороны, и носителей национально-исторического сознания — с другой. Первые, говоря о России, следовали сталинским политическим формулам. Они искали в пьесе Леонова соответствие сталинским литературно-политическим указаниям и были глухи, равнодушны и враждебны к духовной России. Подобным критикам Леонов ответил: «Я хотел сказать о праве на Родину... а получается так, что пьесу скидывали как негодную».

Вторые понимали патриотизм в качестве части «культуры духа», рассматривая Россию как целый «духовный организм». Для них пьеса «Метель» стала утверждением «подлинной человечности» и «красоты открытых призывных сердец», произведением, показавшим, что русское моральное сознание, несмотря на воздействие «большого террора», сохранило свою историческую природу.

На проявление внутренней независимости Леонова власть ответила «идеологической поркой», которую по интенсивности и целенаправленности можно сравнить только с действиями власти против А. А. Ахматовой и М. М. Зощенко в 1946—1947 годах.

В выступлении Е. И. Колесниковой (Санкт-Петербург) «Ориенталистика как спо-

соб русского самовыражения» были рассмотрены способы бытования восточных мотивов в художественной стихии Л. Леонова. Е. И. Колесникова оценила рассказ «Туатамур» как эмоциональный отклик на события гражданской войны, которые, в отличие от войны Отечественной, были лишены для писателя героического пафоса. Битва на реке Калке, одно из самых запутанных событий русской истории, проецируется Леоновым на современность. Рассказ оставляет ощущение всеобщего смятения, трагического героизма обеих сторон, бессмысленности многочисленных жертв.

Докладчица сопоставила фабулу рассказа с летописными источниками, на которые опирался Леонов. Следуя строго за летописью в передаче событий, писатель допускает отступления в изображении персонажей, например заставляет главного героя погибнуть вопреки исторической правде. Подобные сопоставления с летописью, по мнению Е. И. Колесниковой, позволяют выявить некоторые особенности исторического и эстетического видения Леонова.

\* А. В. Харчевников (Магадан) выступил с докладом «Классические мотивы в романах Л. М. Леонова „Барсуки“ (1924) и А. П. Платонова „Чевенгур“ (1926—1929)». Наиболее существенной из классических истоков творчества Л. Леонова, считает А. В. Харчевников, является традиция Достоевского. Вместе с тем закономерно обращение к творчеству Достоевского и для А. Платонова.

В соответствии с классической традицией Л. Леонов и А. Платонов видят в людском эгоцентризме, титанической претенциозности причину нравственного и общественного регресса. Если говорить о Леонове, показателен в этом отношении откровенный эгоизм «гусаковских» комиссаров Грохотова и

Сергея Половинкина, возмнившего себя осью мира. Леоновские лидеры-эгоцентрики, отметил докладчик, генетически близки образам догматиков Ф. Достоевского — Раскольникову и Верховенскому, Кириллову и Великому инквизитору.

Художественный мир А. Платонова также оказывается связан с творчеством Достоевского. Так, в романе «Чевенгур» Платонов переосмысливает ключевой мотив романа Достоевского «Записки из подполья» — мотив «своеволия»; развивая тему нравственного двойничества, создает гротесковый образ «полномочного волревкома» Мошонкова, присвоившего имя Достоевского. Деспотические деяния Мошонкова — аллегорическая перифраза центральных идей автора «Бесов»: теории о «человекобоге» Кириллова, дилеммы разума и чувства, гордыни, самообожествления.

Следствием же «гипертрофии эгоизма» леоновских и платоновских героев явилась утрата исторической и национальной памяти, воплотившаяся в символическом мотиве «сынового забвения матери».

Причастность романистики Леонова и Платонова к вечным нравственным ценностям, по мнению А. В. Харчевникова, есть проявление народности творчества великих и прозорливых летописцев XX века.

Доктор филол. наук В. А. Шошин (Санкт-Петербург) в выступлении «Неизвестная страница из жизни Л. Леонова» рассказал об участии Л. Леонова в судьбе Севера России, о событиях, связанных с попыткой властей разрушить 116 церквей и часовен в 1961 году.

Конференция завершилась обсуждением докладов.

**В. Ю. Вьюгин**

## ХІХ МАЛЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ПУШКИНСКОМ ДОМЕ

3 мая 1995 года в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) РАН в девятнадцатый раз состоялись традиционные ежегодные Малышевские чтения, посвященные памяти выдающегося ученого-медиевиста, знатока и исследователя древнерусских рукописей, создателя Древлехранилища Пушкинского Дома Владимира Ивановича Малышева.

Открыл Чтения академик Д. С. Лихачев. Он отметил роль В. И. Малышева как собирателя и коллекционера, создателя замечательного хранилища древнерусских рукописей, которое является теперь национальным достоянием России. Д. С. Лихачев предложил организовать в Древлехранилище Пушкинского Дома проведение периодических науч-

ных заседаний — «круглых столов», посвященных роли старообрядчества в русской культуре.

В. П. Бударягин в своем докладе вкратце охарактеризовал археографическую работу Древлехранилища за 1994 год. Докладчик отметил, что по причине недостаточного бюджетного финансирования археографы уже в течение ряда лет оказались лишены возможности выезжать в экспедиции и приобретать рукописи у коллекционеров и держателей старины. В прошлом году положение улучшилось благодаря средствам, выделенным Фондом Сороса, что позволило съездить в археографическую командировку в Архангельск, а также пополнить собрание Древлехранилища несколькими рукописями XVIII—

XX веков непосредственно в Петербурге. В их числе сборник сочинений инока Авраамия и дьякона Федора в списке 30-х годов XVIII века, сборник учительный середины XIX века, два сборника духовных стихов, переписанных в Твери в начале XX века и содержащих несколько редко встречающихся произведений этого жанра. Давний друг Древлекранилища Т. В. Старостина из Петрозаводска передала в Карельское собрание архив кижского писаря (ему посвящая специальный доклад Г. В. Маркелова). Пополнялась и коллекция А. Г. Боброва. В качестве примера археологии камеральной доклады привел атрибуцию родового Евангелия Достоевских из фондов Библиотеки Пушкинского Дома. Традиционно датированное по вкладной записи Романа Достоевского 1649 годом, издание оказалось старше на полстолетия и представляет собой экземпляр так называемого «сигнатурного» Евангелия, напечатанного в типографии Мамоничей в Вильно в 1600 году. В. П. Бударягин отметил также, что в Древлекранилище была развернута выставка, посвященная 300-летию Выго-Лексинского общежития, еще несколько рукописей экспонировались участникам Конгресса Международной ассоциации библиофилов.

В докладе Е. В. Душечкиной «Зеркала Индийского царства», сделанном на материале «Сказания об Индийском царстве», рассматривалось изображение одной из описанных в нем «дикинов» — волшебных зеркал. Волшебные зеркала, широко известные в мировой мифологии, в данном контексте наделены оптическими свойствами, благодаря которым они приобретают способность отражать не внешний физический облик находящихся перед ними людей, а их моральные свойства и мысли. В отличие от латинского оригинала («*Epistola Iohannis regis Indorum ad Emmanuelem regem Graecorum*»), где в волшебном зеркале можно было видеть все происходящее в покоренных Индийскому царству провинциях, в русских списках зеркала превращаются в оптическое устройство по обнаружению злых замыслов против господина. Наличие в богатом, мощном и авторитарном царстве таких зеркал показывает, что царство это не удовлетворяется внешним сохранением верности царю, но требует от своих граждан полной преданности. Это свидетельствует о возможности использования их в качестве орудия надзора за подданными для охраны учрежденного порядка, что и подтверждается поздними списками «Сказания» XVIII и XIX веков, заключила докладчица.

Доклад С. И. Николаева был посвящен ответу на вопрос о том, были ли писателями дети царя Алексея Михайловича. Докладчик представил слушателям и проанализировал цикл биографических преданий о литературном творчестве царевича Алексея Алексеевича и царевен Софьи Алексеевны и Натальи

Алексеевны, сформировавшийся в первой половине XVIII века и обладающий необыкновенной устойчивостью и иллюзией достоверности, которые позволили ему сохраниться вплоть до сегодняшнего дня. Между тем проведенный докладчиком подробный анализ источников этих литературно-биографических преданий привел его к однозначному выводу: «Эти предания не могут служить надежными источниками для атрибуции каких-либо произведений до тех пор, пока в руки исследователей не попадут тексты произведений, не оставляющие сомнений в их авторе». Таким образом, ответ на вынесенный в название доклада вопрос должен дать негативный. Появление же всего цикла преданий, по мнению исследователя, следует, по видимому, связывать с проблемой общественной репутации литературного труда, обозначившейся в русском обществе к середине XVIII века. Необходимость нобилизации литературного труда и вызвала, как кажется, к жизни приведенные предания о литературных занятиях царских детей, заключил С. И. Николаев.

Доклад Е. М. Юхименко (Москва) был посвящен теме «блудного сына» в контексте истории Выго-Лексинского общежития. Докладчица обратилась к анализу наиболее трудного периода в истории Выговской старообрядческой пустыни (1740—1770 годы) — периода упадка, что выразилось в снижении духовного и нравственного потенциала общежития. Именно в это время наиболее часто и актуально звучала тема евангельской притчи — возможность спасения через покаяние — в сочинениях выговских писателей: Ивана Филиппова, Алексея Иродионова и, в особенности, Василия Данилова Шапошникова. Обнаружение Е. М. Юхименко черновых автографов трех «воспоминательных» слов, ранее считавшихся анонимными, позволило исследовательнице атрибутировать их Василию Данилову. Кроме того, докладчице удалось разыскать текст еще одного сочинения того же автора, ранее в науке неизвестный, — «Слово о блудном сыне», написанное в жанре толкования на Евангелие. Текст выговского автора вполне самостоятелен, наблюдаются лишь отдельные заимствования из «Учительных Евангелий» Иоанна Златоуста и Кирилла Транквилиона, отметила исследовательница. Прочность основ общежития и верность наследие первых выговских отцов привели к возрождению Выга: в период с 80-х годов XVIII по 20-е годы XIX века выговская книжность и литература пережили истинный расцвет.

М. В. Рождественская рассказала об обнаруженных ею в фонде Института им. Н. П. Кондакова в архиве Института истории искусств Чешской академии наук (Прага) письмах И. Н. Заволоки известному ученому-искусствоведу, сотруднику Института Кондакова в Праге Н. М. Беляеву (1899—1930). Письма написаны из Риги в

Прагу в период лета — осени 1929 года и связаны с приглашением Н. М. Беллева для чтения лекций на организуемому Кругом ревнителей старины при Рижской Гребенцовской общине выставку русских икон, которая задумывалась И. Н. Заволоко по материалам как совместная с пражским Институтом Кондакова. Выпускник Карлова университета (1927), И. Н. Заволоко по возвращении в Латвию продолжал поддерживать научные связи с коллегами из Праги. Письма позволяют, по словам докладчицы, оценить широту научных и просветительских устремлений И. Н. Заволоко, старавшегося объединить разные европейские научные и художественные силы для изучения и сохранения русской культурной традиции вне России. Письма И. Н. Заволоко из пражского архива документально подтверждают неослабевающий интерес Ивана Никифоровича к мировой науке об искусстве Древней Руси и к вкладу в эту науку людей, которые в эмиграции справедливо были названы русской интеллектуальной элитой. Ксерокопии писем докладчица передала в личный архив И. Н. Заволоко, хранящийся в Древлекранилище Пушкинского Дома.

В докладе А. А. и А. М. Панченко «Осьмое чудо света, или Мавзолей вождя» рассматривался культурно-религиозный контекст нетрадиционного погребения Ленина. Несмотря на существование весьма обстоятельной монографии (*Тумаркин Н. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. 1983*), многие аспекты ленинского культа, по мнению докладчиков, остаются непроясненными. Отчасти это касается и культурных предпосылок бальзамирования тела «вождя», и строительства мавзолея. Авторы указали на связь «марксистской» религиозности в России с архетипами традиционного православия. Представление о посмертной нетленности в отечественной религиозной традиции связано и с идеей святости, и с мифологическим образом «заложного» (т. е. нечистого) покойника. Обе эти линии, по мнению авторов доклада, и воплотились в бальзамировании тела Ленина — во всяком случае, на подсознательном и обрядовом уровне. Они были подкреплены хилиастическими настроениями первого пореволюционного десятилетия, чаяниями физического воскрешения мертвых, упованием на могущество новой «науки» и т. д. Начальные этапы истории советского культа Ленина трактуются авторами в контексте общего потока русской религиозности.

Доклад А. Х. Горфункеля об иллюстрированном экземпляре Елизаветинской Библии из Бостонской Публичной библиотеки, присланный исследователем специально для Мальшевских чтений из Бостона, был зачитан Н. И. Николаевым. В своем сообщении А. Х. Горфункель дал подробное описание бостонского экземпляра этого важного для истории русской культуры издания (1-е, Петер-

бургское, 1751 года), особо остановившись на одной его существенной особенности: в конце XVIII столетия книга была превращена во владельческий 4-томный конволют — в нее были вплетены листы другого, западного издания — лицевой гравированной Библии, изданной Христорофом Вайгелем, знаменитым немецким гравером и владельцем одного из крупнейших издательств гравюр и гравированных книг, в Нюрнберге в 1712 году. Таким образом, конволют Бостонской Публичной библиотеки, по мнению докладчика, представляет интерес для истории русского библиофильства: благодаря стараниям его владельца, Павла Алексеева Сидорова (имя читается на корешке 3-го тома), в этой книге оказались соединенными наиболее авторитетное издание славянского текста Священного Писания и выдающийся памятник западноевропейского гравировального искусства начала XVIII столетия.

В докладе «О расспросных речах старообрядцев (по материалам Канцелярии Синода)» М. А. Федотова показала, что среди дел и документов Канцелярии Святейшего Синода (ЦГИА. Ф. 796) есть ценные материалы, относящиеся к истории старообрядчества, которые следует учитывать при его изучении. Особый интерес, по мнению докладчицы, представляют документы, связанные с «причислением к православию», и о самосожжениях. Более подробно М. А. Федотова остановилась на делах с расспросными речами старообрядцев, которые содержат богатый статистический материал по старообрядчеству, дают исторические сведения о том, где какие толки и согласия были распространены (в том числе и по Санкт-Петербургской губернии), вводят новые исторические имена деятелей старообрядчества, дополняют наши знания об уже хорошо известных в истории старообрядчества лицах (например, о Данииле Викулине), свидетельствуют об экономическом, материальном положении тех или иных общин и поселений. Почти все расспросные речи, по мнению докладчицы, — это яркие зарисовки о жизни и быте старообрядцев, среди которых встречаются целые описания жизни. М. А. Федотова отметила, что в некоторых из них есть фрагменты, которые могут быть определены рядом жанровых характеристик, они представляют собой видения, послания; в расспросных речах встречаются и письма, молитвы, составленные старообрядцами. Фрагменты эти по стилю, по организации текста оказываются гораздо ближе к произведениям древней русской литературы, чем к произведениям литературы XVIII века и литературы Нового времени. Они отражают средневековое мировоззрение и апеллируют к категориям средневековой культуры. Более подробно докладчица остановилась на деле 1054 (оп. 3 за 1722 г.), содержащем «видение Семена Костерина», деле 598 (оп. 9 за 1728 г.), в котором читаются письма к родным «ушедшей от мужа жены-староверки», а

также деле 387 (оп. 1 за 1721 г.) о молельне в доме князя Ефима Мещерского, где была составлена «жонкой Аленой» молитва «о здравии царского величества».

В докладе «Архив кижского писаря» Г. В. Маркелов рассказал о недавнем поступлении в Древлехранилище им. В. И. Малышева: преподаватель Петрозаводского университета Т. В. Старостина передала Пушкинскому Дому большое число крестьянских деловых бумаг XIX века, обнаруженных ею еще в 1949 году в одном из заброшенных домов деревни Кургеницы, расположенной на соседнем с Кижями острове. Подаренные рукописи оказались сохранившейся частью архива писаря Правления Кижского сельского общества Ивана Корнилова, крестьянина деревни Кургеницы. Архив, включающий около 120 документов разной сохранности и объема, охватывающих период с 1802 по 1913 год, пополнил Карельское собрание рукописей Древлехранилища. Г. В. Маркеловым проведены описание, систематизация и анализ поступивших в Пушкинский Дом материалов — частных крестьянских документов (прошений, жалоб, писем), а также первичных общинных документов (протоколов сельских сходов, их приговоров, рапортов, подеревенских списков кижских жителей с пометами об их грамотности и др.), которые позволяют существенно пополнить наши знания о крестьянской культуре России.

В докладе А. Г. Боброва и Н. С. Демковой «Древнерусские рукописи Королевской библиотеки в Копенгагене» были приведены существенные уточнения и дополнения к опубликованному в 1993 году каталогу Г. Сване. Особое внимание было уделено сборнику *Ny kgs. Saml. 553 c — 4*, в котором находятся списки таких произведений, как «Слово» Даниила Заточника, Софийская 1-я летопись, «Роспись Китайскому государству» 1618 года, «Физиолог» (фрагмент), «Хождения»: в Царьград Антония Новгородца, по Святым местам Василия Познякава, к султану турец-

кому в 1570 году посла Андрея Шеина, князя Темрюка «в Мошанскую землю» в 1593 году; послания Ивана Грозного к цесарю Максимиану и к султану Селембеку; повести: о царице Динаре, о Китоврасе (в редакции Палея), о нашествиях Тохтамыша и Темир-Аксака, о Мамаевом побоище, о приходе Стефана Батория на Псков, о Псково-Печерском монастыре, о взятии Пскова в 1510 году, о явлении иконы Богородицы в Ворониче (на Сингей горе); выписки из Псковской летописи, Донесение псковскому воеводе Лыкову 1645 года и многие другие. Докладчики подчеркнули, что, как можно видеть из обзора содержания сборника, значительное место в нем занимают произведения, связанные, с одной стороны, со Псковом и Псковской землей, а с другой — с зарубежными государствами и международными отношениями. Попытки установить личность писца ведут, по мнению авторов доклада, в Псков середины XVII века, после 1645 года. Прочтение скрепы в рукописи и сопоставление почерков скрепы и писца позволили исследователям утверждать, что владельцем и писцом сборника был один из руководителей Псковского восстания 1650 года стрелец Демидка Воинов. Копенгагенский сборник следует рассматривать как отражение круга чтения и взглядов одного из руководителей Псковского восстания 1650 года как раз накануне его начала, заключили докладчики.

В заключительном докладе Г. М. Прохоров прочел присланный ему из США рассказ русского старообрядца Прохора Григорьевича Мартюшева об обстоятельствах, вынудивших его родителей и многих других крестьян после прихода на Дальний Восток Красной Армии уйти через реку Уссури в Китай.

Участники и слушатели Малышевских чтений поздравили бессменного организатора этих конференций ученого хранителя Древлехранилища Владимира Павловича Бударгина с пятидесятилетием.

*Т. Р. Руди*

## ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ БАСКАКОВ

11 апреля 1995 года ушел из жизни Владимир Николаевич Баскаков. На его рабочем столе остались материалы статьи о Б. Л. Модзалевском для четвертого тома биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917».

В. Н. Баскаков родился 7 мая 1930 года в городе Вятке (ныне Киров), в 1949 году окончил там среднюю школу № 14 и в том же году поступил на филологический факультет Ленинградского государственного университета. Сначала он учился на переводческом отделении (польском), после IV курса перешел на отделение русского языка и литературы, которое окончил в 1955 году. Вся трудовая жизнь В. Н. Баскакова связана с Пушкинским Домом, куда он был зачислен в апреле 1956 года на должность старшего научно-технического сотрудника, вскоре стал ученым секретарем сектора новой русской литературы, а впоследствии работал ученым секретарем института, заместителем директора института, заведующим рукописным отделом, заведующим сектором взаимосвязей русской литературы с зарубежными и, наконец, заведующим организованным им отделом библиографии и источниковедения. Трое ученых Пушкинского Дома оказали наибольшее влияние на формирование научных интересов В. Н. Баскакова. Под руководством Л. М. Добровольского он прошел школу библиографа, щедринская тема развивалась в тесном сотрудничестве с академиком А. С. Бушминым, славистические работы выполнялись при сочувственном внимании академика М. П. Алексеева. В 1966 году в ЛО издательства «Наука» вышла первая книга В. Н. Баскакова «Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1918—1965». В 1968 году он успешно защитил кандидатскую диссертацию «Крашевский и Коженевский в России. Из истории польско-русских литературных взаимоотношений 1831—1863 годов». С начала 1960-х годов он постоянно занимался текстологической работой, участвуя в подготовке полных собраний сочинений А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова-Щедрина, И. С. Тургенева, Д. Н. Мамина-Сибиряка, А. Ф. Кони.

Обладая редким талантом организатора науки, В. Н. Баскаков стоял у истоков многих научных замыслов, выросших в фундаментальные научные труды Пушкинского Дома. Особо следует напомнить об инициативе его в разработке самой идеи Словаря рус-

ских писателей, который им в качестве заместителя директора института был поставлен в план научных работ Пушкинского Дома в 1970-е годы. Тема эта самоотверженно отстаивалась В. Н. Баскаковым, когда сверху была предпринята попытка исключить ее из планов Академии наук, так как по принятому в то время порядку перспективное планирование велось лишь в объеме пятилетнего плана. Попытки создания Словаря русских писателей предпринимались неоднократно, но никогда доселе не были доведены до конца. Получая ныне очередные тома «Словаря книжников и книжности Древней Руси», «Словаря русских писателей XVIII-века», биографического словаря «Русские писатели. 1800—1917» с уверенностью, что эта работа, несмотря на наши трудные времена, будет наконец завершена, мы должны помнить о том, что все глобальные проекты, требующие огромного труда научных коллективов, невозможны без первой искры, без энтузиазма первопроходчиков, который на первых порах многим кажется авантюризмом. Уверенно можно сказать, что если бы в 1970-х годах В. Н. Баскаков не отстаивал идею словарей, начало их подготовки отодвинулось бы на несколько поколений.

Член Советского комитета славистов и член Советского комитета ЮНЕСКО по изучению и распространению славянских культур, В. Н. Баскаков опубликовал много работ по русско-славянским связям, был участником международных съездов славистов, руководителем нескольких международных научных проектов. В 1978 году за организацию научного сотрудничества с Болгарской Академией наук в области литературоведения он был награжден болгарским правительством орденом Кирилла и Мефодия II степени (это была его единственная награда).

Нельзя, к сожалению, не вспомнить, что в нашей стране инициатива в те годы была нередко наказуема. Самостоятельно мыслящий человек неизбежно попадал под пристальное внимание так называемых «директивных органов». В 1980 году В. Н. Баскаков был обвинен в попытке передачи за границу рукописных материалов антисоветского характера. Речь шла о письмах критика и философа Л. Шестова, копии которых предполагалось обменять на копии весьма ценных для русской культуры материалов из заграничного архива писателя А. М. Ремизова. «Антисоветские высказывания» были найдены спе-

циальной комиссией даже в письмах Шестова, написанных до октября 1917 года. В настоящее время эти «страшные» письма опубликованы в журнале «Русская литература» (1994, № 1, 2), и каждый читатель теперь сможет по достоинству оценить, чего это «дело» стоило. В. Н. Баскакову оно стоило дорого: он был снят с поста заместителя директора Института, его здоровью был именно тогда нанесен тяжкий удар.

Счастливой особенностью характера В. Н. Баскакова было его умение полностью отдаваться любимой работе. Одним из главных ее направлений на рубеже 1970—1980-х годов стала история Пушкинского Дома, уникального культурного центра и научного учреждения. В 1980 году выходит написанный В. Н. Баскаковым исторический очерк «Пушкинский Дом. 1905—1930—1980» (изд. 2-е, дополненное, вышло в 1988 году), а вслед за этим — еще две им организованные и отредактированные книги: «Пушкинский Дом. Библиография трудов» (1981. Составитель А. К. Михайлова) и «Пушкинский Дом. Статьи. Материалы. Библиография» (1981), содержащий статьи о связи с Пушкинским Домом крупнейших русских писателей XX века, документальные материалы по истории Пушкинского Дома, перечни экспедиций и научных конференций, проведенных нашим институтом, а также защищенных здесь кандидатских и докторских диссертаций. Но и это еще не все. В 1982 и 1986 годах вышли из печати три брошюры, написанные В. Н. Баскаковым: «Рукописный отдел Пушкинского Дома», «Библиотека и книжные собрания Пушкинского Дома», «Справочно-библиографические источники в собраниях Пушкинского Дома», каждая из которых не повторяет соответствующих разделов монографии (исторического очерка) и основана на новых разысканиях (в том числе и архивных). Цикл этих работ (наряду со многими статьями В. Н. Баскакова) уместно особо вспомнить в год девяностолетнего юбилея Пушкинского Дома, а может быть, не только вспомнить, но и переиздать. Прежде всего — названные выше брошюры. Надлежащим образом иллюстрированные, они могли бы быть выпущены в виде художественных буклетов, дающих информацию о величайших культурных ценностях, хранящихся в Пушкинском Доме.

Деятельность Владимира Николаевича тесно связана с журналом «Русская литература». С 1958 по 1993 год им напечатано здесь более 30 работ, посвященных русско-польским литературным отношениям, истории российской филологической науки, творчеству Салтыкова-Щедрина и т. д. С 1988 года В. Н. Баскаков член редколлегии журнала «Русская литература». Под его редакцией в 1975 году вышел указатель статей и материалов, опубликованных в журнале.

В одном из отчетов о своей научной работе (1986 год) Владимир Николаевич писал: «Хотел бы написать небольшую (листов 8—10) монографию о литературном источниковедении, продолжить занятия по истории литературной науки (закончить циклы работ о Российской Академии и Пушкинском Доме, обратиться к истории ОРЯС) ... Хотел бы вновь обратиться к Салтыкову-Щедрину и начать оформление Летописи жизни и творчества Салтыкова-Щедрина.

Недостатков в работе несколько: 1) мало написал: обстановка этого пятилетия не способствовала научной работе; 2) не смог (или не успел) сосредоточиться на крупной теме; 3) много выполнял работ редакционно-редакторского и организационного характера в ущерб работам научно-исследовательским».

Не сосредоточился, не успел... В последние годы тяжело болел и с болезнью боролся испытанным способом: работой. За день до смерти занимался в институте подготовкой библиографии по истории русской литературы. На пишущей машинке осталась начатая статья об одном из основателей Пушкинского Дома, в стенах которого прошли без малого сорок лет жизни В. Н. Баскакова, одного из самых «пушкинодомских» деятелей. Пожалуй, столь же страстно он любил еще родную Вятку, сохраняя и в облике и в речи своей нечто трогательно провинциальное, исконно русское. Богатейшее книжное собрание В. Н. Баскакова о М. Е. Салтыкове-Щедрине передано было им в вятский музей... Дома осталось много книг с дарственными надписями авторов, свидетельствующими, с каким широким кругом людей он был связан, насколько высоко ценили они талант неутомимого исследователя, прекрасного, азартного и душевного человека.

*С. А. Фомичев*

Технический редактор *Л. М. Семенова*  
Корректоры *И. А. Крайнева, М. К. Одинокова, С. И. Семиглазова*  
и *Е. В. Шестакова*  
Компьютерная верстка *Т. Н. Поповой*

ЛР № 020297 от 27.11.91. Сдано в набор 26.06.95. Подписано к печати 12.10.95.  
Формат 70×100 1/16. Гарнитура школьная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 22.1.  
Уч.-изд. л. 26.7. Тираж 2386 экз. Тип. зак. 865. С 1235

Санкт-Петербургская издательская фирма РАН  
199034, Санкт-Петербург, Менделеевская лин., 1

Санкт-Петербургская типография № 1 РАН  
199034, Санкт-Петербург, 9 лин., 12